

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

8



1991



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г. № 8 (12-792) Август, 1991 г. (Декабрь, 1990 г.)

УЧРЕДИТЕЛИ: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ФОНД СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР, ЦЕНТР «НОВЫЙ МИР»

СОДЕРЖАНИЕ

| | Стр. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ДМИТРИЙ СУХАРЕВ — Да здравствуют музы, начальник! Стихи | 3 |
| АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни. Окончание | 5 |
| ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ — Памяти алапаевских узников, стихотворение | 125 |
| ИЗ СОВРЕМЕННОЙ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЭЗИИ — Маргарэт Баррингер, Ричард Уилбер, Джов Эшбери. Перевели Галина Нерпина, Евгений Храмов, Андрей Вознесенский, Виктор Топоров, Александр Ткаченко | 127 |
| ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ | |
| Л. ПАНТЕЛЕЕВ — Я верую. Главы из автобиографической книги. Публикация и предисловие Владимира Глоцера | 132 |
| ПУБЛИЦИСТИКА | |
| Ф. А. ХАЙЕК — Дорога к рабству. Окончание. Перевела с английского Н. Ставская | 181 |
| ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА | |
| БОРИС ТАРАСОВ — Вечное предостережение. «Бесы» и современность | 234 |
| ОТВЕТНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Павел Чеботарев — О поэте и политизированном сознании; Эдуард Стеценко — В чем же противоречие; Валерий Большаков — Еще о «массовой культуре»; Ольга Николаева — Антикатарсис | 248 |

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Ю. ШРЕЙДЕР — На развалинах культуры

266

КОРОТКО О КНИГАХ:

А н д р е й В а с и л е в с к и й.— I. Айзек Башевис Зингер. Шоша. Роман. Исаак Башевис Зингер. Рассказы разных лет. Айзек Башевис Зингер. Мертвый скрипач. Рассказ. Исаак Башевис-Зингер. Маленькие сапожники. II. Воспоминания крестьян-толстовцев. 1910—1930-е годы. ♦
В. К а м ы ш е в.— Голос. Общественно-политический и художественно-публицистический сборник

269

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ

По не зависящим от редакции журнала «Новый мир» и издательства «Известия» обстоятельствам не выпущены последние четыре номера журнала за прошлый год. Поэтому мы печатаем № 9, 10, 11 и 12 «Нового мира» за 1990 г. в качестве № 5, 6, 7 и 8 за 1991 г.

Редакционная коллегия.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ. Счастливая Москва. Роман.
ВЛАДИМИР МАКАНИН. Сюр в Пролетарском районе. Рассказы.
ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА. Я есть. Ты есть. Он есть. Рассказ.
Н. Н. ПОКРОВСКИЙ. За страницами «Архипелага ГУЛАГ».
АФАНАСИЙ ГЕРАСИМОВ. Повесть о Дубчесских скитах.
А МЫ ВИНОВНЫ БЕЗ ВИН. Русские поэты Югославии.
ЗВЕЗДА ПОЛЫНЬ. 1986—1991. Г. Шашарин. Чернобыльская трагедия;
А. Воробьев. Чернобыльская катастрофа пять лет спустя.
М. ВОСЛЕНСКИЙ. Феодалы и социализм.
АНДРЕЙ НЕМЗЕР. Сила и бессилие соблазна.

ДМИТРИЙ СУХАРЕВ

*

ДА ЗДРАВСТВУЮТ МУЗЫ, НАЧАЛЬНИКИ!

..*

...В тот год, верней сказать, в те годы
Я занимался тем, что охранял
От мора, глада, тряса, непогоды
Те ценности, которые ронял
Мой век.

Он их выранивал из рук,
А я — я собирал их по дорогам,
Чтоб недруг их не тронул, чтобы друг
Не раздавил подошвой ненароком.

Батюшка

Меня знакомый батюшка
Ужасно огорчил:
Не верит он в достаточность
Естественных причин.
Такой хороший батюшка,
А в этом ни на шаг —
Не верует, не верует,
Не верует никак.

«Что ж, — говорю, — вы, батюшка,
За странный человек.
Ведь вера подтверждается
Уже который век!
Что было сверхъестественным,
Быльем позаросло,
Поскольку, скажем честно,
Объяснение нашло».

Но мой знакомый батюшка
На доводы сердит
И, тверд в своем неверии:
«Не верую!» — твердит.
Такой хороший батюшка,
Кудлат и долговяз.
Но как он сверхъестественно
В неверии увяз!

* * *

— Находясь на середине
Збушевавшей реки,
На качающейся льдине
Не толкайтесь, мужики.

Так сказал старик Коржавин
Ожиданьям вопреки.

— Не уважить всех амбиций,
Слишком, родина нища.
Нам поврозь теперь — убиться,
Нам спастись — сообща.

Так сказал старик Коржавин,
Эмфиземою свища.

Тост за почвенников поднял,
За Коротича поднял,
Юру Бондарева обнял,
А Карякина — обнял.

Целовал Коржавин с толком
Весь разбойный ЦДЛ,
И никто, представьте, волком
На пришельца не глядел.

Потому что тем и этим —
И кому Коржавин светел,
И кому пархатый жид —
Всем несладко жить на свете,
Всем спастись надлежит.

* * *

Товарищ редактор, позвольте фужерчик долить,
Мы кончили с книжкой, нам нечего больше делить.
Вы верный служака, товарищ редактор, однако
Довольно об этом, помянем теперь Пастернака.

Ведь мастером был. И откуда что брал! Почитаем?
Я строчку, вы строчку, мы оба его почитаем.
Глоток за глотком и — стихи, за страницей страница.
Ведь вы не на службе, чего ж нам стихов сторониться.

Вы верный товарищ. Проверенный трижды товарищ.
Вы с той половины, где вера и служба едины.
Я с той половины, где каждый в себе не уверен,
Но времени верен и временем будет проверен.

Мы кончили с книгой. В корзину, начальник, в корзину!
Без трений, без прений. И славно, что кончили разом.
Да здравствуют музы, начальник, да здравствует разум.
Ах, так ли бывало, когда присягали грузину?



АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

*

БОДАЛСЯ ТЕЛЁНОК С ДУБОМ

Очерки литературной жизни

ТРЕТЬЕ ДОПОЛНЕНИЕ

(Декабрь 1973)

НОБЕЛИАНА

«**Н**обелиана» — это я не придумал, это краткий телеграфный адрес Нобелевского фонда (Nobelianum), да ведь и так же принято обозначать всякие растянутые торжества или пышные оркестровые разработки. Со мной торжество — не торжество, мученье — не мученье, но суматошная разработка потянулась два полных года.

В странах нескованных что есть присуждение Нобелевской премии писателю? Национальное торжество. А для самого писателя? Грядёт, перевал жизни. Камю говорил, что он не достоин, Стейнбек — что готов от радости львом рычать. (Правда, Хемингуэй на такую безделицу отвлечься не удосужился, ответил, что интереснее писать очередную книгу, — и то тоже правда, хоть и не без кокетства.)

А что такое Нобелевская премия для писателя из страны коммунизма? Через пень колоду, не в те ворота, или неподъёмное, или под дёготный зашлёп. Оттого что в нашей стране не кто иной, как именно сама власть, от кровожадно-юных дней своих, загнала всю художественную литературу в политический жёлоб — долблёный, неструганый, как на Беломорканале ладили из сырых стволов. Сама власть внушила писателям, что литература есть часть политики, сама власть (начиная с Троцкого и Бухарина) выкликала все литературные оценки политическим хриплым горлом — и закрыла всякую возможность судить иначе. И поэтому каждое присуждение Нобелевской премии нашему отечественному писателю воспринимается прежде всего как событие политическое.

Кто у нас был писатель истинный в 20-е, 30-е, 40-е годы — того через ведьминскую вьюгу разобрать из Стокгольма было невозможно. И первый русский, получивший эту премию, был эмигрант Бунин, бесцензурно и неподнаследственно печатавший за границей свои вещи именно в том виде, в каком он их писал. Ну уж, разумеется, ничего кроме брани и презрения такая премия, институт таких премий вызвать в СССР не мог. Навсегда было решено, что премии эти ничтожны, и даже газетного петита не заслуживают. А на размах листа печатались — сталинские. И мы все о Нобелевских почти думать забыли. И вдруг через 25 лет доглядела Шведская Академия Пастернака и решила дать ему. Известно, какой это

вызвало гнев коммунистической партии (Хрущёв), комсомола (Семичастный) и всего советского народа. И сейсмovolны этого гнева так ударили под фундамент Шведской Академии, что в глазах прогрессивного человечества она обязана была себя реабилитировать, да поскорей. И выдержав приличные 7 лет, присудили третьему нашему соотечественнику, — да кому? За книгу, авторство которой он никогда подтвердить не мог, за книгу, напечатанную уже треть столетия тому и по достоинству оцененную ещё прежде бунинской премии. Зато имя Шолохова было угодно советскому режиму — и спешили ему подластить. И эта поспешность, и эта задержка, и вся форма заглаживания, и наше казённое удовольствие — равно отшлёпали и на третьей премии остро-политическую печать.

Хотя в политике всё время обвинялась Шведская Академия, но это наши лающие голоса делали невозможной никакую другую оценку. Так произошло и с четвертой премией, и, если не очнётся Россия, — с пятой будет то же самое.

А так как и учёные наши не больно часто те заморские премии получали, то у нас почти и не поминали их, до пастернаковской буми мало кто и знал о существовании таких. Я узнал, не помню, от кого-то в лагерях. И сразу определил, в духе нашей страны, вполне политически: вот это — то, что нужно мне для будущего моего Прорыва.

Прорыва — большого, а я пока и малого сделать не в состоянии. Конечно, не хочется писать только посмертное, напечататься бы при жизни, тогда и умереть спокойно! Но из лагеря это грезилось как несбыточное: где ж такое возможно при жизни? Только за границей. Но и после лагеря, вечно-ссылный: ни сам туда не попадёшь, ни дошлешь туда свои вещи.

Впрочем, в ссылке я сумел довести всю свою лагерную работу до начинки книжного переплёта (пьесы Б. Шоу, на английском). Теперь если бы кто-нибудь взялся поехать в Москву, да там на улице встретив иностранного туриста — сунул бы ему в руки, а тот, конечно, возьмёт, легко вывезет, вскрыет переплёт, дальше в издательство, там с радостью напечатают неизвестного Степана Хлынова (мой псевдоним) — и... Мир конечно не останется равнодушным! Мир ужаснётся, мир разгневется, — наши испугаются — и распустят Архипелаг.

Но — и попросить было некого, кто бы в Москву повёз, я был один-одинёшенек в те годы, и москвичи не приезжали в наш Кок-Терек погостить.

Когда же в 1956 я и сам поехал в Москву и присматривался, кому б из западных туристов эту книгу перекинуть, — увидел: при каждом туристе идет переводчик от госбезопасности, а самое-то изумляющее старого зэка: те туристы такие сытые, лощёные, развлечённые своей весёлой советской поездкой, — зачем им наживать неприятности?

И уехал я в Торфопродукт, потом в Рязань, работать дальше. Дальше — ещё больше будет написано, ещё сильнее можно тряхнуть. Но и страшней: ещё больший объём зависает в опасности погибнуть, никому никогда не показавшись. Один провал — и всё пропало. Десять лет, двадцать лет сидеть на этой тайне — утечёт, откроется, и погибла вся твоя жизнь, и все доверенные тебе чужие тайны, чужие жизни — тоже.

И в 1958, рязанским учителем, как же я позавидовал Пастернаку: вот с кем удался задуманный мною жребий! Вот он-то и выполнит это! — сейчас поедет, да как скажет речь, да как напечатает своё остальное, тайное, что невозможно было рискнуть, живя здесь! Ясно, что поездка его — не на три дня. Ясно, что назад его не пустят, да ведь он тем временем весь мир изменит, и нас изменит, — и воротится, но триумфатором!

После лагерной выучки я, искренно, ожидать был не способен, чтобы Пастернак избрал иной образ действий, имел цель иную. Я мерил его своими целями, своими мерками — и корчился от стыда за него как за себя: как же можно было испугаться какой-то газетной брани, как же можно было ослабеть перед угрозой высылки, и униженно просить правительство, и бормотать о своих «ошибках и заблуждениях», «собственной вине», вложенной в роман, — от собственных мыслей, от своего духа отречься — только чтоб не выслали?? И «славное настоящее», и «гордость за то время, в которое живу», и, конечно, «светлая вера в общее будущее», — и это не провинциальное университетское профессора секут, но — на весь мир наш нобелевский лауреат? Не-ет, мы безнадежны!.. Нет, если позван на бой, да ещё в таких превосходных обстоятельствах, — иди и служи России! Жестоко-упречно я осуждал его, не находя оправданий. Перевеса привязанностей над долгом я и с юности простить и понять не мог, а тем более озвенелым зэком. (Никто бы мне в голову тогда не вместили, что Пастернак уже и напечатался и высказался, и та бы речь стокгольмская могла б оказаться не грозней его газетных оправданий.)

Тем ясней я понимал, задумывал, вырывал у будущего: мне эту премию надо! Как ступень в позиции, в битве! И чем раньше получу, твёрже стану, тем крепче ударю! Вот уж, поступлю тогда во всём обратно Пастернаку: твёрдо *прииму*, твёрдо поеду, произнесу твердейшую речь. Значит, обратную дорогу закроют. Зато: всё напечатаю! всё выговорю! весь заряд, накопленный от лубянских боксов через степлагодские зимние разводы, за всех удушенных, расстрелянных, изголодавшихся и замёрзших! Дотянуть до нобелевской трибуны — и грянуть! За всё то доля изгнанника — не слишком дорогая цена. (Да я физически видел и своё возвращение через малые годы.)

Однако «Иван Денисович», во всём мире расхвачанный как хрущёвская политическая сенсация, не выше (в Москве перегнанный на английский прихлебателем халтурщиком Р. Паркером, да так и осталось понынь), — не много приблизил меня к Нобелевской. Просто уж по задумке, смешивая замысел с предчувствием, я почему-то верил и думал её, как неизбежности. Хотя Пастернак своим отречением, а затем и скорой смертью закрывал дорогу следующему лауреату прийти из России: как же можно давать премию русским, если она убивает их?..

А годы — шли, а вещи — всё писались, а напечатать — нельзя, голову отрубят, и всё труднее скрыть их в тайне, и всё обидней держать их втуне, — и какой же выход у подпольного писателя?..

Все годы я в этом и не переменялся, как в лагере выковался, как думал вместе с лагерными друзьями: самая сильная позиция — разить нашу мертвечину лагерным знанием, но *оттуда*. Тогда всё моё оружие — к моим рукам, ни одно слово более не утаено, не искажено, не пригнуто. И так это прочно я усвоил, что когда в 68-м году Аля (Наталья Светлова), поражённая, стала убеждать меня горячо, что как раз наоборот: *оттуда* все слова мои будут отшибаться железной коркой, охватившей нашу страну, а пока я внутри — приемлющая порая масса всасывает их, дополняя, достраивая несказанное и намёкнутое, — я поразился встречно. Я решил: она оттого так рассуждает, что в лагере не сидела.

А была она мне не случайный собеседник и не одноразовый. К 1969 я решил передавать ей всё своё наследие, всё написанное, и окончательные редакции и промежуточные, заготовки, заметки, сбросы, подсобные материалы, — все, что жечь было жаль, а хранить, переносить, помнить, вести конспирацию не было больше головы, сил, времени, объёмов. Я как раз перешёл тогда через пятьдесят лет, и это совпало с чертой в моей работе: я уже не писал о

лагерях, окончил и всё остальное, мне предстояла совсем новая огромная работа — роман о 1917 годе (как я думал сперва — лет на десять). В такую минуту своевременно было распорядиться всем прошлым, составить завещание и обеспечить, чтоб это всё сохранилось и осуществилось уже и без меня, помимо меня, руками наследными, твёрдыми, верными, и головою, думающею сродно. Я счастлив был, я облегчён был, найдя всё это вместе, и весь 1969 мы занимались передачей дел. Тогда же, вместе, мы нашли пути дать доверенность адвокату Хеебу защищать мои интересы на Западе, и создать опорный пункт за границей, как наш филиал и продолжение, на случай гибели обоих тут. И — надёжный «канал» туда для связи в обе стороны. Неслышно, невидимо моё литературное дело превращалось в фортификацию.

При всей этой работе вопрос о том, где буду я и что со мной через год, через два, имел совсем не теоретическое значение, от этого на каждом шагу зависело, как решать. К тому ж, были и другие живые планы: ещё с 1965 я носился с затеей журнала — то ли будущего, в свободной России, то ли самиздатского, и уже сейчас. (Подзаголовок: «Журнал литературы и общественных запросов», с разделами — прозы; критики литературы и искусства; новейшей истории России XX века; человечество и современность; будущее устройство России; книжное обозрение.) Летом 69-го года мы сидели с Алей у Красного Ручья на берегу Пинеги и разрабатывали такую сложную систему издания журнала, при которой он будет самиздатски издаваться здесь (отдел распределения — глубже его действующая редакция — ещё глубже теневая редакция, готовая принять дела, когда провалится действующая, и создать себе вторую тень), а я — может быть здесь, а может быть и там, но и в этом случае подписываю журнал (участвую в нём отсюда). И при всех этих разработках мы так и не сошлись в коренном вопросе: Аля считала, что надо на родине жить и умереть при любом обороте событий, а я, по-лагерному: нехай умирает, кто дурней, а я хочу при жизни напечататься. (Чтобы в России жить и всё напечатать — тогда ещё представлялось чересчур рискованно, невозможно.)

Как в насмешку, именно в эти дни бежал на Запад Анатолий Кузнецов, мы на Пинеге слушали по транзистору. Перепугались на верхах, а он ликовал, думал наверно: вот сейчас всю историю повернёт. Ан ошибка бегляческая, смещение масштабов. Главное же: тут у нас, в СССР, почти поголовно не одобрил его образованный круг, и не только за податливость гебистам, за игру в доносы, но и за самый побег: лёгкий жребий! Человеку безвестному, досаждённому, можно простить, но писателю? Какой же, мол, тогда ты наш писатель? Нерациональные мы люди: десятилетиями бродим и хлюпаем в навозной жиже, брюзжим, что плохо. И не делаем усилий выбраться. А кто выбарахтывается и бежит прочь, кричим: «изменник! не наш!» (Это повернулось, впрочем, вскоре и резко: как только приоткрыли клапан эмиграции, туда устремилось немало и писателей, и образованный круг не стал это осуждать.)

А как думало правительство? Уверен я был: так же, как я. Пока я тут, в клетке, — я им полустрашен, меня всегда можно прихлопнуть. А отсюда — я ужасен для них, я успею (пока не всадыт ножа мне в рёбра, не отравят, не застрелят, не выбросят из поезда), успею развернуть всё, укрытое ими за столетия! — и после того заклёста им уже не жить, или только доковыливать (так мне казалось).

При Сталине так и понимали: всех несогласных покрепче вязать. Но, видимо, в последние годы какие-то новые веяния пробилась даже в их туполобую дремучесть: посадили Синявского — Даниэля — неожиданный для них международный скандал; отправили Гарсиса за границу — сразу всё стихло, никаких неприятностей. (Что

я — не совсем Тарсис, этого им не домыслить.) И вот Дёмичев, в задушевных беседах, какие бывали у него то с одним, то с другим писателем, стал проговариваться:

— Вот мы вышлем Солженицына за границу, к его хозяевам, увидит он капиталистический рай — сам к нам на брюхе приползёт.

Мне пересказывали, я значения не придавал: обычный агитпропский приём. Вдруг, через десять дней после моей оплеухи секретариату СП, вечером 25 ноября 1969, включаю «Голос Америки» и слышу: «Писатель Солженицын высылается из Советского Союза» (Завтрашнее сообщение «Литгазеты» они неправильно передали.)

Это было на даче Ростроповича, первые месяцы там, только устроился. Я встал. Чуть прошлись мурашки под волосами. Может быть, через какой час за мной уже и приедут. О рукописях, о заготовках, о книгах — сразу много надо было сообразить, чересчур много! Хоть всю жизнь готовься, а застаёт всегда не вовремя. Вышел погулять по лесным аллеям. Стоял не по времени тёплый грозно-ветреный, сырой, тёмный вечер. Я гулял, захватывал воздух грудью. И не находил в себе ни борения, ни сомнения: всё шло по предначертанному.

Из моих любимых образов — пушкинский царевич Гвидон. Что-бы верно погубить, засадили, засмолили младенца с матерью в бочку и пустили по морю-океану. Но — не потонула бочка, а аршинный младенец рос по часам, поднатужился, выпрямился,

Вышиб дно и вышел вон! —

правда, на берегу чужеземном. И сам вышел и, заметим, *выпустил свою мать*.

Не до точности чужого берега должен образ сойтись, и непомерно честь велика выпустить на свободу Мать, — а вот как донья трещат у меня под подошвами и над макушкой, как из бочки вываливаются клёпки — это я ощущаю уже несколько лет, и только точного момента не ухватил, когда ж я именно донья выпер, уже ли? Не в тот ли самый момент, когда исключенье меня из СП обернулось громким поражением моих и наших гонителей? когда стенка из тридцати одного западного писателя, выказывая единство мировой литературы, объявила письмом в «Таймс», что в обиду меня не даст? Или ещё это впереди? И сейчас, когда пишу, — впереди?

Что-то из этого треска доносилось до ушей того решилица, которое Чехословакию осмелело давить, а меня — нет, что-то из занозистой обломанной древесины отлетало к ним, — ибо не высылали меня за границу, нет (через час принесли мне завтрашнюю «Литгазету», выкраденную из редакции), а только *приглашали уехать, только разрешали*.

А это — другой расклад. Экибастузскому затерянному эзку предложили бы — минуты бы не колебался. Но мне сегодняшнему — *предлагать*? В ответ им пустил по Москве «мо», устный самиздат:

— Разрешают мне из родного дома уехать, благодетели! А я им *разрешаю ехать в Китай*.

Они мне — ещё в одной газете намёк. Ещё в одной. На Западе — отзвон изрядный. И норвежцы — духом твёрдые, единственные в Европе, кто ни минуты не прощал и не забывал Чехословакии, — предложили мне даже приют у себя — почётную резиденцию Норвегии, присуждаемую писателю или художнику. «Пусть Солженицын поставит свой письменный стол в Норвегии!» Несколько дней я ходил под тем впечатлением. Вторая родина сама назвалась, сама распахнула руки. Север. Зима, как в России. Крестьянская утварь, деревянная посуда, как в России.

Пауза. *Верхи* затихли. И я молчал.

Не легко покидается жгучий эзческий замысел, ненапечатанные вещи кричат, что жить хотят. Но скорбным контуром выраста-

ла и другая согбенная лагерная мысль: неужели уж такие мы лягушки-зайцы, что ото всех должны убегать? почему нашу землю мы должны и так легко отдавать? Да начиная с 17-го года всё отдаём, все отдают,— так оно вроде легче. Уже сколько поддались этой ошибке — переоценили силы их, недооценили свои. А были же люди — Ахматова, Пальчинский, кто не поехал, кто отказался в 1923 году подписать заявление на лёгкий выезд.

Неужели мы так слабы, что *здесь* побороться не можем?

А властям эта мысль уже, видно, заседала: от неугодных избавляться высылкой за границу — мысль Дзержинского и Ленина, план новой «третьей» эмиграции, чего мы и вообразить не могли тогда, с 69-го на 70-й. На разных закрытых семинарах в полный голос объявляли: «Пусть Солженицын убирается за границу!» Первоосведомлённый Луи шнырял на посольских приёмах, предлагал западным деятелям: «Не пригласите ли Солженицына лекции, что ли, у вас почитать?» — «Да разве пустят?» — удивлялись. — «Пу-устят!»

Но публично не высказывалось более ничего. Осенний кризис мой как будто миновал, затягивался. С дачи Ростроповича, где я жил безо всяких прав, непрописанный, да ещё в правительственной зоне, откуда выселить любого можно одним мизинцем, — не выселяли, не проверяли, не приходили. И постепенно создалось у меня внешнее и внутреннее равновесие, гнал я свой «Август», и в тот год, 70-й, сидел бы тише тихого, писка бы не произнёс. Если бы не несчастный случай с Жоресом Медведевым в начале лета. Именно в эти месяцы, конца первой редакции и начала второй, определялся успех или неуспех всей формы моего «Р-17», а так потребна была удача! так нужен был систематический объёмный рассказ именно о революции: ведь заматают её скоро свои и чужие, что не доищешься правды. И благоразумные доводы о жребию писателя приводили мне отговаривающие друзья.

Но — разумом здесь не взвесить: вдруг запечёт под ногами, оказывается — сковорода, а не земля, — как не запляшешь? Стыдно быть историческим романистом, когда душат людей на твоих глазах. Хорошо бы я был автор «Архипелага», если б о продолжении его сегодняшнем — молчал дипломатично. Посадка Ж. Медведева в психушку была для нашей интеллигенции даже опаснее и принципиальнее чешских событий: это была удавка на самом нашем горле. И я решил — писать. Я первые редакции очень грозно начинал:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

(то есть *им всем*, палачам. В начале меня особенно заносит, потом умеряюсь). За лагерное время хорошо я узнал и понял врагов человечества: кулак они уважают, больше ничего, чем сильнее их кулаком улупишь — тем и безопасней. (Западные люди никак этого не поймут, они всё уступками надеются смягчить). Едва продираю глаза по утрам — тянуло меня не к роману, а Предупреждение ещё раз переписать, это было сильнее меня, так во мне и ходило. Редакции с пятой стало помягче:

ВОТ КАК МЫ ЖИВЁМ [14].

В ноябре 1969 упрекали меня, что быстротою своего выскока с ответом СП я помешал братьям-писателям и общественности за меня заступиться, отпугнул резкостью. Теперь, чтобы своей резкостью не потопить Медведева, я взнуздан себя, держал, дал академикам высказаться, — и только в Духов день, в середине июня, выпустил своё письмо. По делу Жореса оно оказалось может уже и лишним — струхнули власти и без того. Но зато — о психушках крупно сказал, кого-то же всё-таки напугал, если не Лунца, у кого-то сердце сожмётся впредь.

Этого письма не могли мне простить. И насколько есть достоверные сведения, в тех же июньских днях решили выслать меня за границу. Подготовили ведущие соцреалисты (кажется, в апостольском числе двенадцать) ходатайство к правительству об изгнании мерзавца Солженицына за рубежи нашей святой родины. Новой идеи тут не заключалось, но ход делу был дан формальный. Марков да Воронков, упряжка неленивая, передали это в «Литгазету», да говорят с прибавкой уже готового и постановления Президиума Верховного Совета о лишении меня советского гражданства.

Но опять же — не сработала машина, где-то защёлка не взяла. Я думаю так: слишком явна и близка была связь с жоресовской историей, неудобно было за это выгонять, отложили на месяца два три, ведь провинюсь ещё в чём-нибудь...

А тут — Мориак, царство ему небесное, затеял свою кампанию выхлопывать мне Нобелевскую премию. И опять у наших расстроилась вся игра: теперь выслать — получится в ответ Мориаку, глупо. А если премию дадут — за премию выгонять, опять глупо. И затаили замысел: сперва премию задуть, а потом уже выслать.

(А я за эту осень как раз и кончал, кончал «Август»).

Премии душить — это мы умеем. Собрана была важная писательская комиссия (во главе её — Константин Симонов, многоликий Симонов, — он же и гонимый благородный либерал, он же и всеведущий чтимый консерватор). Комиссия должна была ехать в Стокгольм и социалистически пристыдить шведскую общественность, что нельзя служить тёмным силам мировой реакции (против таких аргументов никто на Западе не выстаивает). Однако, чтоб лишних командировочных не платить, наместили комиссионерам ехать в середине октября, как раз к сроку. А Шведская Академия — на две недели раньше обычного и объяви, вместо четвёртого четверга да во второй! Ах, завыли наши, лапу закусили!..

Для меня 1970 был последний год, когда Нобелевская премия ещё нужна мне была, ещё могла мне помочь. Дальше уже — я начал бы битву без неё. Приходила пора взрывать на Западе «Архипелаг». Уже я начал исподволь готовить публичное к тому заявление (сохранился первый намётки): «...Почему помещение здешних людей в психиатрические больницы не возмущает Запад так, как медицинские эксперименты нацистов?.. Мы предаём умерших и позорим себя своим молчанием. Но подходит время суда и разбора — и пусть эта книга будет свидетелем...»

А тут премия — свалилась, как снегом весёлым на голову! Пришла, как в том анекдоте с Хемингуэем: от романа отвлекла, как раз две недельки мне и не хватило для окончания «Августа»!.. Еле-еле потом дотягивал.

Пришла! — и в том удача, что пришла, по сути, рано: я получил её, почти не показав миру своего написанного, лишь «Ивана Денисовича», «Корпус» да облегчённый «Круг», всё остальное — удержав в запасе. Теперь-то с этой высоты я мог накатывать шарами книгу за книгой, утягённые гравитацией: три тома «Архипелага», «Круг»-96, «Пленники», «Знают истину танки», лагерную поэму...

Пришла премия — и сравнивала все ошибки 62-го года, ошибки медлительности, нераскрыва. Теперь как бы и не было их.

Пришла — прорвалась телефонными звонками на дачу Ростроповича. Веку мне туда не звонили — вдруг несколько звонков в несколько минут. Неразвитая, даже дураковатая женщина жила в то время в главном доме дачи, бегала за мной всякий раз, зная меня под кличкой «сосед», и за руку тянула, и трубку вырывала:

— Да вы что — с корреспондентом разговариваете? Дайте я ему расскажу — квартиры мне не дают!

Она думала — с корреспондентом «Правды», других не воображая.

То был норвежец Пер Эгил Хегге, отлично говорящий по-русски, редкость среди западных корреспондентов в Москве. Вот он до-был где-то номер телефона и задавал вопросы: принимаю ли я премию? поеду ли в Стокгольм?

Я задумался, потом ходил за карандашом с бумагой, он мог представить, что я — в смятении. А у меня замыслено было: неделю никак не отзываться и посмотреть — как наши залают, с какого конца начнут. Но звонок корреспондента срывал мой план. Промолчать, отклониться — уже будто сползать на гибельную дорожку. И при старом замысле: всё не как Пастернак, всё наоборот, оставалось уверенно объявить: да! принимаю! да, непременно поеду, поскольку это будет зависеть от меня! (У нас же и наручники накинуть недолго.) И ещё добавить: моё здоровье — превосходно и не мешает такой поездке! (Ведь все неугодные у нас болеют, потому не едут.)

В ту минуту я нисколько не сомневался, что поеду.

Потом, давая ответную телеграмму Шведской Академии: «Рассматриваю Нобелевскую премию как дань русской — (уж не советской, разумеется) — литературе и нашей трудной истории».

Тут начали постигать меня неожиданности. Ведь как ни обрешаны с Западом нити связей, а — пульсируют. И стали ко мне косвенными путями приходиться: то — упрёк, зачем это про трудную историю, вот и скажут, что мне дали премию именно по политическим соображениям. (А мне без трудной истории — и премия бы не нужна. При лёгкой истории мы бы справились и без вас!) Потом двумя косвенными путями одно и то же: не хочу ли я избежать шумихи вокруг моего приезда в Стокгольм? в частности, Академия и Фонд опасаются демонстраций против меня маоистски настроенных студентов — так поэтому не откажусь ли я от Гранд-Отеля, где все лауреаты останавливаются, а они спрячут меня на тихой квартире?

Вот это — так! Для того я к премии шагал с лагерного развода, чтобы в Стокгольме прятаться на тихой квартире, от лощёных сопляков уезжать в автомобиле с детективами!

По левой я ничего не ответил, — тогда стали и обыкновенной почтой приходиться: от Нобелевского Фонда — телеграмма о том же: «постараемся найти для вашего пребывания более тихое и укрытое место», от Академии письмо: считают они, что «вы сами хотели бы провести по возможности спокойнее ваш стокгольмский визит», и они сделают всё возможное, «чтобы обеспечить вас оберегаемой квартирой. Позвольте добавить, что получатель премии вовсе не обязан иметь какие-либо сношения с печатью, радио и т. д.».

«По возможности спокойнее!» — отнюдь не хочу! «Не иметь сношений с печатью и радио?» — на лешего тогда и ехать?

Оборвалась храбрость шведов! — на том оборвалась, что решились дать мне премию. (Да уж какое спасибо-то, в семиэтажный дом!) А дальше — бояться скандала, бояться политики.

Да, им — так и надо, это — прилично. Но мой неисправимо-лагерный мозг никак не ожидал. Идешь-бредешь, спотыкаешься в колонне по пять, руки назад, думаешь: только и ждут там услышать нас: А они — нисколько не ждут. Они дают премию по литературе. И естественно не хотят политики. А для нас это не «политика», это сама жизнь.

Так шло — по одной линии. А по другой: через несколько дней после объявления премии мелькнула у меня идея: вот когда я могу первый раз как бы на равных поговорить с правительством. Ничего тут зазорного нет: я приобрёл позицию силы — и поговорю с ней. Ничего не уступаю сам, но предложу уступить им, прилично выйти из положения.

А — кому послать, колебания не было: Суслову! Отчего он так горячо меня приветствовал тогда, в фойе кремлёвской встречи? Ведь

при этом и близко не было Хрущёва, никто из политбюро его не видел, — значит, не подхалимство. Для чего же? Выражение искренних чувств? законсервированный в политбюро свободолюбец? — главный идеолог партии!.. Или присматривался, как меня обротать к партии?.. (Кстати, 4 месяца перед тем, в июле 1962, это именно Суслов вызвал В. Гроссмана по поводу отобранного романа: слишком много политики, да и лагеря понаслышке, кто же так пишет, несолидно. Твердел себе в кресле, уверен был: не понаслышке — никогда не будет, передушили. И вдруг такая радость ему — «Иван Денисович»!..) Запало это загадкой во мне на много лет, ни разу не разъяснилось. Но и не скрещивались больше наши пути. А теперь, в октябре 70-го года, меня толкнуло — ему! [15]

Если здесь сдвинуть только то, что я предложил (амнистию пойманным читателям, быстрый выход и свободная продажа «Корпуса», снятие запрета с прежних вещей, затем и печатанье «Августа»), это было бы изменение не только со мной, а — всей литературной обстановки, а там дальше и не только литературной. И хотя сердце рвётся к чему-то большему, к чему-то решающему, но историю меняют всё-таки постепенновцы, у кого ткань событий не разрывается. Если б можно плавно менять ситуацию у нас — надо с этим примириться, надо б и делать. И это было бы куда важней, чем ехать объяснять Западу.

Но так и зависло. Ответа не было никогда никакого. И в этом деле, как и всяком другом, по надменности и безнадёжности они упускали все сроки что-либо исправить.

А шведы тем временем слали мне церемонийные листы: какого числа на каком банкете, где в смокинге с белой бабочкой, где во фраке. А речь — произносится на банкете (когда все весело пьют и едят — о нашей трагедии говорить?), и не более трёх минут, и желательнее только слова благодарности.

В сборнике *Les Prix Nobel* открылся мне беспомощный вид кучки нивелированных лауреатов со смущёнными улыбками и прездоровыми папками дипломов.

Который раз крушилось моё предвидение, бесполезна оказывалась твёрдость моих намерений. Я дожид до чуда невероятного, а использовать его — не видел как. Любезность к тем, кто присудил мне премию, оказывается, тоже состояла не в громовой речи, а в молчании, благоприличии, дежурной улыбке, кудряво-барашковых волосах. Правда, можно составить и прочесть нобелевскую лекцию. Но если и в ней опасаться выразиться резко — за чем тогда и ехать вообще?

В эти зимние месяцы ждался первенец мой, но вот премия приносила нам с Алей разлуку, и я уезжал, как было прежде между нами решено. Без надежды даже раз единый увидеть родившегося сына.

Уезжал, чтобы грудь писательскую освободить и дышать для следующей работы. Уезжал — убедить? поколебать? сдвинуть? — Запад.

А на родине? — кто и когда это всё прочтёт? Кто и когда поймёт, что для книг — так было лучше, уехать?

В 50 лет я клялся: «моя единственная мечта — оказаться достойным надежд читающей России». А в 52 года представился отъезд — и убежал?..

А что, правда: остаться и биться до последнего? И будь что будет?

Ещё эти кудряво-барашковые волоса да белая бабочка...

Как в наказательную насмешку, чтоб не поспешен был осуждать предшественника, Пастернака, я на гребне решений онемел и заколебался.

Я вот как сделать уже хотел: записать нобелевскую лекцию на магнитофон, *туда* послать ленту, и пусть в Стокгольме её слушают. А я — *здесь*. Это — сильно! Это — сильнее всего!

Но в напряжённые эти полтора месяца (тут наложилось тяжёлого семейного много) я уже не в состоянии был составить лекцию.

А в Саратове или Иркутске будущий, следующий наш лауреат корчится от стыда за этого Солженицына: почему ж не мычит, не телится? почему не едет *трахнуть речугу*?

Наши очень ждали моего отъезда, подстерегали его! Как раз бы и был он в согласии с правилами поддавок: я как будто пересекал всю доску, бил проходом несколько шашек — но на том-то и проигрывал! Достоверно потом узнал: было подготовлено постановление, что я лишаюсь гражданства СССР. Только оставалось — меня через границу перекатить. Есть какие-то сроки подачи заявлений и анкет, после которых уже опаздываешь; никто тех сроков не знает, но в Отделе Виз и Регистраций, в ГБ и в ЦК думают, что все знают, — и удивлялись: как же я их пропускаю? На те недели притихла, вовсе смолкла и газетная кампания против меня. Лишь на одном, другом инструктаже прорывало, не выдерживали их нервы, секретарь московского обкома партии, за ним и шавки-«международники» (без меня давно ни одна «международная» лекция не обходилась):

— Господин Солженицын до сих пор почему-то не подаёт заявления на выезд.

А Твардовский, передавали, за меня в кремлёвской больнице тоже томился и раздумывал: как бы мне премию получить, не поехавши? Он лежал с полуотнятой речью, бездеятельной правой рукой, но мог слушать, читать, следил за моей нобелевской историей, а когда возвращалась речь, говорил и даже кричал сёстрам и нянечкам:

— Bravo! Bravo! Победа! *

А у меня на столе уже лежало письмо-отказ от поездки и каждое утро правилось, где буквочкой, где запятой. Я выбирал наилучший день — ну, скажем, за две недели до нобелевской процедуры. Несмотря на внешнюю твердокаменность нашего государства, *внутри* инициатива не уходила из моих рук: от первого до последнего шага я вёл себя так, будто их вообще не было, я игнорировал их: сам решил, объявил, что поеду, — и не вязались переубеждать; теперь сам решил, объявлял, что не поеду, и наши позорные полицейские тайны выкладывал, — и опять-таки слопают, и не сунутся советовать мне.

А как — переслать? Почта задержит. Надо снести самому в шведское посольство, да и договориться: диплом с медалью пусть мне вручат в Москве. Вот мысль: соберём с полсотни видных московских интеллигентов — тут и *трахну* речь! Отсюда говорить — ещё посильнее выйдет, и насколько!

А как прорваться в посольство? Счастье такое: перед шведским не стоит милиционер! Уютный маленький особнячок в Борисоглебском переулке. На целое кресло разлёвшийся кот. Эстафета шведов, принимающих меня из двери в дверь (были предупреждены через Хегге). Как раз возвратился в Москву Г. Ярринг — шведский посол, а более того — арабо-израильский примиритель, а ещё более того, как меня предварили, — претендент на место уходящего У Тана, возглавить ООН, а потому старательный угождатель советскому правительству. Семь лет уже Ярринг послом в Москве, при нём была премия Шолохову, и с Шолоховым он очень дружил и носился.

*Позже, в эмиграции, сообщил мне Б. Г. Закс: в декабре 1970 он посетил А. Т. в больнице. А. Т. говорил с трудом, односложно, «ну как?», «как там?», но с интересом слушал, что ему рассказывали, был очень весел, оживлён, много смеялся (дико кашляя при этом). И на рассказ о моей нобелевской истории произнёс громко, отчётливо: «Так им и надо!» (Примеч. 1986.)

Скрытный, твёрдый, высокий, чёрный (на шведа не похож?), меня встретил настороженно. Я удобно расселся в посольском кресле и, помахивая своим письмом, а читать его не давая:

— Вот, я написал письмо в Шведскую Академию насчёт моей поездки, но боюсь, что по почте задержится, а им важно знать моё решение уже теперь. Вы не взялись бы отправить? [16]

По-русски он понимает, а мне через переводчика, атташе по культуре, Лундстрема:

— Как вы решили?

— Не ехать.

Продрогнуло удовлетворение. Ему — спокойней:

— Завтра утром будет в Стокгольме.

Значит, берёт дипломатической почтой. Хорошо. Отсылаю и автобиографию. А диплом и медаль? Нельзя ли устроить приём в вашем посольстве?

— Невозможно. Так никогда не было.

— Но ведь и такого случая, как со мной, никогда не было. Не загадывайте, господин Ярринг. Пусть подумает Академия.

Уверенно отвечает Ярринг: или по почте, или вручим вам в кабинете, как сейчас, без присутствующих.

Без лекции? Так мне не надо. Нехай остаётся всё в Академии.

При себе не дал ему письма прочесть, всё оставил и ушёл. А обещанье-то взято.

Клад я три дня, чтоб Академия, получив, распорядилась моим письмом. К исходу третьих суток назначил выход в самиздат. Академия же послала мне телеграмму, что хочет объявлять письмо только на банкете. Мне это поздно было, мне сейчас надо было прояснить, что — не еду. Но испытать взрывное действие русского Самиздата шведам не пришлось: у самих же утекло между пальцами, кажется при переводе на шведский, уже и опубликовано, и внагон послали мне вторую телеграмму: извиняются, досадают, что ускользнуло, не пришлю ли к банкету ещё чего-нибудь?

Я — ничего не собирался: пока сказал кое-что, умеренно, а всё главное — в лекцию. Но от телеграммы — толчок!

Этого не было в моём плане, но что бы, правда, один абзац, выпадающий из нобелевской лекции, а сюда — по сцепленью дат:

«Ваше Величество! Дамы и господа! Не могу пройти мимо той знаменательной случайности, что день вручения Нобелевских премий совпадает с Днём Прав человека...»

Господа, это моя скифская досада на вас: зачем вы такие кудряво-барашковые под светом юпитеров? почему обязательно белая бабочка, а в лагерной телогрейке нельзя? И что это за обычай: итговую — всей жизни итоговую — речь лауреата выслушивать за едой? Как обильно уставлены столы, и какие яства, и как их, неприличные, привычно, даже не замечая, передают, накладывают, жуют, запивают... А — пылающую надпись на стене, а — «мене, текел, фарес» не видите?..

«...Так, за этим пиршественным столом не забудем, что сегодня политзаключённые держат голодовку в отстаивании своих умалённых или вовсе растоптанных прав».

Не сказано — чьи заключённые, не сказано — где, но ясно, что у нас. И это — не придумано, известно мне, что 10 декабря наши зэки во Владимирском центре, и в Потьме некоторые, и некоторые в *гурдомах* будут держать голодовку. Объявится о том с опозданием — а я вот в самый срок.

(Средь поздравлений меня с премией было и из потьминских лагерей коллективное, но там проще подписи собрать, а как вот во Владимирской тюрьме умудрились стянуть 19 подписей через каменные стены? и мне принесут на днях, самое дорогое из поздравлений:

«Яростно оспариваем приоритет Шведской Академии в оценке доблести литератора и гражданина... Ревниво оберегаем... друга, соседа по камере, спутника на этапе»).

Без колебания — посылать! Есть уже крыльная лёгкость, отчего ж не позволить себе это озорство? Как посылать? — да опять же через посольство.

Повадился кувшин по воду ходить.

Прошлый раз, опасаясь преграды, пошёл без телефонного звонка. Сейчас есть и номер:

— Господин Лундстрем?.. Вот я получил две телеграммы из Шведской Академии, хотел бы с вами посоветоваться...

(Не говорить же — несую подsunуть кое-что.)

Бедный Лундстрем, у него открыто крупно дрожали руки. Он не желал оскорбить лауреата грубым отказом, а Ярринга не было, но (потом узнаю) посол запретил ещё что-нибудь от меня принимать после того наглого письма, не прочтённого им вовремя: — «Довольно с меня посредничества между Израилем и арабами, чтоб я ещё посредничал между Солженицыным и Академией». 14 лет уже служил Лундстрем в Москве, очевидно спокойно, и всеми нитями связан с ней, — а теперь рисковал карьерой под силовым напором бывшего эка, не умея ему отказать. Отирая пот, нервно куря, и всей фигурой, и голосом, и текстом извиняясь:

— Господин Солженицын... Если вы разрешите мне высказать своё мнение... Но я должен говорить как дипломат... Понимаете, ваше приветствие [17] содержит политические мотивы...

— Политические?? — совершенно изумлён я. — Какие же? Где?

Вот, вот, — и пальцами, и словами показывает мне на последнюю фразу.

— Но это не направлено ни против какой страны, ни — группы стран! Международный День Прав человека — это не политическое мероприятие, а чисто нравственное.

— Но, видите, такая фраза... не в традиции церемониала.

— Если бы я был там — я бы ее произнёс.

— Если бы вы сами были — конечно. Но без вас устроители могут возражать... Вероятно, будут советовать с королём.

— Пусть советуются!

— Но пошлите почтой!

— Поздно, может опоздать к банкету!

— Так телеграммой!

— Нельзя: *разгласится!* А они просят сохранить тайну.

Трудно достались ему 15 минут. Брал от меня, ещё с извинениями, заявление в посольство (об отправке письма). Предупреждал, что может и не удался. Предупреждал, что это — последний раз, а уж нобелевскую лекцию ни в коем случае не возьмёт...

Безжалостно я оставил ему свою речужку, ушёл.

А оказалось: на собственные деньги, потративши свой уикенд, он частным образом поехал в Финляндию, и оттуда послал.

Вот он, европеец: не обещал, но сделал больше, чем обещал.

Впрочем, совесть меня не грызёт: те, кто держат голодовку во Владимирской тюрьме, достойны этих затрат дипломата.

Обидно другое: фразу-то выкинули, на банкете её не прочли! То ли — церемониала стеснялись, то ли, говорят, опасались за меня. (Они ведь все меня жалеют. Как сказал шведский академик Лундквист, коммунист, ленинский лауреат: «Солженицыну будет вредна Нобелевская премия. Такие писатели, как он, привыкли и должны жить в нищете».)

Этот мой необычный — нобелевский — вечер мы с несколькими близкими друзьями отметили так: в чердачной «таверне» Ростроповича сидели за некрашеным древним столом с диковинными же бокалами, при нескольких канделябрах свечей, и время от времени

слушали сообщения о нобелевском торжестве по разным станциям. Вот дошло до трансляции банкетных речей. Одну передачу смазала заглушка, но такое впечатление, что моей последней фразы не было. Дождались повторения речи в последних известиях, — да, не было!

Эх, не знают русского Самиздата! — завтра утречком па-а-сыпятся бумаженьки с моим банкетным приветствием.

Снова на инструктажах: «Ведь была ему дана возможность уехать — не уехал! остался вредить здесь! Всё делает как хуже советской власти!» Но газетная кампания против меня в этот раз (как всегда, когда проявишь силу) не сложилась — или я её, по привычке, не ощутил? Я уже настолько вырвался из круга их убогой терминологии, что перестал их замечать. Прорвалась статья в «Правде», что я «внутренний эмигрант» (после отказа эмигрировать!), «чуждый и враждебный всей жизни народа», «скатился в грязную яму», романы мои — «пасквили». Подпись под статьёй была та самая, что под статьями античехословацкими, толкнувшими оккупацию, и естественно было ждать разворота и свиста. Но — не наступило. Ещё в генеральской прессе, более верной идеям партии, чем сама партия, разъяснили армейским политрукам, что: «нобелевская премия есть каинова печать за предательство своего народа»*. Ещё на инструктажах, как по дёргу верёвочки: «Он, между прочим, не Солженицын, а Солженицер...» Ещё в «Литгазете» какой-то беглый американский эстрадный певец учил меня русскому патриотизму...

Как и всё у них, закисла и травля против меня, и письмо у Суслова — в той же их немощной невсходной опаре. Движение — никуда. Брежневское цепенение.

Не сбылась моя затея найти какой-то мирный выход. Но и нобелевский кризис, угрожавший вывернуть меня с корнем, перенести за море и похоронить под пластами, после слабых этих конвульсий — утих.

И всё осталось на местах, как ничего не произошло.

В который раз я подходил к пропасти, а оказывалась — ложбинка. Главный же перевал или главная пропасть — всё впереди, впереди.

* * *

Хотя и следующий, 1971 год я совсем не бездейтельно провёл, но сам ощутил его как проход полосы затмения, затмения решимости и действия.

Во многом я чувствовал так потому, что проступила, надавила, ударила та сторона жизни, которая на струне моего безостановного движения всегда была мною пренебрежена, упущена, не рассмотрена, не понята, и теперь отбирала сил больше, чем у всякого другого бы на моём месте, едва ли не больше, чем ухабы главного моего пути. Шесть последних лет я сносил глубокий пропастный семейный разлад и всё откладывал какое-нибудь его решение — всякий раз в нехватке времени для окончания работы, или части работы, всякий раз уступая, смягчая, убагачивая, чтобы выиграть вот ещё три месяца, месяц, две недели спокойной работы и не отрываться от главного дела. По закону сгущения кризисов отложенное хлопнуло как раз на преднобелевские месяцы — и дальше растянулось на год, на два и больше. (Государство не упустило вкогтиться в развод как в добычу, поддерживая отказы жены, поволокли меня через четыре судебных разбирательства, и сложилась такая уязвимость: что ни случись со мной, сестра моей работы и мать моих детей не может

* «Коммунист Вооружённых Сил», 1971, № 2.

ни ехать со мною, ни прийти в тюрьму на свидание, ни защищать меня и мои книги, это всё попадало к врагам.)

А ещё потому, должно быть, что не бывает пружин вечного давления, и всякий напор когда-то осуждён на усталость.

Так ждал этого великого события — получить Нобелевскую премию, как высоту для атаки, — а как будто ничего не совершил, не пшиком ли всё и кончилось? — даже лекции не послал.

Моя нобелевская лекция заранее рисовалась мне колокольной, очистительной, в ней и был главный смысл, зачем премию получать. Но сел за неё, даже написал — получалось нечто, трудно осиливаемое.

Хотел бы я говорить только об общественной и государственной жизни Востока, да и Запада, в той мере, как доступен был он моей лагерной сметке. Однако, пересматривая лекции своих предшественников, я увидел, что это дерёт и режет всю традицию: никому из писателей свободного мира и в голову не приходило говорить о том, у них ведь другие есть на то трибуны, места и поводы; западные писатели, если лекцию читали, то — о природе искусства, красоты, природе литературы. Камю это сделал с высшим блеском французского красноречия. Должен был и я, очевидно, о том же. Но рассуждать о природе литературы или возможностях её — тягостная для меня вторичность: что могу — то лучше покажу, чего не осилю — о том и не рассуждаю. И такую лекцию мою — каково будет прочитать бывшим эзкам? Для чего ж мне был голос дан и трибуна? Испугался? Разнежился от славы? Предал смертников?

Посилился я соединить тему общества и тему искусства — всё равно не получилось, два многогнутых стержня, отделяются, распадаются. И пробные близкие подтвердили — не то. И послал я шведам письмо, всё объяснил, как есть, честно: потому и потому хочу от лекции отказаться. [18]

Они вполне обрадовались: «То, что для учёного кажется естественным, может оказаться неестественным для писателя — как раз в вашем случае... Вы не должны чувствовать, что как бы нарушили традицию».

И на том — закрыли мы лекцию. Впрочем, тут ещё недоразумение было: директору Нобелевского Фонда пришлось публично объявлять о моём отказе. Но, видимо, опасаясь причинить мне вред, он не обнаружил истинной причины отказа, а сочинил свою, для Запада вполне приличную, не догадавшись (роковой разрыв западного и восточного сознаний!), что на Востоке такая причина позорна для меня: потому де не посылаю лекции, что не знаю, каким путём отправить: легальным — цензура задержит, нелегальным — рассматривается властями моей страны как преступление. То есть получив Нобелевскую премию, я стал благонамеренный раб?.. Это меня уязвило, пришлось послать опровержение, оно застряло в пути. Поди, из нашей дыры руками маши, ведь мы бесправны и безголосы, нас выверни как хочешь. (Через полтора года, уже после лекции, это выплывает в «Нью-Йорк Таймс» такой наоборотицей: будто я сперва составил вариант лекции вялый, чисто-литературный, а друзья пристыдили меня: нужно острее!)

Но та была правда в этом случайном вздоре, что пригнулась стальная решимость, с какой я прорезался все годы от ареста и без какой — не дойти.

Я не заступился за Буковского, арестованного в ту весну. Не заступался за Григоренко. Ни за кого. Я вёл свой дальний счёт сроков и действий. Главный-то грех был во мне — «Архипелаг».

Сперва я намечал его печатанье на Рождество 1971. Но вот оно и пришло, и прошло, — а у меня отодвинуто. (Впрочем, на европейские языки всё ещё не переведено, не готово.) Для чего же спешили с таким страхом и риском? Уже Нобелевская премия у меня — а я отодвигаю? Какие бы объяснения я ни подстирал, но для тех, кто в лагер-

ные могильники свален, как мороженные брёвна, с дроб по четыре, мои резоны — совсем не резоны. Что было в 1918, и в 1930, и в 1945 — неужели в 1971 ещё не время говорить? Их смерть хоть рассказом окупить — неужели не время?..

Если бы я поехал — уже сейчас бы сидел над корректурой «Архипелага». Уже весной бы 1971 напечатал его. А теперь измысливаю оправдание, как отодвинуть, отсрочить неотклонимую чашу.

Нет, не оправдание — хотя для строгости лучше признать так. Не оправдание, потому что не я один, но и многие из 227 эзков, дававших показания для моей книги, могут жестоко пострадать при её опубликовании. И для них — хорошо бы она вышла попозже. А для тех, похороненных, — нет! скорей!

Не оправдание, потому что Архипелаг — только наследник, дитя Революции. И если скрыто о нём, — то ещё скрытее, ещё недокопаемей, ещё искажённее — о ней. И с ней спешить — ещё более надо, никак не отлагательней. И так сошлось, что именно — мне. И как всё успеть одному?

В мирной литературе мирных стран — чем определяет автор порядок публикации книг? Своею зрелостью. Их готовностью. Хронологической очерёдностью — как писал их или о чём они.

А у нас — это совсем не писательская задача, но напряжённая стратегия. Книги — как дивизии или корпуса: то должны, закопавшись в землю, не стрелять и не высовываться; то во тьме и беззвучии переходить мосты; то, скрыв подготовку до последнего сыпка земли, — с неожиданной стороны неожиданный миг выбегать в дружную атаку. А автор, как главный полководец, то выдвигает одних, то задвигает других на пережидание.

Если после «Архипелага» мне уже не дадут писать «Р-17», то как можно большую часть его надо успеть до.

Но и так — бессмысленная задача: 20 Узлов, если каждый по году, — 20 лет. А вот «Август» 2 года писался, — значит 40 лет? Или 50?

Постепенно сложилось такое решение. Критерий — открытое появление Ленина. Пока он входит по одной главе в Узел и не связан прямо с действием — этим главам можно оставлять пустые места, утаивать их, Узлы выпускать без них. Так возможно с первыми тремя, в Четвёртом Узле Ленин уже в Петрограде и ярко действует, открыть же авторское отношение к нему — это всё равно что «Архипелаг». И так — написать и выпустить три Узла — а потом уже двигать всё оставшееся, в последнюю атаку.

По расчётам казалось, что это будет весна 1975 года.

Человек предполагает...

Окончательное решение, окончательный срок приносили лёгкость и свет. Пока — отодвинуть, и работать, работать. Зато потом — вплотную неизбежно, безо всякой лазейки. И радость: неизбежно? — тем проще!

Пока — печатать уже готовый «Август». Новизна шага: открыто, в западном издании, от собственного имени, безо всяких хитрых уклонов, что кто-то использовал мою рукопись, распространил без ведома, а останьтесь де руки мои коротки. Всё-таки — новый угол радостного распрямления, всё-таки — движение в ту же сторону. Что-то скажется прямо и о Боге, залузганном семечками атеистов. И для будущих публикаций не безразлично, как будет принят на Западе «Август».

Без вынужденной ленинской главы не было в «Августе» почти ничего, что разумно препятствовало бы нашим вождям напечатать его на родине. Но слишком ненавистен, опасен и подозрителен (не без оснований) был я, чтобы решиться утверждать меня тут печатанием. Я это понимал и не дал себе труда послать рукопись «Августа» советскому издательству (да это было бы и уступкой по сравнению с «суловским» письмом: сперва пусть «Раковый» печатают). «Нового мира» не было теперь, и я свободен был от частных обязательств. В марте я уже от-

правил рукопись в Париж, обещал Никита Струве за три месяца набрать. Тут Ростропович, в духе своих блестящих шахматных ходов, предложил всё-таки послать и в советское издательство — изобличить их нежелание. «Да я даже экземпляра им не дам трепать! Одна закладка сделана, для самиздата!» — «А ты и не давай. Ты пошли им бумажку: *извести*, что кончил роман, пусть сами у тебя просят!» Это мне понравилось. Не одну, а семь бумажек отпечатал, в семь издательств, в разных вариантах: ставлю вас в известность, что окончил роман на такую-то тему, такой-то объём. Разослал. Игра всё-таки с риском: а вдруг запросят? придётся дать рукопись, и тогда остановить набор в Париже? Печатать всё равно не будут, а год вполне могут у меня вырвать. Но так уже тупо заклинило у нас, что и этого хода они не использовали: ни одно издательство и ухом не повело, не отозвалось. (Да может были даже разочарованы, что я пишу о 1914, как бы уклоняюсь от окончательной расправы надо мной.) Впрочем, рукопись они раздобыли иначе и дали в ФРГ Ланген-Мюллеру готовить пиратское издание ещё раньше, чем вышел оригинал в Париже. Откуда ж они взяли текст? Ведь я не давал в самиздат. Думаю — в квартире, где считывали отпечатки вслух, — записали на магнитофон? ведь везде подслушивание. Или, быть может, произошла утечка у кого-то из моих «первочитателей» (зимой 1970-71 человек тридцать читало: по новизне дела, исторический роман, я просил их заполнить некую авторскую анкету, помочь мне разобраться). А не совсем исключено, что перефотографировали тот экземпляр, который с февраля по май был у Твардовского и давался на вынос нескольким читателям, не известным мне.

Твардовский-то! — так ждал эту вещь для своего журнала когда-то. Теперь ему хоть перед смертью бы её прочесть.

В феврале 1971, как раз через год после разгрома «Нового мира», его выписали из кремлёвской больницы, искалеченного неправильным лечением, с лучевой болезнью. И мы с Ростроповичем поехали к нему.

Мы ожидали застать его в постели, а он — стараясь для нас? — сидел в кресле, в больничной курточке фиолетово-зелёно-полосчатой и в больничных кальсонах, обернут ещё пледом. Я наклонился поцеловать его, но он для того хотел непременно встать, поднимали его с двух сторон дочь и зять, правая сторона у него бездействовала и сильно опухла правая кисть.

— По-ста-рел, — тяжело, но чётко выговорил он. Неполная по движениям губ улыбка выражала сожаление, даже сокрушение.

По краткости фразы (а оказалась она едва ли не самой длинной и содержательной за всю беседу!), по недостатку тона и мимики я так и не понял: извинился ли он за старение своё? или поражался моему?

Опять его опустили, и мы сели против него. Всё в том же памятном холле, в сажени от камина, и даже на том самом месте, где впервые, в живых движениях и словах, он поразил меня своей склонностью к самиздату и к Би-Би-Си. Теперь, лицом к целостному окну, он сидел почти без движений, почти без речи, и голубые глаза, ещё вполне осмысленные, а уже и рассредоточенные, как будто теряющие собственную центральность, — то ли понимание выражали, то ли пропуски его, а всё время жили наполненной, чем речь.

Быстро определилось, что связных фраз он уже не говорит вообще. В напряжении начинает — вот, скажет сейчас, — нет, выходит изо рта набор междометий, служебных слов — без главных содержательных:

— А как же... как раз... это самое... вот... ?

Но действующей левой рукой — курил, курил неисправимо.

Жена А. Т. принесла 5-й, последний, том его собрания сочинений. Я высказал, что помню: тот самый том, который задерживало упорство А. Т. не уступить абзацев обо мне. (Но не спросил, как теперь, наверно уступлены.) А. Т. — кивает, понимает, подтверждает. Потом я выта-

шил переплетенный в два тома машинописный «Август» и, невольно снижая темп речи, упрощая слова, показывал и растолковывал Трифону, как мальчику, — что это часть большого целого, и какая, зачем приложена карта. Всё с тем же вниманием, интересом, даже большим, но отчасти и рассредоточенным, он кивал. Выговорил:

— Сколько... ?

Второе слово не подыскалось, но очень ясен редакторский вопрос: сколько авторских листов? (Во скольких номерах «Нового мира» это бы пошло?..)

Читал я расстановочно и своё письмо Суслову, объяснял своиходы и препятствия в «Нобелиане», и с Яррингом, и с премиальными деньгами, — всё это с большим вниманием и участием вбирал он, и движениями головы и заторможенной мимикой выказывал своё вовсе не заторможенное отношение. Усиленно и иронично кивал, как он с Сусловым меня знакомил. Как бы и смеялся не раз, даже закатывался — но только глазами и кивками головы, не ртом, не полновзвучным хохотом. Увидев карту при «Августе», изумленно мычал, как делают немцы, так же — на произошедшее тем временем тайное моё исключение из Литфонда. Будто понимал он всё — и тут же казалось: нет, не всё, с перерывами, лишь когда сосредотачивался.

Мне приходилось разговаривать с людьми, испытывающими частный паралич речи, — эти мучения передаются и собеседнику, тебя дёргает и самого. У А. Т. — не так. Убедясь в невозможности выразиться, и не слыша правильного подсказывающего слова, он не сердится на это зря, но общим тёплым принимающим выражением глаз показывает свою покорность высшей стихии, которую и все мы, собеседники, признаём над собой, но которая нисколько не мешает же нам понимать друг друга и быть единого мнения. Активная сила отдачи была скована в А. Т., но эти тёплые потоки из глаз не ущерблены, и болезнью измученное лицо сохраняло его изначальное детское выражение.

Когда Трифону особенно требовалось высказаться, а не удавалось, я помогающе брал его за левую кисть — тёплую, свободную, живую, и он ответно сжимал, — и вот это было наше понимание.

...Что всё между нами прощено. Что ничего плохого как бы и не было — ни обид, ни суеты...

Я предложил домашним: отчего б ему не писать левой рукой? всякий человек может, даже не учась, я в школьное время свободно писал, когда правая болела. Нашли картон, прикрепили бумагу, чтоб не сползала. Я написал крупно: «Александр Трифонович». И предложил: «А вы добавьте — Твардовский». Картон положили ему на колени, он взял шариковую ручку, держал её как будто ничего, но царапающе-слабые линии едва-едва складывались в буквы. И хотя много было простора на листе — они налезли на мою запись, пошли внакладку. А главное — цельного слова не было, смысловая связь развалилась:

Т р с и...

Как же он отзовется на мой роман? Что теперь ему в этом чтении? Я предложил два цвета закладок — для мест «хороших и плохих».

И ещё сколько не увидит он, не узнает! — самого интересного в России XX века. Предчувствовал:

Смерть — она всегда в запасе,
Жизнь — она всегда в обрез.

А болезни своей он так и не ведал. Грудь болит, кашель, — думает: от курения. Голова? — «у меня болезнь, как у Ленина», — говорит домашним.

Потом затеяли чай, одевали А. Т. в брюки, вели к столу. Особенно на ковре бездейственная нога никак не передвигалась, волочилась, её

подтягивали руками сопровождающих; усадив отца на стул, весь стул вместе с ним, крупным, ещё подтягивали к столу.

Ростропович за чаем в меру весело, уместно, много рассказывал. А. Т. всё рассеянной слушал, совсем уже не отзывался. Был — в себе. Или уже там одной ногой.

А потом мы опять отвели его в кресло к окну — так, чтобы видел он двор, где три года назад, чистя снег, складывал своё письмо к Федину; и прочищенную не им дорожку к калитке, по которой мы с Ростроповичем сейчас уйдём.

Ах, Александр Трифонович! Помните, как обсуждали «Матрёнин двор»? — если бы октябрьская революция не произошла, страшно подумать, кем бы вы были?..

Так вот и были бы: народным поэтом, покрупней Кольцова и Никитина. Писали бы свободно, как дышится, не отсиживали бы четырёхста гнусных совещаний, не нуждались бы спастись водкой, не заболели бы раком от несправедного гонения.

А когда через три месяца, в конце мая, мы с Борисом Можаяевым ещё раз приехали к нему — Трифону, к моему удивлению, оказался значительно лучше. Он сидел в том же холле, в том же кресле, так же повернутый лицом, к дорожке, по которой приходили из мира и уходили в мир, а он сам не мог добрести и до калитки. Но свободной была его левая нога, и левая рука (всё время бравшая и поджигавшая сигареты), свободнее мимика лица, почти прежняя, и, главное, речь свободнее, так что он осмысленно мог мне сказать о книге (прочёл! понял!) «Замечательно», и ещё добавил движением головы, мычанием.

Стояло в холле предвечернее весёлое освещение, щебетали птицы из сада, Трифону был намного ближе к прежнему виду, рассказываемое всё понимал, и можно было вообразить, что он выздоравливает... Однако левой рукой не писал и связанных фраз более не выговаривал.

Увы, и в этот последний раз я должен был скрыгичать перед ним, как часто прежде, и не мог открыться, что через две недели книга выйдет в Париже...

Тем более не мог ему открыть, не мог высказать при домашних, чем ещё я очень занят был в ту весну (в перерыве между Узлами, в перерывах главной работы всегда проекты брызжут, обсуждался уже со многими самиздатский «журнал литературы и общественных запросов» — с открытыми именами авторов; уже и редакционный портфель кое-что содержал).

В ту весну 71-го внешне только и было одно событие со мной: выход «Августа», открыто от моего имени. (При этом я предполагал опубликовать своё письмо Суслову, объясняя, что им — было предложено, это они отвергли все мирные пути. Но потом раздумал: сам по себе выход книги сильнее всякого письма, нападут — опубликую.)

Не сразу собрались напасть на «Август», сложно готовились. Тем временем, как бывает при затишьи военных действий, шла непрерывная подземная, подкопная, минная война. Она полна была труда, забот, высших волнений, — пройдёт или нет? срыв или удача? — а снаружи совершенно не видна, снаружи — бездействие, дремота, загородное одиночество. Мы — готовили фотокопии недостающих на Западе моих вещей, ещё много было прорех, и пользуясь каналом, о котором когда-нибудь (Пятое Дополнение), — благополучно отправили всё на запад, создали недостижимый для врага сейф. Это была крупнейшая победа, определяющая всё, что случится потом. («Архипелаг» пришлось сдублировать, послать вторично. Та рискованная Троицына отправка расплылась потом в человеческом несовершенстве, я перестал быть её полным хозяином, и мне надо было снабдить адвоката независимым экземпляром. Об этом тоже когда-нибудь, Шестое Дополнение.) Только с этого момента — с июня 1971 года я действительно был готов и к боям и к гибели.

Нет, даже ещё не с этого, позже. Моё главное завещание (невозможное к предъявлению в советскую нотариальную контору) было отправлено адвокату Хеебу в 1971, но — незаверенным. Лишь в феврале 1972 приехавший в Москву Генрих Бёль своей несомненной подписью скрепил каждый лист, — и вот только отправив на Запад это завещание, я мог быть спокоен, что обеспечена и будущая судьба моих книг и посмертная воля.

Завещание начиналось с программы, для отдельной публикации:

«...Настоящее завещание вступает в силу в одном из трёх случаев:

— либо моей явной смерти;

— либо моего бесследного (сроком в две недели) исчезновения с глаз русской общественности;

— либо заключения меня в тюрьму, психбольницу, лагерь, ссылку в СССР.

В любом из этих случаев мой адвокат г. Ф. Хееб публикует моё завещание, и этой публикацией оно вводится в силу. Никакое в этом случае моё письменное или устное возражение из тюрьмы или иного состояния неволи не отменяет, не изменяет в данном завещании ни пункта, ни слова. Некоторые скрытые подробности и личные имена устройств, распорядителей оглашаются моим адвокатом лишь после того долгожданного дня, когда на моей родине наступят элементарные политические свободы, названным лицам не будет грозить опасность от разглашения и откроется ненаказуемая легальная возможность это завещание исполнять...»

И дальше — распределение Фонда общественного использования (я называл не цифры, а цели, в которых хотел бы участвовать, надеясь, что они привлекут и других желателей помочь, и таким образом будут восполнены недостающие суммы).

Такая публикация сама по себе представляла сильный отдельный удар.

Долго это, долго: подготовить к бою корпуса, снабдить до последнего патрона и вывести на исходные позиции.

За этим многолетним изнурительным поединком многое важное я и пропуская. Долго болел Александр Яшин и настойчиво звал меня к себе в больницу, ощутил, что нужен я ему перед смертью, хотя мы почти незнакомы. А я долго же и собирался: то душа занята, то ведь, чтобы мочь поехать, надо тайники выгрести. Наконец поехали к нему, с тем же Можяевым, — остановили нас перед дверью палаты: подождите. Через полчаса пустили — за эти-то полчаса он и умер, пока я был за порогом. Лежал с ещё живым лицом, плакала вдова.

А разговор с Фёдором Абрамовым, ещё в «Новом мире» когда-то, я отложил из-за того, что мне о нём говорили, и не один человек, будто он — бывший следователь КГБ. А вроде — оказалось и неправда. Так и обидел его зря.

С ними-то — как раз и надо было говорить.

А враги — вели подкопы свои, о которых мы, естественно, не знали. В Западной Германии и в Англии в 1971 готовились пиратские издания «Августа» с целью подорвать права моего адвоката и с этой стороны разрушить моё возможное печатание на западе*. В СССР по тексту «Августа» начались розыски моего *соцпроисхождения*. Почти все родственники уже были в земле, но выследили мою тётку — и к ней отправилась гебистская компания из трёх человек выкачать на меня «обличительные» данные.

* С выходом «Августа» на Западе состроились и комические эпизоды. Появилась статья проф. Н. Ульянова, эмигранта, в «Новом Русском Слове» — «Загадка Солженицына»: открыл он, что никакого «Солженицына» в природе нет, это — работа коллектива КГБ, не может один человек так дотошно знать и описывать и тюремные процедуры, и виды онкологического лечения, и исторические военные события, да ещё в каждой книге свой новый язык! А переводчик «Августа» на английский М. Гленни, оправдывая свой поспешный и губительный перевод, давал интервью, что «Август» настолько плохо написан по-русски, что ему, Гленни, приходилось целые фразы *менять*.

А я тем летом был лишён своего Рождества, впервые за много лет мне плохо писалось, я нервничал — и среди лета, как мне нельзя, решил ехать на юг, по местам детства, собирать материалы, а начать — как раз с этой самой тёти, у которой не был уже лет восемь.

В полном соответствии с ситуациями минной войны иногда подкопы встречаются лоб в лоб. Если б я доехал до тёти, то гебистская компания приехала бы при мне. Но меня опалило в дороге, и я с ожогом вернулся от Тихорецкой, не доехав едва-едва. Гебисты-«почитатели» успешно навестили тётю, от неё получили (для «Штерна») её записи, её устные рассказы, и вот ликовали! По 20-м—30-м годам обвинения были бы убийственные, это всё и скрывали мы с мамой всю жизнь, дрожа и сгибаясь в раздавленных хибарках. Однако сорвался другой их подкоп: благодаря внезапному возврату (всё те же правила минной войны), я попросил приятеля (Горлова) съездить в Рождество за автомобильной деталью. Он мог поехать во всякий другой день, но по случаю поехал тотчас, едва я вернулся с юга, — 11 августа, и час в час накрыл девятирех гебистов, распоряжавшихся в моей дачке! Не вернулся я с юга — их операция прошла бы без задоринки, — кто больше выиграл, кто проиграл от моего возврата? В Рождестве в это лето жила моя бывшая жена, она была под доглядом своего друга (их человека), и в этот день гебистам было гарантировано, что она — в Москве и не вернётся. А я — на юге. Они так распустились, что даже не выставили одного человека в охранение, — и Горлов застал их в разгар работы, а может быть — лишь при начале её: ставили ли они какую-нибудь сложную аппаратуру? но обыска подробного ещё не успели произвести, или так и не научились этого делать? Сужу по тому, что через год, опять, коротко, живя летом в Рождестве, я обнаружил там не уничтоженный мною по недосмотру, давно привезенный на сожжение полный комплект (по предыдущую главу) копирки от этого самого «Телёнка», которого сейчас читает читатель, и такой же комплект копирки от сценария «Знают истину танки!» Каждый лист пропечатывался дважды, но очень многое легко читалось, — и давно б у них были почти полные тексты, — нет, прошлёпали гебисты! (Позже я узнал: на другое утро, в 4 часа, в тумане, под лай собак, опять приходил их десяток, что-то доделать или следы убрать. Напуганные соседи подсматривали меж занавесок, не вышел никто.) Из-за Горлова пришлось им всё бросить, и бежать, правда — Горлова волокли за собою как пленного, лицом об землю, и убили бы его, несомненно, но он успел изобрести и в горячие минуты выдать себя за иностранного подданного, а такого нельзя убивать без указания начальства, затем сбежались соседи, потом обычный допрос в милиции — и так он уцелел. Он мог бы смолчать, как требовали от него, — и ничего б я не узнал. Но честность его и веяния нового времени не позволили ему скрыть от меня. Правда, моего шага [19] он не ждал, даже дух перехватило, а это было — спасенье для него, чтоб не давили вглухую. Я лежал в бинтах, беспомощный, но разъярился здоровей здорового, и опять меня заносило — в письме Косыгину [20] я сперва требовал отставки Андропова, еле меня отговорили Ростропович с Вишневской, высмеяли.

Так взорвался наружу один подкоп — и кажется, дёрнул здорово, опалило лицо самому Андропову. Позвонили (!) ничтожному эзку, передали от министра лично (!): это не ГБ, нет, милиция... (Надо знать наши порядки, насколько это нелепо.) Вроде извинения...

Другие подкопы они взорвали осенью: два пиратских издания «Августа», потом статья в «Штерне». Считаю, что взрывы намного слабей: мудростью главным образом английского судьи, создавшего юридический прецедент о праве Самиздата, проиграли они годовые судебные процессы, и права моего адвоката утвердились крепче, чем стояли. А статья «Штерна», перепечатанная «Литературкой», вызвала в СССР не гнетущую атмосферу травли, как было бы в славные юносоветские годы, а взрыв весёлого смеха: так трудолюбивая хорошая

семья?! (И сами же себе развалили «сионистскую» трактовку моей деятельности.)*

Вот времена! — кучка нас, горсточка, а у них — величайшая тайная полиция мировой истории, какой опыт, сколько лбов дармовых, какая механизация врубового дела, сколько динамита, — а минную войну не могут выиграть.

С нашей стороны тут было и не без избыточного озорства. Например, в декабре 1971, отправляя по почте письмо в Швейцарию своему адвокату (письма эти когда доходили, когда нет), я положил в конверт «ВЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЦЕНЗУРЫ Московского Международного почтамта

В вашей фактической власти всякое письмо — читать, анализировать, фотографировать, изучать на нюх, на просвет, над огнём, с помощью мочи и других химикалиев. Однако вы обязаны доставлять его адресату в сроки, правдоподобные при нынешних транспортных скоростях, — хотя бы для того, чтобы прикрыть свою деятельность и сделать вид, что почтовая связь как бы существует. Если ещё раз какое-либо письмо ко мне или от меня пропадёт или долго задержится (срочное письмо — 35 дней!), — я вынужден буду написать вам *открытое* письмо на эту тему. Оно не покроет вас славой.

А. Солженицын».

(И самое смешное, что это вложение дошло в сохранности до Хееба! — цензура предпочла притвориться, что её нет! Вот уж мы с Алей смеялись, узнав!)

А в марте 1972 как-то раз мои доброты в одном учреждении, где прихожий гебист положил портфель и отлучился в другую комнату, с отчаянной смелостью заглянули в портфель, успели перекопировать и передали мне:

«I отдел 5 Управл. КГБ при СМ СССР — Широнину
Ленинград. УКГБ — Носыреву

6 марта вечерним поездом из Москвы в гор. Ленинград в сопровождении «НН» выезжает жена «Паука» — Решетовская Наталья Алексеевна. Просим вас дать указание продолжать мероприятие «НН» в отношении Решетовской, выявлять посещаемые адреса. В Ленинграде Решетовская ориентировочно пробудет до 19 марта.

Зам. начальника 5 Управления КГБ
ген-майор Никишкин».

Я — не забеспокоился. Я не знал, что у Самутина, к которому Н. А., вероятно, пойдёт, всё ещё, вопреки моему настоянию сжечь, хранится «Архипелаг».

Много тут ещё случаев. Если рассказывать подробно и всё вспоминать, то все годы большая часть наших забот и тревог уходила не на крупные действия, дающие плодоносные результаты, но на волненья, метанья, поиски, предотвращенья, предупрежденья, — это в условиях, когда у них слезка, у них связь, телефонная, почтовая, а нам нельзя ни звонить, ни писать, иногда и встречаться, — а как-то спастись положение. Таких острых опасностей было два десятка, не преуменьшу, — когда-нибудь рассказать о них подробней.

Тут вспомню два-три случая. Один — в Свердловске (не хочется это грязное название и писать), куда заслан на хранение «Круг

* Что кончилось так благополучно — не вина «Штерна». «Штерн» снова сделал всё возможное, чтобы положить мою голову под топор: взял на себя смелость (и художественное безвкусие) утверждать, что действие «Августа» лишь условно перенесено в предреволюционное время, а на самом деле трактуются современные проблемы. Журнал «Штерн» подсказывал советскому суду, что фразу персонажа о «дураках, управляющих Россией», надо понимать как излитие ненависти Солженицына к современным властителям СССР.

первый», 96-главый. Не по слежке, не по подозрению, но по обстоятельству, которого предвидеть невозможно, в комнату, где хранится «96»-й, приходят гебисты. Ясно, что обыск, и спасенья нет. А они — обыска не делают, лишь требуют признания, что у человека есть «Читают Ивана Денисовича». Он признаётся, сдаёт. Но «96»-го не уничтожает, — ведь велено хранить, и ещё долгая переписка с оказиями, мы знаем о визите ГБ, возможен повторный, и захватят «96»-й, сжигайте скорей! ответа долго нет! пока наконец сжигается.

Другой раз грянуло: «Телёнок» — вот этот самый опять, который вы держите сейчас в руках, «Телёнок» — *ходит по Москве!* Ошеломительно! Ведь тут — всё нараспашку, всё названо открыто, опаснее этого — что же ещё? Хранили, таили — как вырвалось? где? через кого? почему? начинаем следствие, проверяем наши экземпляры, надо (А. А. Угримову, Пятое Дополнение) ехать за город и физически проверить, что на месте, что не двигалось, что не могли перефотографировать. Подозрение, недоверие, все в суматохе и переполохе.

И — поиск с другого конца: кто слышал, что читали? кому рассказали, что кто-то читал? и кто же — читал сам? как выглядел экземпляр? на чьей квартире читали? их адрес, их телефон? (Не обойтись без названий по телефонам голосами взволнованными, уже на Лубянке, наверно, заметили, вперевод нам пометёт и их погоня сейчас!) На ту квартиру! Колитесь честно, лучше передо мной, чем ждать, пока прикатит ГБ. Колются, называют. И — машинописный отпечаток кладут передо мной. Экземпляр — не наш! (наши честно на месте оказались). Не наш — значит, новая перепечатка! Ещё четыре-пять таких? Не наш — и не фотокопия нашего. Но спечатан — точно с нашего, и даже рукописно внесены мои последние поправки. Значит — воровали мне вослед, копировали из-под руки, кто-то самый близкий, тайный, кто же? Звонить тому человеку, кто приносил. Нет дома. Сидим и ждём, меньше мельканья. Через несколько часов — приходит тот человек, и смущённо называет источник. Из самых доверенных! Дали ей — только прочесть. Она — тайком перепечатала (для истории? для сохранности? просто маниакально?). И дала прочесть — одному ему (он — близкий). А он принёс — этим, в благодарность за какой-то должок. А эти — позвали на радость ближайшую подругу. А та взахлёб по телефону поделилась со своей подругой (А. С. Берзер). И на этом четвёртом колене — схвачено нами: Берзер передала — нам! Велика Москва, а пути по ней — короткие. Звоню и виновнице. Встречаюсь и с ней. Признанья, рыданья. Впредь отсечена от доверия. Конфисковую добычу. За эти часы есть признаки: гебисты взволновались, засновали гебистские легковые по четыре молодчика в тёмном нутре. Облизнитесь, товарищи! Опоздали на полчаса! (Так и не знают: о чём был переполох? что мы искали? что они упустили?)

А в декабре 1969 — очень похожий случай с «Прусскими ночами». Так же вот слух по Москве: *ходят!* невозможно, но — *ходят!* Так же бросился по квартире, по следам, так же поймал копию: тоже — не наша! но — точно с нашей! Украдено! близким! кем? Находятся и следы: Лёва Копелев держал несколько дней, дал *почитать* родственнице, та — дальше, а те — *перешлокали*. И держали в тайне 4 года! Но поскольку меня изгнали из союза писателей — теперь отчего ж не пустить в самиздат? что ещё осталось для автора опасным?

Как мог — погасил по Москве, и в Уфе, куда уже проскочило. Движение рукописи прекратилось.

Вот из таких *спокойных* недель составляются *спокойные* наши годы, мирные, без заметных событий, когда главные силы неподвижны и «ничего не происходит».

И сколько же лет так можно тянуть? До сегодня — 27 лет, от первых стихов на шарашке, первых прятков и сжогов.

А над этой скрытой мелкой войною высоким слоем облаков — плывёт история, плывут события всем видные, — и своим чередом зовут к действию, исторгают выклик. Сколько-то удержано, сколько-то не удержать.

В декабре 1971 мы хоронили Трифоновича.

Перегорожены были издали прилегающие улицы, не скупясь на милиционеров, а у Новодевичьего кладбища — и войска (похороны поэта!), отвратительно командовали через мегафон автомобилям и автобусам, какому ехать. Кордон стоял и в вестибюле ЦДЛ, но меня задержать не посмели всё-таки (жалели потом). От неуместного алого шёлка, на котором лежала голова покойного (в первые же часы после смерти вернулось к нему детское доброе примирённое выражение, его лучшее) и чем затянут был гроб весь, от лютых и механических физиономий литературного секретариата, от фальшивых речей — всё, чем мог я его защитить, было два крестных знамения — после двух митингов — одно в ЦДЛ, другое на кладбище. Но думаю, для нечистой силы и того довольно. Допущенный ко гробу лишь по воле вдовы (а она во вред себе так поступила, зная, что выражает волю умершего), я, чтобы не подводить семью, не решился в тот же вечер дать в самиздат напутственное слово — и придержал его до девятого дня, оттого — каждый день читал его, читал, повторял — и вжился в это прощальное настроение, когда события жизнью мерятся совсем другими отрезками и высотами, чем мы делаем повседневно [21].

Высказал. Так естественно — смолкнуть теперь, само горло не говорит. Но всего через неделю, в сочельник ночью, слушаю по западному радио рождественскую службу, послание Патриарха Пимена — и загорается: писать ему письмо. Невозможно не писать! И — новые заботы, новое бремя, новая сгущённость дел.

(С того письма, нет, уже с «Августа», начинается процесс раскола моих читателей, потери сторонников, и со мной остаётся меньше, чем уходит. На «ура» принимали меня, пока я был, по видимости, только против сталинских злоупотреблений, тут и всё общество было со мной. В первых вещах я маскировался перед полицейской цензурой — но тем самым и перед публикой. Следующими шагами мне неизбежно себя открывать: пора говорить всё точнее и идти всё глубже. И неизбежно терять на этом читающую публику, терять современников, в надежде на потомков. Но больно, что терять приходится даже среди близких.)

* * *

Однако почему это всё здесь рассказывается? а где же обещанная Нобелиана?

А нобелиана — своим чередом. Пер Хегге был сильно сердит на Ярринга за низость в нобелевской истории и обещал непременно его разоблачить. Но Хегге выслали из СССР, я об его угрозе и забыл. А он — исполнил, и попал на лучшее время: в сентябре, за месяц до присуждения новых премий и в начале той сессии ООН, где будут выбирать генерального секретаря, куда Ярринг жаждет, опубликовал книгу воспоминаний — и в ней подробно, как Ярринг подыгрывал советскому правительству против меня. (Кстати, Хегге поместил там и непроверенные слухи, — например, что только Сахаров отговорил меня от поездки в Стокгольм; о том и разговора у нас никогда не было с Сахаровым.) И — создал в Швеции скандал, даже премьер-министру Пальме, легкокрылому и быстроумному социалисту, тоже сердечно расположенному к стране победившего пролетариата, пришлось оправдываться — и по шведскому телевидению, и письмом в «Нью-Йорк

Гаймс». Сперва: он, Пальме, не знал, как Ярринг распорядился. Потом и посмелей: а что ж оставалось делать? посольство — не место для политической демонстрации (как он заранее уверен, что чистой литературы тут не жди!). И опять качнули Шведскую Академию, пока нет ей со мной, такой хлопотной лауреат был ли когда раньше? Секретарь Академии Карл Гиров заявил: вот в понедельник напишу Солженицыну, не хочет ли он получить нобелевские знаки в посольстве. Юмор: это он — в субботу сказал, в субботу же и по радио передал. А у меня как раз оказия на Запад в воскресенье, сижу ночью письмо пишу. Я сразу ему — ответ, отослал в воскресенье. А Гиров, оказывается, не только в понедельник, но и три недели письма не отправил. А мой ответ — получил... Мой ответ: неужели Нобелевская премия — воровская добыча, что её надо передавать с глаза на глаз в закрытой комнате?.. А пока прислали мне коммюнике Академии (срок легальных писем — 3 недели в один конец), и я коммюнике услышал по радио, и — ответил тотчас же.

После долгой болезни я только вошёл в работу над «Октябрём 16-го», оказалось — море, двойной Узел, если не тройной: за то, что я «сэкономил», пропустил 1915 год, несомненно нужный, и за то, что в Первом Узле обошёл всю политическую и духовную историю России с начала века, — теперь всё это сгрудилось, распирает, давит. Только бы работать, так нет, опять зашумела нобелиана, как будто мне с медалью и дипломом на руках будет легче выстаивать против ГБ. Раз так — надо Узел бросать, опять оживлять и переделывать лекцию, а напишешь — с нею выступать. А там такого будет наговорено — может быть, и размалается моё утлое бытие, и моё пристанище тихое бесценное у Ростроповича, ах как жаль бросать Второй Узел, так хорошо я наметил: трудиться тихо до 1975 года.

Человек предполагает...

При новой редакции мне удалось освободить лекцию от избытка публицистики и политики, стянуть её точнее вокруг искусства и, может быть, приблизиться к — ещё никем не определённом и никому не ясному — жанру нобелевской лекции по литературе. Тем временем шла переписка с секретарём Шведской Академии Карлом Рагнарсом Гировым [22]. Шведское м.и.д. снова отказало предоставить посольство для церемонии, я предложил квартиру Али, где сам ещё не имел права жить [23]. Прецедента, кажется, не было, но Гиров согласился. За эти месяцы я очень оценил его такт и глубокие душевные движения, он всё более проявлял себя не исполнителем почётной должности, но сердечным, решительным и смелым человеком (была ему и в Швеции на многих нужна смелость). Стали уточнять срок. Он не смог в феврале и марте. Такая отложка устроила и меня: чтение лекции казалось мне взрывом, до взрыва надо было привести в порядок дела (сколько ни приводи, всегда они в расстройстве): хоть часть глав Второго Узла довести до чтимости; рассортировать перед возможным разгромом свои обильные материалы, накопленные для «Р-17», съездить ещё раз в Питер и посмотреть нужные места, пейзажи, до которых, может быть, меня уже никогда не допустят. (Отдельная новелла, как я проник в Таврический дворец, — Пятое Дополнение.)

Немало сил отобрало непривычное письмо Патриарху, надо было советовать (с отцом Глебом Якуниным) и не дать разгласиться. Тут ударила «Литературка» по моей родословной и по мне, приходилось изнехотя обороняться. Ещё плохо зная нравы западных корреспондентов, я дал ответ через корреспондента гамбургской «Ди Вельт», а он отдал в третьи руки, смазал, ответа не вышло, было мелко-досадно. А отвечать (не только на это, уж много накопилось, снесенного молча) мне казалось необходимым. И появилась естественная мысль: несколько назревающих выступлений стянуть во времени, так чтоб они прошли кучно, каскадом, семь бед один ответ, а не по-

одиночке. Такие сгущения событий рождаются сами собой в кризисные моменты, как было в апреле 1968 при выходе «Ракового», но кроме того их можно сгущать и по собственному плану, используя неповторимую особенность советских верхов: тупоумие, медленность соображения, неспособность держать в голове сразу две заботы. Дату нобелевской церемонии — 9 апреля, на первый день православной Пасхи, Гиров объявил, подавая заявление на визу, кажется, 24 марта. 17 марта я послал своё письмо Патриарху, рассчитывая, что оно опубликуется лишь в конце марта. Через несколько дней после него дам интервью, первое за 9 лет, форма, которой власти от меня не ждут, да большое. И прежде чем они успеют его переварить — проведу нобелевскую церемонию и прочту лекцию, в которой и полагал самое опасное. После чего и можно смиренно сидеть и ждать всех кар.

А пошло так: письмо Патриарху, пущенное лишь в узкоцерковный самиздат, с расчётом на медленное обращение среди тех, кого это действительно трогает, вырвалось в западную печать мгновенно. Как я потом узнал, оно вызвало у Госбезопасности захлёбную ярость — большую, чем многие мои предыдущие и последующие шаги. (Немудрено: атеизм — сердце всей коммунистической системы. Но, парадоксально: и среди интеллигенции этот шаг вызвал осуждение и даже отвращение: как я узок, слеп и ограничен, если занимаюсь такой проблемой, как церковная; или с другой мотивировкой: при чём тут духовенство? оно бессильно — то есть как и интеллигенция, самооправдание по аналогии, — пусть пишет властям. Подождите, дойдёт дело и до властей. При многом осуждении я ни разу не пожалел об этом шаге: если не духовным отцам первым показать нам пример духовного освобождения ото лжи — то с кого же спрос? Увы, наша церковная иерархия так и оставила нас на самоосвобождение.) И (позднейшая реконструкция) где-то в 20-х числах марта было принято давно откладываемое правительственное решение: ошельмовать меня публично и выслать из страны. Для этого расширилась и усилилась газетная кампания против меня. По обычному своему недоумию они выбрали невыгоднейшее для себя поле: клевать «Август», не перехваченный пиратскими перепечатками, так теперь объявленный моей самой лютой антипатриотической и даже антисоветской книгой. Для того мобилизовали коммунистическую западную прессу (ибо в СССР кто же мог «Август» прочесть?) и перепечатывали оттуда всякую ничтожную писанину — большей частью в «Литературке», но затем и в других центральных газетах, иные статьи обвиняли меня прямыми формулировками из уголовного кодекса, а послушная советская «общественность» от писателей до сталеваров посылала гневные «отклики на отзывы». На этот раз настолько твёрдо решение было принято, что придумывались и практические приёмы, как меня будут этапировать: через полицейское *задержание*, то есть временный арест (просочился к нам и этот замысел, сменивший прежний план автомобильной аварии, «вариант Ива Фаржа»); настолько твёрдо, что Чаковский на «планёрке» в своей редакции при 30 человеках открыто, многозначительно объявил: «Будем высылать!» Видимо, на середину апреля намечалась эта операция, к тому времени должна была достичь максимума газетная кампания.

Но мой график был стремительный. Американские корреспонденты пришли ко мне без телефонного звонка (сговорились через Ж. Медведева). Газеты их были две сильнейшие в Штатах, происходило это за полтора месяца до приезда американского президента в СССР. Интервью не имело значения общественного, я не говорил ни об узниках, ни о разлитых по стране несправедливостях, — уже скоро два года молчал я об этом, в жертве всем для «Р-17», так и сейчас отмерял не перейти неизбежный уровень столкновения и не заслонить лекцию. Интервью [24] было в основном разветвлённой личной защитой, старательной метлой на мусор, сыпанный мне на

голову несколько лет,— но сам вид этого мусора сквозь ореол «передового строя» вызвал достаточное впечатление на Западе*.

По внезапности появления и открывшимся мерзостям интервью оглушило моих противников, как я и рассчитывал. И даже больше, чем я рассчитывал. Оно появилось 4 апреля — и менее чем за сутки, вопреки своей обычной медлительности, власть, не успев обдумать, защитилась рефлекторным рывком, простейшим движением: себе на посмех и позор отказала секретарю Шведской Академии в праве приехать и вручить мне нобелевские знаки. Что будет читаться лекция — не писалось в письмах, не говорилось под потолками, только смутно догадываться могли власти, публично пла речь лишь о том, что на частной московской квартире будут вручены нобелевские знаки в присутствии друзей автора — писателей и деятелей искусства. И этого — испугалось всемирно-могучее правительство!.. — будь левый Запад не так оправдателен к нам, одна эта самопощёчина надолго бы разоблачила всю советскую игру в культурное сближение. Но по закону левого выворота голов — красным всё прощается, красным всё легко забывается. Как пишет Оруэлл: те самые западные деятели, которые негодовали от одиночных смертных казней где бы то ни было на Земле, — аплодировали, когда Сталин расстреливал сотни тысяч; тосковали о голоде в Индии — а исполгающий голод на Украине замечен не был.

По нашему обычному ловкому умению давать отмазку, советское посольство в Стокгольме оговорилось, впрочем, что «оно не исключает, что виза Гирову будет дана в другое, более удобное время», — чтобы смягчить раздражение, создать иллюзию и плавный переход на ноль. Шведское м. и. д. сделало заявление в масть. Но мы-то здесь слишком понимаем такую игру! — и я стремительно разрушил её особым заявлением [25]. Запрет на приезд Гирова закрывал, обесмысливал всю церемонию. Да и облегчал — и устроителей, и тех, кто дал согласие прийти.

Подготовка этой церемонии, кроме бытовых трудностей — прилично принять в рядовой квартире 60 гостей и всё именитых, либо западных корреспондентов, — подготовка была сложна, непривычна и во всех отношениях. Сперва: определить список гостей — так, чтобы не пригласить никого сомнительного (по своему общественному поведению), и не пропустить никого достойного (по своему художественному или научному весу), — и вместе с тем, чтобы гости были реальные, кто не струсит, а придёт. Затем надо было таить приглашенные билеты — до дня, когда Гиров объявил дату церемонии, и

* Один из этих корреспондентов, Хедрик Смит, потом неоднократно публично жаловался, что я встретил их готовым интервью — с вопросами, подготовленными мною же, проявил такое полное непонимание законов западной прессы. Действительно, в моей смертной борьбе с государством я нуждался только в резком защитном ходе, даже лучше бы — публичном заявлении, ни в каком не интервью. А Смит предлагал мне «актуальнейшие» вопросы: о том, что случилось с творческой энергией Евтушенко и Вознесенского, потеряла ли к ним публика интерес, находятся ли стеснения их на прямой линии от преследования Пушкина (западным надо непременно выстроить традицию царская Россия — коммунистический СССР, иначе не будет глубокомысленности), — или ставил меня в опасное положение вопросом, намерен ли я после «Августа» объяснять также и большевицкую революцию.

Мне же, напротив, с непривычки невыносима оказалась разрыхлённая бессвязная форма, в которой эти корреспонденты растрясали мои мысли, пошлость их печатного изложения и безответственность формулировок. И я тогда же написал откровенное частное письмо Хедрику Смигу. Отдаляясь от того момента, всё более понимаю, что он должен был и имел право сильно обидеться.

Однако не прошло трёх лет — осенью 1974 X. Смит посетил нас в Цюрихе и стал просить: не может ли он использовать в «Нью-Йорк Таймс» весь материал моего литературного интервью Нильсу Удгорду в «Афтенпостен» (28 августа 1974). Ну перепечатайте. Да нет, настаивал Смит, тогда это не будет новинка, давайте сделаем вид, будто это интервью вы сейчас ещё раз дали мне! Я опять согласился: ведь он знал законы западной прессы (что это? как это выглядит?), а я их не знал. Так он и напечатал: как свою реальную беседу со мной... (Примеч. 1978.)

теперь этих гостей объехать или обослать приглашениями — кроме формальных ещё и мотивировочными письмами, которые побудили бы человека предпочесть общественный акт неизбежному будущему утеснению от начальства. Число согласившихся писателей, режиссёров и артистов удивило меня: какая ж ещё сохранялась в людях доля бесстрашия, желания разогнуться или стыда быть вечным рабом! А неприятности могли быть для всех самые серьёзные, но правительство освободило и приглашённых и себя от лишних волнений. Конечно, были и отречения — характерные, щемящие: людей с мировым именем, кому не так уж грозило.

В подготовку церемонии входил и выбор воскресного дня, чтобы никого не задержали на работе, и дневного часа — чтобы госбезопасность, милиция, дружинники не могли бы в темноте скрытно преградить путь: днём такие действия доступны фотографированию. Надо было найти и таких бесстрашных людей, кто, открывая двери, охранял бы их от врыва бесчинствующих гебистов. Предусмотреть и такие вмешательства, как отключение электричества, непрерывный телефонный звонок или камни в окно, — бандитские методы последние годы становятся в ГБ всё более излюбленными.

Ото всех этих хлопот избавило нас правительство.

В виде юмора я посылаю приглашение министру культуры Фурцевой и двум советским корреспондентам — газет, которые до сих пор не нападали на меня: «Сельской жизни» и «Труда». Якобы «Сельская жизнь» и прислала на несостоявшуюся церемонию единственного гостя-гебиста, проверить, не собрался ли всё-таки кто. А «Труд», орган известного ортодокса Шелепина, поспешил исправить свой гнилой нейтралитет и в эти самые дни успел выступить против меня.

Но то было — из последних судорог их проигранной кампании: потеряв голову, опозорясь с нобелевской церемонией, власти прекратили публичную травлю и в который раз по несчастью стекшихся против них обстоятельств оставили меня на родине и на свободе. (Вскоре за тем М. Розанова-Синявская передала Але, что видный генерал КГБ, с которым у неё бывали свидания, выразился обо мне: «Если не уедет добровольно — кончит на Колыме». Этого предупреждения от них мне давно надо было ждать, нашли путь. Но у нас с Алей и колебания не было: мы — остаёмся!)

И так была бы исчерпана полуторагодовая Нобелиана, если бы не осталось главное в ней — уже готовая лекция. Чтоб она попала в годовой нобелевский сборник, надо было побыстрее доставить её в Швецию. С трудом, но удалось это сделать (разумеется, снова тайно, с большим риском). К началу июня она должна была появиться. Я всё ещё ждал взрыва, в оставшееся время поехал в Тамбовскую область — глотнуть и её, быть может, в последний раз.

Но ни в июне, ни в июле того изнурительно-жаркого лета лекция не появилась. Неужели ж настолько прошла незамеченной? Лишь в августе я узнал, что летом была в отпуску многая шведская промышленность, в том числе и типографские рабочие. Годовой сборник опубликовался лишь в конце августа.

Пресса была довольно шумная, больше недели. Но две неожиданности меня постигли, показывая неполноту моих предвидений: лекция не вызвала ни шевеления уха у наших, ни — какого-либо общественного сдвига, осознания на Западе.

Кажется, я очень много сказал, я даже всё главное сказал — и проглотили? А: лекция была хоть и прозрачна, но всё же — в выражениях общих, без единого имени собственного. И там, и здесь предположения не понять.

Нобелиана — кончилась, а взрыв, а главный бой — всё отлагался и отлагался.

ВСТРЕЧНЫЙ БОЙ

Встречным боем называется в тактике такой вид боя, в отличие от наступательного и оборонительного, когда обе стороны назначают наступление или находятся в походе, не зная о замыслах друг друга,— и сталкиваются внезапно. Такой вид неспланированного боя считается самым сложным: он требует от военачальников наибольшей быстроты, находчивости, решительности и обладания резервами.

Такой бой и произошёл на советской общественной арене в конце августа—сентябре 1973 года— до той степени непредвиденный, что не только противники не ведали друг о друге, но даже на одной стороне «колонны» (Сахаров и я) ничего не знали о движениях и планах друг друга.

Хотя прогляженные в предыдущей главе 1971 и 72 годы уж не такие были у меня спокойные, но и не такие сотрясательные, то ли я притерпелся. У меня всё время было сознание, что я скрылся, замёр, пережидая, выигрываю время для «Р-17», а современность как будто перестаю различать в резком фокусе. И всякий раз, отказываясь от вмешательства, я даже не мог никому, а тем более деятелям «демократического движения» (очень лёгким на распространение сведений) объяснить, почему ж я именно молчу, почему так устраиваюсь, хотя как будто мне «ничего не будет», если вмешаюсь. Да при дремлющем роке и само житьё у Ростроповича в блаженных условиях, каких у меня никогда в жизни не было (тишина, загородный воздух и городской комфорт), тоже размагничивало волю. Не взорвался на письме министру ГБ, не взорвался на письме Патриарху, не взорвался на нобелевской лекции — и сиди, пиши. Тем более, что так труден оказался Второй Узел, и переход к Третьему не обещал облегчения. И ту развязку, что передо мной неизбежно висела всегда,— я откладывал. И даже когда в конце 1972 я окончательно назначил появление «Архипелага» на май 1975, мне это казалось — жертвой, добровольным ускорением событий.

Житьё у Ростроповича подтачивалось постепенно. Узнав меня случайно и почти тотчас предложив мне приют широкодушным порывом, ещё совсем не имея опыта представить, какое тупое и долгое обрушится на него давление, даже вырвавшись с открытым письмом после моей нобелевской премии, и ещё с год изобретательно защищаясь от многочисленных государственных ущемлений,— Ростропович стал уставать и слабеть от длительной безнадежной осады, от потери любимого дирижёрства в Большом театре, от запрета своих лучших московских концертов, от закрыва привычных заграничных поездок, в которых прежде проходило у него полжизни. Вырстал вопрос: правильно ли одному художнику хиреть, чтобы дать расти другому? (Увы, мстительная власть и после моего съезда с его дачи не простила ему четырёхзимнего гостеприимства, оказанного мне.)

Подтачивался мой быт и со стороны полицейской, уже не только министерство культуры жаждало очиститься от пятна. Да все верхи раздражал я как заноза, живя в их запертой сладостной привилегированной барвихской спецзоне. А по советским законам выселить меня ничего не составляло: 24 часа достаточно в такой особой правительственной зоне. Но соединение двух имён — моего и Ростроповича, сдерживало. А попытки делались. Наезжал капитан милиции ещё перед нобелевской премией, я сказал: «гощу». Отвязался.

В марте 1971 как-то был у меня «лавинный день» — редкий в году счастливый день, когда мысли накатываются неудержимо, и по разным темам, и в незаказанных направлениях, разрывают, несут тебя, и только успевай записывать хоть неполностью, на любом черновике, разработаешь потом, а сейчас лови. В счастливом состоянии я катался на лыжах, ещё там дописывая в блокнотик, воротился — зовёт меня старушка Н. М. Аничкина на верхний этаж большой дачи:

— А. И., идите, пришла милиция вас выселять!

Сколько этого я ждал, уже и ждать перестал, хотя на такой случай лежала у меня приготовленная бумага — в синем конверте, в негноримом шкафчике. Неужели осмелились, да перед самым своим XXIV съездом (как сутки, не знали бы своего XXV-го!), — или не понимают, какой будет скандал?

Трое их, от капитана и выше. Постепенно выясняется, что главный, в штатском, некто Аносов, — начальник паспортного отдела Московской области, немалая шишка, — умный, с юмором, есть у них всё-таки люди, попадают. Я в своём счастливым состоянии так же легко, свободно влился в разговор — победоносно-развязно, в лучшей форме, как когда-то с таможенниками.

За этой бумагой мне сходить в мой флигель — три минуты, и сейчас я перед вами её положу или прочту драматически, стоя, тем и вас понужу приподняться из кресел. Нет, сегодня ещё не выселяют они меня: не составляют протокола, первого, а по второму передаётся в суд. Они только дают на меня, чтобы я в несколько дней озаботился о прописке, или уезжал бы. В Рязань. В капкан.

Естественно. Всякий советский человек, без верховой защиты, что может сделать в таком положении? Тихо подчиниться. Выхода нет. Но, слава Богу, я уже вышагнул и выпрямился из ваших рядов.

Сперва, с большой заботой к их личным судьбам:

— Товарищи, пожалуйста, составляйте протокол — но остерегитесь! Очень прошу вас — не сделайте личной ошибки, на которой вы можете пострадать. Прошу вас, прежде проверьте на самом верху, действительно ли там решили, что надо меня выселить. А то ведь потом на вас же и свалят.

Тупой майор: — Если я действую по закону и в своём районе — мне ни у кого не надо спрашивать.

— Ах, товарищ майор, вы ещё мало служите!.. Вы же окажетесь и самоуправ. Мой случай — очень деликатный.

Областной начальник: — Но ведь я же насилия и не применяю.

— Ещё бы вы применяли насилие! Но даже и при самом нежном обращении — может произойти большой скандал.

Так я уверенно говорю, как будто из соседней комнаты хоть сейчас могу Брежневу звонить. Аносов, видно опытный царедворец, понимает: осторожно, заминировано, откуда-то моя уверенность идёт. Заминается.

Но что ж мне выигрывать несколько дней? Мне надо наверх через них передать, как это серьёзно, насколько я готов. Дача Ростроповича для меня — рубеж жизни и работы, пусть знают, что тихо не выйдет.

И в новом повороте разговора сделал страшноватые арестантские глаза, я заявляю металлически:

— Своими ногами в Рязань? — не пойду, не поеду! Судебному решению? — не подчинюсь! Только в кандалах!

Вот так — мне легче, совсем легко. Утопить в луже я себя не дам, накатывайте уж море! Чувствую себя молодо, сильно, снова в бою.

Уходят вежливые, растерянные. Не ожидали.

— Будет грандиозный скандал! — напутствую я их поощрительно.

Потому что следующий раз, когда они составят протокол, я поиграю ещё с ними в советскую букашку, буду проверять в протоколе каждую закорючку, требовать второй экземпляр для себя, а когда подойдёт дело подписывать — вдруг выну, подпишу свою бумагу и поменяю на протокол:

«Милиции, понуждающей меня выселиться из подмосковного дома Мстислава Ростроповича — в Рязань, по месту моей милицеевской «прописки», —

МОЙ ОТВЕТ

Крепостное право в нашей стране упразднено в 1861 г. Говорят, что октябрьская революция смела его последние остатки. Стало быть я, гражданин этой страны, — не крепостной, не раб, и...»

С ними так надо стараться в каждом деле: поднимать звук на октаву. Обобщать, как только хватает слов. Не себя одного, не узкий участок защищать, но взламывать всю их систему!

И всё — не подошёл к тому час?! Доколе же?

Ветер борьбы дунул в лицо — и как сразу весело, и даже жалко, что вот — уходят, и готовая чудная такая бумага остаётся втуне.

Через полгода — пришли опять. Тот же Аносов с каким-то штатским, кривым. Я к ним пошёл уже сразу с синим конвертом. Положил, между ним и собой. Но Аносов — сама любезность, лишь напоминание: как же всё-таки с пропиской?.. неудобно... вот уже два года (где два дня нельзя, где московская прописка тоже значит ноль!)... Ну, при таком тоне: вот, как улажу семейные дела... — Так улаживайте, улаживайте! — обнадёживает, торопит. — Да ведь мне и после регистрации брака всё равно московской прописки не дадут? — Что вы, что вы, по закону — обязаны прописать.

На всякий-то случай — и другой регистр: — Ведь мы можем и к Ростроповичу как к домохозяину предъявить претензии. У него могут и дачу отнять. — Смотрите, говорю, эта сковородка и так накалена, зачем на неё ещё лить?..

А синий конверт — лежит между нами — безобидный, неразвёрнутый, туневой. И я: — Если на вас очень нажмут — вы не утруждайте себя визитом, отдайте районной милиции распоряжение, они так хотели составить протокол. Правда, я предам гласности...

Кривой: — Что значит «гласность»? Закон есть закон.

Я (с металлом): — Гласность? Это: я по протоколу никуда не уеду, и в суд не пойду, а выносите уголовный приговор о ссылке.

— Что вы, что вы! — заверяют, — до этого не дойдёт.

И — не двинулась моя бумага. Всё так же незаконно прожил я у Ростроповича ещё полтора года.

Когда же развод с первой женой состоялся и регистрация с Алею, живущей в Москве, тоже, — и я законно подал заявление на московскую прописку, — вот тут-то новый начальник паспортного отдела города Москвы (перешедший с областного) Аносов («по закону обязаны прописать»), у себя в министерстве, с той же любезной улыбкой объявил мне лично от министра: что «милиция вообще не решает» вопросы прописки, а занимается этим при Моссовёте совет почётных пенсионеров (сталинистов): рассматривает политическое лицо кандидата, достоин ли он жить в Москве. И вот им-то я должен подать прошение.

Я тоже с самой любезной улыбкой (у меня уже готов был к ходу синий конверт и только ждал назначенной даты) попросил выдать мне отказ в письменном виде. Он — ещё любезнее, как старый знакомый:

— Александр Исаич, ну — в а м и нужна какая-то бумажка?

Ожидал я, что будут молчать-тянуть, но что прямо вот так откажут — всё-таки не ждал. Наглецы. Откровенно толкали: убирайся сам с русской земли!

(А может быть можно понять и их обиду: не повлиял ли на власти слух, который был мне так досажен, слух от самоназванных «близких друзей», каких немало бралось объяснять мою жизнь и намерения: «да ему только бы соединиться с семьёй, он сейчас же уедет, ни минуты не останется!») Вот развели — и «законно» ждали моего отъезда, — а я что ж не уезжал?)

Заедать жизнь Ростроповича — Вишневецкой и дальше я уже не смел. И в мае 1973 уехал от них, пока — никуда, пока сняли с семьёй дачу в Фирсановке, а с осени вовсе бездомен.

И с июня 1973 применили новый выталкивающий приём: анонимные письма от лже-гангстеров с угрозами моей семье. По почте,

поспешно-небрежно разоблачая себя и заклеюю поверх почтового штампа приёма (раз для дрожи нервов вклеивши загадочный извилистый волосок), и стремительной почтовой доставкой (когда остальная переписка отметалась). Печатными разноцветными буквами, а стиль — Бени Крика, с большим ущербом вкуса. Сперва: мы — не гангстеры, вы передаёте нам 100 тысяч долларов, взамен — «мы гарантируем вам спокойствие и неприкосновенность вашей семьи», и в знак своего согласия я должен появиться на ступеньках центрального телеграфа. Следующий раз — уже никаких требований, а откровенно одни угрозы: «Третьего предупреждения не последует, мы не китайцы. Мы откажем вам в своём доверии и уже ничего не сможем гарантировать», — так напугать, чтобы спасаясь от этих «гангстеров», бежал за границу.

После второго такого письма применил и я новый приём: откровенное «внутреннее» письмо в ГБ, безличное предупреждение [26]. Письмо дошло, вернулось обратное уведомление: экспедитор КГБ имярек (разборчиво). Три недели они думали. Потом по телефону позвонил всё тот же полковник Березин, который в 1971 звонил от имени Андропова. И теперь та же пластинка: «Ваше заявление (??) передано в милицию». Такую бумажку — и передадут?.. Толкали, намекали, как и в анонимках: обращайтесь в милицию за защитой. (И сами же под видом охраны на голову сядут.) Больше чем на месяц подмётные письма прекратились. В конце июля, однако, пришло третье: «Ну, сука, так и не пришёл? Теперь обижайся на себя. Правильку сделаем. Ничего не требовали, только пугали: уезжай, гад!

Уступить насилию из-за детей? Тогда в чём мы упрекаем Запад? Рука уже сама выводила, как это составитя:

«Отвечу тем, кто угрожает мне и моим детям сегодня или возьмётся угрожать в будущем. Я неоднократно говорил, что готов к смерти. Это — не риторическая формула. Я действительно готов к смерти каждый день и каждый час — и только поэтому возможна моя деятельность уже много лет. И жена моя вышла за меня замуж в том же сознании и в той же готовности: не уступив, умереть в любую минуту. Призывая мир противостоять насилию, хорош бы я был, если б уступил страху, что убьют кого-то из нас. Мы не поддадимся ничьей угрозе — от тоталитарного ли правительства или от левых банд. Под знамёнами тех и других уже убиты сотни тысяч младенцев на нашей родине — и прямо под револьверами чекистов, и отправленные в морозную тайгу на телегах с «раскулаченными» семьями, и на Украине от комсомольской «голодной блокады», когда обречённую семью не допускали даже до колодца во дворе. Если всех этих детских смертей вам мало, если ещё недостаточно украшено ими марксистское знамя — пусть прибавят туда и наших детей. Любые условия, которые выдвинут нам любые насильники в мире, мы выполним как раз наоборот».

Ещё бы один нажим от «гангстеров» — закончил бы и опубликовал. Но они не проявились больше.

То было тяжёлое у нас лето. Много потерь. Запущены, даже погублены важные дела. Своих двух малышей и жену в тяжёлой беременности я оставлял на многие недели на беззащитной даче в Фирсановке, где не мог работать из-за низких самолётов, сам уезжал в Рождество писать.

Если оглядеться, то и почти всю жизнь, от ареста, было у меня так: вот именно эту неделю, этот месяц, этот сезон или год почему-нибудь неудобно, или опасно, или некогда писать — и надо бы отложить. И подчинись я этому благоразумию раз, два, десять — я б не написал ничего сравнимого с тем, что мне удалось. Но я писал на каменной кладке, в многолюдных бараках, без карандаша на пересылках, умирая от рака, в ссыльной избёнке после двух школьных смен, я писал, не зная перерывов на опасность, на помехи и на отдых, — и

только поэтому в 55 лет у меня остаётся невыполненной всего лишь 20-летняя работа, остальное — успел.

Я знаю за собой большую инерционность: когда глубоко войду в работу, меня трудно взволновать или оторвать любой сенсацией. Но и в самом глубоком течении работы не бываешь совсем защищён от современности: она ежедневно вливается через радио (западное, конечно, но тем смекается и наша обстановка), а ещё какими-то смутными веяниями, которые нельзя истолковать, назвать, а — чувствуются. Эти струйки овевают душу, переплетаются с работой, не мешая ей (они — не посторонние ей, как посторонни бытовые помехи вокруг), создают атмосферу жизни — спокойную, или тревожную, или победную. А порой эти веяния начинают наслаиваться до толщины какого-то решения, угадки: почему-то (иногда — ясно почему, иногда — нет) пришло время действовать!

Я не могу объяснить этого причинно, тут не всегда и различишь желание от предчувствия, но чутьё такое появлялось у меня не раз, и — правильно.

Так и в это лето. Независимо от неудач и угроз, обступивших нас, своей чередой у меня: как Запад сотряхнуть, что собственных дел они вести не могут: кто послабей, вокруг тех бушуют непримиримо, а тиранам каменным — всё проигрывают, всё сдают («Мир и насилие»). И ещё почему-то, толчком родившееся, никогда прежде не задуманное «Письмо вождям». И так сильно это письмо вдруг потащило меня, лавиной посыпались соображения и выражения, что я на два дня в начале августа должен был прекратить основную работу, и дать этому потоку излиться, записать, сгруппировать по разделам.

Все эти статьи легко и быстро писались потому, что это была как бы уборка урожая — использование накопленных текущих и беглых заготовок, естественное распрямление.

Среди таких веяний попадают иногда и реальные события, мы не всегда успеваем их истолковать. Ощущался душный провальный надир* в общественной жизни: новые аресты, другим — угрозы, и тут же — отрешённые отъезды за границу. Приезжал Синявский прощаться (одновременно — и знакомиться), и тоской обдало, что всё меньше остаётся людей, желающих потянуть наш русский жребий, куда б ни вытянул он. Расчёт властей на «сброс пара» посредством третьей эмиграции вполне оправдывался (хорош бы я был, оказавшись в ней, хотя б и с нобелевскими знаками в руках...): в стране всё меньше оставалось голосов, способных протестовать. В начале лета исключили из союза писателей Максимов, в июле он прислал мне справедливо-горькое письмо: где же «мировая писательская солидарность», которую я так расхваливал в нобелевской лекции, почему ж его, Максимов, не защищаю я?..

А я не защищал и его, как остальных, всё по тому же: разрешил себе заниматься историей революции и на том отпустив себе все прочие долги. И по сегодня: не стыжусь таких периодов смолкания: у художника нет другого выхода, если он не хочет искипеться в протекающем и исчезающем сегодня.

Но приходят дни — вот, ты чувствуешь их надирный провал, когда все твои забытые долги стенами ущелья обступают тебя. На Второй Узел мне не хватило совсем немного — месяца четыре, до конца 1973. Но их — не давали мне. (Только срочно продублировать на фотоплёнку что есть, чтоб это-то не погибло в катастрофе.) Тем более мерк Третий Узел, так манивший к себе, в революционное полыханье. Сламывались все мои искусственные сроки, ничто не оставалось ясным, кроме: надо выступить!

* (астр.) — точка на небесной сфере, внизу, под ногами наблюдателя, противоположная зениту.

И очевидно, усвоенным приёмом каскада: нанести подряд ударов пять-шесть. Начать с обороны, с самозащиты из своего утонутого положения, постараться стать на твёрдую землю — наступать.

Когда пишешь с оборотом головы на прошлое, то непонятно: чего уж так опасался? не преувеличено ли? И сколько раз так, что за паника! — и всегда сходило благополучно.

Всегда сходило — и всегда могло не сойти (и когда-нибудь — не сойдёт). А размах удара моего каждый раз — всё больше, сотрясение обстановки больше, и опасность больше, и перед нею справедливо готовиться к прекращению своего хоть и утлого, а как-то налаженного бытия.

Кроме рукописей какая ещё у меня вещественная драгоценность? — в 12 сотых гектара моё «именщице» Рождество, где половину этого — последнего, как я думал, лета — я так впивался в работу. Лишь половину, ибо теперь делил его по времени со своей бывшей женой. Настаивала она забрать его совсем, и, очевидно, перед намеренными ударами, разумно было переписать участок на неё. В середине августа, уезжая на бой, я обходил все места вокруг и каждую пядь участка, прощался с Рождеством навсегда. Не скрою: плакал. Вот этот кусочек земли на изгибе Истья и знакомый лес и долгая поляна по соседству есть для меня самое реальное овеществление России. Нигде никогда мне так хорошо не писалось и может быть уже не будет. Каким бы измученным, раздёрганным, рассеянным, отвлечённым ни приезжал я сюда — что-то вливается от травы, от воды, от берёз и от ив, от дубовой скамьи, от стола над самой речушкой, — и через два часа я уже снова могу писать. Это — чудо, это — нигде так.

Последняя неделя, последние ночи перед наступлением были совсем бессонные. Всё ревели самолёты над самыми крышами Фирсановки, как возвращаются чёрные штурмовики, отбомбься. Опасались мы, что на дачном участке сказали вслух неосторожную какую фразу, и рассыпанные микрофоны подхватили её, и враг уже может догадаться, что я готовлю что-то. А весь успех — во внезапности, перед началом атаки надо быть особенно беззаботным, дремлющим, ни лишних мотаний, ни лишних приездов и встреч, и разговоры, наверно подслушиваемые, должны быть медленные, беззаботные.

Тревожило именно: не успеть выполнить весь замысел. Такое ощущение, будто идёшь заполнять какой-то уже заданный, ожидающий тебя в природе объём, как бы форму, для меня приготовленную, а мною — только вот сейчас рассмотренную, и мне, как веществу расплавленной жидкости, надо успеть, нестерпимо не успеть, залить её, заполнить плотно, без пустот, без раковин — прежде чем схватится и остынет.

Сколько раз уж так: перед очередным шагом, прорывом, атакой, каскадом — весь сосредоточиваешься только на этом деле, только на этих малых последних сроках, — а остальная жизнь и время после этих сроков совсем прочь из головы, перестают существовать, лишь бы вот этот срок выдержать, пережить, а та-ам!..

Первый удар я намечал — письмо министру внутренних дел, — ударить их о крепостном праве [27]. (Не красное слово, действительно таково: крепостное. Но противопоставив право миллионов на свободу в своей стране — праву сотен тысяч на эмиграцию, я покоробил «общество»). Это — изменённый мой тот синий конверт, письмо, так долго томившееся наготове. А на Западе всё равно потеряли главное — крепостное право, а разгласили как всего лишь «просьбу о прописке».

Я пометил письмо 21-м августа (пятилетие оккупации Чехословакии), но из-за серьёзности его текста задержал отправку до 23-го, чтобы беспрепятственно нанести второй удар — дать интервью. Интервью — дурная форма для писателя, ты теряешь перо, строение фраз, язык, попадаешь в руки корреспондентов, чужих тому, что тебя

волнует. Извермиштелили моё интервью полтора года назад — но опять я вынужден был избрать эту невыгодную форму из-за необходимости защищаться по разрозненным мелким поводам. (И его опять извермишелят в «Монд», непорядочно, а полный текст даже спрячут во французском м.и.д. (чтоб не портить отношений с СССР?), и придётся с многомесячным опозданием печатать полный текст в русском эмигрантском журнале, чтобы восстановить объём и смысл). Но в этом интервью я успевал стать на твёрдую землю — сперва на колени — потом на обе ноги — и от униженной обороны перейти к отчаянному нападению [28].

Сразу после интервью я вышел в солнечный день на улицу Горького (так испорченную, что уже и не хочется называть её Тверской), быстро шёл к телеграфу сдать заказное письмо министру и повторял про себя в шутку: «А ну-ка, взвесим, сколько мы весим!» Два удара вместе, кажется, весили немало.

К тому ж накануне я уже знал из радио, что независимо от меня (издали это воспринималось как согласованное движение, и власти были уверены, что согласовано хитро) в тот же день 21 августа (совпадение первое) пошла в наступление и другая колонна: Сахаров дал пресс-конференцию по международным вопросам, откровенностью и активностью захватывающую дух: «СССР — большой концентрационный лагерь, большая зона». (Что за молодец! Нашу эзическую мысль и высказал раньше меня! Залегался «Архипелаг». «С каким легкомыслием Запад отказался от телевизионных передач на территорию Советского Союза», «Москва прибегает к прямому надувательству».

Я только не знал, что в эти самые часы 23 августа в тёмной «достоевской» да ещё коммунальной квартире на Роменской улице в Ленинграде кончала с собой или убивали несчастную Елизавету Денисовну Воронянскую, открывшую ГБ, где хранится в земле «Архипелаг». Противник наступал своим порядком.

(Я этого не ведал, я настроен был превесело. Мы за эти месяцы не прекращали и озоровать. То, чтоб озадачить КГБ, слали сами себе по городской почте письмецо (и конечно нам его не доставили): «Дорогой А.И.! Мне, наконец, удалось выполнить Вашу просьбу. Простите, что пишу без Вашего разрешения, но наш знакомый сейчас в отпуске, а время не ждёт. Нужно срочно увидеться, иначе всё прахом, а второй раз — пожалуй, не осилить. После 2 июля будет поздно. Жду звонка. Искренне Ваш К. Б-ч. — То 31-го августа послал шутивозлую записочку в КГБ по адресу той экспедиторши, так чётко расписавшейся на уведомлении [29]. В этот раз уведомление не вернулось: генерал Абрамов не оценил возможностей такой откровенной пикировки. А может быть, он уже листал «Архипелаг», откопанный 30-го августа из земли, под Лугой?)

Под начавшееся улюлюканье нашей прессы, Сахаров, никак не ожидая никакого положительного продолжения, поехал отдохнуть в Армению, и часть событий воспринимал там, не могучи сесть на поезд (предсентябрьский пик).

А власти тем более не знали наших планов. У них план был: к этой осени окончательно разгромить оппозицию. Для этого (по тупости мысли их) надо было провести показательный процесс Якира — Красина, те раскаются, что всё «демократическое движение» было сочинено на западные диверсионные деньги, — и тогда советская интеллигенция и западная общественность окончательно отвернутся от такой мерзости, и последние диссиденты заглохнут. Конечно, поражение таилось уже в самом идиотском замысле: применить в 70-е годы избитый приём 30-х. И всё-таки угнетение общественного настроения в Союзе, ещё худший опуск его были бы достигнуты, если бы не уляпались они с этим судебным процессом — да во встречный бой: 14 месяцев они всё откладывали, откладывали этот свой бездарный

процесс, думая, что грозней подготовят, страшной напугают, — и влезли с открытием в 27 августа!

Этой даты, конечно, никто из нас не знал. Но я, предвидя, что когда-то они соберутся всё же, решил загодя парировать, накрыть их ещё до открытия, — и сказал в интервью, что процесс будет унылым (на Западе перевели «прикорбным», совсем другой смысл) повторением недаровитых фарсов Сталина — Вышинского, даже если допустят западных корреспондентов. Опубликовать интервью назначил — 28 августа, на Успение.

27-го они и открыли процесс, ещё дешевле сортом — без допуска иностранных корреспондентов, и не успели посмаковать свою пятидневную тямотину, как на другой день Ассошиэйтед Пресс по всему миру понесло мою презрительную оценку. (Совпадение второе. Правда, успели они на ходу вставить за это и меня в процесс: я оказался главный вдохновитель и направитель «Хроники»! Тявкнула «Литгазета»: «Солженицын потерял в Якире единомышленника», на ходу оттявкнулся и я им письмом [30].)

Встречный бой! — где в ловушке захлопнули мы их, где — они нас. 29-го, 30-го, 31-го я слушал по всем радиостанциям, как идет моё интервью, ликовал и дописывал — несло меня — «Письмо вождям». А тем временем выкопан был «Архипелаг», и — худые вести не сидят на насесте — 1-го сентября пришли мне сказать об этом, ещё не совсем точно. 3-го — уже наверняка.

Как именно и что произошло в Ленинграде — мы не узнали тогда, не узнали и до сих пор: все затронутые этой историей были окружены слезкой ГБ, и моя открытая поездка туда по горячему следу могла бы только повредить. Воронянской было уже за 60, расстроенное здоровье, больная нога, — ленинградский Большой Дом навалился на неё всей своей мощью, началось с подробного обыска, потом 5 суток допросов, потом дни неотступной слезки. За всё это время никто не сумел дать нам никакого сообщения. Что именно происходило с Воронянской, — все последние сведения от соседки по квартире, которая сама не вызывает доверия, подселенная перед тем прокурорская племянница. В вариантах её рассказа — пятна крови или даже ножевые раны на повешенном трупе, что противоречит версии о самоубийстве через петлю. Есть большие основания подозревать и убийство, если боялись, что Е. Д. сообщит мне, если она попытается такие делала. Медицинская же констатация записана — «удушение», а труп не показан троюродной сестре. После конца допросов миновало две недели, за это время в несчастной женщине взяли верх иные чувства, чем тот страх, который она всегда испытывала к шерстяным *рогдственникам*, чьи когти и зубы особенно остро изо всех нас предчувствовала, хотя как будто — в шутку и к острому словцу. Она металась по комнатушке, очевидно искала выхода, как известить нас об опасности. Откуда и как пришло на Воронянскую подозрение и розыск — мы ещё выясним когда-нибудь до конца, как и всю историю её смерти. Реальной работы со мной она не вела уже три года и не виделась почти. Но самое досадное, что прорвала никакого бы и не было: никакого хранения ей не было оставлено, но из страсти к этой книге, из боязни, что погибнут другие экземпляры, она обманула меня, поклялась и красочно описала, как, исполняя моё уже третье настойчивое требование, — сожгла «Архипелаг». А на самом деле — не сожгла. И из-за этого только обмана — госбезопасность схватила книгу.

Да и схватила-то ещё не сразу. Считая, что книга теперь в руках — не спешили. Очевидно, более всего опасались (и справедливо) — чтобы я не узнал, это важнее даже было, чем схватить. Своё хранимое Воронянская стала держать на даче у Леонида Самутина, бывшего зэка. Теперь на допросах сама и открыла хранение. (Сколько говорит мой опыт, никогда ничего закопанного не находили прямым

рытьём, — всегда дознанием и добровольным показанием. Земля хранит тайны надёжней людей.) Открыла — а брать не шли. Но когда известие о смерти Копелев открыто передал по телефону мне в Москву, — ГБ, очевидно, решило, что дальше ждать нельзя, я могу приехать за «Архипелагом» через несколько часов. И пошли брать. И об этом я тоже узнал совсем случайным фантастическим закорочением, какими так иногда поражают наши многомиллионные города, — ГБ надеялось глотать и грызть свою добычу втайне от меня, я же, почти с места не пошевелиясь, уже 5 сентября отозвался в мировую прессу [31]. Тут — не всё точно, мне передали, что Елизавета Денисовна пришла из ГБ 28 августа и кончила 29-го. Но — встречный бой, удары не планируются, не проверяются, а наносятся на ходу.

Так судьба повесила ещё и этот труп перед обложкой страдательной книги, объяввшей таких миллионы.

Провал был как будто бездний, непоправимый, самая опасная и откровенная моя вещь, которая всегда считалась «голова на плаху», даже если б оглашена по всему миру и тем меня защищала, — теперь была в руках у них, ещё и не двинувшись к печатанью, готова к негласному удушению, вместе со мной. Провал был намного крупней, чем провал 1965 года, когда взяли «Круг», «Пир» и «Республику труда».

А настроение, а ощущение — совершенно другое: не только никакого конца, гибели жизни, как тогда, но даже почти нет и ощущения поражения. Отчего же? Во-первых, сейф на Западе, ничто не пропадёт, всё будет опубликовано, хотя бы пал я сию минуту. А во-вторых: вокруг мечи блестят, звенят, идёт бой, и в нашу пользу, и мы сминая врага, идёт бой при сочувствии целой планеты, у неё на глазах, — и если даже наш главный полк попал в окружение — не беда! Это — на время! мы — вызволим его! Настроение весёлое, боевое, и в памяти: именно с 4-го на 5-е сентября 1944 у Нарева, близ Длугоседело, мы выскочили вперёд неосторожно, и маленький наш пяточок отжимали от главных сил, сжимали перешеек с двух сторон, нас — горстка, а почему-то никак не уныло: потому что всё движение — в нашу пользу, размахнутое фронтокрылое движение, и уже завтра мы не только будем освобождены, но и на плотках поплывём через реку, захватывать плацдарм.

Ни часа, ни даже минуты уныния я не успел испытать в этот раз. Жалко было бедную опрометчивую женщину с её порывом — сохранить эту книгу лучше меня, и вот погубившую — и её, и себя, и многих. Но, достаточно уже учёный на таких изломах, я в шевеленьи волос теменных провижу: «Божий перст! Это ты! Во всём этом август-сентябрьском бою, при всём нашем громком выигрыше — разве бы я сам решился? разве понял бы, что *пришло время пускать* «Архипелаг»? Наверняка — нет, всё так же бы — откладывал на весну 75-го, мнимо-покойно сидя на бочках пороховых. Но перст промелькнул: что спишь, ленивый раб? Время давно пришло, и прошло, — открявай ай!!!

Я ещё был пощаждён — сколько провалов я миновал: за год до того с «96»-м, за полтора — с «Телёнком», когда я был в задушьи, в косном недвиженьи, не способный подняться быстро. А тут — на коне, на скаку, в момент, избранный мною же (вот оно, предчувствие! — начинать кампанию, когда как будто мирно и не надо!), — и рядом другие скачут лихо, и надо только завернуть, лишь немного в сторону, и — руби туда!!! Провал — момент, когда движутся целые исторические массы, когда впервые серьёзно забеспокоилась Европа, а у наших связаны руки ожиданием американских торговых льгот, да европейским совещанием, и несколько месяцев стелятся впереди, просто просящих моего действия! То, что месяц назад казалось «голова на плаху», то сегодня — клич боевой, предпобедный! Помогите Бог, ещё и выстоим!

Пониманье, обратное 65-му году: после захвата моего архива — кто же ущемлён? Я? или он и? Тогда, полузадушенный, накануне ареста, я мечтал и путей не имел: о, кто б объявил о взятии моего архива? Объявили через 2 месяца, и прошло в тумане для Запада. А сейчас — я сам, через 2 дня, и на весь мир, и все откинулись: ого! что ж там за жизнь, если за книгу платят повешением?

И что за заклятая полицейская жадность: искать и выхватывать хранимые рукописи? Лежал бы «Круг первый» ещё и ещё, нет, выследили, схватили, взликовали, — и я пустил его, и через 3 года он напечатан. Лежал бы «Архипелаг», нет, выследили, схватили, взликовали, — п у с к а ю! Читайте через 3 месяца! Их же руками второй раз решается действие против них!

Оглянуться — так и все годы, во всём: сколько ни били по мне — только цепи мои разбивали, только высвобождали меня! В том-то и видна обречённость их.

3-го вечером я узнал, тут же с Алей решались, накануне её родов, нашего третьего сына; 5-го вечером послал не только извещение о взятии «Архипелага» — но распоряжение: немедленно печатать!

И — сопроводил, чтоб облегло раньше титульного листа:

«Со стеснением в сердце я годами воздерживался от печатания этой уже готовой книги: долг перед ещё живыми перевешивал долг перед умершими. Но теперь, когда госбезопасность всё равно взяла эту книгу, мне ничего не остаётся, как немедленно публиковать её».

И в тот же день — послал и «Письмо вождям». И это было — истинное время для посылки такого письма: когда они впервые почувствовали в нас силу. (Меня в такие минуты заносит, я уже писал. «Письмо вождям» я намерен был делать с первой минуты громогласным, жена остановила: это бессмысленно и убивает промилль надежды, что внимут, а сразу как пропаганда, дай им подумать в тиши! Дал. «Письмо» завязло, как крючок, далеко закинутый в тину. Закинутый, но потянем же и его.)

Буря в газетах, удары по Сахарову больше, но сыпались и по мне, объединяют два имени наших и на Востоке и на Западе. Достаются мне удары уже плашмя, с его плеча, а по другому понять — как гонка за лидером: главное сопротивление среды преодолевать ему, а я подсобниваю свои силушки. И того не стыжусь: мой бой — впереди, мои-то силы — все, все ещё пригодятся. (А впрочем, гудит западное радио десятикратно в день: преследования, гонения на Солженицына, — а я этих гонений не замечаю пока, тьфу-тьфу-тьфу, нешто это гонения по сравнению с лагерной жизнью? Того, что в наших газетах гавкают, — я того не читаю, для нервов зэка пустое дело. А остальных гонений с меня и не послабляли никогда. Я к ним притерпелся.)

За 55 лет это был, я думаю, первый случай, что травимые советской прессой смели отлаиваться. Действия и решительность этой осени потому дались нашей кучке «инакомыслящих» (выступили Турчин, Шафаревич), что были — просто естественным распрямлением затёклой, изнывшей гнуться спины. И ещё потому, что мы поднялись в самом надире, когда уже дальше невозможно было молчать и сносить. Когда уже так было плохо, что просто *выстоять* — не спасение было для нас, нам нужно было достоять до победы.

В ту же разгарную неделю я отправил на публикацию «Мир и насилие». Эта статья готовилась у меня как конкретное разъяснение моей нобелевской лекции — против западных иллюзий, искажающих пропорций. Она не была целью своей связана с нобелевскими премиями мира, хотя и толковала их. Но когда 31-го августа, в самый разгар боёв, я услышал, что нобелевский комитет мира отобрал 47 кандидатов, и среди них Никсона и Тито (я ещё не знал о Киссинджере и Ле Дык Тхо!), — я решил обратить статью в форму помехи тем кандидатам и выдвинуть Сахарова на эту премию, в соответствии со смыслом

изложенного. К 4-му сентября статья была у меня закончена, 5-го (всё — в один день) отправлена. А 6-го, за несколько дней до намеченной публикации, я дал прочесть её Сахарову. Это и было наше единственное свидание и согласование за весь встречный бой. Победа прорисовывалась в те дни. И всё-таки нельзя было думать, что уже так близка! — что через день дадут отбой травли, ещё через четыре дня снимут глушение западных передач!

Вступая в этот бой, ни он, ни я не могли рассчитывать на западную поддержку большего размаха, чем она бывала все эти годы: достаточно ощутительная, чтоб оградить нас от ареста и уничтожения, но не достаточная, чтобы влиять на ход дел у нас или за границей. А теперь, как почти и все исторические движения непредсказуемы для человеческого ума, так и накал западного сочувствия стал разгораться до температуры непредвиденной*. Приводимые дальше факты и цитаты скороспешно записаны мною по русским передачам западных радиостанций ещё в период глушения их, не всё слышано, не каждый день слушано, ни одной газеты за это время я не видел. Даты могут быть с ошибкою в день-два: иногда — день события, иногда — день слушания. Уже всю первую неделю, с 24 августа по конец его, «инакомыслящие в СССР» были жгучей темой всей европейской печати (сюда ведь и процесс Якира — Красина ввалился). Но сверх нашего ожидания на ещё большем накале прошла следующая неделя — первая сентябрьская: в ответ на советскую газетную травлю — там ещё больше распыхивалось.

«За разрядку напряжённости нам предлагают платить слишком большую цену — укреплением тирании». — «Советская власть опять хочет одурачить западных интеллектуалов. Может быть поэтому Сахаров и Солженицын решили предупредить Запад об опасности» (Би-Би-Си). — «В мрачной обстановке Солженицын и Сахаров бросили свой вызов руководителям советским и западным. Если их заставят замолчать силой — это только докажет, что они говорят правду». — Бывший посол Великобритании в СССР В. Хейтер: «Нельзя сотрундничать в разрядке с диктаторским режимом».

В поддержку советских инакомыслящих выступили: 3-го сентября — канцлер Австрии; 6-го — шведский министр иностранных дел (это — из правительства Пальме, так до сих пор к СССР предупредительного! — и то было «наиболее резкое высказывание в Швеции об СССР со времени оккупации Чехословакии»); в ФРГ — не только христианские демократы, но и президиум с-д (и только отмалчивался миротворец Брандт); начиная с 7-го поднял скандал Гюнтер Грасс, до сих пор один из общественных столпов брандтовской Ostpolitik: теперь он назвал её (в «Штерне») политическим безумием: разрядка не должна идти экономическая за счёт областей культуры; он дал вызывающее интервью германскому телевидению.

* От каких частных могут зависеть крупные события. Например, многолетняя западная поддержка меня во многом зависела от одной главы в «Раковом корпусе», разговор Шулубина и Костоготовова о социализме. Я написал её чисто экспериментально, пытаясь представить одну из возможных точек зрения, или что может поддерживать такого опустошённого человека, как Шулубин. А на Западе эту главу прочли (художественно — совсем неоправданно) как мой собственный манифест в защиту «нравственного социализма», прочли — потому что хотели прочесть, потому что им надо было видеть во мне сторонника социализма, так заморожены социализмом — только бы кто помахал им той цапкой. Я — не понимал этого тогда совсем, а если б и понимал, то ни для какой тактики не стал бы изгибаться, погнушался бы, никогда я и слова похвалы социализму не сказал, — а вот, истолковали главу. И как сторонника социализма меня и защищали столь дружно, столь едино, до всех левых включительно. Напечатан я в сентябре 1973 «Письмо вождям» или не скради ленинскую главу из «Августа», — сразу бы сорвал всю поддержку. А от поддержки такой — Советы и были терроризованы настолько, что даже схваченного «Архипелага» использовать не смогли. И «Архипелаг» — сам проложил себе дорогу через эту взбудораженность — куда лучше, чем по моему замыслу появился бы весной 1975, когда Советы в размахе Ветергейта и при конце Вьетнама ощутят свою победоносность. Никаких моих предвидений не хватало бы, все движенья направляла Божья воля. (Примеч. 1978.)

К 8 сентября уже накопилось довольно, чтобы наши власти поняли, что проиграли с газетной травлей и надо её кончать. 8-го в «Правде» *подвели итоги* — и кончили по этому сигналу. По привычке десятилетия представлялось Старой площади так, что с этим оборвётся и всё: вольно травителям смолкнуть, тут же благодарно вздохнут перепуганные травимые, и естественно стихнет Запад. А не тут-то было — всё только начиналось!

8-го же Сахаров дал новую прессконференцию — о злодейской психиатрии у нас, о галлопиридоле, и, отбиваясь от газетных обвинений: советские газеты «бесстыдно играют на ненависти нашего народа к войне». («Дейли телеграф»: «Перчатка, брошенная КГБ!») Ещё позавчера ей казалось: «Всё тесней сжимается кольцо вокруг них», а теперь: «Вся кампания велась, чтоб они замолчали, но оба полны решимости стоять до конца.») И 9-го дал интервью нидерландской радиостанции: пусть представители Красного Креста проинспектируют наши психдома! 9-го президент американской Академии наук: «Нас охватило чувство негодования и стыда, когда мы узнали, что в этой травле приняло участие 40 академиков. Нарушение этоса науки лишило русский народ своего полного гения в ней. Если Сахарова лишат свободы, американским учёным будет трудно выполнять обязательства своего правительства по сотрудничеству с СССР». (Самый чувствительный удар по *нашим*, да обидно как: Никсон подписал, а учёные откажутся — и ничего не вырвешь!) — Присоединилась к защите и молодёжная организация с-д ФРГ (уж самая левая): «нельзя расширять торговые отношения за счёт таких людей, как Сахаров и Солженицын». — И молодёжная организация ХДС. — И министр иностранных дел Норвегии. — И Баварская Академия Искусств: «Отправить нобелевского лауреата в Сибирь? — фашизм, сравнимый с делом Карла Осецкого». — 10-го раздался голос больного, со своей фермы, Вильбора Милза, председателя бюджетной комиссии палаты представителей США: он — против расширения торговых связей с СССР, пока не прекратятся преследования таких людей, как Солженицын и Сахаров. То есть расширялась поправка Джексона: от эмиграции — до прав человека в СССР! А в его комиссии обсуждение подходило как раз к решительному моменту.

Вообще, сила западной гневной реакции была неожиданна для всех — и для самого Запада, давно не проявлявшего такой массовой настойчивости против страны коммунизма, и тем более для наших властей, от силы этой реакции они просто растерялись. Суммировали комментаторы, что к этому времени «советское правительство оказалось почти в таком же положении, как в августе 1968». И, спасаясь из этого состояния, 13-го сентября правительство сняло глушение западных передач, введенное именно под лязг чехословацкой оккупации!!! Уж это была победа ошеломительная, совсем неожиданная (как все победы, вырываемые у *наших*) и вполне историческая — ибо прежде того только XX съезд снимал глушение.

И как же взбодрилось наше общество, так недавно столь упавшее духом, что даже отказалось от самиздата!

10-го «Афтенпостен» напечатала «Мир и насилие» (статья предназначалась для «Монд», но та отшатнулась: благоприличную её левизну такая прямота из Советского Союза уже оскорбляла). Сперва она была понята лишь как выдвижение Сахарова на Нобелевскую премию мира, он 10-го же ответил корреспондентам, что рад будет принять её, что «выдвижение моей кандидатуры на Нобелевскую премию положительно скажется на положении преследуемых в нашей стране. Это — лучший ответ» на травлю. И — покатилась новая всемирная кампания вокруг выдвижения Сахарова. Хотя нобелевский комитет мира (где уже зрела позорная мысль разделить премию между захватчиком Вьетнама и капитулянтом?) в тот же день отверг моё право и время выдвигать кандидатов, — тотчас полились предложения вз-

мен: 11.9 выдвижение переняли члены британского парламента, 12.9 — целая либеральная фракция датского парламента, затем — мюнхенская группа физиков, затем и другие: если не в 1973, так в 1974 дать Сахарову премию! (Лишь 12.9 более полно перевели мою статью с норвежского, разобрались, что она не ограничивается выдвижением Сахарова, — и возбудились противоречивые комментарии по сути статьи. Она шла вразрез и не во вкус тем самым западным кругам, которые более всех нас и поддержали.)

Но кампания западной поддержки как разогнанный маховик с силою вымахивала и дальше. Публиковались телеграммы Сахарову то от ста британских психиатров, то от трёхсот французских врачей («послать международную комиссию для проверки деятельности психдомов в СССР»). В нашу защиту выступал премьер Дании, бургомистр Западного Берлина, итальянские с-д («можно ли доверять стране, которая преследует мнения внутри себя?»), Комитет Обеспокоенных учёных (США), Комитет Интеллектуальной свободы (там же), итальянская палата представителей, Консультативная Ассамблея Европейского Сообщества, норвежские писатели, учёные и актёры, швейцарские писатели и художники, 188 канадских творческих интеллигентов; собирались подписи 89 нобелевских лауреатов по всему миру (это — задержится, и потом они сами задержат из-за ближневосточной войны); в Париже собиралась конференция писателей, философов, редакторов, журналистов и священнослужителей, — где упрекали французское общество в примиренчестве с советскими несвободами. Сенат США публиковал декларацию (для правительства не обязательную) в защиту свободы в СССР, а палата представителей в тот же день предлагала присвоить Сахарову и Солженицыну звание «почётных граждан Соединённых Штатов». — 19.9, Би-Би-Си: «Запад и сам окажется под инфекцией тирании, если мы проигнорируем преследование инакомыслящих в СССР». И суммируя к 22.9 четвёртую неделю нашего боя: «По всему видно, советским властям не удалось запугать инакомыслящих».

В ту неделю был и генерал Григоренко переведен в больницу обычного типа. В те же самые дни пошёл через огонь Евгений Барабанов. 15.9 он пришёл ко мне (я уже знал, как его тягают в ГБ и душат) и у меня сделал корреспонденту своё тоже вполне поворотное заявление: распрямляясь рядовой раб, до сих пор никому не известный, подымался с ноля — и сразу в мировую известность, распрямляясь на том, на чём мы согнуты были полвека: что отправить рукопись за границу не преступление, а честь: рукопись этим спасается от смерти. И — чудо! Уже назначен был Барабанову в ГБ последний допрос, чтобы с него не вернуться домой, обещаны 7 лет заключения! — и вдруг отвалилась от него нечистая сила, как руки отсохли: материал угрожающего следствия, вынесенный пред очи мира, оказался похвальным листом. Барабанов был только изгнан с работы.

Вот именно этого распрямления, одного такого духовного распрямления безо всякого действия достаточно было бы ото всех наших рабов, чтобы мы в одно дыхание стали свободными. Но — не смеем.

Западная реакция на заявление Барабанова, как и многое в тот месяц, превосходила наши ожидания. В Италии католическим священникам было рекомендовано коснуться его поступка в проповедях, во Франции его защищали академики.

После того как западный мир равнодушно промалчивал уничтожение у нас целых народов и события миллионные, — нынешний отзыв на такое малозначительное событие на Востоке, как публичное поношение малой группки инакомыслящих, поражал нас, мы ушам не верили, переходя от одной радиостанции на другую, ежеутренне и ежевечерне. Ещё не успели высохнуть моё интервью и статья с горькими упреками Западу за слабость и бесчувственность, а уже и старели; Запад разволновался, расколыхался невиданно, так что можно бы-

ло поддаться иллюзии, что возрождается свободный дух великого старого континента. На самом деле сошлись какие-то временные причины, которых нам отсюда не разглядеть (одна из них, вероятно, — наболевшая настороженность к СССР из-за препон, чинимых эмиграции). Эта вспышка, напоминавшая славные времена Европы, уже невозможна была бы месяцем позже, когда та же Европа трусливо и разрозненно склонилась перед арабским нефтяным наказанием.

Но в сентябре — она пропояхала! И ослепила наших сов. Тупо задуманный, занудно подготовленный якировский процесс пролетел холостым прострелом, никого не поразив, никого не напугав, только позором для ГБ. Они заняли позицию худшую, чем без процесса бы. Сколотили, сочинили заявление советских психиатров, что у нас не сажают в дурдома (3.10), — молниеносно (4.10) в западной прессе ответили им Сахаров и Шафаревич. Семь месяцев пыжились, готовили — кто будет подавлять выход советских рукописей за рубежом, 21-го утром объявлено о создании ВААП, — 21-го вечером объявлено, что я «бросил им вызов»: чтоб испытать их юридическую силу, отдаю в Самиздат главы из «Круга»-96 [32]. (Третье совпадение в нашу пользу! Это был очередной из моей серии ударов по графику.) Мы как будто действовали с быстротой сверхтанковой, техникой, какой у нас и не бывало. Мы носились по полю боя, будто нас вдесятеро больше, чем на самом деле.

А с Запада, с неизбежными ошибками дальнего зрения, это выглядело так. В конце августа, перед началом боя («Дейли телеграф»): «В СССР всё задушено, остался один единственный голос Сахарова, но скоро замолкнет и он». В конце сентября («Дойче альгемайне»): «От Магдебурга и до Москвы Госбезопасность уже не имеет прежней силы, её уже не боятся, с ней мало считаются».

Всё это время высказывались наизрече круги левые и либеральные — всё друзья СССР и наиболее влиятельные в западном общественном мнении, создававшие десятилетиями общий левый крен Запада. Американская интеллигенция стала в оппозицию к советско-американскому сближению. В безвыходном положении юлили и лицемерили коммунисты всех западных стран: невозможно вовсе не оказать поддержки свободе слова в «будущем» обществе, но и как-нибудь тут же нас принизить и опорочить. И в таком же затруднении были правительства Никсона и Брандта, кому стоянием нашим срывалась вся игра. Киссинджер уклонялся так и сяк. Американские министры финансов и здравоохранения всё это время визитовали в СССР, один обещал кредиты, другой, воротясь на родину, настаивал: американо-советское сотрудничество в здравоохранении (с нашими психиатрами!) важнее, чем преследование инакомыслящих. Из Брандта своя собственная партия вырвала нехотное «духовное родство с советскими диссидентами» — 9.9, а уже через три дня, спасая Ostpolitik: он «искал бы наладить отношения с СССР, даже если бы во главе его стоял Сталин». («Наладить отношения» с убийцей миллионов, — отчего ж тогда б и не с его младшим братом Гитлером? Ненужной крайностью своего заявления Брандт оскорбил и всех нас, живых, и всех погибших узников лагерей.) К концу сентября ступил и назад, с оговоркой иной. Так и протоптался.

И с ещё большей настойчивостью в эти недели боя за свободу духа поддерживали восточную тиранию — западные бизнесмены, читай: «диктатуру пролетариата» вернее всех поддерживали капиталисты. Они уговаривали американский конгресс, что именно торговля и возвысит права человека в СССР!.. Лишь редкий из них, Самуэль Пизаро, опубликовал 3.10 открытое письмо Сахарову: «Свобода одного человека важнее всей мировой торговли». И Ватикан, парализованный всё тем же сближением с Востоком, прохранил весь месяц молчание, несмотря на критику Папы рядовыми священниками. Папа так и не промолвил ни слова. Начальник его отдела печати изнехотя заявил уже в

пустой след, в октябре: «Права человека в СССР — не внутреннее его дело».

Для меня весь этот размах мировой поддержки, такой неожиданно-непомерный, победоносный, сделал с середины сентября излишним дальнейшее моё участие в бою и окончание задуманного каскада: бой тѣк уже сам собою. А мне надо было экономить время работы, силы, резервы—для боя следующего, уже скорого, более жестокого,— неизбежного теперь после того, как схватили «Архипелаг».

21 сентября, точно через месяц после начала, я счѣл кампанию выигранной и для себя её пока законченной (выпуском в этот день глав из «Круга»). Для себя, — увы, по рассогласовке действий я не способен был передать это Сахарову.

А его выход из боя растянулся ещё на месяц и с досадными, чувствительными потерями. Андрей Дмитриевич замедлил выходом, не умея отказать попытчивым, честолюбивым и даже бездельным корреспондентам, кто и в Москву съездить не удосуживался, но снявши трубку где-нибудь в Европе, по телефонному проводу рвал кусочек сахаровской души и себе. Ясность действий Сахарова была сильно отемнена расщеплѣнностью жизненных намерений: стоять ли на этой земле до конца или позволить себе покинуть её? (Всѣ обсуждался план, не проситься ли ему на курс лекций в США?) И ещё — его доверчивость к добросоветчикам. Затянули его в несчастный эпизод с Пабло Нерудой (21.9), доказать своим и чужим, что мы — объективны, мы — за свободу везде, и вот на всякий случай беспокоимся и о Неруде (которому ничто не угрожало). Однако уже не в хамской манере, принятой у нас, писать защитное письмо, вежливо оговориться о высоких целях возрождения страны, которые, возможно, есть у чилийского правительства Пиночета, — и так подставили коммунистам нашим и западным свой бок в беззащитном повороте. Остервенело на Сахарова навалились, и ослаблены были уже выигранные позиции.

Дав интервью истинному или подставному корреспонденту ливанской газеты, Сахаров тоже открыл свою беззащитную сторону и коммунистическому, и арабскому миру, когда уже арабо-израильская война положила естественный предел или перерыв нашему бою. Это интервью повлекло за собой налѣт мнимых же арабских террористов, — снова Сахаров был под угрозой, требовалась выручка, так был зловещ приём гебистов. А теперь никто ниоткуда не шѣл ему на помощь. Вмешаться в тот момент, когда надо было тихо дотянуть до взрыва «Архипелага», значило для меня нерасчѣтливое обострение положения, но и Сахарова нельзя было оставить таким одиноким и угрожаемым. Я написал А. Д. письмо и передал в самиздат [33], оно тут же пошло по станциям.

Выходя из боя, я по привычке примерял за врагов: что теперь они придумают против меня, какой шаг? Главная для них опасность — не то, что уже произошло, а то, что произойти может и должно: лавинная публикация всего моего написанного. Всегда они меня недооценивали; и до последних дней, пока не взяли «Архипелаг», в самом мрачном залѣте воображения, я думаю, не могли представить: ну что уж такого опасного и вредного мог он там сочинить? Ну, ещё два «Пира победителей». Теперь, держа в когтях «Архипелаг», нося его от стола к столу (а наверно, от своих же засекретили, прячут в нескораемых), от экспертов к высоким начальникам, даже и Андропову самому, — должны ж они оледениться, что такая публикация почти смертельна для их строя (строй бы — чёрт с ним, для их кресел!)? Должны ж они искать — не как отомстить мне когда-нибудь потом, но как остановить эту книгу прежде её появления? Может быть, они и не допускают, что я осмелюсь? А если допускают? Я видел за них такие пути:

1. Взятие заложников, моих детей,—«гангстерами», разумеется. (Они не знают, что и тут решение принято сверхчеловеческое: наши де-

ти не дороже памяти замученных миллионов, той Книги мы не оставим ни за что.)

2. Перехват рукописей там, на Западе, где они готовятся к печати. Бандитский налёт на ИМКУ. (Но где их надежда, что они захватят все экземпляры и остановят всякое печатание?)

3. Юридически раздавить печатание, открыто давить, что оно противозаконно. (Предвидя этот натиск, мой адвокат Хееб уже составляет для меня проект «Подтверждения полномочий» — специально на «Архипелаг» и в условиях после конвенции.)

4. Громить моих тайных друзей и помощников. (Но это требует времени, и всё равно не остановит публикации. Даже наоборот: усилит её, теряя станет совсем нечего.)

5. Личное опорочение меня (уголовное, бытовое) — с тем, чтобы обзавестись моими показаниями.

6. Припугнуть — по пункту 1 или по 4?

7. Переговоры?

Это я совсем под вопросом ставил, их надменность не позволит им спуститься до переговоров ниже межправительственного уровня. Запалая же Дёмичев: «С Солженицыным — переговоры? Не дождётся!» Я-то думаю — дождусь. Когда, может быть, поздно будет и для дела, и для них, и для меня.)

Кончая бумажку этим вопросом — «Переговоры», не верил я в их реальность, да для себя не представлял и не хотел: о чём теперь переговоры, кроме того, что в «Письме вождям?» Не осталось мне, о чём торговаться: ни — что запрашивать, ни — что уступать.

Да и каким путём они ко мне обратятся? Всех подозрительных, промежуточных, переносчиков и услужников я давно обрезал. Общих знакомых у нас с ними нет.

Составил я такой перечень 23-го сентября, а 24-го звонит взволнованно моя бывшая жена Наталья Решетовская и просит о встрече на завтра. В голосе — большая значительность. Но всё же я не догадался.

Дня за два перед тем я виделся с ней, и она повторяла мне всё точно, как по фельетону «Комсомольской правды»: что я истерично себя веду, кричу о мнимой угрозе, клевету на госбезопасность. Увы, уже клала она доносить на стол суда мои письма с касанием важных проблем, да все мои письма уже отдала в ГБ. И уже была её совместная с ними (под фирмой АПН) статья в «Нью-Йорк Таймс». Но всё-таки: были и колебания, были там отходы, и хочется верить в лучшее, невозможно совсем отождествить её — с ними.

На Казанском вокзале, глазами столько лет уже стальными, злыми глядя гордо:

— Это был звонок Иннокентия Володина. Очень серьёзный разговор, такого ещё не было. Но — не волнуйся, для тебя — очень хороший.

И я — понял. И — охолодел. И в секунду надел маску усталой ленивности. И выдержал её до конца свидания.

Я изгубил одиночеством свои ссыльные годы — годы ярости по женщине, из страха за книги свои, из боязни, что комсомолка меня предаст. После 4 лет войны и 8 лет тюрьмы я изгубил, растоптал, задушил три первые года своей свободы, томясь найти такую женщину, кому можно доверить все рукописи, все имена и собственную голову. И воротясь из ссылки, сдался, вернулся к бывшей жене.

И вот через 17 лет эта женщина пришла ко мне не скрываясь — вестницей от ГБ, твёрдым шагом по перрону законно вступая из области личной в область общественную, в эту книгу. (Моя запись — в первый же час после разговора, ещё вся кожа обожжена.)

— Ты согласишься встретиться кое с кем, поговорить?

— Зачем?

— Ну, в частности, обсудить возможности печатать «Раковый корпус».

(«Раковый корпус»? Схватилась мачеха по пасынку, когда лёд прошёл...)

— Удивляюсь. Тут не нужна никакая встреча. Русские книги естественно печатать русским издательствам.

(А всё-таки — *переговоры!* Они идут — на переговоры? Здорово ж мы ихшибанули! Больше, чем думали.)

— Но ты — пойдёшь в издательство заключить договор? Ведь от тебя не знают чего ждать, бояться. Нужно же обговорить условия.

(Хотят выиграть время! Понюхали «Архипелаг» — и хотят меня замедлить, усыпить. Но и мне нужно выиграть три месяца. И мне полезно — их усыпить.)

— Условий никаких не может быть: точный текст слово в слово.

— А после издательства ещё с кем-то встретишься?

— А этот кто-то, в штатском, и так будет сидеть около стола главреда, сбоку.

Эти штатские и сейчас с параллельных перронов фотографируют нас или подслушивают? я чувствую их всем охватом спины, этого не спутать привычному человеку.

— Ну а... *выше?*

— Только — политбюро. И о судьбах общих, не моей лично.

— Тебя преследовало как раз не ГБ, а ЦК. Это они издавали «Пир победителей», и это была ошибка. (Какая уверенная политическая оценка ЦК в устах этой женщины.) ...А эти, пойми, совсем другие люди, они не отвечают за прежние ужасы.

— Так надо публично отречься от прошлого, осудить его, рассказать о нём — тогда и не будут отвечать. Кто убил 60 миллионов человек?

Какие «60» — не переспрашивает, хоть и не знает, но быстро, но уверенно:

— Это не они! Теперь мой круг очень расширился. И каких же умных людей я узнала! Ты таких не знаешь, вокруг тебя столько дураков... Что ты всё валишь на Андропова? Он вообще ни при чём (!). Это — другие. — Всматривается в меня как в заблудшего, как в потерянного, как в недоумка: — Вообще, тебя кто-то обманывает, разжигает, страшно шантажирует! Изобретает мнимые угрозы.

— Например, «бандитские письма»?

— (горячо): ГБ ни при чём!

— А ты откуда знаешь?

Я — ленив, я допускаю и мою ошибку. Она — воинственно уверена — в себе и в своих новых друзьях:

— Когда-нибудь покажешь мне одно из этих писем! Они на тебя не нападают, тебя никто не трогает!

— Выперли от Ростроповича, не дают прописки?

— Перестань ты настаивать с пропиской! Не могут же они тебе сразу дать! Постепенно.

— Хватают архив второй раз...

— Это их функция — и с к а т ь !

— Художественные произведения?

Я — только удивляюсь, я не спорю, я устал от долгой, правда, борьбы с этим ГБ, и я рад отдохнуть бы... Я из роли — ни на волосок.

— Ты объявляешь, что главные произведения ещё впереди, в случае твоей смерти потекут, — и этим *вынуждаешь* их искать. Ты вот в письме съезду назвал «Знают истину ганки», теперь ищут и их...

(Да откуда ж ты знаешь, что ищут, что ищут? А что ты сама им добавила в названия? Вот этого «Телёнка» — тоже?)

— ...Они вынуждены искать, у какой-нибудь *Евы*.

Так — уже назвала?.. (Н. И. Столярова.) Я — первый раз в полную силу:

— Кроме тебя — никто не может её назвать! И если...

— Ты шёл на развод — должен был предвидеть все последствия.

(Я и предвидел. Давно-давно ты не знаешь многого, многих. А — прежних?..)

— Но не низость.

— Не беспокойся, я знаю, что я делаю.

(Да, да! Как можно скорей печатать «Архипелаг». Чтоб никого не схопали, не слопали в темноте. Им темнота нужна — но я им её освещу!)

— ...А ты — сделай заявление, что всё — исключительно у тебя одного. Что ты 20 лет не будешь ничего публиковать.

(Очень добивается именно этого! За них добивается, им непременно так нужно! Но как же ты всю жизнь меня не знала, если думаешь, что через месяц после провала ещё есть о чём говорить? что через час после провала ещё не было решено? а через день не приведено в действие?)

Я мету в другом месте:

— Если тронут кого-нибудь из двухсот двадцати или вроде Барабанова — за всех обиженных буду заступаться тотчас.

А она — метлой сюда, сюда, знает:

— Кто рассказывал о лагерях — тому ничего не будет. А вот кто помогал *делать*...

(Всю ту весну 1968, как мы печатали в Рождестве — с Воронянской, Люшей Чуковской и Надей Левицкой, — в задушевной беседе этим умным-умным людям — ты уже всё рассказала, да?..)

— Я буду каждого отдельного человека защищать немедленно и в полную силу!

(Когда-то, когда-то мы были так просты друг с другом... Но давно уже ловлю, что ты — актриса, нет, ловлюсь, в пустой след, вовремя не заметив. Но сегодня на этом твёрдом хребте, на моей главной дорожке жизни — не обыграете вы меня, со всеми режиссёрами.)

— Вообще, если ты будешь тихо сидеть, в сем будет лучше!

— А я сам и не нападаю, они вынуждают...

— Ты одержимый, своих детей не жалеешь...

И другой раз о детях:

— Что ж, с ребёнком что-нибудь случится, — тоже ГБ?

(Их ход мысли: за ребёнка их не заподозрят.)

— Да, конечно, сейчас вы одержали победу. Но если «Раковый корпус» сейчас напечатают — ты не сделаешь публичного заявления, что ты одержал победу?

— Никогда. Даже удивляюсь вопросу. В крайнем случае скажу: разумная мера, для русской читающей публики... Мне-то это печатание почти уже и не нужно.

(А правда: нужно или не нужно? Как же не желать, не добиваться первой всего — своего печатания на родине? Но вот уродство: так опоздано, что уже не стоит жертв. Символический тираж, чтобы только трёп пустить о нашей свободе? Продать московским интеллигентам, у кого и так самиздатский экземпляр на полке? Или, показавши в магазинах, да весь тираж — под нож? Вот сложилось! — я уже и сам не хочу. Москва — прочла, а России — в ся правда нужней, чем старый «Раковый». Препятствовать? — не смею, не буду. Но уже — и не нужно...)

— В декабре 67-го «Раковый» не напечатали — по твоей вине!

— Как??

— А помнишь: ты притворился больным, не поехал, послал меня. А Твардовский хотел просить тебя подписать совсем мягкое письмо в газету.

(Да, совсем мягкое, отречение: зачем шумят на Западе... Только об этом шло тогда и на Секретариате... Вот так и вывернут мою историю: это не власть меня в тупик загоняла (и всех до меня), это я сам... (мы сами)...))

— Напечатают книгу — ты получишь какие-то деньги... Но ты должен дать некоторые заверения. Ты не сделаешь заявления корреспондентам об этом предложении? Об этом нашем разговоре? Он должен остаться в полном секрете.

Превосходя наибольшие желания их и её, я:

— Разговор не выйдет за пределы этого перрона.

(Длинного, узкого перрона между двумя подъездными путями рязанских поездов, откуда мы приехали и куда уезжали с продуктами, с новостями, с надеждами — 12 лет... Долгого перрона в солнечное сентябрьское утро, где мы разгуливаем под киносьёмку или магнитную запись. В пределах этого перрона я и описываю происшедший разговор.)

Узнаю, как она старается в мою пользу:

— Я считаю, что своими высказываниями в беседах и отдельными главами мемуаров, посланными кой-кому, я объяснила твой характер, защитила тебя, облегчила твою участь...

Она взялась *объяснять!* Никогда не понимав меня, никогда не вникнув, ни единого поступка моего никогда не предвидя (вот как сейчас), — взялась *объяснять* меня — тайной полиции! И в содружестве с ними — *объяснять* всему миру?..

Всегда ли так: насыщения требует уязвленное самолюбие, и тем большего, чем больше зрителей? Когда самолюбие, наверно — всегда. Но — пойти и за тайной полицией?.. Не каждая.

Не с тобой ли переписывали из блокнота в блокнот? диктовала ж ты мне и эту поговорку: та не овца, что за волком пошла.

— Смотри, Наташа, не принимай легко услуги чёрных крыл. Это так приятно: вдруг поднимают, несут...

— Не беспокойся, я знаю, что я делаю.

И что б ещё ни сделала на этом пути и для этих хозяев (сегодня она разговор провела не так, не склонила меня к частной встрече с гебистами, будем «ждать» предложения от издательства, — зато уверенно доказано, что я не атакую, не печатаю «Архипелага», что я мирно настроен), — что б ни сделала она в будущем, никогда я не смогу отъединиться и швырнуть: «Это сделала — ты!» Раз она, так и я... И каким ещё ядом ни протравится будущее — оно и из прошлого, я сам виноват: я в тюрьмах пронизывал человека, едва входящего в камеру; я ни разу не всмотрелся в женщину рядом с собой. Я допустил этому тлеть и вспыхнуть.

Так мы платим за ошибки в пренебрежённой второстепенной области — так называемой, в месткомовских откритках, *личной жизни*...

Увы, с соседней союзной колонной не налажено было у нас путей совета и совместных действий.

Осмелюсь сказать тут о Сахарове — в той мере, в какой надо, чтобы понять его поступки, уже имевшие или маячащие иметь последствия, значительные для России.

Когда Ленин задумал и основал, а Сталин развил и укрепил гениальную схему тоталитарного государства, всё было ими предусмотрено и осуществлено, чтоб эта система могла стоять вечно, меняясь только мановением своих вождей, чтоб не мог раздаться свободный голос и не могло родиться противотечение. Предусмотрели всё, кроме одного — ч у д а, иррационального явления, причин которого нельзя предвидеть, предсказать и перерезать.

Таким чудом и было в советском государстве появление Андрея Дмитриевича Сахарова — в сонмище подкупной, продажной, беспринципной технической интеллигенции, да ещё в одном из главных, тайных, засыпанных благами гнёзд — близ водородной бомбы. (Появись он где поглуше — его упроворились бы задушить.)

Создатель самого страшного оружия XX века, трижды Герой Социалистического Труда, как бывают генеральные секретари компартии, и заседающий с ними же, допущенный в тот узкий круг, где не

существует «нельзя» ни для какой потребности, — этот человек, как князь Нехлюдов у Толстого, в какое-то утро почувствовал, а скорей — от рождения вечно чувствовал, что всё изобилие, в котором его топят, есть прах, а ищет душа правды, и нелегко найти оправдание делу, которое он совершает. До какого-то уровня можно было успокаивать себя, что это — защита и спасение нашего народа. Но с какого-то уровня уже слишком явно стало, что это — нападение, а в ходе испытаний — губительство земной среды.

Десятилетиями создатели всех страшных оружий у нас были бессловесно покорны не то что Сталину или Берии, но любому полковнику во главе НИИ или шарашки (смотря куда изволили изобретателя помещать), были бесконечно благодарны за золотую звёздочку, за подмосковную дачу или за стакан сметаны к завтраку, и если когда возражали, то только в смысле наилучшего технического выполнения желаний самого же начальства. (Я не имею свидетельств, что «бунт» П. Капицы был выше, чем против неудовлетворительности бериевского руководства.) И вдруг Андрей Сахаров осмелился под размахнутой рукой сумасбродного Никиты, уже вошедшего в единовластие, требовать остановки ядерных испытаний — да не каких-то полигонных, никому не известных, но — многомегатонных, сотрясавших и оklubявших весь мир. Уже тогда попал он в немилость, под гнев, и занял особое положение в научном мире, — но Россия ещё не знала, не видела этого. Сахаров стал усердным читателем Самиздата, одним из первых ходатаев за арестованных (Галанскова — Гинзбурга), но и этого ещё не видели. Увидели — его меморандум, летом 1968.

Уже тут мы узнаём ведущую черту этого человека: прозрачную доверчивость, от собственной чистоты. Свой меморандум он раздаёт печатать по частям служебным машинисткам (других у него нет, он не знает таких путей) — полагая (! — он служил в наших учреждениях — и не служил в них, парил!), что у этих секретных машинисток не достанет развития выикнуть в смысл, а по частям — восстановить целое. Но у них достало развития снести каждая свою долю копий — в спецчасть, и та читала меморандум Сахарова прежде, чем он разложил экземпляры на своём столе, готовя самиздат. Сахаров был менее всего приспособлен (и потому — более всех готов!) вступить в единоборство с бессердечным зорким хватким неупустительным тоталитаризмом! В последнюю минуту министр атомной промышленности пытался отговорить, остановить Сахарова, предупредил о последствиях, — напрасно. Как ребёнок не понимает надписи «эпидемическая зона», так беззащитно побрёл Сахаров от сытой, мордатой, счастливой касты — к униженным и оскорблённым. И — кто ещё мог это, кроме ребёнка? — напоследок положил у покидаемого порога «лишние деньги», заплаченные ему государством «ни за что», — 150 тысяч хрущёвскими новыми деньгами, 1,5 миллиона сталинскими.

Когда Сахаров ещё не знал либерального-самиздатского-мыслящего мира, на поддержку к нему пришёл молодой бесстрашный историк (с его грандиозными выводами, что всемирная закономерность была загублена одним неудачным характером), — как же не обрадоваться союзнику! как же не испытать на себе его влияния! Прочтите в первом сахаровском меморандуме — какие реверансы, какое почтение снизу вверх к Рою Медведеву. Виснущие предметы отягчают воздушный шар. Предполагаю, что задержка сахаровского взлёта значительно объясняется этим влиянием Роя Медведева, с кем сотрудничество отпечатлелось на совместных документах узостью мысли, а когда Сахаров выбился из марксистских ущербностей, закончилось выстрелом земля-воздух в спину аэронавту.*

* Хотя политические выводы Роя Медведева всегда оказываются те самые, какие наиболее выгодны советскому режиму, — западная левая пресса ещё долго будет превозносить его как крупнейшего в стране социалистического оппозиционера. (Примеч. 1978.)

Я встретился с Сахаровым первый раз 28 августа 1968, тотчас после нашей оккупации Чехословакии и вскоре после выхода его меморандума. Он ещё тогда не был выпущен из положения особосекретной и особоохраняемой личности: он не имел права звонить по телефону-автомату (вмиг не подслушаешь), а только по своему служебному и домашнему; не мог посещать произвольных домов или мест, кроме нескольких определённых, проверенных, о которых известно, что он бывает там; телохранители его то ходили за ним, то нет, он наперёд не мог этого знать. Поэтому мою встречу с ним было весьма трудно устроить. К счастью, нашёлся такой дом, где я уже был однажды, а он имел обычай бывать там. Так мы встретились.

С первого вида и первых же слов он производит обаятельное впечатление: высокий рост, совершенная открытость, светлая мягкая улыбка, светлый взгляд, тепло-гортанный голос и значительное грассирование, к которому потом привыкаешь. Несмотря на духоту, он был в старомодно-заботливо затынутом галстуке, тугом воротнике, в пиджаке, лишь в ходе беседы расстёгнутом, — от своей старо-московской интеллигентской семьи, очевидно, унаследованное. Мы просидели с ним четыре вечерних часа, для меня уже довольно поздних, так что я соображал неважно и говорил не лучшим образом. Ещё и перебивали нас, не всегда давая быть вдвоём. Ещё и необычно было первое ощущение — вот, дотронуся, в синеватом пиджачном рукаве — лежит рука, давшая миру водородную бомбу!

Я был, наверно, недостаточно вежлив и излишне настойчив в критике, хотя сообразил это уже потом: не благодарил, не поздравлял, а всё критиковал, опровергал, оспаривал его меморандум, да ещё без подготовленного плана, увы, как-то не сообразил, что он понадобится. И именно вот в этой моей дурной двухчасовой критике он меня и покори! — он ни в чём не обиделся, хотя поводы были, он ненастойчиво возражал, объяснял, слабо-растерянно улыбался, — а не обиделся ни разу, нисколько, — признак большой, щедрой души. (Кстати, один из аргументов его был: почему он так преимущественно занят разбором проблем чужих, а не своих, советских? — ему больно наносить ущерб своей стране! Не связь доводов переклонила его так, а вот это чувство сыновней любви, застенчивое чувство вело его! Я этого не оценил тогда, подпирала меня пружина лагерного прошлого, и я всё указывал ему на пороки аргументации и группировки фактов.)

Потом мы примерялись, не можем ли как-то выступить насчёт Чехословакии, — но не находили, кого бы собрать для сильного выступления: все именитые отказывались поголовно, он подтвердил, что из видных физиков никто не подпишет.

Кажется, та наша встреча прошла тайно от властей, и я из обычной осторожности ещё долго скрывал, что мы познакомились, не выявляя этого внешне никак: такое соединение должно было показаться властям очень опасным. Однако через год, когда я переехал в Жуковку к Ростроповичу, я оказался в ста метрах от дачи Сахарова, надо же так совпасть. А жить в соседях — быть в беседах. Мы стали изредка встречаться. В конце 1969 я дал ему свою статью по поводу его меморандума («На возврате дыхания и сознания»), — всё ту же критику, однако уже сведенную в систему и намечаемую в самиздат (но не отдал туда). Сахаров, почти единственный читатель той статьи тогда, хотя и с горечью прочёл (признался) и даже перечитывал — но никакого налёта неприязни это не наложило на его отношение ко мне.

У него был свой период замиранья: долго болела и умерла его жена. Совсем его не было видно, потом появлялся он по воскресеньям с любимым сыном, тогда лет двенадцати. Иногда мы говорили о возможных совместных действиях, но всё неопределённо.

И для зоны униженных-оскорблённых Сахаров всё ещё был слишком чист: он не предполагал, что и здесь могут быть не одни бла-

городные порывы, не одни поиски истины, но и корыстные расчёты: построить своё имя не общепринятым служебным способом, не в потоке машин и тягачей, но — касанием к чуду, но прищепкою к этому странному, огромному, заметному воздушному шару, без мотора и без бензина летящему в высоту.

Другим из таких людей, взявших высоту с помощью воздушного шара, был В. Чалидзе. Сперва он выпускал скучнейший самиздатский юридический журнал. Затем изобрёл комитет защиты прав человека, с обязательным участием Сахарова, но с хитросоставленным уставом, дающим Чалидзе парировать в комитете всякую иную волю. В октябре 1970 Сахаров пришёл ко мне посоветоваться о проекте комитета, но принёс лишь декларацию о создании, ни о каком уставе речи не было, структура не проявлялась. Станный, конечно, комитет: консультировать людоедов (если они спросят) о правах загрызаемых. Зато была принципиальная беспристрастность, на нашей бесправности — всё-таки нечто. Я не нашёл возражений. 10-го декабря, в самый день выдачи нобелевских премий, Сахаров приехал из города на такси, очень спешно, на 5 минут, узнать, не согласился ли бы и я войти в комитет членом-корреспондентом? Это не потребует от меня никакой конкретной деятельности, участия в заседаниях и т. д. Ну... Как будто мне там и не место совсем, а с другой стороны — что ж отшатываться, не поддерживать? Я согласился, «в принципе», то есть вообще когда-нибудь... Мне невдомёк было — отчего так спешно? И Сахаров сам не понимал, он был наивным гонцом. Оказывается: для того Чалидзе и погнал его так быстро за 30 километров: тут же по возвращении состоялось 5-минутное заседание, комитет срочно «принял» меня (и Галича), немедленно же Чалидзе сообщил о том западным корреспондентам, и накладываясь на нобелевскую процедуру, полетела в западную прессу такая важная весть, что нобелевский лауреат в этот самый день и час, вместо присутствия в Стокгольме сделал решающий поворотный шаг своей жизни — вступил в комитет, отчего (расколковано было корреспонденту и дальше) «начинается новый важный период в жизни писателя», чушь такая.

В этот комитет и вложил Сахаров много своего времени и сил, размазываемых утончёнными прениями, исследованиями и оговорками Чалидзе — там, где нужно было действовать. (Возникал ли вопрос о политзаключённых, — «надо дать определение политзаключённого», как будто в СССР это не ясно; о психушках против инакомыслящих, — расширить изучение на всю область прав душевнобольных, до «возможности изучения освобождения от контроля их сексуальной жизни».) Холодно-рациональным торможением, с ледяно-юридической кровью, Чалидзе остановил и испортил достаточно начинаний комитета, который мог бы сыграть в нашем общественном развитии и значительно большую роль. (С какого-то момента, утомясь от защиты прав человека, Чалидзе решил переехать за океан. Самый последний наивец согласится, что для получения визы на выезд за границу (в 70-х годах) *читать лекции о правах человека в СССР* — не обойтись без разработанной уговорённости с ГБ, которая не достигается единокатной встречей, — и это будучи членом комитета!) После вступления в комитет Игоря Шафаревича постепенно создался перевес действия, были выражены главные обращения комитета — к мировым конгрессам психиатров, по поводу преследования религии и др. Все многочисленные заступничества Сахарова за отдельных преследуемых, стояния у судебных зданий, куда его обычно не пускали, ходатайства об оправдании, помиловании, смягчении, выпуске на поруки, часто носили форму деятельности как бы от имени комитета, — на самом деле были его собственными действиями, его постоянным настоятельным побуждением — заступиться за преследуемых.

Эта форма — защиты не всего сразу «человечества» или «народ», а — каждого отдельного угнетаемого, была верно воспринята на-

шим обществом (кто только слышал по радио, хоть в дальней провинции, кто только мог знать), как чудесное целебное у нас правдоискательство и человеколюбство. Но она же (при злобно-мелочном сопротивлении и глухоте властей) была изнурительной, забравшей у Сахарова сил и здоровья непропорционально результатам (почти нолевым). И она же, благодаря бесщётности обращений за его подписью, начинала уже рябить, дробиться в сообщениях мировой прессы, тем более, что употреблялась (иногда выпрашивалась, вырывалась) несоразмерно бедствию. И когда весной 1972 Сахаров написал наиболее до тех пор решительный из своих документов общего типа («Послесловие к Памятной записке в ЦК», где он далеко и смело ушёл от своего первого «Размышления», где много высказано истин, неприятных властям, о состоянии нашей страны, и предложен статут «Международного Совета Экспертов»), — этот документ прошёл незаслуженно ниже своего истинного значения, вероятно из-за частоты растроченной подписи автора.

Хотя мы продолжали встречаться с Сахаровым в Жуковке в 1972, но не возникли между нами совместные проекты или действия. Во многом это было из-за того, что изменились обстоятельства жизни Сахарова, и я опасался, что сведения будут растекаться в разлохмаченном клубке вокруг «демократического движения». Отчасти из-за этого расстроилась и попытка привлечь Сахарова к уже начатой тогда подготовке сборника «Из-под глыб». (Из моих собственных действий я за все годы не помню ни одного, о котором можно было бы говорить не тайно прежде его наступления, вся сила их рождалась только из сокровенности и внезапности. Даже о простой поездке в город на один день я не говорил ни под потолками, ни по телефону, всё намёком или по уговору заранее — чтоб не управилось ГБ совершить налёт на моё логово, как это случилось в Рождестве, и всё перепотрошить.) Отчасти же Сахаров не вдохновился этим замыслом.

Так мы обрелись на раздельности, и при встречах обменивались лишь новостями да оценками уже происшедших событий. Да и приезжал он всё реже.

Зимой на 1973 год расстраивались и отношения А. Д. с «демократическим движением» (половина которого, впрочем, уже уехала за границу): «движение» даже написало «открытое письмо» с укорами Сахарову. Тут ещё и с официозной стороны поддули привычной травли, что Сахаров — виновник смерти ректора МГУ Петровского. Как это может сложиться в самых огромных делах или жизнях, — стечение мелких, а то и гадких, враждебных обстоятельств омрачало и расстраивало великую жизнь, крупные контуры. К сумме всех этих мелких расстройств добавлялась и общая безнадежность, в какой теперь видел Сахаров будущее нашей страны: ничего нам никогда не удастся, и вся наша деятельность имеет смысл только как выражение нравственной потребности. (Возразить содержательно я ему не мог, просто я всю жизнь, вопреки разуму, не испытывал этой безнадежности, а напротив, какую-то глупую веру в победу.) Весной 1973 Сахаровы в последний раз были у меня в Жуковке — в этом мрачном настроении, и рассказали о своих планах: детям Е. Г. Боннэр пришло приглашение учиться в одном из американских университетов, самому А. Д. скоро придёт приглашение читать лекции в другом, — и они сделают попытку уехать.

Всё тот же, тот же роковой выбор, прошедший через всех нас, раздвоился и лёг теперь перед А. Д. Не лёг свободным развилком, но повис на шее раздвоенным суком.

У него появилась новая поза: сидеть на стуле не ровно-высоко, как раньше, когда мы знакомились, когда он с добро-весёлой улыбкой вступал в эту незнаемую область общественных отношений, — но оседающая вдоль спинки, и уже сильно лысоватой головой в туловище, отчего плечи становились высокими.

Тут я уехал от Ростроповича, подобие соседства нашего с Сахаровым перестало существовать — и мы уже не виделись до самого август-сентябрьского встречного боя, вошли в него порознь. В августовских боевых его интервью не замолкает разрушительный мотив отъезда. Мы слышим, что «было бы приятно съездить в Принстон». 4.9 западная пресса заключает, что «Солженицын и Сахаров заявили о твёрдом намерении остаться на родине, что бы ни случилось». 5.9 Чалидзе из Нью-Йорка: он по телефону разговаривал с Сахаровым, тот рассматривает приглашение Принстонского университета. 6.9 — подтверждает то же и сам Сахаров. 12.9 (германскому телевидению) Сахаров «опасается, что его не пустят назад», 15.9 («Шпигелю»): «Принципиально готов занять кафедру в Принстоне». (И западная пресса: «Сахаров готов покинуть СССР. Это — новый вызов (??) советскому правительству!»)

Мелодия эмиграции неизбежна в стране, где общественность всегда проигрывала все бои. За эту слабость нельзя упрекать никого, тем более не возьмусь я, в предыдущей главе описав и свои колебания. Но бывают лица частные — и частны все их решения. Бывают лица, занявшие слишком явную и значительную позицию, — у этих лиц решения могут быть частными лишь в «тихие» периоды, в период же напряжённого общественного внимания они таких прав лишены. Этот закон и нарушил Андрей Дмитриевич, со сбоем то выполнял его, то нарушал, и обидней всего, что нарушал не по убеждениям своим (уйти от ответственности, пренебречь русской судьбой — такого движения не было в нём ни минуты!), — нарушал, уступая воле близких, уступая чужим замыслам.

Давние, многомесячные усилия Сахарова в поддержку эмиграции из СССР, именно эмиграции, едва ль не предпочтительнее перед всеми остальными проблемами, были, вероятно, навеяны в значительной мере тою же волей. И такой же вывих, мало замеченный наблюдателями боя, а по сути — сломивший наш бой, лишивший нас главного успеха, А. Д. допустил в середине сентября — через день-два после снятия глушения, когда мы почти по инерции катились вперёд. Группа около 90 евреев написала письмо американскому конгрессу с просьбой о своём: чтоб конгресс не давал торгового благоприятствования СССР, пока не разрешат еврейской эмиграции. Чужие этой стране и желающие только вырваться, эти девяносто могли и не думать об остальном ходе дел. Но для придания веса своему посланию они пришли к Сахарову и просили его от своего имени подписать такой же текст отдельно, была уже традиция, что к Сахарову с этим можно идти, он не откажет. И действительно, по традиции и по наклону к этой проблеме, Сахаров подписал им — через 2-3 дня после поправки Вильбора Милза! — не подумав, что он ломает фронт, сдаёт уже взятые позиции, сужает поправку Милза снова до поправки Джексона, всеобщие права человека меняет на свободу одной лишь эмиграции. И письмо 90 евреев было тут же обронено, не замечено, а письмо Сахарова «Вашингтон пост» набрала 18.9 крупными буквами. И конгресс—возвратился к поправке Джексона... Если мы просим только об эмиграции — почему ж американскому сенату надо заботиться о большем?..

Этот перелом в ходе боя, это колебание соседней колонны прошло незамеченным для тех, кто не жил в ритме и смысле событий. Но меня — обожгло. 16.9 из загорода я написал А. Д. об этом письме [34] — и то было второй и последний контакт наших колонн во встречном бою.

В ноябре Сахаров днями просиживал в следственной приёмной, пока допрашивали его жену, и 29.11 мы услышали по радио: «Сахаров подал заявление на поездку в Принстон». И «Дейли мейл» выразила общее чувство: «Казалось чудом сопротивление малой группы лиц

тоталитарному государству. Грустно сознавать, что чудо не произошло. Тирания снова одержала победу.

А со снятием глушения в Москве даже многие школьники стали приходить к радиоприёмникам, следить за волнами нашего боя. В какой-то школе восьмиклассник остановил учительницу истории: «Если вы так говорите о Сахарове (по-газетному), то ничему полезному мы у вас научиться не можем». И тут же стали свистеть, мяукать, сорвали ей урок, предупредили два параллельных класса, сорвали и там. А теперь они должны все узнать, что Сахаров на том и покидает их? Приходят письма из провинции, раздаются телефонные звонки: «Передайте Сахарову — пусть ни за что не уезжает!»

1 декабря Сахаровы пришли к нам. Жена — больная, измучена допросами и общей нервностью: «Меня через две недели посадят, сын — кандидат в Потьму, зятя через месяц выпшют как тунеядца, дочь без работы». — «Но всё-таки мы подумаем?» — возражает осторожно Сахаров. — «Нет, это думай ты».

Мы сами ждали выхода «Архипелага» через месяц и с ним — судьбы, которую уже твёрдо приняли. Здесь. И к тому — убеждали их.

А. Д. красен до темян от невыносимой проблемы, глубоко думает, ещё глубже теперь утанывает телом — в жёстком кресле, головой между плеч. Можно поверить, что трудней — ещё не складывалось ему в жизни, изгнание из касты он перенёс весело. Заявление об отъезде он, оказывается, ещё не подавал, но *попросил характеристику* в своём академическом институте, как это принято по рядовым советским порядкам. Он! — в сентябре арбитр европейских правительств, победитель над самым страшным из них, теперь просил через нижайшее окошечко себе *характеристику* от злобно-поражённых!..

«Да я сразу бы вернулся, мне б только их (детей жены) отвезти... Я и не собираюсь уезжать...» — «Но вас не пустят назад, Андрей Дмитриевич!» — «Как же могут меня не пустить, если я приеду прямо на границу?..» (Искренно не понимает — к а к.)

Уже столько вреда от этой затеи, а внутри его и движенья такого нет — уехать. Мало того, что его не выпустят, — я думаю, он и сам в последнюю минуту дрогнет, визы не возьмёт. Уж мы стали с ним как будто не лицами, а географическими понятиями, что ли, так связались с нашей поверхностью, что как будто не подлежим физическому перемещению по ней, а только разве на три аршина вниз.

Весь минувший бой имел для меня значение, теперь видно, чтобы занять позицию защищённую и атакующую — к следующему, главному сражению, шлемоблещущему, мечезвпящему. Уже вижу завязи его, кое-что и сейчас наметить можно бы, да это уже — к расстановке сил, план операции.

А они, противник, — научились ли чему во встречном бою? Похоже по их началу, что — нет. Дмёт их гордость всемирных победителей, и мешает видеть, и мешает рассчитывать движения. Грозятся вынести домашний скандал на улицу, бить детей не в чулане, а на мостовой, открывать за границей судебные процессы против «Архипелага». Глупей придумать нельзя, только чванство их повело. Но и за них рассудить: а что им остаётся?

Подсылаются новые анонимные письма: «В смерти найдёшь успокоение! Скоро!» На лекциях для крупных чиновников, узко, вот на днях, в декабре: «Солженицыну мы *голго ходить не дадим*».

Слышу: зубы дракона скребут по камню. Ах, как он алчет моей крови! Но и: как вам моя смерть отпрыгнётся, злодеи, подумали? Не позавидую вам.

Есть сходство в той поре, в том настроении, с каким я кончал главный текст этой книги весной 1967 и кончаю теперь — может быть

уже и навсегда, надо и честь знать, за всю жизнь пером не поспеешь. И тогда, и сейчас распутывал я нити памяти, чтоб легче быть перед ударом, перед выпадом. Тогда казалось, да и было, страшней: слабая позиция, меньше уверенности. Теперь — ударов много будет, взаимных, но и я же стою насколько сильней, и в первый раз, в первый раз выхожу на бой в свой полный рост и в свой полный голос.

Мою биографию для нобелевского сборника я так и кончил — намёком: даже событий, уже происшедших с нами, мы почти никогда не можем оценить и осознать тотчас, по их следу, тем более непредсказуем и удивителен оказывается для нас ход событий грядущих.

Для моей жизни — момент великий, та схватка, для которой я, может быть, и жил. (А когда б эти бои — да отшумели? Уехать на годы в глушь, и меж поля, неба, леса, лошадей — да писать роман неторопливо...)

Но — для них? Не то ли время подошло, наконец, когда Россия начнёт просыпаться? Не тот ли миг из предсказаний пещерных призраков, когда Бирнамский лес пойдёт?

Вероятно, опять есть ошибки в моём предвидении и в моих расчётах. Ещё многое мне и вблизи не видно, ещё во многом поправит меня Высшая Рука. Но это не затемняет мне груди. То и веселит меня, то и утверждает, что не я всё задумываю и провожу, что я — только меч, хорошо отточенный на нечистую силу, заговорённый рубить её и разгонять.

О, дай мне, Господи, не переломиться при ударах! Не выпасть из руки Твоей!

Декабрь 1973
Переделкино

ЧЕТВЁРТОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

(Июнь 1974)

ПРИШЛО МОЛОДЦУ К КОНЦУ

Предыдущее Третье Дополнение уже окончено было, но ещё оставалось его перепечатать, перефотографировать, отправить на Запад, остаток спрятать, когда 28 декабря в Переделкине, на даче Чуковских, где с осени был мой новый пустынный зимний приют, во время обычного дневного пережёва под слушанье дневного Би-Би-Си, я неожиданно услышал, что в Париже вышел на русском языке первый том «Архипелага». Неожиданно — лишь в днях, я просил его и ожидал — 7 января, на православное Рождество, но по перебивчивости нашей связи опоздала моя просьба, а самоотверженные наши издатели, не зная ни воскресений, ни вечернего досуга, силами настолько малочисленными, каким удивятся когда-нибудь, опередили мои расчёты. Всего на 10 дней, но именно дни и решают судьбу подпольной литературы: не хватит ведра на уборку — пропал многомесячный урожай.

Услышал — не дрогнул, и вилка продолжала таскать капусту в рот. Уже сколько шагов за эти годы я делал, и каждый казался отчаянным, и каждый оставался без последствий от правительства, — изумляла слабость, неупругость той стены или той непомерной дубины, незаслуженно названной дубом, лишь вподгон к пословице. Столько раз проходило — отчего б ещё раз не пройти?..

Через час опалило мне руку из газового котла, пришлось с ожогом ехать в Москву, я подумал: символ? А ощущался со всеми

близкими — праздник, так и провели вечер. И какое ж освобождение: скрывался, таился, нёс — донёс! С плеч — да на место камушек неподъёмный, окаменелая наша слеза. Даже держать не смели дома, а сейчас — кому не лень, друзья, приходите читайте!

Много лет я так понимал: напечатать «Архипелаг» — заплатить жизнью. Не отрубить за него голову — не могут они: перестанут быть сами собой, не выстоит их держава. Чтобы голову сохранить, надо прежде уехать на Запад. А если *здесь* — то естественно, человечески, оттягиваешь: вот ещё бы Первый Узел написать, вот ещё Второй, а и до Четвёртого бы хорошо, когда уже Ленин приедет в Петроград, и историко-военный роман взорвётся в революционный, и уж заодно под брёвнами горящими погибать. А пока между делом и «Телёнка» бы дочертить. (Только потому и довёл его, что вовремя спохватывал Первое — Второе — Третье Дополнения; не написал бы в срок — нипочём бы сегодня, когда уж оборвалась вся эта напряжка подполья, и зашвырнуло меня в изменённую жизнь, под окном моего горного домика — солнечная чаша швейцарских гор, и рукописи уже не стерегутся, и под потолками говорится в открытую. Другая жизнь.) Так и откладывался «Архипелаг» — от своего первого срока, и всё дальше, — как вот прорвало.

И как же явственно, кто видеть умеет: до чего они ослабели! Городили конвенцию авторских прав — хлипкую загородочку против разнесшегося быка, конвенцией думали остановить «Архипелаг»? Ещё 23 декабря начальник вертухайского ВААПа Панкин грозил: «сделка будет признана недействительной... а также иная ответственность» по законодательству, — да кто же кошачьего расцарапа боится, когда шашки рассвистались наотмашь? Заявление ВААПа перед самым «Архипелагом» могло выражать такое решение, что *нашим* легче задушить за границей несколько издательств, чем здесь меня самого. Но и это был ложный расчёт: не *сделка* был «Архипелаг». Они могли останавливать любой роман, хотя бы мой «Октябрь Шестнадцатого», и их претензии ещё давали бы юристам пищу подумать — обосновано? не обосновано? Но душить «Архипелаг» юридическими волосняными петлями выражало слишком явную беспомощность. Американские издатели поспешили заявить, даже *просить*: они очень *хотят*, чтобы советские власти померялись силами, затеяли бы судебный процесс. (Прошло полгода, и недавно Панкин, как кот, не доставший молока в кувшине, облизнулся: на Западе очень хотели, чтобы мы судились против «Архипелага», а *мы разочаровали их.*)

Удивительно: ещё в августе схватили эту книгу, разглядели. Видели раскалённую, уже расплавленную массу — и всё ещё думали: температуры не хватит, металл не потечёт? Ни канавок, ни опок, ни изложниц — ничего не готовили, куда б его отвести. Убаюкал я их на Казанском вокзале, обманул любимое министерство. Проспали октябрь, проспали ноябрь. (Только в декабре зашевелились: слали в письмах череп и кости, похоронные вырезки из «Нового русского слова», кто ж в Союзе ещё получает его, номер за номером? обещаешь расправиться до конца года, — но до конца же года я их опередил!) Пример беспечности, характерный для слишком великой бюрократической системы. Стоило создавать величайшую в мире контрразведку, чтоб не только прохлопать свою смертельную книгу, но даже собственными руками вытащить её на поверхность? Стоило создавать величайший в мире пропагандистский аппарат, чтоб на скосительную свою книгу не подготовить ни единого аргумента встречь?

Первую неделю обомление полное. С 4 января посыпались судорожные ТАССовские заявления, но только для заграницы, без перевода на русский, без печатанья для своих: «испортил Новый год... посеять недоверие между народами... очернить народ Совет-

ского Союза... представить гитлеровский режим милосердным... Кто не сбесился на антисоветской пропаганде — отвергнет эту книгу... Повод приписать советской действительности язвы капитализма... Пасквиль в обмен на валюту...» В этой убогости аргументации — вся их растерянность и страх. Всего-то? Полстолетия убивать миллионы — и всего-то защиты? Но и всех перемахнул французский коммунист Ларош 7 января по московскому телевидению: Солженицын не отразил (в «Архипелаге...») рекордного урожая последнего года и вообще не учитывает (над могилами) экономических достижений СССР!.. Один за другим поспешные слабые небольшие удары.

Что в те дни промелькнуло против меня негодования — я тогда не уследил, потом уже кой-что подсобралось, рассказывали. В «окнах ТАССа» на улице Горького выставлялся, я сам не видел, большой плакат, как уродцы с трубами и барабанами возносят «сочинения Солженицына», жёлтый череп, чёрные кости, и с блистательным стихом знаменитого поэта А. Жарова:

Своей стряпнёй писатель Солженицын,
Впадая в клеветнический азарт,
Так служит зарубежным тёмным лицам,
Что ныне поднят ими как штандарт.

Или такие прикладывания верности:

«В Свердловский райком КПСС. — С чувством глубокого возмущения узнали о новых фактах предательской деятельности Солженицына, направленной на подрыв интересов Советского государства и социалистического строя. Антисоветская шумиха, поднятая буржуазной пропагандой вокруг его последнего писания, ещё раз наглядно показывает, что этот человек окончательно оторвался от нашего общества и откровенно служит нашим идейным врагам. Клеймим позором отщепенца и предателя, считаем, что ему нет места на советской земле! — Коллектив редакции журнала „Молодая гвардия“».

Молодая гвардия... А я-то защищал их перед «Новым миром»...

На Новый год опять составил я прогноз — «Что сделают?». Вот он:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Убийство | — Пока закрыто |
| 2. Арест и срок | — Мало вероятно |
| 3. Ссылка без ареста | — Возможно |
| 4. Высылка за границу | — Возможно |
| 5. В суд на западное издательство | — Самое желательное для меня и самое глупое для них |
| 6. Газетная кампания, подорвать доверие к книге | — Скорее всего |
| 7. Дискредитация автора (через мою бывшую жену) | — Скорее всего |
| 8. Переговоры | — Не ноль. Но — рано |
| 9. Уступки, отгородиться: до 1956 г. были «не мы». (К тому отчасти и подзаголовок был поставлен: 1918—1956.) | — Не ноль |

В каком смысле «закрыто убийство»? — пока только из-за горячей публичности, а то отчего же? — в любой момент. Ещё в барвихском лесу прикончить одинокого лыжника они могли стесняться, что это — их закрытая «спецзона», где никого кроме них не бывает. Но и в Рождестве ничего не стоило меня убить (иногда под разными предложениями приходили явные агенты), да и в Переделкине на тёмной дороге с вечерней электрички. Бог меня берёт, не допустил их до та-

кого решения. А при высылке за границу — так сразу за тем можно и укокать, уж там-то они за меня не отвечают. Ссылка же куда-нибудь в Сибирь — мне не казалась серьёзной бедой, привычное дело. Только вместо революции придётся писать что-нибудь из давней русской истории.

Двумя же последними пунктами оценивал я их слишком высоко. Дорости до такого понимания они не могли. А ведь лежало у них с сентября моё «Письмо вождям», могли б соотнести, подумать. (Да читали ли они его, кто-нибудь?..) Мой замысел отчасти и был: нанося прямой крушащий удар «Архипелагом» — тут же смутить отвлекающей перспективой «Письма», поманить их по тропке 9-го пункта. В декабре я послал моему адвокату и издателям такой график: печатать «Письмо» автоматически — через 25 дней после первого тома «Архипелага». То есть, давши вождям подумать 25 дней и ничего не дождавшись, перенести эту двойственность, это смещение вонне, в общественность, чтоб нависло не над одною закрытою комнатой политбюро, но знали бы: и все наблюдают их выбор.

И верил я: ещё могло потянуть разное. Не могло, чтоб совсем никто наверху не задумался над «Письмом». (Хотя б другие, кто взойдёт на место нынешних: как путь, для себя возможный, как выход из тупика.)

Из-за того что «Архипелаг» вышел раньше, и срок «Письма вождям» переходил теперь с 31-го января на 22-е. Но когда ТАСС закричало так гневно и бранно, в этой багровой окраске примирительный тон «Письма» мог восприняться как уступка моя, как будто я напуган, не заметят и даты «5 сентября». Мой замысел — от «Архипелага» сразу и прямо пытаться толкнуть нашу государственную глыбу, оказался слаб, плохо рассчитан. Да, предстояло «Архипелагу» менять историю, в этом я уверен, но не так быстро и, видимо, не с Москвы начиная. И 10 января со случайной оказией я поспешил остановить печатание «Письма». Это успело телефонным звонком условной фразой в последний миг, ведь вещь не мала, уж её запустили в набор. Остановили *.

Возможно было и другое совмещение, более логичное, я раньше имел его в виду: спарить «Письмо вождям» с «Жить не по лжи», уже четыре года томившимся, и с чем составляли они две стороны единого: отшатнуться от одной и той же мерзости и народу и правительству.

Впрочем, начиная печатать такую поворотную книгу, как «Архипелаг», а за ней теперь и все прочие накопившиеся, сплошь, — нуждался ли я вообще в тактических шагах и каскадах? текли бы просто книги. (О таком образе жизни и сегодня мечтаю. Из долгого боя выйти непросто, вот уже 4 месяца в Европе и ещё многие месяцы придётся дояснять, договаривать, отражать догонные удары, а истинно хочется уйти совсем в тишину, писать, — и книги пусть текут. Общественное поведение людей объясняют общественными обстоятельствами, но ведь и законы возраста и внутренних наших перемен подготавливают наши общественные решения.)

После отмены «Письма» я настроился: пусть свистят и улюлюкают, я своё дело сделал пока. Придётся, возьмёте? — берите, и к тюрьме готов. Пассивное защитное состояние. Впрочем, по-серьёзному, мы с женою не ждали, что расправа — будет. Многожды сходило с рук, и эту безнаказанность начинаешь ложно продлять вперёд. Аля в этот раз особенно была убеждена: кроме газетной брани ничего не будет, проглотят. Я не думал так, но вёл себя именно так: не самозаперся в нашей московской квартире без дневного света (от прогляда и фото-

* Чего я совсем тогда не представлял, ещё не зная западной шкалы оценок: что «Письмом» я только сбил бы весь эффект от «Архипелага» и вырвал бы свою опору в самый решающий момент борьбы. Уберёт меня Бог и тут. (Примеч. 1978.)

графирования закрыты были наши занавеси круглосуточно), без воздуха и простора, но мирно ездил в Переделкино, неторопливо надышился под соснами, и в темпе необычно для меня медленном (ах, спохвачусь я по этим денёчкам!) доканчивал статьи для сборника «Из-под глыб». Сейчас даже не верится, что размеренно, ровно, буднично текла наша жизнь в январе. Во время газетной травли друзья приходили к нам и говорили: «только у вас в доме и покойно». Да всю эту брань во всей печати мы и не читали, не искали прочесть, даже и размаха не представляли. Аля перепечатывала последние главы «Телёнка», мы их фотографировали, готовили к отправке. И, за городом, радио наслушивался я вдосталь: собственный «Архипелаг» доносился из эфира как живущий сам по себе, своими болями полный, а мной никогда не построенный, не могущий созданным быть,— и меня же до слёз принимал. Мировой отклик на русское издание книги превзошёл по силе и густоте всё мыслимое. Ну, конечно, перемешивали со своим, более понятным: страшные вести о диком Архипелаге — и снятие запрета с воскресных автомобильных поездок в ФРГ; в головы невмещаемая архипелажная жизнь и трёхдневная рабочая неделя в Великобритании. Топливный кризис дохнул на преблагополучный Запад — и эти первые слабые ограничения поразили его чувства. К чести Запада, однако, страдания с бензином не показали сильнее, чем страдания тех вымерших туземцев.

Только теперь, нет, только сегодня, я понимаю, как удивительно вёл Бог эту задачу к выполнению. Когда весь 1962 год «Иван Денисович» сновал по Самиздату до Киева, до Одессы, и ни один экземпляр за год, каким чудом? не уплыл за границу, — Твардовский так боялся, а я нисколько, мне по задору даже хотелось, чтобы «Денисович» вырвался неискажённый, — я совсем не понимал, что только так, именно так вколачиваюсь я, по наследству от Хрущёва, невыемным костылём в кремлёвскую стену. И когда ленинградский экземпляр «Архипелага» не сожжён был, как я понуждал, как был уверен, а достался гебистам, и вызвал спешное печатанье, под яростный их рёв, — именно этим путём возводился «Архипелаг» в свидетельство неоспоримое. Сейчас тут, на Западе, узнаю: с 20-х годов до тридцати книг об Архипелаге, начиная с Соловков, были напечатаны здесь, иные переведены, оглашены — и потеряны, канули в беззвучие, никого не убедя, даже не разбудя. По человеческому свойству сытости и самодовольства: всё было сказано — и всё прошло мимо ушей. В случае с советским Архипелагом тут веял ещё и славный социалистический ветер: стране социализма можно простить злодейства и непомерно большие, чем гитлеровские: это всё гекатомбы на светлый алтарь. Напечатай я «Архипелаг» с Запада — половины бы не было его убийной силы при появлении.

А теперь даже удивительно, как понимали:

«Огненный знак вопроса над 50-летием советской власти, над всем советским экспериментом с 1918 г.» («Форвертс»). «Солженицын рассказывает всему миру правду о трусости коммунистической партии» («Гардиан»). «Может быть когда-нибудь мы будем считать появление «Архипелага» отметкой о начале распада коммунистической системы» («Франкфуртер альгемайне»). «Солженицын призывает к покаянию. Эта книга может стать главной книгой национального возрождения, если в Кремле сумеют её прочесть» («Немецкая волна»).

Ассоциация американских издателей выразила готовность опубликовать исторические материалы, которые советское правительство захотело бы противопоставить «Архипелагу». Но — не было таких материалов. За 50 лет палачи не подобрали себе оправданий. И за последние полгода, уже книгу имея в ГБ, — не удосужились. Напечатали в «Нью-Йорк Таймс» вялую статью Бондарева (как будто «Архипелаг» о 2-й мировой войне, а не о советских тюрьмах и лагерях, — Сталинград да генерал Власов. А обо мне что ж? — нет художественной

правды, не понимаю нравственности, антиславянское чувство, национальный нигилизм, нахожусь в ссоре со всем народом). Напечатали в «Известиях» статью — опять о генерале Власове, обширную, я развернул, думаю: ну, сейчас будут опровергать, кто Прагу от немцев освободил, документы — у них, каких нет — подделают, а где ж мне моих сокамерников теперь созвать? Но — нет! даже не хватило наглости, главного не опровергли: что единственным боевым действием власовских дивизий был бой против немцев — за Прагу!

За полстолетия нисколько разумом не возрастаю, но много даже поубавившись от изворотливых коминтерновских 20-х годов, советская пресса умела и знала одно: лобовую брань, грубую травлю. Её и открыла «Правда» 14-го января: «Путь предательства». Материал — директивный: на другой день перепечатали её все крупные и местные газеты, это уже тираж миллионов под 50. Ещё на следующий день «Литгазета» указала и специальный термин для меня: *литературный власовец*. И в несколько дней посыпало изо всех типографий, со всех витрин. И главный передёрг: тюрьмы, лагеря — вообще не упоминались как тема, вся осуждаемая книга есть оскорбление памяти погибших на войне, а главное, изящно-непрозрачным выражением: как будто (и отступить можно) у подлеца три автомашины — и этот смачный кусок, брошенный толпе, более всего дразнит: «Гад! чего ему не хватало?!»

Со следующего же дня после сигнала «Правды» началась трёхнедельная атака телефонных звонков в нашу московскую квартиру. Новое оружие XX века: безличным дребезжаньем телефонного звонка вы можете проникнуть в запертый дом и ужалить проснувшегося в сердце, сами не поднявшись от своего служебного стола или из кресла с коктейлем.

Началось — блатным рыком: «Позови Солженицына!» — «А вы кто такой?» — «Позови, я — его друг!» Жена положила трубку. Снова звонки. Взяла трубку молча (ни «да», ни «слушаю») — тот же блатной хрипящий крик: «Мы хоть и сидели в лагерях, но свою родину не продавали, понял?? Мы ему, суке, ходить по земле не дадим, хватит!!» (Лектор ЦК в декабре — слово в слово, только без «суки».) Телефонная атака была неожиданное, непривычное дело, требовала нервов, мгновенного соображения, находчивых ответов, твёрдого голоса (нас не проймёте, не старайтесь). Аля быстро овладела, хорошо находилась. Слушала, слушала всю брань молча, потом тихо: «Скажите, зарплату дают в ГБ два раза в месяц или один, как в армии?» — по ту сторону в таких случаях всегда терялись. Или даже поощряла междометиями, давая выговориться, потом: «Вы всё сказали? Ну так передайте Юрию Владимировичу (то есть министру КГБ), что с такими тупыми кадрами ему плохо придётся». Звонили так сдирижированно непрерывно, что не давали прорваться звонкам друзей, а не взять трубку — может быть именно друг звонит? Всё ж удалось и самим сообщить об этом шквале (и в тот же вечер западные радиостанции, дай Бог им здоровья, уже передавали о телефонной атаке). Голоса мужские и женские, ругань, угрозы, сальности, — и так непрерывно до часу ночи, потом перерыв — и снова с 6 утра. Немного звонили и к Чуковским в Переделкино, оскорбляли Лидию Корнеевну, вызывали меня: «с женой плохо». (Не случайно совпало это всё в этих же днях с исключением Л. К. из Союза писателей, отчасти и как мсть, что она приютила меня. Успел я и ответить, через корреспондентов [35].) К счастью, кто-то принёс нам недавно приспособление записывать телефонные разговоры на диктофон, я по телефону же, не стесняясь ГБ, проинструментировал Алю — как включать, и она по телефону же демонстрировала воспроизведение: вот, мол, наберём на кассету самых отборных... Цивилизация рождает оружие — рождает и контроружие. Подействовало, стали остерегаться, говорить помягче, разыгрывать роли сочувственников («боимся, что его арестуют!»).

В тот первый вечер затевали и большее, чем звонки, — кажется, *народный гнев*: какие-то лица созваны были во двор на Козицком, и сюда же стянуто несколько десятков милиционеров — охранять, но ни битья стёкол, ни «охраны» не осуществилось, очевидно, переменили команду, когда-нибудь узнаем.

А телефонные звонки зарядили на две недели, хотя уже не с такою плотностью, как в первый день, зато разнообразнее:

— ...Власовец ещё жив?..

— ...Я читал все его произведения, молился на него, но теперь вижу, что мой кумир — подонок.

А то и — крик отчаяния (после моего нового заявления прессе):

— Да что ж он делает, гад?! Что ж он не унимается?!

Темы не столько перемежались, сколько сменяли друг друга по команде: день-два только угрозы убить, потом — только «разочарованные почитатели», потом — только «друзья по лагерю», потом — доброты, с советами: не выходить на улицу, или детей беречь, или не покупать продуктов в магазине — для нас успеют их отравить. Но удивительно: среди сотен этих звонков не было ни одного умелого, артистического, фальшивость выявлялась в первом же слове и звуке, независимо от сюжета. И все сбивались от встречной насмешки. И, чтоб не тратить своего досуга, все стали вмещаться в служебное время, только.

Такова была попытка сломить дух семьи — и через то мой. Но госбезопасности не повезло на мою вторую жену. Аля не только выдержала эту атаку, но не упустила течения обязанностей. Шла работа, и семья жила, и малыши ещё не скоро поймут, что их младенчество было не совсем обычное.

Параллельно телефонной атаке (и, само собою, газетной) велась ещё и почтовая. По почте враждебные письма всегда были с полным точным нашим адресом — но анонимны. Прорвалось и несколько дружеских (ошибка цензуры: «Немецкая волна» назвала наш адрес без номера квартиры — и потому эти письма шли другою разборкой, не попадали под арест) — то от «рабочих с Урала», то — от детей погибших эзков.

Советская газетная кампания, шумливая, яростная и бестолковая, на международной арене была проиграна в несколько дней, так глупа она была. Предупреждала «Нью-Йорк Таймс»: «Эта кампания может принести СССР больший вред, чем само издание книги». И «Вашингтон пост»: «Если хоть волос упадёт с головы Солженицына — это прекратит культурный обмен и торговлю». Уж там прекратит — не прекратит, преувеличение конечно, *разрядку*-то упускать никак нельзя, однако читая западные газеты на Старой площади, можно и раздуматься: чёрт ли в этом Солженицыне, стоит ли из-за него портить всю международную игру? Западная пресса звучала таким могучим хором моей защиты, что исключала и убийство и тюрьму.

А тогда — куда ж и к чему это всё лаялось? Куда выносило необдуманно паруса наших газет? (Для себя я видел в газетной кампании уже ту победу, что отдавшись крику на весь мир, они упустили простую бывалую молчаливую хватку — зубами на горло и в мешок.) Но — начали, по срыву, по злости, не вырешив до конца, начали, заделали миллионы неведавших голов у себя в стране, — и теперь за них, прежде всего — за соотечественников, начиналась борьба. Да и перед Западом как будто непонятно становилось: отчего уж я так не оправдываюсь, ни единым словом? может, в чём-то клевета и права?

Вот так и зарекайся — в драке дремать молчаливо. На то нужен не мой нрав.

Я ответил в два удара — заявлением 18-го января [36] и коротким интервью журналу «Тайм» 19-го [37]. В заявлении ответил на самые занозистые и обидные обвинения советских газет, подсобравши всё к двум страничкам; в интервью развил позицию: упущенный в ноябре

ответ братьям Медведевым; и образумление себе, и Сахарову, и всем, кто за гомоном и гонением потерял ощущение меры: что как бы нас на Западе ни защищали, спасибо, но надо скорей на ноги свои; и — пока ещё рот не заткнут, а как там вывернется с «Жить не по лжи» не знаешь, высунуть на свет и этот главный мой совет молодёжи, эту единственную мою реальную надежду; и просто вздохнуть освобождённо, как чувствует душа: «Я выполнил свой долг перед погибшими...»

Отстонались, отмучились косточки наши: сказано — и услышано...

Передавали по многим радио, телевидениям — а в газетах пришлось во многих на 21-е января — в полу столетие со дня смерти Ленина; какого и не вспомнили в тот день. Броском косым и укусом мгновенным сколько схваток он выиграл при жизни! — а вот как проигрывал через полвека, ещё неназванно, ещё полужримо.

Би-Би-Си: «Двухнедельная кампания против Солженицына не смогла запугать его и заставить замолчать». — «Ди Вельт»: «За устранение его Москве пришлось бы заплатить цену, аналогичную Будапешту и Праге».

И так перестояли мы неделю после правдинского сигнала — бить во все! Перестояли, и даже ТАССу пришлось отзываться — но как же отозваться на мой призыв молодёжи — не лгать, а выстаивать мужественно? Вот как: «Солженицын обливает грязью советскую молодёжь, что у неё нет мужества». Но это было уже 22 января, день, когда в Вашингтоне перед зданием Национального клуба печати состоялась демонстрация американских интеллектуалов разных направлений, очень ободрившая меня: читали отрывки из «Архипелага», возглашали: «Руки прочь от Солженицына! Наблюдает весь мир!» 22-го, когда появился «Архипелаг» уже и на немецком и первый тираж был распродан в несколько часов. Мы перестояли неделю, но его завершался почти полный первый месяц от выхода книги, самый трудный месяц, когда плацдарм ещё так мал, ещё мир и не читал — а уже так много понял! Теперь же плацдарм расширился, начиналось массовое чтение на Западе, при взятке уже разгоне даже трудно было предвидеть последствия. 23-го у меня записано: «А что если враг дрогнет и отойдёт (начнёт признавать прошлое)? Не удивлюсь». (Ещё раньше, вслед за русским тотчас, должно было появиться американское издание, мною всё было сделано для того, но два-три сухих корыстных человека западного воспитания всё обратили в труху, всю Троицыну отpravку 1968 года; американское издание опоздает на полгода, не поддержит меня на перетяжке через пропасти — и только поэтому, думаю, наступила развязка. А могло быть, могло бы быть — чуть ли бы не отступление наших вождей, если бы на новый 1974 год вся Америка читала бы реально книгу, а на Старой площади только и умели сплести, что она воспевае гитлеровцев...)

Я понял тогда так: если первый месяц решалось, что будет со мной, — от нынешнего момента сражение расходится шире и глубже: теперь о том идёт, проглотит ли Россию пропагандистская машина ещё раз — или поперхнётся? Газетная ложь — опять и опять разольётся свободно или наконец встретит сопротивление? Я верил, что благоприятный перелом возможен, и тем более понимал смысл положения своего: делать следующие заявления не к Западу, а по внутренним адресам.

В конце января газетная брань ещё ожесточилась, умножилась, гроздьями и гроздьями набирали подписи, теперь уже и известных, — но и молодые бестрепетные выступали по одному, как на смерть, выходили в полный рост, беззащитные, под свинец, — Дима Борисов, Боря Михайлов, Женя Барабанов, по совпадению у каждого — неработающая жена и по двое малых детей. И Лидия Корнеевна назвала, кто кого предал [38], ответ с литературным сверканием. Газетная брань гремела выгибанием жестяных полотнищ, но с Запада издали

чутко заметили: что мои заявления были «явно наступательного характера», а власти — как будто бы отступают, тратя усилия многие, и всё равно беспомощно.

Утки в дудки, тараканы в барабаны, на своём месте каждый по-сильно толкал. Пока газеты бранились — в госбезопасности обряжали моего школьного друга Виткевича на интервью кому-нибудь западному. Такой поворот поразительный: обвиняла меня госбезопасность, что я был против неё недостаточно стоек, не с первого знакомства по морде бил, как сегодня. Хоть и сам я ожидал вероятнее всего дискредитации личной, но ждал, что это будет вести только через первую жену, не предполагал через друга юности. Кем я у них уже не был — полицаем, гестаповцем, — теперь доносчиком в ГБ. Предпочёл бы я вовсе не отвечать, слишком часто. Да влезши в сечь, не клонись прилечь. Ну а раз отвечать — так во весь колокол [39].

И снова мировое радио и пресса подхватили. «Против вооружённых повстанцев можно послать танки но — против книги?» — «Растрел, Сибирь, сумасшедший дом только подтвердили бы, как прав Солженицын». — «Пропаганда оказалась бумерангом...» И уже не впервые поддержал меня звучно Гюнтер Грасс.

И мне показалось: я выиграл ещё одну фазу сражения. Дал новый залп, а их атаки как будто замирают или кончились (как уже было в сентябре)? Я — ещё и ещё укрепился? 7 февраля записал: «Прогноз на февраль: кроме дискредитации от них вряд ли что будет, а скорей передышка». Неразумно так я писал, сам же и не забывая, что конец января — начало февраля всю жизнь у меня роковые, многие в эти дни сгущались опасности, окружение, арест, гибельный этап, операция, и помельче, а как переживёшь эти дни — так сразу и спало. Я больше хотел так, передышку: замолчать, убраться в берлогу, как много уже раз после столкновений — уцелевал и замолкал. Хотя по ходу сражения даже жалко было — в передышку.

Особенность человека, что он и грозные, и катастрофические периоды жизни переживает схоже с рядовыми, занят и простым повседневным, и только издали потом оглядываясь: ба, да земля под ногами крошилась, ба, да при свете молний!

Сам я никакого перелома не заметил. А жена в начале февраля почувала зловещий перелом: в том, что телефонная атака на нашу квартиру прекратилась, да даже и газетная кампания увяла как-то — всё, чем прикрывали до сих пор нерешительность власти. (Брежнев вернулся с Кубы, я значения не придавал. А его и ждали — принять обо мне решение.)

Среди множества, прозвучавшего за этот месяц, было и вещее, да не замеченное, как всегда это бывает, могущее и впусе пройти, пока возможность не стала выбором. Сейчас, пересматривая радиобюллетень за тот месяц, нахожу с удивлением для себя: 18 января, корреспондент Би-Би-Си из Москвы: «Есть намёки, что склоняются к *высылке*». 20 января, Г. Свирский, уже эмигрант: «Солженицына физически заставят войти в самолёт». Как по-печатному! И ведь я допускал возможность высылки, а вот *этой формы* простейшей — силою, в самолёт, да меня одного, без семьи — как-то не видел, упустил. (Да что! — сейчас в печать отдавая, проглядываю эту книгу — откинулся: в марте 1972 нас же и предупредили, что именно так и будет: высылка через временный арест. Совершенно забыли, никогда не вспомнили!..) И уж меньше всего мог думать, что так прилипнет ко мне, что канцлер Брандт 1 февраля сказал молодым социалистам (нисколько тем не довольным, провалился бы я и сквозь землю): «В Западной Германии Солженицын мог бы беспрепятственно жить и работать». Сказал — и сказал.

Высылка — могла быть, но она и прежде уже не раз быть могла, да никогда к ней не подкатывало. А если будет, то, представляли мы с Алей: охватят кольцом нашу квартиру, всех вместе, отрежут теле-

фон и велют собираться— поспешно или посвободнее. Если бы продумать медленно, могли бы догадаться, что такая форма властям не подойдёт. Но медленно никогда не доставалось нам подумать: всегда мы были в гонке текущих дел. Уже третий год, как держали мы такую бумажку: «Землетряс», и варианты: застигло нас вместе, порознь, в дороге,— но так никогда и не собрались детально разработать. Да перебрать все годы по неделям — каждая была наполнена как главная из главных: что-то пишу, срочно доделываю, или исправляю старую редакцию, перепечатаваем, фотографируем, рассредоточиваем (и сколько переменных решений: эту вещь лучше дома держать? не дома? и так пробуем, и этак), отправляем за границу, сопровождаем пояснительным письмом. И за теми заботами и за свалкой с врагами, таж никогда и не углубились превратить «Землетряс» в график.

8 февраля «Архипелаг» вышел в Швеции, поддержка прибывала. И в Норвегии после выступлений в стортинге министр иностранных дел передал советскому послу беспокойство норвежской общественности. Тут и датская с-д партия — тоже в мою защиту. (А всё Шулубин с «нравственным социализмом»...) Спокойно я работал в Переделкине. И вдруг от Али неурочный звонок: приносили повестку из генеральной прокуратуры [40] явиться мне туда, и немедленно, к концу рабочего дня. (Это и невозможно было из Переделкина, голову сломя, как не рассчитали, зачем написали так?) Придравшись, что исходящего номера нет (уж до чего халтурили, спешили), повестка не мотивирована, не указаны причины вызова, в качестве кого вызываюсь (придаться непременно надо было, глазами ела эту повестку), — жена отклонила вызов.

У Чуковских в столовой много лет телефон стоял на одном и том же месте — на резном овальном столике, противоположно окну, так что в пасмурный день, да к концу его — серо было. И взявши трубку, и услышав о генеральной прокуратуре, я сразу вспомнил, так и прокололо, как на этом самом месте в такие же полусумерки из этой же трубки в сентябре 65-го я услышал от Л. Копелева: «Твоё дело передано в генеральную прокуратуру». Дело моё тогда было — захваченный архив, с «Пиром победителей» и «Кругом», и передача его в генеральную прокуратуру означала судебный ход. (Почему они на него не решились тогда — загадка. Имели бы успех.) Тогда-то — в генеральной прокуратуре «Круг» мой просто заснул в сейфе. Но какое-то пророчество было в том: чтобы через 8 лет та же задремавшая змея на том же месте меня ужалила.

Что ж. Громоглашу я против них уже 7 лет, должны были и они наконец подать команду.

По телефону с Алей мы разговаривали всегда условно, притворно, всё через Лубянку, так и сейчас — будто этот вызов в прокуратуру не выше прыща (она и звонила не тотчас). А поняли оба, что дело серьёзно. Серьёзно, однако сбивало, что летом туда же вызывали Сахарова, и всего навсего для увещательной беседы: прекратить непристойную деятельность. Однако к нему и ко мне отношение властей всегда было разное. Номенклатурно мысля: он — три медали «Золотая звезда», уж от него ли государство не попользовалось? зачеркнуть даже им не просто. А я, сколько знают они меня, — как спирт нашатырный под нос, другого от меня не видели. Вызывать меня на увещание — никак не могли. А тогда — на что? И почему — к концу рабочего дня, последнего в неделе? Тут бы и вникнуть. Нет, аналогия всё-таки отвлекала. (Они на неё и рассчитывали, заманить?..) Ясно было, что своими ногами я не пойду, но и будто — простор ещё оставался, время.

Двух часов не прошло — вдруг топот мужской на крыльце и сильнейший грозный стук по стёклам, — именно так стучали, как ЧКГБ, — властно, последним стуком. А Лидия Корнеевна ничего не знала: чтоб

работы её не прерывать, я ей о прокуратуре ещё и не сказал, и впопыхах объяснять уже некогда. Не готовы мы оказались, впустили! Л. К. говорит: знала бы — не открывала.)

Трое. С глупейшим поводом: для ремонта дачи (какого делать не будут) уже приходили дважды, «составляли смету» (осматривали меня и мою комнату), — так вот, опять «смету составлять». Выедали меня глазами, с полуслепой Л. К. ходили по комнатам. Вдруг — телефонный звонок, и — чужой ремонтник, в чужом доме! — хватнул трубку, выслушал, буркнул — и тут же, смету более не составляя, — ушли сразу все. Пошла Л. К. за ними, успела увидеть за воротами машину и ещё двоих-троих.

Почему они не взяли меня тогда же, там же? (А вот почему: они приходили — только проверить: не сбежал ли я за те два часа, что мне уже известен вызов прокуратуры? Спокойность моего ответа жене по телефону ничего не доказывала: уже знали они и маскировочную манеру разговаривать и моё умение исчезать на месяцы. Если б я исчез в 1-2 часа — где б меня искать на просторах Отечества, чтобы выполнить распоряжение политбюро — выслать до 14 февраля? но проверили: не сбежал. И установили слежку за переделкинской дачей в расчёте, что в понедельник я и сам в прокуратуру приду — так будет мирней, скрытней, без шумного ареста.)

Кажется, так явно: приходили за мной. Нет, безнаказанность стольких уже сошедших эпизодов, а главное — инерция работы, не давшая мне много лет нигде завязть, захряснуть, затиниться, — эта самая инерция мешала мне тотчас же кинуть всю работу, методически собраться и утром катить в Москву. Кончалась пятница, и двое суток — субботу и воскресенье, могли мы с Алей потратить на самое не терпящее, улаживая, обдумывая, признав, что Землетряс уже начался! (Хотя, конечно, и суббота с воскресеньем — не защита от хватки их, вполне бы и схватили.) Нет, я просидел ещё три ночи и два дня в Переделкине, вяло продолжая и ничего не докончив, уже как будто невесомо взвешенный, а всё ещё и на земле, и даже в понедельник утром, не слишком рано спеша в Москву, оставил на месте свой быт, поверхность письменного стола, книги.

Утром 11-го, по дороге в Москву, я знал уже, что отвечу прокуратуре. Но так не рано приехал я, а посыльный прокуратуры (офицер, конечно, но с застенчивой улыбкой) так в рани рабочего дня с новой повесткой, что я не успел и с Алей обсудить как следует, и уже при нём, посыльном, посадивши его в передней, перепечатывал на машинке свой ответ [41] — и вместо подписи приклеил его к повестке. Растянулось долго, и посыльный офицер нервничал в передней, при моём проходе зачем-то вскакивал и вытягивался. Получив ответ — благодарил, и так торопился уйти, листа не сложив, что я ему: «В конверт положите, дождь». Втиснул неловко.

Началась драка — бей побыстрей! Ещё при посыльном стали мы звонить корреспондентам, звать к себе. Сперва — объявить мой ответ. Но заскакивало чувство дальше, раззудись рука, — после этих слов какие ж ещё остались запреты? Выговаривать — так до дна. И схвативши третий том «Архипелага», выпечатавали мы уже отрывок из 7-й части, из брежневского времени: Закона нет. Пришли от «Нью-Йорк Таймс», от Би-Би-Си, я прочёл им вслух на микрофон. Вот эти два ответа за несколько часов — стоили ситуации.

А собираться, прощаться — мы и не начинали. Бой — так не первый же раз, не грознее прежних.

Но после дерзкого моего ответа утром — почему не шли взять меня тотчас, если было уже всё решено? Пока надеялись, что я сам приду в прокуратуру (а так просто метнуться по моему характеру, она — рядом, на Пушкинской, две минуты ходьбы, и не какое-нибудь же закатное ГБ), — вот попался бы гусь, вот бы в ловушку! — меня бы тут же и взяли, беззвучно, неглядно. Но почему ж не брали в поне-

дельник и во вторник, давали трубить на весь мир? Может быть, и сбобели — от громкости моего отпора. Если б я явился в прокуратуру — значит, ещё признавал их власть, значит, ещё была надежда на меня давить, переговариваться.

К вечеру пошли мы с женой погулять, поговорить на Страстной (Нарышкинский) бульвар: это было любимое наше место для разговора подольше — и удивительно, если нас не прослушивали там никогда (правда, мы старались всё время менять направление ртов). Тот самый Страстной бульвар — уширенный конец его, почти кусочек парка, — и вообще любимый, и за близость к «Новому миру», сколько здесь новомирских встреч! В этот раз следили за нами плотно, явно, даже, в виде пьяного, один наталкивался на меня грудью. Но когда не следили совсем? — от этого день не становился изрядным.

Перебрали, что в чертах общих мы готовы как никогда, все главные книги спасены, недосыгаемы для ГБ. И что надо приготовиться к аресту, простые вещи собрать. Но — усталые, приторможенные мозги: на настоящее обсуждение Землетряса — он пришёл, но он ли уже? — не достало чёткости, какая-то вялость. Я повторил, как и прежде, что два года в тюрьме выдержу — чтоб дожить до напечатания всех вещей, а дольше — не берусь. Что в лагере работать не буду ни дня, а при тюремном режиме можно бы и писать. Что писать? Историю России в кратких рассказах для детей, прозрачным языком, неукрашенным сюжетом. (С тех пор задумал, как свои сыновья пошли, а — соберусь ли?) Обсуждали способы, как при свидании передавать написанное серьёзное. Как буду вести себя на следствии, на суде (давно решено: не признаю их и не переговариваю с ними).

Был бессолнечный полуснежный день (земля — под белым, деревья и скамьи черны), а вот уже и к сумеркам — горели враждебные огни в АПН, и с двух сторон бульвара катили огоньки автомобилей. Кончался день, не взяли.

Покойный рабочий вечер. Делали последнюю фотоплётку с «Тихим Доном». Слушали радио, как мой утренний ответ уже по миру гремял. Собрали простейшие тюремные вещи, а мешочка не нашли — вот заелись: тюремного мешка нет наготове! Ночью, в обычную бессонницу, я тоже хорошо поработал, сделал правку «Письма вождям»: опенки и предложения все оставались, но надо было снять прежний уговорительный тон, он сейчас звучал бы как слабость. Да ведь если они когда и прочтут — то только вот этот текст, распубликованный, — разве скрепку, сданную в окошко ЦК, кто-нибудь из них читал?

И так на душе было спокойно, никаких предчувствий, никакой угнетённости. Не кидался я проверять, сжигать, подальше прятать, — ведь для работы завтра и через неделю всё это понадобится, зачем же?

С утра опять работали, каждый за своим столом. У Али много стекло опасного и всё лежало на столе. 10 часов, назначенные во вчерашней повестке. Одиннадцать. Двенадцать. Не идут. Молча работаем. Как хорошо работаем! — отпадает с души последняя тяжесть: Отступил! Живём дальше! Я ответил: Судить виновников геноцида! — и мир, и покой, облизнулись и отступили. Потерпят и дальше. Никакие патриоты не звонили, никто не рвался в квартиру, никто подозрительный не маячил под парадным. Может быть, потому не шли, что иностранные корреспонденты дежурили близ нашего дома?

И я даже не проверил как следует большой заваленной поверхности своего письменного стола, не видел плёнки-копии, давно назначенной на сожжение. Хуже. Лежали на столе письма из-за границы от доверенных моих людей, от издателей, их надо было срочно обработать и сжечь, — и тоже времени не было. Да, вспоминаю, вот же почему: 14-го вечером назначена была моя встреча с западным человеком (со Стигом Фредриксоном, см. Пятое Дополнение) — и я гнал

подготовить то и только то необходимое, что предполагал в этот вечер отправить.

Теперь имею возможность открыть, во что поверить почти нельзя, отчего и КГБ не верило, не допускало: что многие передачи на Запад я совершал не через посредников, не через цепочку людей, а сам, своими руками. Следило ГБ за приходящими ко мне, за уходящими, и с кем они там встречались дальше, — но по вельможности своего сознания, по себе мера, не могли представить ни генерал-майоры, ни даже майоры, что нобелевский лауреат — сам, как мальчишка, по неосвещённому углу в неурочное время шныряет со сменной шапкой (обычная в рюкзаке), таится в бесфонарных углах — и передает. *Ни разу не уследили и ни разу не накрыли!* — а какое бы торжество, что за урожай!.. Правда, помогало здесь моё загородное житьё — то в Рождестве, то в Жуковке, то в Переделкине, обычно шёл я на встречи оттуда. Из Рождества можно было гнать пять вёрст по чистому полю на полустанок, да одеться как на местную прогулку, да выйти лениво в лес, а потом крюку и гону. Из Жуковки можно было ехать не обычной электричкой (на станции то и дело дежурили топтуны), — в другую сторону и кружным автобусом на Одинцово. Из Переделкина — не как обычно на улицу, а через задний проходной двор, где не ходили зимой, на другую улицу и пустынными снежными ночными тропами — на другой полустанок, Мичуринец. И перед тем по телефону с Алей — успокоительные разговоры, что мол спать ложусь. И — ночной огонёк оставить в окне. А если попадало ехать на встречу из самой Москвы, то либо выехать электричкой же за город, плутануть в темноте и воротиться в Москву, либо, либо... Нет, городские рецепты пока придержим, другим пригодятся.. А ещё ж остаётся и быстрая ходьба. В 55 лет я не считал себя старым для такой работы, даже очень от неё молодел и духом возвышался. Обрюзгшие гебисты не предполагали во мне такого, сейчас прочтут — удивятся.

В 3 часа дня, не обедая, я со Степаном, 5-месячным моим сынком, пошёл гулять во двор — понёс его коляску под мышкой. На просмотре всех окон, всех прохожих и дворовых, стал похаживать с бумагами, как обычно, почитывать, подумывать. Спокойный день получился. Вот когда только и дошла очередь до чтения тех писем из-за границы — к завтраму надо было на них ответить. Так, на просмотре, на полной открытости, похаживал мимо спящего Стёпки, и читал конспиративные письма.. Но не суждено было мне их дочитать: пришёл, подошёл ко мне Игорь Ростиславич Шафаревич.

А не пора ли мне и о нём написать, открыто? Когда эта книга напечатается, уже он выступит со своим «Социализмом» и примет свой рок или Бог отведёт от него. С Игорем Шафаревичем мы, плечо о плечо, уже три года к тому времени готовили «Из-под глыб».

Мы познакомились в начале 1968. Время ценя, а зубоскальство застойное нисколько, я отклонял многие знакомства, в академических особенно был разочарован, насторожен был и к этому, зашёл на полчаса. Глыбность, основательность этого человека не только в фигуре, но и во всём жизненном образе, заметны были сразу, располагали. Но первый наш разговор не дошёл до путного, тут ещё вмешалась насмешливая случайность: лежали у него на столе цветные адриатические пейзажи, он был там в научной командировке и мне показал зачем-то. Ему самому это было крайне не в масть, нельзя придумать противоположной. А я решил: балуют его заграничными командировками (а как раз наоборот), такие — безнадёжны для действий. Сказал я ему: вообще, сколько академиков видел — все любят поговорить интересно и даже смело, а как действовать да выстаивать, так и нет никого. И ушёл. Не открылось вмиг, на чём бы нам сблизиться. Позже. Уже с третьей встречи стала проступать наша общая работа. Тот год был, кажется, самый шумный в «демократическом движении», и уже тогда стал опасно напоминать 900-е и 10-е годы: только — от-

рицание. только — дайте свободу! а что дальше — никто с ответственностью не обдумывал, с ответственностью перед нашей несчастной страной, — чтоб не новый крикливый опыт повторить и не новое погрошение внутренностей её, а сама она хоть пропади.

Все мы — из тёплого мяса, железных не бывает, никому-никому не даются легко первые (особенно первые) шаги к устоянию в опасности, потом и к жертве. Две тысячи у нас в России людей с мировой знаменитостью, и у многих она была куда шумней, чем у Шафаревича (математики витают на Земле в бледном малочислии), но граждански — все нули, по своей трусости, и от этого нуля всего с десяток взял да поднялся, взял — да вырос в дерево, и среди них Шафаревич. Этот бесшумный рост гражданского в нём ствола мне досталось, хоть и не часто, не подробно, наблюдать. Подымаясь от общей согнутости, Шафаревич вступил и в сахаровский «комитет прав»: не потому, что надеялся на его эффективность, но стыдясь, что никто больше не вступает, но не видя себе прощения, если не приложит сил к нему.

Вход в гражданственность для человека не гуманитарного образования — это не только рост мужества, это и поворот всего сознания, всего внимания, вторая специальность в зрелых годах, приложение ума к области, упущенной другими (притом свою основную специальность упуская ли, как иные, или не упуская, как двудюжий Шафаревич, оставшийся по сегодня живым действующим математиком мирового класса). Когда такие случаи бывают поверхностны, мы получаем дилетантство, когда же удачны — наблюдаем сильною свежую хватку самобытных умов: они не загромождены предвзятостями, доведенными до лозунгов, они критически провеивают полномочное от трухи. (И. Р. эту свою вторую работу начал совсем частным образом, для себя, с музыки, и именно естественнее всего — с гениального, трагического и опустившегося Шостаковича, к которому его всегда тянуло. Он пытался понять, за чем застаёт Шостакович наши души и что обещает им, — сама собою просится такая работа, но никак не совершена. Напечатать статью было, конечно, негде, — и по сей день. Исследование о Шостаковиче привело И. Р. к следующему расширению: к общей оценке духовного состояния мира как кризиса безрелигиозности, как порога новой духовной эры).

Вот, три крупных имени вошли в эти *литературные заметки*, — лиц, делавших или делающих нашу гражданскую историю. Заметим: лишь Твардовский из них — гуманирист от начала до конца. Сахаров — физик, Шафаревич — математик, оба занялись как будто не своим делом, из-за того, что некому больше на Руси. (Да и про меня заметим, что образование у меня — не литературное, а математическое, и в испытаньях своих я уцелел лишь благодаря математике, без неё бы не вытянул. Таковы советские условия.)

А ещё Шафаревичу прирождена самая жильная, плотная, нутряная связь с русской землёй и русской историей. Любовь к России у него даже ревнива — в покрытие ли прежних упущений нашего поколения? И настойчив поиск, как приложить голову и руки, чтобы по этой любви заплатить. Среди нынешних советских интеллигентов я почти не встречал равных ему по своей готовности лучше умереть на родине и за неё, чем спастись на Западе. По силе и неизменности этого настроения: за морем веселье да чужое, а у нас и горе да своё.

Два года обсуждая и обсуждая наш сборник «Из-под глыб» и материалы, стекающие к нему, мы с Шафаревичем по советским условиям должны были всё это произносить где-то на просторной воле. Для этого гуляя мы подолгу — то под Жуковкой, то по несравненному холмам близ Рождества (граница Московской области и Калужской), то однажды (в разгар «встречного боя» 31 августа 1973, накануне того, как я узнал о захвате «Архипелага») близ села Середникова (позже узнал — бывшего столыпинского) с его разрезанными избами, печальными пустырями (разорённое в коллективизацию, сож-

женное в войну, оно никогда уже более не восстановилось), с его дивной церковной времён Алексея Михайловича и кладбищем. Мы переходили малую светлую речушку в мягкой изгибистой долине между Лигачёвым и Средниковым, остановились на крохотном посеревшем деревянном мостке, по которому богомолки, что ни день, переходят на подъём и кручу к церкви, смотрели на прозрачный бег воды меж травы и кустов, я сказал:

— А как это всё вспоминаться будет.. если.. не в России!

Шафаревич, всегда такой сдержанный, избегающий выразить чувство с силою, не показалось бы оно чрезмерным, ответил, весь вытягиваемый изнутри, как рыбе вытягивает внутренности крючком:

— Да невозможно жить не в России!

Так выдохнул «невозможно» — будто уж ни воздуха, ни воды там не будет.

Со свежестью стороннего непредубеждённого точного ума Шафаревич взялся и за проблему социализма, — с той свободой и насмешкой, какая недоступна сегодня загипнотизированному слева западному миру. В сборник помещалась лишь статья умеренного объёма, Шафаревич начал с книги, с обзора подробного исторического, от Вавилона, Платона, государства инков — до Сен-Симона и Маркса, мало надеясь на доступность ему источников после того, как опубликуется «Из-под глыб».

Очередная редакция этой книги и лежала у меня последние недели, я должен был прочесть, всё некогда было, тут обнаружилось, что машинописный отпечаток мне достался очень бледный, я просил — нельзя ли ярче. 12 февраля, часа в 4 дня, Игорь и принёс мне другой экземпляр своей книги, оставил портфель в квартире, а сам спустился ко мне во двор. И здесь, среди бела дня, насквозь наблюдаемые и неужели же не слушаемые (уже несколько таких важнейших бесед по вечерам проводили мы в нашем дворе — и если б хоть раз подслушали бездельники из ГБ, неужели не приняли бы мер захватить и остановить наш сборник)? — здесь мы, потупляя рты от лазеров, меняя направление лиц, продолжали обсуждать состояние дел со сборником. Обсудили без помех. Оставалось разменяться экземплярами. Для этого нужно было мне подняться в квартиру. И на минутку оставив малыша со старшим мальчиком Митей, я поднялся с Игорем в дом. В большую, уже тугую, портфельную сумку уложил Игорь кроме «Социализма» ещё и две моих статьи для сборника, недавно оконченные, тут раздался звонок в дверь.

Аля открыла на цепочку, пришла, говорит: «Опять из прокуратуры, теперь двое. С этим же вызовом, что-то, говорят, выяснить надо». Было уже близко к пяти, конец рабочего дня. Выяснить? Так успокоительно миновал день, уже спала вся тревога. Выяснить? Ну, пойдём вместе, откроем. Так и не дочтённые письма из-за границы кинув на письменный стол, я пошёл ко входной двери, это особый целый коридорчик от кабинета, затем передняя с детской коляской. И ничто в сердце не предупредило, потерял напряжённость! Чтобы дверь открыта, надо прежде её закрыть — цепочку снять, стала жена прикрывать дверь — мешает что-то. Ах, старый приём: ногою не дают двери закрыться. «Старый приём!» — выругался я вслух, — но куда же девалась старая ззъя реакция? — после этой ноги — как же можно было не понять и дверь открывать? Успокоенность, отвычка. И ведь были у нас с Алей переговоры, планы: когда придут на обыск — как поступать? не дать создать им численный перевес, не впускать их больше, чем есть нас взрослых тут (подбросят на обыск любую фальшивку, не углядишь), а стараться, если телефон ещё не перерезан, назвать друзьям, сообщить. Но ведь их же — двое, но ведь — *выяснить*... И так не даём себе времени оттянуть, подумать, — то есть подчиняемся их игре, как и описал же я сам в «Архипелаге», — и вот теперь подчиняюсь опять, сколько же надо нас, челоес-

ков, бить-молотить, учить разуму? Да ведь минувшие дни — посыльных впускали, ничего.

Если б я сообразил и двери не открыл — они бы ломали конечно. Но ещё позвонили бы, постучали бы? Ещё сходили бы за ломами. Да по лестнице же часто ходят, значит — либо при людях, так огласка, заметность. Может, 15 минут мы бы продержались, но в обстановке ясной, уже что-то бы сожгли, разъяснили, уже друг другу бы что-то обещали... Очень слабое начало: просто — открыли. (Увы, всё не так, узнается после меня, и то не сразу: пока жена ходила меня звать, гебисты уже испортили, заколодили английский замок, и двери — уже нельзя было запереть! *Не открывать* — это значило с самого начала не открывать, но — как догадаться? А считали — будем держаться в осаде.)

И первый, и второй ещё шли, как обычно идут, но тут же, из тёмного лестничного угла навалив, задние стали передних наталкивать — мы сообразить не успели (и для чего ж твоё восьмилетнее обучение, балбес?) — они уже пёрли плотной вереницей, между вешалкой, игнашкиной коляской, телефонным столиком, пятя, пятя нас с женою, кто в штатском, кто в милицейском, маленьких ростом и слабогрудых нет, — восьмеро!!!

Я стал кричать, что-то бессмысленное и повторительное — «Ах вот вы как?!.. Так вы так?!..», — наверно, это звучало зло-беспомощно. И — дородный, чёрный, в роскошной шубе, играя под почтенного, раскрывая твёрдую папку, в каких содержат премиальные грамоты за соцсоревнование, а в ней — большая белая немая бумага с гербами: «Старший советник юстиции Зверев! Привод!» И — ручку совал, чтоб я расписался. Я отказался, конечно.

Вот эта обожжённость внезапности, как полыхнуло пламенем по тебе, и на миг ни рассудка, ни памяти, — да для чего ж тебя тренировали, дурбень?! да где ж твоё хвалёное арестантское, волчье? *Привод?* В обожжённости как это просто выглядит: ну да, ведь я не иду по вызову, вот и пришли нарядом. Время — законное, действительные власти — законные. *Приводу?* я подчиняюсь (говорю вслух) уже «в коробочке», уже стиснутый ими к выходу. Драться с восьмью? — не буду. *Привод?* — простое слово, воспринимается: схожу — вернусь, прокуратура тут рядом. Нет, раздвоенность: я иду, конечно, как в тюрьму, как подготовились («да не ломайте комедию, — кричат, — он сейчас вернётся!»), — надо за тюремным мешочком идти в кабинет, иду — и двое прутся за мной, жене отдавливая ноги, я требую отступить, — нет! (Мелькнул, как туча чёрный, неподвижный монумент Шафаревич, в руке — перенатягивый портфель, с алгеброй и социализмом). И вот мы в кабинете, я — за мешочком, те — неотступно, дюжий капитан в милицейской шинели нагло по моему кабинету, сокровенному закрытому месту, где только близкие бывали, но — обожжённость! — я не думаю, не гляжу, что на столе разкидана, разбросана вся конспирация, ему только руку протянуть. Мне б его из кабинета выпереть (а он липнет за мной, как за арестованным, ч него задача — чтоб я в окно не выпрыгнул, не порезался, не побился, не повесился, ему тоже не до моего стола.) «У вас что? — опоминаться. — есть ордер на обыск?» Отвечают: «Нет». — «Ах, нет? Так в он отсюда!» — кричит жена. Как на камни, не шелохнутся. Э-э, мешочек-то не приготовлен! Есть другой — митькина школьная сумка для галош, в ней бумаги, какие я всегда увожу и за городом сжигаю, то есть самые важные, — и вот они не сожжены, и более: я выпотрашиваю их на стул, и в этот мешочек Аля кладёт приготовленные тюремные вещи. Но в таком же будоражном спехе (или бесправии?) гебисты: они и не смотрят на бумаги, лишь бы я сам был цел и не ушёл. Взял мешочек, иду назад, все идём коридорчиком назад, толкаемся, — и я не медлю, я даже спешу, — вот странно, зачем же спешу? теперь бы и поизгаляться — сесть пообедать на полчаса, обсудить с семьёй

бытовые дела? непременно бы разыграл, это я умею! Зачем же принял гебистский темп? — а вот зачем: скорей их увести (я уйду — они уйдут, и квартира чистая). Только соображаю: одеться похуже, потюремному, как и готовился, — шапку старую, овчинный полушубок из ссылки. Гебисты суют мне куртку мою меховую — «да вот же у вас, надевайте!», — э, нет, не так глуп, на этом не проведёте: а на цементном полу валяться в чём будем? Но не прощаюсь ни с кем, так спешу! (скоро вернусь?) — и только с женой, только с женой, и то уже в дверях, окружённые гебистами, как в троллейбусной толкучке, целуемся — прощально, неторопливо, с возвратом сознания, что может быть навсегда. Так — вернуться? так ещё распорядиться? так — помедлить, потормозить, сколько выйдет? — нет, обожжённость! (А всё от первого просчёта, оттого что в дверь так глупо впустил их, и теперь дожигаюсь, пока не очищу квартиры, пока не уведу их за собой; в обожжении спутал: кто кого уводит.)

Медленно перекрестил жену. Она — меня. Замялись гебисты.
— Береги детей.

И — уже не оглядываясь, и — по лестнице, не замечая ступеней. Как и надо ждать: за парадной дверью — впритык (на тротуар налезши) легковая (чтобы меньше шага пройти мне по открытому месту, иностранные корреспонденты только-только ушли), и, конечно, дверца раскрыта, как у них всегда, для заталкивания, даже на европейских улицах. Чего ж теперь сопротивляться, уже сдвинулся, теперь сажусь на середину заднего сиденья. Двое с двух сторон вскочили, дверцы захлопнули, а шофёр и штурман и без того сидели, — поехали. В шофёрское зеркальце вижу — за нами пошла вторая, тоже полная. Четверо со мной, четверо там, значит — всех восьмерых увёл, порядок? (Не сразу понял: шофёр, и штурман, да кажется и охранники по бокам — все новые, где те мои восемь?) Сколько тут ехать, тут и ехать нечего, через задние ворота ближе бы пешком. Сейчас на Пушкинскую, по Пушкинской вниз машины не ходят, значит объехать по Петровке. Вот и Страстной бульвар. Вчера обсуждали: а если что — так как? Вчера ещё морозец не вовсе сдал, а сейчас слякоть, мечется по стеклу протиратель, — и вижу, что мы занимаем левый ряд: поворачивать не вниз, к прокуратуре, а наверх — к Садовому кольцу.

— Ах, во-от что... — говорю. (Как будто другого чего ожидал. В тюрьму — не всё ли равно, в какую? Это я по обожжённости промахнулся. Но вот уже — и охлаждён, одним этим левым поворотом у Петровских ворот.) Шапку — снял (оба вздрогнули), на колени положил. Спускается, возвращается спокойствие. Как сам написал, о прошлом своём аресте:

На тело мне, на кости мне
Спускается спокойствие,
Спокойствие ведомых под обух.

Двумя пальцами потянуло зачем-то обязательно пощупать около гортани, как бы помассировать. Справа конвоир напряжённо, быстро:

— Опустите руку!

Я — с возвращённой благословенной медленностью:

— Права знаю. Колющим-режущим не пользуюсь.

Массирую. Очень помогает почему-то. Опять правый (левый молчит, из разбойников обочь один всегда злей):

— Опустите руку! — (Похоже, что задущусь?)

Массирую:

— Права знаю.

По Садовому кольцу — направо. Наверно — в Лефортово. Дополним коллекцию: на свиданиях бывал там, а в камерах не сидел.

И вот как просто кончается: бодался-бодался телёнок с дубом, стоял-стоял лилипут против Левиафана, шумела всемирная пресса: «Единственный русский, кого власти боятся!.. Подрывает марксизм —

и ходит по центру Москвы свободно!» А всего-то понадобилось две легковых, восемь человек, и то с избытком прочности.

Спокойствие вернулось ко мне — и я совершил вторую ошибку: я абсолютно поверил в арест. Не ждал я от них такой решительности, такого риска, ставил их ниже, — но что ж? крепки, приходится признать. К аресту я готовился всегда, не диво, пойдём на развязку.

((А жена, едва оторвась от меня, и не дожидаясь, пока выйдут все чекисты, затолпившие прихожую, бросилась в кабинет, сгребла со столов моего и своего всё первострашное. Невосполнимое прятала на себе, другое, поплоче, — сжигала на металлическом подносе, который в кабинете и стоял для постоянного сожжения «писчих разговоров». К телефону кинулась — отключён, так и ждали, конечно. Но почему никто из своих к ней не идёт? Не слышно ни разговоров, ни шагов, квартира беззвучна, — что там ещё случилось? Ощупав себя, запрятано плотно, пошла в прихожую, а там вот что: из восьмерых остались двое: «милицейский» вышибала-капитан и тот самый первый застенчивый «посыльный». Та-ак, значит, ждут новую группу, будет обыск. А дети-то, двое, остались на улице — и выйти за ними никому из женщин нельзя: нельзя ослабить силы здесь. И — опять в кабинет, кивнувши И. Р. защищать дверь. Он — и стал, загородил, со своим пудовым портфелем не расставаясь. Теперь — вторая разборка бумаг, уже более систематическая, а всё молниеносная. И жечь — жалко, в такие минуты чего не сожжёшь, а потом — зубами скрипи. Что можно — листочками отдельными — по книгам, найдут — не соединят. Кабинет — в гари сжигаемого, форточка не выбирает, тянет конечно и в прихожую, там чувят — а не идут!.. Ни горя, ни возбуждения, ни упадка, глаза сухие — спокойная ярость: жена сортирует, перекладывает, жжёт со скоростью, невозможной в обычности. А ещё сколько разных материалов — почерками людей! А весь «Октябрь»! а все заготовки — горы конвертов и папок, ни до какого обыска не успеть! Вышла в прихожую, а и х нет: всё время взглядывали на часы; через 20 минут после увода один сказал: «Пойдём?» Другой: «Ещё пару минут». Ушли молча. 22 минуты? Не прокуратура, не Лубянка.. Лефортово? Только тут обнаружилось, что двери за ними уже запереть нельзя, замок сломан, полуторагодовалый Игнат лезет выйти на лестницу. Пошли за другими детьми — узнаётся: весь двор был полон милиции. Какого ж сопротивления они ждали? Какого вмешательства?.. Жена набирает и набирает телефонные номера, хотя надежды никакой. Но — не ватная тишина, а кто-то на линии дежурит (посмотреть, по каким номерам звонят?): гудок, нормальный набор — и тут же разрыв, и снова длинный гудок. А отстать — нельзя: увели — и никто не знает! И жена — всё набирает. Прикатили Стёпку. Теперь — в детский сад за Ермошей. Может быть, там из автомата позвонят корреспондентам. И вдруг — по какой случайности? — соединения не разорвали, и Аля успевает выпалить Ирине Жолковской: «Слушай внимательно, полчаса назад А. И. увели из domu силой, восемь гебешников, постановление о принудительном приводе, скорей!» И сама повесила, и скорей следующий! И ещё почему-то два звонка удались. И — опять на прежнюю систему разрыва, часа на полтора. Но хватит и трёх — по всей Москве зазвонили.))

Лефортовские знакомые подступы. (На самом взлёте, кандидатом на ленинскую премию, приходил я сюда изучить Лефортово снаружи, никогда не помешает.) Знакомые раздвижные ворота, двор, галерея кабинетов, где у нас бывали свидания с шарашки Марфино. Пока доехали — уже темновато, фонарей на двор не хватает, какие-то офицеры уже стоят, меня ждут. Да без лишней скромности: не совсем рядовой момент в истории Лефортова, не удивлюсь, если тут и по чекистской линии кто-нибудь дежурит, наблюдает. Ну как же, столько

гавкал, столько грозил — а схвачен. Как Пугачёв при Екатерине — вот он, у нас, наконец!

Распоряжаются, как в бою: куда машине точно стать, обсыпали круговой цепочкой человек десять, перебегают, какие дверцы в машине открыть, какие нет, в каком порядке выходить. Я — сижу спокойно, пока мягко, тепло, а лучше не будет. «Выходите!» — в сторону тюремных ступенек.

И, нисколько вперёд не обдумав, вот сразу тут родилось: как бы мне выйти пооскорбительней, подосадней для них? Мешочек мой — для галош, тёмный, на длинной поворозке, как на вешалках они свисают, — я перекинул через спину — и получилась нищего сума. Выбрался из машины не торопясь и пошёл в тюрьму — несколько шагов до ступенек, по ступенькам, потом по площадке — в потёртой шапке-кубанке, в тулупчике казахстанском покроя пастушьего («оделся как на рыбалку», скажет потом Маляров, метко), — пошёл хозяйской развалкой, обременённый сумою с набранной милостынею — как будто к себе в конуру, и будто их нет никого вокруг.

А кабинеты следовательские куда-то переведены, и здесь теперь у них шмональные боксы: всё в камне, голый стол, голых две скамьи, лампочка сверху убогая. Два каких-то затруханных мусорных мужичка на скамье сидели, я думал — эски (потом оказалось — понятия из соседнего ЖЭКа! ведь вот законность!). Сел и я, на другую скамью, положил мешочек рядом.

Нет, не думал. Честно говоря — не ждал.

Решились...

Рано, сказала лиса в капкане. А знать ночевать.

Тут вошёл обыкновенный бойкий шмональщик серо-невзрачного вида и бодро предложил мне кидать на стол мои вещи. И этот самый обыкновенный тюремный приём так был прост, понятен, даже честен, без обмана, что я незатруднённо ему подчинился: порядок есть порядок, мы под ним выросли, ну как же тюрьме принять арестанта без входного шмона, это всё равно как обедать сесть без ложки или рук не помыв. Так отдавал я ему свою шапку, тулупчик, рубаху, брюки, ожидая, встречно по-честному, тут же получать их и назад (для помощи приспел и ещё дегина, рубчики перещупывать, но не строго щупали, я бы сказал). Шмональщик меня и не торопил догола раздеваться — посидите пока так. И тут вошёл наблещенный висломьясый полковник с сединой.

Когда я рисовал себе будущую свою тюремную посадку — уже теперешний я, со всей моей отвоёванной силой и значением, я твёрдо знал, что не только следствие от меня ничего не услышит, легче умру; что не только суда не признаю, отвод ему дам в начале, весь суд промолчу, лишь в последнем слове их прокляну; — но уверен я был, что и низменному тюремному положению наших политических не подчинюсь. Сам я довольно писал в «Архипелаге», как ещё в 20-е годы отстаивала молодёжь гордые традиции прежних русских политических: при входе тюремного начальства не вставать и др., и др.. А уж мне теперь — что терять? Уж мне-то — можно упереться? кому ж ещё лучше меня?

Но пройдя первым светлым чистым (жестоким в чистоте) тюремным коридором, в первом боксе на первую севши скамью, и почему-то так легко поддавшись шмону, — да по привычности, как корова замирает под дойку, — я уже задумался: где ж моя линия? Машина крутилась, зная не зная (или притворяясь, что не знает), кто там известность, кто безвестность. А я — я силён, когда ем по своей охотке, гуляю вволю, сплю вдосталь, и разные мелкие приспособления: что под голову, да как глаза защитить, да как уши. А сейчас я вот лишился этого почти всего, и вот уже изрядно пылает часть головы от давления, и начни я ещё и по мелочам принцип гавить перед тюремным начальством — ничего легче карцер схватить, холод, голод, сырость, ра-

дикулит, и пошло, пошло,— 55 лет, не тот я уже, 27-летний, кровь с молоком, фронтовик, в первой камере спрошенный: с какого курорта? И так ощутил я сейчас, что на два фронта — и против следствия, и против тюремного начальства, может мне сил не хватить. И, пожалуй, разумней все силы поберечь на первый, а на втором сразу уступить, шут с ними.

И вот вошёл наблещенный хитроватый седой полковник, с сопровождением. И спросил — самоуверенно, хотя и мягко:

— Почему не встаёте? Я начальник Лефортовского изолятора, полковник Комаров!

Раньше всяко я эти картины воображал, но сразу в камере (да прежде камеры начальство не приходит к арестанту). Вот, сижу на кровати и предлагаю: «А вы тоже присаживайтесь». Или конспективно: «В старой России политические перед тюремным начальством не вставали. Не вижу, почему в советской». Или что-нибудь о непреклонности своих намерений. Или слукавить, по грому ключа уже стоять на ногах — и как будто встал не к ним.

Но вот, в шмональном боксе, почти раздетый, и врасплох, вижу перед собой эту свиту, слышу формальное, всем тут обязательное требование встать, — и уже рассчитавши, что силы надо беречь для главного, — медленно, искривив, нехотя, как одолжение, — а встаю.

А по сути — вот уже и первая уступка? не начало ли слома? Как высоко доложили, что я тюремным правилам подчинился? Мог ли там кто оценить и взрадоваться? Очень-очень у них мог быть расчёт в первый же вечер меня ломать — а отчего ж не попробовать?

Ну — и следующие наскоки, и следующие уступки: с формуляром офицер спрашивает фамилию-имя-отчество-год, место рождения, — смешно? не отвечать? Но я же знаю, что это — со всех, я же знаю, что это — просто порядок. Ответил. (Слом продолжается?) Врач, типичная тюремная баба. Какие жалобы? Никаких. (Неужели объявлю вам — давление?) Ничего, стетоскопом, дышите, не дышите, повернитесь, разведите руки. Не подчиниться медосмотру, откатиться? Вроде глупо. А тем временем шмон подходит к концу, тоже: разведите руки! (Я же — подчинился началу шмона, чего ж теперь?) Повернитесь, присядьте... Правильно сказано: не постой за волосок — бороды не станет. Но вот странно, выпадает из обычая, — ещё и другой врач приступает, мужчина, не так чтоб интеллеktуал, хорёк тюремный, но очень бережно, внимательно: разрешите, я тоже вас посмотрю? Пульс, опять стетоскоп. (Ну, думаю, много не наслушаете, сердце ровное — дай Бог каждому, спокойствие во мне изумительное, в родных пенатах, тут всё знакомо, ни от чего не вздрогнешь.) Так достаёт, мерзавец, прибор для давления: разрешите? Вот именно давление и не разрешить? Открывается моя слабость, кошусь на шкалу, сам по ударам слушаю — 160—170, и это только начало, ещё ни одной тюремной ночи не было. Да, не хватит меня надолго. «На давление жалуетесь?» — спрашивает. Уж об этом давлении сколько мы по телефону говаривали через гебистов, вполне откровенно, о чём другом по телефону? — «Нет, нет».

Но я-то порядку подчинился, а вот они? — *барахла* моего мне не отдают! Почему? На часы, на крест нательный — квитанция, это как обычно, хотя о кресте поспорил, первый спор. «Мне в камере нужен!» Не отдают: металл! Но вещи мягкие, по рубчикам промятые, без железки запрятанной и без железного крючочка, — почему вещи не отдают?? Ответ: в дезинфекцию. А перечень — пожалуйста, до наглазника самодельного, всё указано. Раньше так не бывало. Но, может быть, я от тюремной техники отстал, отчего б теперь и не делать дезинфекции? На полушубок показываю: «Это же не прожаривается!» — «Понимаем, не прожарим». Удивило это меня, но приписал новизне обычаев. Взамен того — грубая-прегрубая майка, остями колет бока, это нормально. И чёрная курточка, тюремно-богаделенная, по охотке

не купишь. Но поверх — костюм, настоящий, там хороший-нехороший, я в них никогда не разбирался, и полуботинки (без шнурков), — так наверно так теперь одевают? у нас на шарашке тоже ведь маскарад бывал, в костюмы одевали. Через час-другой всё моё вернут. Пошли. Спереди, сзади по вертухаю, с прищёлкиванием, коридоры, переходы, разминные будки — это всё по-старому. С интересом поглядываю, где ж эта американская система навесных железных коридоров, сколько мне о Лефортове рассказывали, теперь и сам посмотрю. На второй этаж. Не очень-то посмотришь, ещё придумали новое: междуэтажные сетки покрыли сероватыми полотнищами, и взгляда через сетки с этажа на этаж не осталось. Какой-то мрачный молчаливый цирк, ночью между спектаклями.

((По телефонным звонкам собралось пятеро, во главе с Сахаровым, и пикетировали на Пушкинской перед Генеральной прокуратурой — отчасти демонстрация, отчасти поджидая, не выйду ли я. А к нам в «артиру» шли и шли, по праву чрезвычайности, близкие и неблизкие, по два, по три, по пять, за каждым дверь ставилась на цепочку и так болталась со щелью, зияя разорением. Аля рассказала первым, как что было, а потом уже слышавшие рассказывали следующим, она — опять за бумаги: о, сколько их тут, только теперь ощутить, жили — не замечали. Всё то ж сочетание: холодная ярость — и рабочее самообладание. Мысли плывут как посторонние, не вызывая отчаяния: что сделают с ним? убьют? невозможно! но и арест ведь казался невозможным! А другие, чёткие мысли: как делать, что куда.))

Не упустить номер на камере. Не заметил, как будто нету. Уверен, что шагаю в одиночку, — вступаю: одиночка-то одиночка, по размеру, но — три кровати, двое парней лежат — и курят, всё задымлено. Вот этого никак не ожидал: почему ж не в одиночку? И куренье: когда-то сам тянул, наслаждался, сейчас в 10 минут голова откажет. По лучшей твёрдой линии — промолчать. По линии слабости — заявляю: «Прошу поместить в одиночку. Мне куренье мешает». Сопровождающий подполковник вежливо: доложит. Ну, на их вежливость и у меня же покойность, как будто я все четверть столетия так от них и не уходил, сроднился. А вот что: спокойствие это потому так беспрепятственно мне досталось, что я подчинился тюремным правилам. Иначе б на мелкие стычки и раздёргался весь. Хоть не задумано, а умно получилось: нате моё тело, поворачивайте, а от спокойствия моего — лопните! Если там с надеждой запрашивает куратор из ЦК — бешусь? буяню? истерику бью? — ни хрёнышка! не возвысил голоса, не убыстрил темпа, на кровати сию — как дремлю, по камере прохаживаюсь — топ-топ, размеренно. И если сохраняли они такой расчёт, что вдруг я забьюсь, ослабну, стану о чём-то просить или скисну к соглашению, то именно от спокойствия моего их расчёты подвалились. (Зачем меня сунули к этим двум? Выведать от меня? — смешно и рассчитывать; повлиять — слабы. Чтоб с собой не кончил? головой об стенку не шибанул? — вот разве что.)

Заперли дверь. Ребята что-то растеряны. И с куреньем как же? А что ж у вас форточка закрыта? Да холодно, плохо топят, пльтами накрываемся, всё равно холодно. Ну всё ж, после перекура давайте проветрим.

Так, так. Всё, как рассказывали, камеры не изменились: серый пакостный унитаз, а всё-таки не параша, кружки на столе, но не съезжают от рёва и дрожи аэродинамических труб по соседству, как тогда, тишина — и то какое благо; яркая лампочка под сеткой в потолке; на полке — чёрный хлеб, ещё много цело, а ведь вечер. Глазок то и дело шуршит, значит, не дежурный один улупися, а многие меняются. Смотрите, смотрите, взяли. Да как бы вам не поперхнуться.

Слежу за собой, отрадно замечаю — никаких ощущений новичка. Смотрю на сокамерников (новички бывают только своим горем заня-

ты). Оба ребята молодые, один — чернявый, продувной, очень живой, но весь так и крутится от обожжения, взяли его, говорит, лишь сутки назад, ещё не опомнился; второй — белокурый, тоже будто трёх суток нет, не арестованный, мол, а задержанный, но не похоже — вяловат, одутловат, бледен. — если не болен, то многие признаки долгого уже тюремного сиденья, такими *наседки* бывают. А между собой они — впросто, и, наверно, первый второму всё рассказал... Не спрашиваю — «за что сели?», спрашиваю — «в чём обвиняют?» Валютчики.

В чём они не видят тюремной сласти — ходить по камере. Четыре шага небольших — а всё-таки. Проходка, от какой я за всю жизнь не отставал, — и вот опять пригодилась. Медленно-медленно. В ботинках чужих и мягко бы хотел, да стучат как деревянные. Глазком шуршат, шуршат, смотрят, не насмотрятся.

Решились...

((От прокуратуры с улицы сахаровская группа время от времени звонила: что — спокойно, и сказали им: «никакого Солженицына здесь нет». Всё больше подваливало своих, на длинную вместительную кухню, уже и иностранные корреспонденты, а с обыском всё не шли. Дождаться ли его? Жена кипела в решениях: сейчас — раздать архив друзьям, знакомым? рассуют по пазухам, портфелям, сумкам? А может — *того и ждут?* И всех сейчас поодиночке похватают, засуют в автомашины, там обыщут безо всякого ордера и без протокола, даже не докажешь потом... Нет, не напороть бы горячки. Люди неповинные пострададут. (А может, и не арест? Ещё, может, и вернётся? Сказали — «через час вернётся». Уже прошло три. Арестован, конечно.) Предложили друзья трёхлетнего Ермолая увести от тяжёлых впечатлений. «Пусть привыкает, он — Солженицын»))

Решились. Да неужели ж не понимали, что я — как тот велосипед заминированный, какие бросали нам немцы посреди дороги: вот лежит, доступный, незащищённый, но только польстись, потяни — и несколько наших нет. Всё — давно на Западе, всё — давно на старте. Теперь сама собой откроется автоматическая программа: моё за вещание — ещё два тома «Архипелага» — вот этот «Телёнок», с Третьим Дополнением. — Сценарий и фильм. — «Прусские ночи». — «Пир победителей» (спасённый, см. Пятое Дополнение). — Пьеса о СМЕРШе. — Лагерная поэма. — «Круг»-96. — Ленинские главы. — Второй узел... Всей полноты заряда они, конечно, не понимают. Ну, отхватите! Если б не это всё, я бы вился, сжигался сейчас хуже несчастного моего соседа. А теперь — спокоен. К концу — так к концу. Надеюсь, что и вам тоже.

Ребята предлагают мне — хлеба с полки и сухарей. Есть, пожалуй, хочется. Вспоминаю: предлагали мне дома в 3 часа пообедать, сказал — нет, Степана прогульну. Так с утра и не ел, и голодный в камеру пришёл, и уже до утра ничего не дадут, все выдачи миновали. Плохой арестантский старт, перед первым днем следствия. И даже не оказалось в кармане кошелька, ни рубля, ни копейки на ларёк, вот уж спешил! Хлеб? а как же вы? Да мы не хотим. Да его дают от пуза. От пуза?! Чудеса, неузнаваемо. Начинаю пощипывать. После средней московской черняшки — довольно мерзкий хлеб, глиноватый, специально пекут похуже. Ничего, втянусь.

Но что ж это? Уже два часа прошло, а вещей моих нет. «Голосую» (палец подняв). Сразу с готовностью открывают кормушку: тут они все толкуются, и офицер один, второй. Тихо говорю, нисколько не шумя, не как бывало, звонко права качая, а лениво даже (в те года — вся сила была в этой звонкости, а сейчас — силища другая: книги ползут неуклонно): пора вещи вернуть, все сроки прожарки кончены. «Выясняется... Вопрос выясняется». Хрена тут выяснять? Ну, может быть, теперь всё по-новому. (Упускаю у ребят спросить: а у них—

долго прожаривали?) Ребята говорят: без пальто пропадёте, ночью под одним одеялом холодно. Вдруг распахивается дверь, подполковник принимает парад, а ещё один чин несёт мне второе одеяло, со склада новое, ещё не пользованное. Ребята изумлены, — что я за птица?.. Так, значит, прожарка до утра? Странно. Ну ладно. Теперь чего мне только не хватает? — скорей бы спать. Привык я в 9 уже ложиться, не стыжусь и в 8, а здесь только в 10 формальный будет отбой, да пойдй засни. К завтрашней первой схватке всё решает первая ночь. Счастливые вечернее торможение, мысли вялые, — вот сейчас бы и выиграть час-два-три. Снотворных нет, и ночь будет бессонная, сейчас — самое спать. Но нельзя: разрешается лежать поверх одеяла, не раздеваясь, не укрываясь. Лежу, да только голова затекает. Как низко! (И — как это скрыть, что я стал уязвим на низкое изголовье?) А ребята — ещё по одной папиросе, ещё, но каждый раз проветривают. Чернявый вертится у меня за головой: «Ну, кто мог сказать? Кто?? Вот что меня одно интересует». С любимой, видно, женой, устраивали они жизнь покрасивше, как понимали, — что из мебели, а вот и машину купили — что в нормальной стране рабочий может просто заработать, а у нас надо исхитриться против закона. Какие-то монетки у него взяли при обыске, теперь эти монетки надо было объяснять. «Слышь, парень, — говорю, — ты вообще в камере вот это поменьше. Тут — микрофоны, не беспокойся. Может и не было ничего, понимаешь? Ты — про себя внутри крути больше». Задумался. Ещё им из тюремного опыта кой-что рассказал, дотянуть до сна. Вдруг — замок гремит. Точно, как на Лубянке бывало — ближе к отбою на допрос. Но теперь-то ночами не допрашивают? (Я и днём-то разговаривать не буду.)

Однако подполковник, фамилии моей ни разу так и не назвав, и не спросив, приглашает меня *пройти*. После отбоя нипочём бы не пошёл. Но сейчас — ладно, может тулупчик отдадут, — как хорошо в него укутаться, хоть на рельсах сидючи, хоть в *краснухе*, хоть на лагерных нарах. А идти мне оказывается — почти ничего, вот как камеру выбрали, не успеваешь глазами прощастать по этим полотнищам, офицер впереди, офицер позади, — а полковник, начальник Лефортова, поперёк дороги: пожалуйста вбок. Вестибюльчик — вестибюльчик — дверь в кабинет. Ярко. Вкруговую по стульям: уже двое сидят (лиц не разглядываю — откуда, кто? ряженые?), а со мной пришедшими — пятеро их. А за главным столом, сверкая лысиной, — маленький, вострый, пригнулся, и ещё под настольной лампой ярко-бело от бумаг. А посреди комнаты, на просторе, как нормальные люди не садятся, под самыми лампами — стул, к вострому лицом и — туда мне показывают полковник и подполковник. Ничего, сидеть — лучше, чем стоять. Сел. И, чую, задние все уселись, полукругом за моей спиной. Молчим.

Главный вострый — щуп, щуп меня глазами, как никогда людей не выдавши.

Ничего, пош-шупай.

И остро, стараясь даже пронзительно:

— Солженицын??

Ошибся. Ему бы: «Фамилия?»... Ну, ладно, поймали, держите:

— Он самый.

Опять остро:

— Александр Исаич?

Успокоительно:

— Именно.

И — с возможной звонкостью и значением:

— Я — заместитель генерального прокурора СССР — Маляров!

— А-а-а... Слышал.

У Сахарова читал. Да не написал Сахаров, что он маленький такой. По записи можно подумать — номенклатурная глыба. Осколупов.

Но — не размазывает, деловой. А может быть, воздухом одной комнаты со мной дышать не может, торопится:

— Зачитываю постановление...

Не запомнил я, кто «утверждает», — он ли, или самый генеральный прокурор, а «постановил» всего навсего старший советник юстиции тот самый Зверев, в роскошной шубе, — на квартиру почти как миллионер приходил, а тут, вишь, за всё политбюро управляется:

— ...За... за... Предъявляется обвинение по статье 64-й! (ещё там буква или часть?).

Я — голосом дрёмным, я — с мужицким невежеством:

— Вот этого нового кодекса... — (он ведь только 13 лет) — ...совсем не знаю. Это — что, 64-я?

То ли было в добрые времена, при Сталине-батюшке, как посидишь десятку, так шпарь любой подпункт в темноте наизусть.

Маляров вылупился рачьи:

— Измена родине!

Не шевелюсь.

(Они за спиной впятером засели — ждут, я кинусь на прокурора?)

— Распишитесь! — поворачивает ко мне лист, приглашает к столу подойти.

Без шевеленья, давно отдуманное, слово на вес:

— Ни в вашем следствии, ни в вашем суде я принимать участия не буду. Делайте всё без меня.

Ожидал, наверно. Не так уж и удивляется:

— Только расписаться, что — объявлено.

— Я — сказал.

Не спорит. Повёртывает лист, и сам же расписывается.

Ах, как меня жал следователь 29 лет назад, неопытного, зная, что в каждом человеке есть невыжатый объём. И до чего ж хорошо — зарекомендовать себя камнем литым, даже и не пытаются, не прикасаются пожать, попробовать. Следствие — не будет трудным: напрягаться умом не надо. Всех, всех предупреждал: говорите, валите, что хотите, со мной противоречий не будет никогда, потому что я не отвечаю ни на вопрос.

Так — и надо. Вот она, лучшая тактика.

Всё. Тем же чередом — встают сзади меня, встаю я, офицер впереди, офицер позади, через два вестибюля — руки назад! (не резко, мягко-напоминающе). Можно бы и не брать, конечно. Но я руки назад — беру. Для меня руки назад, если б вы знали, даже ещё и уверенней: чего ж ими болтать, строить вольняшку недобитого, для меня руки назад — я железный зэк во мгновение, я сомкнулся с миллионерами. Вы не знаете: вот такая маленькая пустая проходочка под конвоем насколько укрепляет зэка в себе.

А тут и не долго, вот уже и в камере. Ребята: «Ну, что?»

Говорить, не говорить?..

Я и действительно не помню: до пятнадцати лет — это точно. Но, конечно, и расстрел же есть.

Да, осмелели, не ожидал от них. Вот тебе — и варианты. На всякого мудреца довольно простоты.

((Сейчас по минутам восстановить нельзя. Но вызов к Малярову был — ещё до 9 вечера. Жене позвонили: «ваш муж задержан» — в 9.15. Заявка нашего посла министерству иностранных дел ФРГ о том, что завтра утром он явится с важным заявлением, была довольно поздно вечером по-европейски, значит — ещё позже этого*. Такое сопоставление не исключает, что мои первые тюремные часы и когда ме-

* Это ж ещё у них задача, найти страну, которая согласится с ними сотрудничать, месья принять; и как просьбу отредактировать. (Примеч. 1978.)

ня вызывал Маляров — ещё не до последней точки была у них высылка решена. (А если решена — нужна ли статья?) Ещё оставляли они себе шанс, что я дрогну — и можно будет начать выжимать из меня уступки? Если был такой расчёт, то каменность моя ленивая — задавила его.

Полукультурный голос в трубке предложил моей жене наводить справки по телефону завтра утром у следователя Балашова, того самого, к которому меня якобы вызывали. Вот и всё, арестован. Повесила трубку, — и снова уже другие набирали, разнося по Москве.)

Наконец, объявили в кормушку отбой. Ну, теперь побыстрей, это мы ловко когда-то умели: одеяла — откачены, куртку — прочь, брюки — прочь, да не очень-то: холодно, правда, ах, сволочи, замотали тулупчик! и носки шерстяные! Побыстрей. Так спешили обвиненье объявить — завтра, гляди, с утра и следствие покатыт. И в общих движениях, в суматохе, незаметно, ботинки — тык под подушку! старый зэчий приём — для сохранности, а сейчас мне для высоты. Лампа бьёт, полотенцем накрыть глаза, на Лубянке не запрещали. А потребуют ли руку наружу? — может, и нет. Спать! Дышать глубоко-глубоко-глубоко. (Чем дышать? в камере — не воздух, я забыл уже про такой.)

Нет, собачий сын, заметил, что под моей кроватью пусто, откинул кормушку:

— Опустите ботинки на пол!

Строил, строил подушку без них. Потом дышал глубоко. Заснул.

((Дети не засыпали, пугались шума, света, многих голосов. Всё новые приходили, и сахаровская группа от прокуратуры. (А всё-таки это обилие бесстрашных сочувствующих в квартире арестованного — это новое время! Пропали вы, большевики, как ни считай!..) Из нашей квартиры Сахаров отвечал канадскому радио: «Арест Солженицына — мсть за его книгу. Это оскорбление не только русской литературы, но и памяти погибших». К нам звонили Стокгольм, Амстердам, Гамбург, Париж, Нью-Йорк, гости брали трубку, подтверждали подробности. А в мыслях: если взяли заговорённого Солженицына — то кого теперь запретно взять? то кого заметут завтра?..

Кто не знал конспирации, не разделит этих колебаний мучительных: где лучше хранить? Унести? Оставить? Сейчас гостей так много, — раздать? Всех, пожалуй, не похвалят. Упустишь этот момент — а утром нагрянут и всё возьмут!?! Но раздавать — людей губить. И удасться ли потом собрать? Ладно уж, пока не прояснится, надеяться на захоронки домашние.))

С вечера заснуть не мудрено, мудрено заснуть после первого просыпа. Всё, что было плохое за день, прорывается в первом просыпе — и жжёт грудь, жжёт сердце, где тут спать. Не вздохи, не круговерть моего валютчика за головой, не куренье его всю ночь, ни даже лампа сатанячья, разрывающая глаза, — но свои просчёты, свои промахи, и откуда только выныривают они в ночной мозг, какой чередой подаются, подаются!

Больше всего зажгло: как там обыск идет, у Али? Почему-то с вечера хватило мне впечатлений и событий, или заторможенность, — на домашний обыск я не стянулся тревогой. А сейчас — всё на нём, и всё — из моих ошибок. Зачем я дверь открыл?! Полчаса у нас быть могло на сжиганье, на сборы, на уговоры. Зачем я спешил уйти? Остались почти все, я тех, восьмерых, потом уже не видел, тот же Зверев и обыском там руководит? И надо же так сложиться: два «Социализма» сразу — и Шафаревич при них, тут же. Портфель-то ещё, может, не даст, — но один экземпляр вынул мне на стол, и уже не успеет спрятать! Хорошо взял мои статьи для сборника, — но другие экземпляры

ры — на столе же прямо, и ещё других авторов проекты, полузаконченные, ай-ай-ай, пропало «Из-под глыб», три года готовили — в прорыву. Да. А письма с Запада — просто на столе, и искать не надо, только руку протяни! никогда ни одно не попадалось, а эти — прочтут, все карты открываем!.. Да много может быть там.. Да! Исправления к «Письму вождям», в последнюю ночь сделанные. Да хуже! К «Тихому Дону» последнее приложение — мало что не отправим, но — узнают в сё! Да! Ещё одна плёнка, полуиспорченная, дубликат от прошлой отсылки, нужно было сжечь, я забыл за город взять, а в доме сложно палить, — уж этот трофей отдать совсем бессмысленно, совсем позорно. Да! А в несгораемом шкафу — ведь «Телёнок» весь! «Телёнок» весь, отпечатанный! — реветь хочется на всю камеру, вертеться, бегать! Ведь годы так, лотерея: то кажется, у меня всего безопаснее, и собираем ко мне, то кажется — я горю, и тащим, везём куда-нибудь целый мешок, зарываем. Да «Пленников» экземпляр не дома ли? А уж о Втором Узле и говорить нечего, и ленинские главы, — всё это теперь в их руке. Боже мой, Боже, стоял как скала, 25 лет конспирации, одни успехи, одни успехи — и такой провал. И всего-то надо было им, на что никогда не решались по трусости: просто прийти ко мне прямо. И всё.

Вздыхал бедняга-валютчик за моим изголовьем, крутился, жёгся, папиросы жёг. «Спи, — говорил я ему, — спи, силы всего нужней пригодятся». Нет, — «кто продал?» жгло его. Кроме своих промахов ещё предательство близких больше всего и жжёт всегда. А второй спал спокойно.

(К полуночи налились ноги, голова, глаза, ушла вся ясность. Даже не отрывочные мысли, а какое-то месиво, но спать не хотелось Але нисколько. Думала по третьему заходу начать просматривать бумаги, но силы ушли. Тут вспомнила, что от завтрака не ела ничего, и мужа взяли без обеда. Прежний поднос для сжиганья бумажек стал слишком мал, поставили в кухне на пол большой таз под костёр, — и стоять ему так полтора месяца.

А обыск в эту ночь был, только не здесь: вели его 14 гебистов в Рязани — у Радугиных, моих знакомых, у которых отроду ничего я не держал, а пришли искать чего-то грандиозного, хуже «Архипелага», вот этого «Телёнка» искали? всего, что ещё не досталось им. И ничего не нашли.

И в Крыму, в далёкой Ак-Мечети, у стариков Зубовых, моих друзей по ссылке, — тоже обыск, и тоже впустую, ничего у них нет уже.)

Жгло-жгло, да не непрерывно же. В чём преимущество перед сидением прежним? Голова свободна от этих изнурительных расчётов: а если так спросит — а я так отвечу, а если так? — так. Какая свобода: ни единого ответа, ка-атитесь!.. Глубоким дыханием себя успокаивал, молился, — и благодетельно наплывали полоски сна. А после них — опять ясность жестокая. Голова пылает, затекает, уж оба кулака под подушкой — всё равно низко. Обещал я Але: в тюрьме и в лагере 2 года выдержу, что б со мной ни было — 2 года выдержу. Чтобы знать, что всё моё напечатано, и умереть спокойно: врезал. А теперь вижу — обещал не по силам. Ещё много лет я мог бы устоять в любых склонениях, но чтобы — воздух, тишина, писать бы можно. А здесь — в два месяца не кончусь ли? Минимальный срок следствия, два месяца. Не страшно, и не уступаю ничуть, но — кончусь?

И уже жизнь свою отстранённо обозревал как законченную. Ничего, удалась. С тем, что я нагротал, — ни э тим вождям, ни следующим не разделаться и за пятьдесят лет. Хотел, хотел ещё Узлы, больше-то всего их, но что успел — и на том Богу слава. Если выше, выше подняться над мелкими неудачами обыска — всё удалось, книги отправлены к печатанию, а что в движеньи, в набросках, вариантах, за-

мысле — всё в твёрдых верных Алиных руках. Хорошо уходить из жизни, оставив достойную наследницу. Там и трое сыновей подрастут, в чём-то батькину линию продолжат.

(Не спали всю ночь. Просматривали, жгли, но не много: жалко, ведь ничего этого не восстановить. Да *придут* ли утром? — отчего ж тогда не сразу вечером? Вдруг — вспомнила! Вспомнила — и стала искать: прошлым летом перед встречным боем было написано заявление о неправомочности суда над русской литературой, да и покинуто без применения, черновиком. А вчера на Страстном повторил: никаких допросов, следствия, суда не признаёт. Догадалась, где искать! Нашла!! [42] Так пустить! Среди ночи?.. Руки жжёт! как бы не опоздать! А с 6 утра, по «закону», могут прийти — накроют, погасят, останется неизвестным. Надо пустить сейчас же, ночью!! Позвонить корреспонденту? Кому? По разным соображениям — «Фигаро» (Ляконтр). «Можете ли приехать? У меня к вам просьба». — «Буду через 5 минут!» (Как? В дом арестованного, ночью, зовут по телефону иностранного корреспондента — и не задержат?? Нет, ослабли, ослабли большевики. О, где ты, пламенный Дзержинский?..) Аля садится за машинку и сразу стучит 10 экземпляров на тонкой бумаге. Ляконтр — корреспондент, почему новости не взять? Законно. Аккуратно сворачивает, заверяет, что раздаст всем агентствам. Уехал. Разбираются бумаги дальше. Сколько писем чужих надо жечь, сколько почерков надо спасти! А это что за ужас? Целых две плёнки. Надо протягивать, протягивать их долго через лупу, чтоб убедиться: ненужные, дубликаты, жечь. А горят — плохо. Около таза — очередь бумаг на сожжение. В общем — к обыску за ночь приготовились неплохо. Да если придут — не открывать (уже замок исправили): «Арест Солженицына считаю незаконным, тем более — обыск в его отсутствие. Ломайте!» 6 часов утра. Не приходят. А вот и 7, проснулись дети, некогда взрослым спать.))

Странно, в эту ночь в камере не было холодно, хотя форточка открывалась часто. Но и не от моего ж дыхания потеплело? Пощупать батарею невозможно, она вся в заградительном ящике, а регулируется, конечно, от вертухаев, и вероятно — каждая камера отдельно, иначе как создашь нужный режим? (Вот, думаю теперь: для меня и подкрутили тепла.)

Подъём самый обычный: под ночной лампочкой грохот кормушки. Конечно, к подъёму как раз все и спят, нет, поворачивайся, подымайся быстро. Прохлопали все двери по разу, теперь по второму: кто дежурный по камере? Щётку, подметать. Но какие мягкости: оделся, постель застелил, сверху можно опять лечь. (От этих одеял какая-то мелкая нитка липнет на костюм.) Нет мрачней тюремного утра, об этом уже писано сколько раз, да и утр же сколько! При всё том же свете ночном ярком из потолка, всё том же тёмном окне — ждать теперь обычных тюремных событий: хлеба, кипятка, утренней поверки. На следствии раньше полдесятого не выдернут никого.

Как бы не так! — грохот замка, и опять подполковник, в глубине капитан (слишком чины высоки для раннего утра, да ведь не знаю теперешних порядков, кто у них корпусной?), — и без «кто на сы...?», без малейшего сомнения в моей фамилии — жестами и словами: *пройти* надо мне.

— Ну, пожарный порядок! В хорошей тюрьме за 12 часов ещё из бани в камеру не попадёшь (а кстати, почему бани не было?), а тут уже и обвинение предъявлено, и на первый допрос! Торопятся.

Туда ж, где вчера, но перед самым «маларовским» кабинетом — в другую сторону. На тебе, санчасть! Два врача вчерашних, а сфисцеры задом-задом, и ретировались. Бабёшка — вовсе не суется держится как медсестра, мужчина же полон заботы: как я себя чувствую?

А, звери, что-то всё-таки вам мешает, инструкция какая-то. Но и открывать себя перед следствием? нельзя. Разденьтесь до пояса. Ляжьте. Где у вас опухоль была? Всё знает, стервец, и щупает неплохо, прямо идёт по краям петрификата. Значит, врач неподдельный. Опять давление мерит, и для утра высоко, да. «Что вы обычно от давления принимаете?» Не скроешься, да по телефонам сто раз уже слышали: «Травы». «А — какие?» Что они тут, будут мне заваривать? А что мне терять? Если при следствии буду давление сбрасывать, так ещё как потяну!!! И обнаглев: «Некоторые в настойках готовые продаются: боярышник, пустырник». Он — взгляд на сестру, она — тык в шкаф, и уже несёт пузырёчек родной, пустырника! (Да чего удивляться, из десяти арестантов тут восьмерых от давленья доводят.) Налили, выпил — натошак, как хорошо, самое лучшее!

В камеру. Дивятся ребята: какой-то я привилегированный, не ихний. Мне и самому забава: сам легенды слышал про именитых арестантов, сам видал, как содержали полковника МВД Воробьёва, — теперь на тот лад и меня?

А вот и пайка. Не пайка: за кормушкой на подносе нарезанные буханки, отламывай и бери, сколь хошь. Ну, жизнь! У ребят — никакого аппетита, взяли с полбуханки. Я с кровати испугался:

— Э, э! Что вы! — вскочил и, нарушая все приличия привилегированных и омрачая все возможные легенды обо мне — сунулся в кормушку и захватил две полных буханки. Потом подумал — треть буханки сдал назад.

— До вечера всё смолотим, что вы!

Тут же и начал. Впрочем, к лефортовскому хлебушке в день не привыкнешь, одним сознанием не ужуёшь, надо и *доходить* начать.

Вот и сахар, и кипяток, даже чем-то подкрашенный. Сахара — как и в 45-м году, не разбогатела родина, и даже не пиленный светлый, а песок темноватый от Кастро. На бумажке целый день хранить — ветром сдует, в кипяток его — и рассчитался.

Нет, как бы не так! Кашу принесли! Утром — ещё и кашу? Невероятно. Да сколько! Почти полная миска. Прежних лубяных обеденных порций — шесть или семь. Ну, на убой!..

Нет, не совсем-то убой: жира нет, это ясно, но — соли! — как бы не жмень. И при всём арестантском высоком сознании — есть эту пшёнку я не могу. Вот чем просто они меня и доведут: всё будет пересоленное.

А тут — обход утренний. И приди мне в голову по растущей наглости, да для забавы больше: делаю формальное заявление, что нуждаюсь в бессолевой диете. (Уж всё равно карты открыты, солоней не принесут, чем эта каша.)

((А жене бесконечно тянется время до девяти — когда можно будет звонить в прокуратуру. Магазин открылся — покупают продукты, на осаду. Ночью события внешнего мира как будто остановились, а вот утром — замирание, сжатие: что из трубки узнается, вломится сейчас? Руки виснут с утра — устала, как будто поздний вечер. Наконец — 9 часов. Звонит этому Балашову. Конечно, никто не подходит. Снова, снова — каждые 10 минут. Нет, нет... Что ж теперь думать? что сделали с ним? Провалы и гудки пустой телефонной трубки. Вот когда стемнело к дурноте: убили. Несуществующий телефон, и Балашова никакого не существует, никто никогда не снимет трубку, и никогда не ответят. Потому что — убили. Как же не поняла этого вчера? — суетилась, перепрыгивала, сжигала. И куда не бросься теперь — встретит стена. Рядом советуют: звонить Андропову. По советской логике — да. Но: убийцу — просить дать справку? ни за что! Никуда не денутся, сами сообщат! Только как дождаться?.. Однако и с обыском не идут — почему? Ведь за сутки можем всё запрятать. Или считают, что мы в руках, можно не спешить? Или — вообще не страшное что-то? Если б

убили — как же не броситься, не захватить всё до последней строчки? — Пошла стирать, детское накопилось.))

Пришло время допросов — вызвали одного парня, вызвали другого, только не меня. Где-то светало, даже день наступал, — не в Лефортовском дворе, конечно, а над двором, во дворе же была пасмурь, а за камерным окном — какой-то жёлтый рассвет. И лампочка треклятая в потолок будет мертво светить весь день, неотличимо от ночи. Эх, вспомнишь роскошные лубянские камеры, особенно верхних этажей! Сократили министерство в «Комитет при» — а штаты, небось, расширили, и все бессмертные славные камеры Внутрянки переделали себе под кабинеты.

Метучего валютчика привели с первого допроса, а одутловатого взяли зуб рвать (да не оттого ль и был он такой вялый и сосредоточенный, всего лишь?). Парню моему объявили арест. Но после первого допроса он несколько успокоился (как бывает этот первый успокоительный: отрицаешь? — отрицаю! — ну, хорошо, распишись, иди, подумай. Следователю нужна исходная отметка, с которой он начал свою мастерскую работу). Предупредил я его, как может следствие пойти, как надо себе определить точные рубежи и на них стоять насмерть, а где отступать неизбежно — подготовить приличные объяснения. Какие бывают следовательские приёмы главные. (И зачем меня сунули к ним, не в одиночку? Думали, соткровенничаю в чём?.. Не может быть.) Уж он, после двух тюремных ночей понимая неизбежность: а что, как в лагерях? Да многое изменилось, о старых могу рассказать... Рассказываю. Кругозор его интересов быстро растёт (в перепуганного кролика уже заранивается бессмертная душа зэка). Первый признак — интерес к собеседнику: а когда я сидел? за что? Немного рассказываю, потом думаю: отчего след не оставить живой? проглотят меня, никто больше живого не увидит, а этот в лагере расскажет, дальше передадут.

— Ты не читал такого «Ивана Денисовича»?

— И-не. Но говорили. А вы — и есть Иван Денисович?

— Я-то не я... А такого Солженицына слышал?

— Вот это... в «Правде» писали? — живеи, но и стесненно: ведь предатель, небось обидно. Заинтересовался, вспоминает, спрашивает: так у меня что, капиталы за границей? А нельзя было туда уехать?

— Можно.

— И чего ж?

— Не поехал.

— Как?? Как?? — изумился, ноги на кровать, назвал ему одну нолевскую, 70 тысяч рублей, он за голову взялся, он стонал от боли — за меня: да как же я мог?! да на эти деньги сколько машин можно купить! сколько... И в его восклицаниях, сожалениях не было корысти, ведь он — за меня, не за себя! Просто в советское миропонимание он не мог вместить такой дикости: иметь возможность уехать к 70 тысячам золотых рублей — и не уехать. (Чтоб и верхушку нашу понять, не надо забираться выше: не тем ли и заняты головы их всегда, как строить на казённый счёт дачи — сперва себе, потом детям? Отчего и ярились они на меня, искренно не понимая: почему не уезжаю добровольно?)

Сосед сидел с поджатыми ногами на кровати, а я ходил, ходил медленно, сколько было длины, в чужих деревянистых ботинках, при тускло-жёлтом дневном окне, и в голосе этого острого сожаления представилось мне: правда, сам ведь я сюда пришёл, полной доброй волей, на самоубийство. В 1970 через Стокгольм открыт мне был путь в старосветский писательский удел, как мои предшественники могли: поселиться где-то в отъединённом поместье, лошадя, речка, аллея, камни, библиотека, пиши, пиши, 10 лет, 20 лет. Но всей той жизни, теперь непроглядываемой, я велел не состояться, всей главной работе

моей жизни — не написаться, а сам ещё три года побездомничал и пришёл околевать в тюрьму.

И я — пожалел. Пожалел, что в 70-м году не поехал...

За три года не пожалел я об этом ни разу, врезал им — чего только не сказал! Не произносилось подобное никогда при этом режиме. И вот теперь напечатал «Архипелаг», в самой лучшей позиции — *отсюда!*

Выполнил долг. О чём же жалеть? А: легко принимать смерть неизбежную, тяжко — выбранную самим.

Дверь. Опять подполковник. За мной, значит. Приглашающий жест. Вот и мой допрос. Повели — вниз, туда, где следовательские кабинеты были раньше. Но сейчас-то там приёмные боксы. И в соседнем с тем, где вчера меня шмонали, на столе лежит какое-то барахлишко. А вот что: шапка котиковая или как её там чёрта; пальто, понятия не имею из чего; белая-белая рубашка; галстук; шнурки к ботинкам! — тонкие, короткие, на них и воробья не удушишь, а всё же примета вольного человека; и вместо грубо-остевой моей майки — традиционное русское многовековое солдатское-тюремное бельё. Подполковник как-то стеснительно:

— Вот это... оденьте всё.

Вижу: заматывают мой тулупчик, да любимую кофту верблюжьей шерсти:

— Зачем это мне? Вы — мои вещи верните! До каких пор жаривать?

Подполковник пуще смущён:

— Потом, потом... Сейчас никак нельзя. Вы сейчас — поедете...

Поедете... Точно, как мне комбриг Травкин говорил при аресте. И поехал я из Германии — в московскую тюрьму.

— ...А костюм оставьте на себе... Э-э!

Ба, с костюмом-то что! В камере не видно было, а здесь при дневном свете: и пиджак, и брюки, как лежал я на тюремном одеяле — нарочно так не выделаешь, не в пухе, не в перье, в чём-то мелком-мелком белом, не сотни, а тысячи, как собачья шерсть! Засуетился подполковник, позвал лейтенанта, щётку одежную, а кран благо тут, и велит лейтенанту чистить пиджак, да не так, ты воду стряхивай, а потом чисть, да в одну сторону, в одну сторону! Я — нисколько не помогаю им, мне-то что, мне — тулупчик верните, кофту верблюжьё и брюки мои... Пиджак почистили, а брюки — уже на мне, и вот, приседая по очереди, спереди и сзади, лейтенант и подполковник чистят мне брюки, работа немалая, въедаются эти шерстинки, хоть каждую ногтями снимай отдельно, да видно и времени в обрез.

Куда же? Сомнения у меня нет: *наверх* или даже в правительство, в это самое их политбюро, о котором так Маяковский мечтал? Вот когда, наконец, первый и последний раз — мы поговорим! Пожидал я такого момента порой — что просветятся, заинтересуются поговорить, ну неужели ж им не интересно? И когда «Письмо вождям» писал — это взамен такого разговора и не без расчёта на следующий: не хочется совсем покинуть надежду: что если отцы их были простые русские люди, многие — мужики, то не могут же детки ну совсем, совсем, совсем быть откидьшами? ничего, кроме рвачества, только — себе, а страна — пропади? Надежду *убедить* — нельзя совсем потерять, это уже не людское. Неужели же о н и последнего человеческого лишены?

Разговор — серьёзный, может быть главный разговор жизни. Плана составлять не надо, он давно в душе и в голове, аргументы — найдутся сами, свободен буду — предельно, как подчинённые с ними не разговаривают. Галстука? — не надену, возьмите назад.

Одет. Суетня: выводить? Побежали, не возвращаются. Машины ждут, на Старую площадь? Не идут. Не идут. Вернулся подполковник. Опять с извинением:

— Немножко подождать придётся..., — не выговаривает ужасного, неприличного слова «в камере», но по жестам, по маршруту вижу: возвращаемся в камеру.

Всё те же переходы, начинаю подробно запоминать. Нет, пожалуй, не цирк, а — корабль на ремонте, паруса плашмя.

Валютчики мои аж откинули лбы: рубашка белая на всю камеру сверкает. И присел бы на одеяло, да труд подполковника жалко, похоже уж.

Хожу — и мысленно разговариваю с политбюро. Вот так мне ощущается, что за два-три часа я в чём-то их сдвину, продрогнут. Фанатиков ленинского политбюро, баранов сталинского — пронять было невозможно. Но этих — смешно? — мне кажется, можно. Ведь Хрущ — уже что-то понимал.

((Да не постираешь долго, набегают вопросы, а голова помрачённая. Что делать с Завещанием-программой? А — с «Жить не по лжи»? Оно заложено на несколько стартов, должно быть пущено, когда с автором случится: смерть, арест, ссылка. Но — что случилось сейчас? Ещё в колебании? ещё клонится? Ещё есть ли арест? А может, уже и не жив? Э-э, если уж *пришли*, так решились. Только атаковать! Пускать! И метить вчерашнею датой. (Пошло через несколько часов.) Тут звонит и из Цюриха адвокат Хееб: «Чем может быть полезен мадам Солженицыной?» Сперва — даже смешно, хотя трогательно: чем же он может быть полезен?! Вдруг просверкнуло: да конечно же! Торжественно в телефон: «Прошу доктора Хееба немедленно приступить к публикации всех до сих пор хранимых произведений Солженицына!» — пусть слушает ГБ!..

А телефон — звонит, звонит, как будто в чужой квартире: в звонках этих ничего не может содержаться. Звонят из разных столиц. Ни у них узнать, ни самой сказать.))

За мной. Выводят. С Богом! Пошёл быстро, ночным молчаливым цирком, идти далеко. Ничего подобного — опять ближайший боковой заворот, мимо врачебного кабинета, полковник Комаров, ещё один полковник, — и в тот же кабинет, где вчера мне предъявили измену родине, — только светлый-светлый сейчас, хоть и пасмурный день, и за вчерашним столом — вчерашний же... Маляров, да, всего-навсего Маляров. Чего ж меня наряжали? И для меня — тот же стул посередь комнаты. И высшие офицеры рассаживаются позади, если кинусь на Малярова.

И с той же остротой, как вчера, и с той же взвинченной значительностью читаемого, отчётливо выделяя все слова:

— Указ — Президиума — Верховного...

И с этих трёх слов — мне совершенно уже ясно всё, в остальные вслушиваюсь слегка, просто для контроля.

Эк они мне за 18 часов меняют нагрузки — то на сжатие, то на растяжку. Но с радостью замечаю, что я не деформируюсь — и не сжался вчера, и не растянулся сейчас.

Значит, говорить со мной не захотели, сами всё знают. Сами знаете, но отчего же ваши ракеты, ваша мотопехота, и ваши гебистские подрывники и шантажисты, — почему все в отступлении, ведь — в отступлении, так? Бодался телёнок с дубом, — кажется, бесплодная затея. Дуб не упал — но как будто отогнулся? но как будто малость подался? А у телёнка — лоб цел, и даже рожки, ну — отлетел, отлетит куда-то *

Но секунды текут, надо быстро соображать.

— Я могу — только с семьёй. Я должен вернуться в семью.

* Смелости у них тогда не хватало: надо было сослать меня в Сибирь. Покричали бы на Западе — успокоился бы: ведь не в тюрьме же сидит, не срыгать, из-за него разрядку и торговлю. Ссылка бы — удалась. (А режим содержания подынтить постепенно.) — (Примеч. 1978.)

Маляров — в чёрном торжественном костюме, сорочка белее мой, встал, стоит как актёр на просторе комнаты, с приподнятой головой:

— Ваша семья последует за вами.

— Мы должны ехать вместе.

— Это невозможно.

Вот как. Какая неожиданная форма высылки. А вдуматься — у них и другого пути нет, только такой: меня быстро-быстро убрать.

— Но где гарантия?

— Но кто же будет вас разлучать?

Вообще-то, шуму не оберётесь, верно.

— Тогда я должен... — секунду не сообразишь, обязательно что-нибудь упустишь, с ними так всегда, — я должен заявление написать.

Зачем заявление — до сих пор не понимаю, как будто заявление что-то весит, если они решатся иначе. А просто — время выиграть, старая арестантская уцепчивость. Подумал Маляров:

— В ОВИР? Пишите.

— Ни в какой ОВИР. Указ Подгорного. Ему.

Подумал. К столу меня, сбоку. Бумагу.

Пишу, пишу. Перечень семьи, годы рождений. Добавляю мою старенькую тётю Иру из Георгиевска, это единственная возможность её взять. (Ошибка: они боятся — я стёкла буду бить, а я заявление мирно пишу.) Что б ещё придумать?

— Самолётом — я не могу.

— Почему?

— Здоровье не позволяет.

У меня, и правда, никакого опыта воздушных переездов, раз летел из Киева — с ушами было плохо.

Неподвижно торжественен (да ведь операция почти боевая, может и орден получить). То ли кивнул. В общем, подумает.

Некогда мне проанализировать, что поездом они не могут рискнуть: а вдруг по дороге демонстрации, разные события? Да долго, растянется.

И — в камеру назад. Я — руки нарочно сзади держу, крепче так. Вошёл — свет погашен, разгар дня, от полудня до часу дают отдохнуть электричеству. Боже, какая темень, затхлость, гибельность. И будто ступни мои всё легче, всё легче касаются пола, я взмываю — и улываю из этого гроба. Сегодня к утру я примирился, что жить осталось два месяца и то под следствием, с карцерами. И вдруг, оказывается, я ничем не болен, я ни в чём не виновен, ни хирургического стола, ни плахи, я могу продолжать жизнь!

Второго парня опять нет, а мой сочувствующий пялится на меня, ждёт рассказа. Но сказать ему — мне совестно. Из бутырских камер провожали меня на свободу (по ошибке), тогда я ликовал, выкрикивал приветы, а сейчас почему-то совестно. Да теперь чудо какое: в камере — ежедневная газета. Фамилию мою знает, завтра сам прочтёт Указ. Всплеснётся пуще сегодняшнего: ай да-да, вот так наказали!

Отваливается кормушка. Обед. Подходим брать. Щи и овсяная каша. Но в мои руки попадают миски не простые, я не сразу понял. Парень уносит к себе на кровать, я сажусь на единственное место за столик. Беру первую ложку щей — что это? Соли — вообще тут не бывало, как я и люблю, и как не могли по тюрьме готовить. Значит, по моему заказу — бессолевая! И я с наслаждением до конца выбираю, выхлёбываю тюремные, но они же и простые русские тощие щи, не баланду какую-нибудь. А потом и кашу овсянку, ничем не заправленную, но порция — пятерная, с Лубянской сравнивая, да и круче насколько! У меня в «Пленниках» украденный из Европы наш парень на берлинском аэродроме помимо солдатскому сулу узнаёт возвращённую горькую родину. Так и я теперь прощаюсь с Россией по каше, последней русской еде.

Доесть не дали, гром замка, выходить. Ну, хоть щи долопал до конца. А хлеба-то я навалил на полку — кто теперь его одолеет? Сунул кус в карман пиджака, до этих Европ ещё пожрать понадобится. Парню пожал, пожелал — пошёл. Не успел я подробно всех лефортовских переходов запомнить. Только в месте каком-то всё предупреждали меня головой не стукнуться.

В приёмном боксе вернули мне часы, крест, расписаться. Подполковник побеспокоился — что это мой карман оттопырен. Я показал хлеб. Поколебался, ну — ничего.

Опять ждать. И провести время со мной зашёл хитроватый начальник лефортовской тюрьмы. Уже не давя своей наблещенностью, а даже как-то задумчиво, как тянет его на меня. Как на всё таинственное, необъяснимое, не подчинённое законам жизни, метеорит пролётный. Даже как будто и улыбается мне приятно. Головой избочась, разглядывает:

— Вы какое артиллерийское училище кончали?

— Третье Ленинградское.

— А я — Второе. И ровесник ваш.

Смешно и мне. В одно и то же время бегали голодными курсантами, мечтали о скрещенных пушечках в петлицах. Только сейчас у него на погонах — эмвездистский знак. И — с чего он седой? А я — насколько.

— Да... Воевали на одной стороне, а теперь вы — по другую сторону баррикад.

Эх, язычок ленинско-троцкий, так и присохло на три поколения, весь мир у них в баррикадах, куста калины не увидят. Баррикады баррикадами, но с вашей стороны что-то много мягкой мебели натащено. А с нашей — «руки назад!».

Выходим. Опять — кольцо во дворе, опять на заднее сиденье меж двоих, тесно. И — штурман вчерашний, что из дому вёз, та же шапка, воротник, да что-то лицо слишком знакомо? Ба, растяпа я! это ж мой врач! — вчерашний, сегодняшней на рассвете. Вот неприглядность, я бы больше понял: от самой двери дома врач был неотлучно при мне, с чемоданчиком, в одном шаге, берегли.

Разверзлись проклятые ворота, поехали. Две машины, и в той — четверо, значит восьмеро опять. Попробовал опять по гортани поводить — насторожились.

День и сегодня ростепельный, на улицах грязно, машины друг друга обшлёпывают. Курский миновали. Три вокзала миновали. Выворачиваем, выворачиваем — на Ленинградский проспект. Белорусский? — откуда и привезли меня когда-то арестованного, из Европы. Нет, мимо. По грязному-грязному проспекту, в уютный грязный день, — куда ж как не в Шереметьево. Самую эту дорогу я ненавижу, с прошлого лета, с Фирсановки нашей грозной. Говорю врачу:

— Самолётом я не могу.

Поворачивается, и вполне по-человечески, не по-тюремному:

— Ничего изменить нельзя, самолёт ждёт.

(Да знал бы я — сколько ждёт! — три часа, пассажиры измучились, кто и с детьми, отчего задержка, никто не знает. И две комиссии, одна за другой, проверяли его состояние. И из Европы диспетчеры запрашивают, наши врут: туман.)

— Но я буду с вами, и у меня все лекарства.

Опять полукольцо — теперь вокруг трапа: а что если буду нырять и в сторону бежать? Трап ведёт к переднему салону. В салоне — семеро штатских да восьмой — врач, со мною. Кроме врача все опять сменились (должны ж охрану подготовить, освоиться). Мне указывают точное место — у прохода и в среднем ряду, вот сюда. От меня к окну — сосед, позади нас двое, впереди один. И через проход — двое. И позади них двое. Так что я окружён как поясом. А вот и врач: он склонился ко мне заботливо и объясняет, какое рекомендуется мне ле-

карство принять сейчас, какое через полчаса, какое через два часа, и каждую таблетку на моих глазах отрывает от фабричной пачки, показывая мне, что — не отравя. Впрочем, одна из таблеток по моей мерке — снотворное, и я её не беру. (Усыпить меня в дороге или одурить?) «А что, так долго лететь? — наивно спрашиваю и я его. — Сколько часов?» Ещё более наивно озадачивается и он: «Вот, не знаю точно...» И больше уже не ждут: захлопнулись люки, зажглась надпись о ремнях. Мой сосед тоже очень заботливо: «Вы не летали? Вот так застёгивается. И — «взлётных» берите, очень помогает». От стюардессы, в синем. А уж она — тем более невинна, совсем не знает, что тут за публика. Наши простые советские граждане.

И рулит самолёт по пасмурному грязно-снежному аэродрому. Мимо других самолётов или зданий каких, я ничего не замечаю отдельно: каждое из них отвратительно мне, как всякий аэродром, а всё вместе — последнее, что я вижу в России.

Уезжаю из России я второй раз: первый раз — на фронтовых машинах, с наступающими войсками:

Расступись, земля чужая!
Растворяй свои ворота!

А приезжал — один раз: из Германии и до самой Москвы с тремя гебистами. И вот опять из Москвы с ними же, только уже с восемью. Арест наоборот.

Когда самолёт вздрагивает, отрываясь, — я крещусь и кланяюсь уходящей земле.

Лупятся гебисты.

((В телефонных этих звонках ничего не может содержаться... Вдруг по квартире вопли: «Летит! Выслали! в Западную Германию!» Звонят, что слухи от друзей Бёлля: тот ожидает гостя во Франкфурте. Правдоподобно? можно поверить? Сами же пустили и слух, отвлечь от своих подвалов. «Я поверю, только если услышу голос А. И.». При чём тут друзья Бёлля? Спектакль какой-то... Зачем тогда было так брать, восемь на одного? принимать всемирный позор с арестом — чтобы выслать? Но опять, опять звонят агентства, одно за другим. Министерство внутренних дел Рейн-Вестфалии подтвердило: «ожидается в Западной Германии»... Да больше: «уже прибыл, и находится на пути в резиденцию Бёлля!» Значит, так?.. Но почему у всех радость? Это же — несчастье, это же насилие, не меньшее, чем лагерь... Выслали — свистящее, чужое... Выслали — а у нас конфискация? — ах, надо было успеть раздать, потеряла время! Жжёт. Всё жжёт. Звонят, поздравляют — с несчастьем?..))

Дальше всё — читателям привычнее, чем мне, разный там проход облаков, над облаками, солнце, как над снежною равниной. И как установился курс, я соображаю: который час (около двух, на 15⁰ больше истинного полдня), как летим относительно солнца, — и получается: линия между Минском и Киевом. Значит, вряд ли будет ещё посадка в СССР и значит, значит... Вена? Не могу ничего вообразить другого, не знаю я ни рейсов, ни аэродромов.

Летим, как висим. Слева спереди ослепительно светит солнце на снежно-облачные поля. А камеры для людей, думающих иначе, устроены так, что опять уже в потолках зажглись ночные лампочки — и до следующего полудня.

Господи, если ты возвращаешь мне жизнь, — как эти камеры развалить?

Многовато для меня переходов за неполные сутки. Мягкое сиденье, конфетки. А в кармане — кусок лефортовского хлеба: как в сказке, удаётся из дурной ворожбы вырвать, унести вещественный кусок: что — было, что не приснилось.

Да я б и без этой краюхи не забыл.

Перелёт — как символ: оборвалось 55 лет за плечами, сколько-то где-то ждёт впереди. Висеть — как думать: правильно жил? Правильно. Не ошибись теперь, новый мир — новые сложности.

Так вишу, думаю, и даже конвой свой разглядывать нет ни досуга, ни охоты. Один — вытащил приёмник, рожа улыбится, весёлая командировка, включить больно хочется, другого спрашивает — можно ли? (Кто старший — не знаю, не видно старшего.) Я — явно брови нахмурил, покачал головой: «Мешает» (думать). Махнули ему, убрал. Двое задних — какие-то не такие, читают немецкие газеты «Frankfurter Allgemeine». Дипломаты, что ли? А гебисты от скуки исходят, читают разбросанные рекламы, проспекты... и расписания. Расписания Аэрофлота? Совсем лениво, как тоже от скуки крайней, беру расписание и так же лениво просматриваю. Типов самолетов я не различаю. А рейсов тут полно, есть и Вена, есть и Цюрих, но час — ни один не подходит. В половине второго — два не выходит в Европу ни один самолёт подходящего направления. Значит, подали мне специальный. Да на это у нас казна есть, русский революционный размах.

Даже и не думать. Коромысло. Висеть и только понимать: таких часов в жизни — немного. Как ни понимай — победа. Телёнок оказался не слабее Дуба. На чём бы мысль ни собрал — не получается. Дома — какова там добыча в обыске? (Но уже не жжёт, как ночью.) И что там сейчас мой?

((Все радио десять раз повторили уже: летит — прибыл — едет к Бёллю. И когда никто уже в том не сомневался: «Самолёт прибывает через полтора часа». А как же министр сообщал: «давно прибыл»? А как же все корреспонденты? Так никто ещё не видел его живого?? Так — спектакль?! он никуда не летит?!? Так то было ещё не несчастье!? А — вот оно... Сообщения сыпятся вперебой: ещё в полёте... уже сел... *Ещё не вылетал из Москвы, рейс откладывается!* И тогда — окончательно ясно: везут. Увезут в Египет или на Кубу, выбросят — и за него не в ответе. Ну, мерзавцы, стану вам костью в горле, устрою вам звон!))

Стюардесса разносит кофе с печеньями. Попём, пригодится, хлебшек сэкономим. Опять наклонился врач: как я себя чувствую? какие ощущения? не хочу ли ещё вот эту таблетку? Право же, как любезен, от самого лефортовского подъёма, и спал, наверно, в тюрьме. «Простите, как ваше имя-отчество?» Сразу окостенел и голосом костяным: «Иван Иванович». Ах, продешевился я!..

А вот что! Заветного гражданства я лишён, значит теперь человек свободный, выйду-ка я в уборную. Где она? Наверно, в хвосте. Никому ни слова, независимо встаю и быстро пошёл назад. Так быстро, что переполох у них на две секунды опоздал, но тем больший потом. Открываю дверь — сзади ещё помещение? — и совершенно пустое! Ну, эта роскошь социализму по карману. Хочу идти дальше, но тут уже нагоняют меня трое — среди них и «Иван Иванович». Мол: что такое? Как что такое? В уборную. Так — не туда, не там, в носу! Ах в носу, ну ладно. Повернул. Это ещё могу понять как повышенную любезность. Но достигнув носовой уборной, не могу за собой закрыть дверь: туда же ломятся и двое гебистов, впрочем не отнимая у меня первенства. Воспитание арестантское: желаете наблюдать? пожалуйста, у мужчин это совершается вот так. Вот так, и всё. Разрешите! Конечно, пожалуйста, расстаются. Однако рядом со мной у окна уже сел другой, пособачистей, прежний не оправдал доверия.

Я оглядываю внимательно нового соседа: какой, однако, убийца. Внимательно стальных. Да их тут трое-четверо таких, почти несомненно, что уже убивали, а если какой ещё упустил — то готов отличиться сегодня же.... Да какой же я лопух, что ж я раблагодушествовал? Ко-

му ж я поверил?— Малярову? Подгорному? Старый арестант — а второй день одни ошибки. Вот отвык. Разве настоящий арестант — «тонкий, звонкий и прозрачный», смеет поверить хоть на грош, хоть на минуту — советскому прокурору или советскому президенту? Я-то! мало ли знаю историй, как наши молодчики после войны в любой европейской столице, днём на улице, — вталкивали жертву в автомобиль и увозили в посольский подвал? и потом экспортировали куда хотели? В каждом советском посольстве довольно таких комнат, полуподвальных, каменных, прочных, не обязательно на меня лефортовскую камеру. Сейчас в Вене, в припугнутой нейтральной Австрии, к самому трапу пустого самолёта вот так же подкатит вплотную посольский автомобиль, эти восьмеро толкнут меня туда без усилий (да что! здесь, в самолёте, упакут в тюк и отнесут, сколько таких историй!). Несколько дней подержат в посольстве. Объявлен Указ, я выслан, — когда, куда — не обязательно предъявлять корреспондентам. А через несколько дней находят меня убитого на обочине австрийского шоссе — и почему за это должно отвечать советское правительство? Все годы, к сожалению, они за меня отвечали, и в этом была моя безопасность, — но уж теперь-то нет?

Весь этот прояснившийся мне план настолько в стиле ГБ, что даже проверять, исследовать его не нужно. Как же это я не сообразил сразу?.. А что — теперь? Теперь вот что: как можно больше беспечности, я отдыхаю, я расслаблен, я улыбаюсь, даже с кем-то перебрасываюсь словами — я полностью им доверяю. (Хотя бы — не в тюк, хотя бы своими ногами выйти. Не знаю, совсем не знаю аэродромных порядков, но не может быть, чтобы при посадке самолёта не было ни одного полицейского вблизи. А если будет хоть один, я успею громко крикнуть. Ну-ка, ну-ка, в детстве учёный, давно заброшенный немецкий язык, выручай! Составляю в уме, составляю:

«Herr Polizei! Achtung! Ich bin Schriftsteller Solschenizyn! Ich bitte um Ihre Hilfe und Verteidigung!» Успею выкрикнуть? Даже если половина и рот зажмут — поймёт!

И теперь — только наблюдаю их. Полудремлю и наблюдаю: какие лица? как переговариваются? похоже ли на деятельную подготовку? какие у них с собой вещи? Да руки почти у всех пусты. То есть свободны...

А летим мы уже — скоро три часа. Долгонько. Сколько до этой Вены? ничего не знаю, никогда не интересовался. Но вот начинаем сбавлять высоту. И не удерживаюсь от ещё одной проверки: не порывисто, развалисто, уже известной тропой иду в носовую уборную. За 10 минут до аэродрома — ещё я ээк или уже не ээк? За мной — двое, и даже что-то укоризненно, почему не сказал? (То есть чтобы один выводной успел занять позицию впереди меня.) «Разве ещё имеет значение?» — улыбаюсь я. «Ну как же, вот я вам дверь открою». И опять — стали вдвоём на пороге, чтоб я не закрыл. С холодком: нет, дело не просто. Что-то готовят. (Теперь-то понимаю: инструкция их была: не дать мне кончить самоубийством, или порезаться, повредить себя, как бластные, когда на этап не хотят. Хороши б они выглядели, выведя меня порезанного!)

Ладно. Сел на старое место и поглядываю расслабленно-беззаботно. Спускаемся. Ниже. Различается большой город. На реке. Не такая широкая река, но и не малая. Дунай? Кто его знает. Делаем круг. Венских парков и предместий что-то не видать, больше промышленности. да где её теперь нет? ...А вот и аэродром. Покатали по дорожкам. Среди других зданий одно возвышается, и на нём надпись Frankfurt-am-Main. Э-ка!.. Рулим, вертимся, — есть полицейские, есть, и немало, если форму правильно понимаю. И вообще людей порядочно, сотни две. так что крикнуть будет кому.

Остановились. Снаружи везут трап. Наши некоторые к пилоту бегают и назад. Я всё-таки не выдерживаю, да естественное движение

пассажира — где там пальтишко моё (лефортовское, чехословацкой братской выделки), надеть его, что ли? Сразу перегородили, и даже властно: «Сидите!» Плохо дело. Сижу. Трое-четверо бегают, суетятся, остальные сидят вокруг меня, как тигры. Сижу беспечно: и что, правда, в этом пальто париться? И вдруг от пилотского тамбура сюда в салон команда — громко, резко:

— Одевайте его! Выводите!

Всё по худому сбывается, только о зэке так можно крикнуть. Ладно, повторяю про себя немецкие фразы. Впрочем, пальто своими руками надел. Шапку. Всё-таки не в тюк. Вдруг на пороге тамбура один из восьми налетает на меня лицо к лицу, грудь к груди, — и от живота к животу передаёт мне пять бумажек — пятьсот немецких марок.

Во-как?? Поскольку я зэк — отчего не взять? ведь беру же от них пайку, щи... Но всё-таки джентльменничаю:

— Позвольте... А кому я буду должен?

(Мало они нашей кровушки попили. С 1918 года заработали когда-нибудь один русский рубль своими руками?)

— Никому, никому...

И — исчез с дороги, я даже лица его не отличил, не заметил.

И вообще — дорога мне свободна. Стоят гебисты по сторонам, пилот сюда вылез. Голос:

— Идите.

Иду. Спускаюсь. С боков — нету двоих коробочкою, не жмут. Шагнул перекладки три-четыре — всё-таки оглянулся, недоумеваю. Не идут! Так и осталась нечистая сила — вся в самолёте.

И — никто не идёт, я ж — пассажир единственный?

Тогда — под ноги, не споткнуться бы. Да и вперёд глянул немножко. Широким кольцом, очевидно за запретною чертой, стоят сотни две людей, аплодируют, фотографируют или крутят ручку. Ждали? знают? Вот этой самой простой вещи — встречи — я и не ожидал. (Я совсем забыл, что нельзя привезти человека в страну, не спрося эту страну. По коммунистическим-то нравам спрашивать не надо никого, как в Праге приземлялись под 21 августа.)

А внизу трапа — очень симпатичный, улыбаясь, и неплохо по-русски:

— Петер Дингенс, представитель министерства иностранных дел Федеративной республики.

И подходит женщина, подносит мне цветов.

Пять минут шестого по-московски. Ровно сутки назад, толкаясь, вломились в квартиру, и не давали мне собраться... Для одних суток многовато, конечно.

Но это уже вторые начались — на полицейской машине вывозят меня с аэродрома запасным выездом, спутник предлагает ехать к Белю, и мы гоним по шоссе, уже разговаривая о жизни этой: уж она началась.

Мы гоним 120 километров в час, но того быстрее перегоняет нас другая полицейская машина, велит сворачивать в сторону. Выскакивает рыжий молодой человек, подносит мне огромный букет, с объяснением:

— От министра внутренних дел земли Рейн-Пфальц. Министр выражает мнение, что это — первый букет, который вы получаете от министра внутренних дел!

Да уж! Да уж, конечно! От наших — наручники разве. Даже с семьёй своей жить было мне отказано...

(Иностранному корреспонденту в Москве объявили указ о лишении гражданства. «Семья может соединиться с ним, как только пожелает». — «Не поверю, пока не услышу его голоса». Теперь из ФРГ: подробности встречи на аэродроме. Такого не придумаешь, не актёр же

прилетел? Звонит корреспондент «Нью-Йорк Таймс»: он только что звонил Бёллю и разговаривал с Солженицыным... Наконец — и сам звонит. В кабинет, где два рабочих стола, и ещё вчера в напряжённой тишине дорабатывали, потом врываются гебисты, потом сжигалось столько, — теперь столпилось 40 человек — друзья, знакомые, — посмотреть разговор. ...Предъявили измену... одели во всё гебешное... полковник Комаров... Тут слух был (пустили да впопыхах, не успели разработать), что добровольно выбрал изгнание вместо тюрьмы. «Ты никакого обещанья не подписал?» — «Да что ты, и не думал». Ну, сейчас он *им врежет!* Сейчас он там им врежет!))

Вечером, в маленькой деревушке Бёлля мы пробирались меж двух рядов корреспондентских автомобилей, уже уставленных вдоль узких улочек. Под фотовспышками вскочили в дом, до ночи потом и с утра слышали гомон корреспондентов под домом. Милый Генрих развалил свою работу, бедняга, распахнул мне гостеприимство. Утром, как объяснили мне, неизбежно выйти, стать добычей фотографов — и что-то сказать.

Сказать? всю жизнь я мучился невозможностью громко говорить правду. Вся жизнь моя состояла в прорезании к этой открытой публичной правде. И вот наконец я стал свободен как никогда, без топора над головою, и десятки микрофонов крупнейших всемирных агентств были протянуты к моему рту — говори! и даже неестественно не говорить! сейчас можно сделать самые важные заявления — и их разнесут, разнесут... — А внутри меня что-то пресеклось. От быстроты пересадки, не успел даже в себе разобраться, не то что подготовиться говорить? И это. Но больше — вдруг показалось малодостойно: браниться из безопасности, там говорить, где и все говорят, где дозволено. И вышло из меня само:

— Я — достаточно говорил, пока был в Советском Союзе. А теперь — помолчу.

И сейчас, отдаля, думаю: это — правильно вышло, чувство — не обмануло. (И когда потом семья уже приехала в Цюрих, и опять рвались корреспонденты, полагая, что уж теперь-то, совсем ничего не боясь, я сказану, — опять ничего не состраивалось, нечего было объявить.)

Помолчу — я имел в виду помолчать перед микрофонами, а своё состояние в Европе я уже с первых часов, с первых минут понял как деятельность, не стеснённую наконец: 27 лет писал я в стол, сколько ни печатай издали — не сделаешь, как надо. Только теперь я могу живо и бережно убрать свой урожай. Для меня было главное: из лефортовской смерти выпустили печатать книги.

А у нас там в России моё заявление могло быть истолковано и загадочно: да как же это — помолчу? за столько стиснутых глоток — как же можно молчать? Для них, там, главное было — насилие, надо мной совершённое, над ними совершаемое, а я — молчу? Им слышалось это в громыхании лермонтовского «На смерть поэта», гневно выраженного тогда у Регельсона [43]. Им так казалось (аффект минуты): лучше в советском лагере, чем доживать за границей.

Так и среди близких людей разность жизненной встряски даже за сутки может родить разнопонимание.

((«Одели во всё гебешное»... мерзко! И чтобы ссыльные прирождённые вещи лежали у них? — грязь прилипает. Как будто ещё держат телс. Забрать. Но как попасть в Лефортово? Оно заперто. Телефон? Таких телефонов не бывает в книжке. Телефоны следователей? — Кое-кто знает своих мучителей. Но следовательно даёт следующий телефон, который уже не ответит. Прокуратура? — «У нас нет телефона Лефортовской тюрьмы». — «Но лы отвезли туда Солженицына». — «Ничего не знаем». Вспомнили: четверг в Лефортове — день передач. И поеха-

ла прямо. Дубасить в закрытое окошко: «Позовите полковника Комарова!» В стене — гремят, гремят замки, и сопровождаемый двумя адъютантами (они выскакивают и строятся с двух сторон), висломаясь, сдой, с важностью:

— Начальник Лефортовского изолятора полковник... Петренко!

По эту сторону баррикады свищи-ищи конца фамилий! А тем более — вещей... Сожжены! В тот же день, мол, сожжены. Или между своими разобраны? Или взяты для подделок?»))

То ли ей предстояло! Ей предстояло теперь самое главное, начать и кончить: весь мой огромный архив, 12-летние заготовки по многим Узлам вперёд, — перенести в Швейцарию, по воздуху, по земле или по воде, не потеряв ни бумажки, ни упаковочного привычного конверта, чтобы потом в те же ящики вернуть в этот письменный стол, когда он приплывёт туда, — и по дороге ни единого важного листика (а важных мало у меня) не пронести через железный обруч погранохраны, не дать им на таможене сфотографировать десятком приготовленных копировальных аппаратов, уж не говоря — не дать отобрать, ибо физически не может ЧКГБ, физически не может советская власть выпустить на свободу хоть листик один, который им не по нраву.

И эта задача моей жене — удалась. Без этого был бы я тут, в изгнании, с вырванным боком, со стонущею душой, инвалид, а не писатель.

И эту бы историю ещё как раз в сию книгу вставить. Да — нельзя, нельзя... *

Июнь 1974

Штерненберг, нагорье Цюриха

ПРИЛОЖЕНИЯ

[14]

ВОТ КАК МЫ ЖИВЁМ

Вот как мы живём: безо всякого ордера на арест или медицинско-го основания приезжают к здоровому человеку четыре милиционера и два врача, врачи заявляют, что он — помешанный, майор милиции кричит: «Мы — органы насилия! Встать!», крутят ему руки и везут в сумасшедший дом.

Это может случиться завтра с любым из нас, а вот произошло с Жоресом Медведевым — учёным-генетиком и публицистом, человеком гибкого, точного, блестящего интеллекта и доброй души (лично знаю его бескорыстную помощь безвестным погибающим и больным). Именно *разнообразие* его дарований вменено ему в ненормальность: «раздвоение личности»! Именно отзывчивость его на несправедливость, на глупость и оказалась болезненным отклонением: «плохая адаптация к социальной среде»! Раз думаешь не так, как положено — значит, ты ненормальный! А адаптированные — должны думать все одинаково. И управы нет — даже хлопоты наших лучших учёных и писателей отбиваются, как от стенки горох.

Да если б это был первый случай! Но она в моду входит, кривая расправа без поиска вины, когда стыдно причину назвать. Одни пострадавшие известны широко, много более — неизвестных. Угодливые психиатры, клятвопреступники, квалифицируют как «душевную болезнь» и внимание к общественным проблемам, и избыточную горячность, и избыточное хладнокровие, и слишком яркие способности, и избыток их.

А между тем даже простое благоразумие должно было бы их удерживать. Ведь Чаадаева в своё время не тронули пальцем — и то мы клянём палачей второе столетие. Пора бы разглядеть: захват свободо-

* Теперь-то — можно бумаге доверять, написано (Пятое Дополнение). А уж — печатать когда?? (Примеч. 1978.)

мыслящих в сумасшедшие дома есть *духовное убийство*, это вариант газовой камеры, и даже более жестокий: мучения убиваемых злей и протяжней. Как и газовые камеры, эти преступления не забудутся *никогда*, и все причастные к ним будут судимы без срока давности, пожизненно и посмертно.

И в беззакониях, и в злодеяниях надо же помнить предел, где человек переступает в людседа!

Это — куцый расчёт, что можно жить, постоянно опираясь только на силу, постоянно пренебрегая возражениями совести.

А. Солженицын.

15 июня 1970.

[15]

Секретарю ЦК КПСС
т. М. А. СУСЛОВУ,

Михаил Андреевич!

Пишу именно Вам, памятуя, что мы с Вами были познакомлены в декабре 1962 г. и Вы тогда отнеслись к моей работе с пониманием.

Прошу Вас рассмотреть лично и сообщить другим членам государственного руководства следующее моё предложение.

Я предлагаю пересмотреть ситуацию, созданную вокруг меня и моих произведений недобросовестными деятелями из Союза писателей, дававшими правительству неверную информацию.

Как Вам известно, мне присуждена Нобелевская премия по литературе. В течение 8 недель, оставшихся до её вручения, государственное руководство имеет возможность энергично изменить литературную ситуацию со мной и тогда процедура вручения будет происходить в обстановке, несравненно более благоприятной, чем сложилась сейчас. По малости оставшегося времени ограничиваю своё предложение минимальными рамками:

1) В кратчайший срок напечатать (при моей личной корректуре) отдельной книгой, значительным тиражом, и выпустить в свободную продажу повесть «Раковый корпус» (Гослитиздату, если ему будет указано, вся эта работа посильна в две-три недели). Запрет этой повести, одобренной московской секцией прозы, принятой «Новым миром», является *чистым недоразумением*.

2) Снять все виды наказаний (исключения студентов из институтов и др.) с лиц, обвинённых в чтении и обсуждении моих книг. Снять запрет с библиотечного пользования ещё уцелевшими экземплярами моих прежде напечатанных рассказов. Дать объявление о подготовке к печати сборника рассказов (не издававшегося ни разу).

Если это будет принято и осуществлено, я могу передать Вам для опубликования мой новый, в этих днях кончаемый, роман «Август четырнадцатого». Эта книга и вовсе не может встретить цензурных затруднений: она представляет детальный военный разбор «самсоновской катастрофы» 1914 г., где самоотверженность и лучшие усилия русских солдат и офицеров были обесмыслены и погублены параличом царского военного командования. Запрет в нашей стране ещё и этой книги вызвал бы всеобщее изумление.

Если потребуется личная встреча, беседа, обсуждение, — я готов приехать.

Солженицын.

14 октября 1970 г.

[16]

КОРОЛЕВСКОЙ ШВЕДСКОЙ АКАДЕМИИ
НОБЕЛЕВСКОМУ ФОНДУ

Многоуважаемые господа!

В телеграмме на имя секретаря Академии я уже выражал и теперь повторно выражаю благодарность за честь, оказанную мне при-

суждением Нобелевской премии. Внутренне я разделяю её с теми своими предшественниками в русской литературе, кто по трудным условиям минувших десятилетий не дожид до присуждения такой премии, либо при своей жизни мало был известен читающему миру в переводах и даже своим соотечественникам — в подлинниках.

В той же телеграмме я выразил намерение принять Ваше приглашение приехать в Стокгольм, хотя и представлял ожидающую меня, принятую в нашей стране при всякой заграничной поездке, унизительную процедуру заполнения специальных анкет, получения характеристик от партийных организаций — даже для беспартийного, и инструктажей о поведении.

Однако за минувшие недели враждебное отношение к моей премии, проявленное в отечественной прессе, и по-прежнему преследуемое состояние моих книг (за их чтение увольняют с работы, исключают из институтов) заставляют предположить, что моя поездка в Стокгольм будет использована для того, чтоб отсечь меня от родной земли, попросту преградить мне возврат домой.

С другой стороны, в присланных Вами материалах по распоряжку вручения премий я обнаружил, что в нобелевских торжествах много церемонийной праздничной стороны, утомительной для меня, непривычной при моём образе жизни и характере. Деловая же часть — нобелевская лекция, не входит собственно в церемониал. Позже, в телеграмме и письме, Вы высказали сходные опасения по поводу суеты, могущей сопутствовать моему пребыванию в Стокгольме.

Взвесив всё вышесказанное и пользуясь Вашим любезным разъяснением, что личный приезд на церемонию не является обязательным условием получения премии, я предпочёл в настоящее время не подавать ходатайства о поездке в Стокгольм.

Нобелевские диплом и медаль я мог бы, если такая форма окажется для Вас приемлема, получить в Москве от Ваших представителей в обоюдном удобном для Вас и меня срок. Как предусмотрено уставом Нобелевского фонда, в течение полугода от 10 декабря 1970 г. я готов прочесть или представить письменно нобелевскую лекцию.

Письмо это — открытое, и я не возражаю, если Вы опубликуете его.

С лучшими пожеланиями

А. Солженицын.

27 ноября 1970 г.

[17]

ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО! ДАМЫ И ГОСПОДА!

Я надеюсь, моё невольное отсутствие не омрачит полноты сегодняшнего церемониала. В череде коротких приветственных слов ожидается и моё. Ещё менее я хотел бы, чтобы моё слово омрачило торжество. Однако, не могу пройти мимо той знаменательной случайности, что день вручения Нобелевских премий совпадает с Днём Прав человека. Нобелевским лауреатам нельзя не ощутить ответственности перед этим совпадением. Всем собравшимся в стокгольмской ратуше нельзя не увидеть здесь символа. Так, за этим пиршественным столом не забудем, что сегодня политзаключённые держат голодовку в отстаивании своих умалённых или вовсе растоптанных прав.

А. Солженицын.

10 декабря 1970 г.

г. Карлу Рагнару Гирову, Шведская Академия
г. Нильсу К. Столе, Нобелевский Фонд

21 января 1971.

Многоуважаемые господа!

Начав работу над составлением Нобелевской лекции по литературе, я обнаружил, что в самом задании таится противоречие: писателю-художнику предлагается сменить вид работы и высказаться в плане скорее литературоведческом. Иногда такой опыт удаётся блестяще, как мы видим на примере Камю. Чаще же, вероятно, подобная смена жанра весьма трудна, если не невозможна.

Лично я обнаружил, что не смогу удержаться в рамках специфически-литературных: суждения о литературе сегодняшнего дня для меня невозможны в отрыве от суждений социальных и политических; большим (и, вероятно, неплодотворным) усилием будет для меня удержать себя в узде, говорить о природе искусства или природе красоты и избежать современного состояния жизни на Востоке и Западе, не затронуть тех вопросов, которые горят в душе. Никакой западный писатель, естественно, не стал бы избирать для этого нобелевскую трибуну — а у меня просто нет другой. Однако, если я поддамся своему чувству и пойду, куда влечёт меня перо, моя лекция выйдет за всякие допустимые рамки того, что можно назвать нобелевской лекцией по литературе, она вступит в противоречие с гласной и негласной стороной нобелевской традиции, окажется неприемлемой для нобелевского сборника.

Итак, сам для себя я пришёл к выводу, что было бы разумнее мне отказать от нобелевской лекции. Осенью Вы писали мне, что чтение такой лекции не обязательно. Однако, с тех пор я высказал намерение представить лекцию, и может быть теперь мой отказ нанесёт Нобелевскому Фонду ущерб? С другой стороны, такая лекция, которая грозит у меня получиться, вероятно нанесёт ему ущерб ещё больший, укрепив обвинения, что нобелевская процедура служит политическим целям?

Это письмо я посылаю Вам неофициальным путём и ещё достаточно заблаговременно в расчёте получить тем же путём Ваш ответ, Ваше мнение, которое прошу без стеснения высказать. Если вы сочтёте, что отказ от лекции уже невозможен — я представляю Вам (видимо, этим же путём), какая получится.

Что же касается вручения мне нобелевских диплома и медали, то пока нет признаков изменения обстановки в благоприятную сторону. В ожидании этого изменения — могут ли диплом и медаль остаться у Вас и дальше на хранении? и как долго?

В ожидании Вашего ответа,
с самыми добрыми пожеланиями

А. Солженицын.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

министру госбезопасности СССР Андропову

Многие годы я молча сносил беззакония Ваших сотрудников: перлюстрацию всей моей переписки, изъятие половины её, розыск моих корреспондентов, служебные и административные преследования их, шпионство вокруг моего дома, слежку за посетителями, подслушивание телефонных разговоров, сверление потолков, установку звукозаписывающей аппаратуры в городской квартире и на садовом участке и настойчивую клеветническую кампанию против меня с лекторских трибун, когда они предоставляются сотрудникам Вашего министерства.

Но после вчерашнего налёта я больше молчать не буду. Мой садовый домик (село Рождество, Наро-Фоминский район) пустовал, обо мне был расчёт у подслушивателей, что я в отъезде. Я же, по внезапной болезни вернувшись в Москву, попросил моего друга Александра Горлова съездить на садовый участок за автомобильной деталью. Но замка на домике не оказалось, а изнутри доносились голоса. Горлов вступил внутрь и потребовал от налётчиков документы. В маленьком строении, где еле повернуться трём-четырёхм, оказалось их до десятка, в штатском. По команде старшего: «В лес его! И заставьте молчать!» — Горлова скрутили, свалили, лицом о землю поволокли в лес и стали жестоко избивать. Другие же тем временем поспешно бежали кружным путём, через кусты, унося к своим автомобилям свёртки, бумаги, предметы (может быть — и часть своей привезенной аппаратуры). Однако, Горлов энергично сопротивлялся и кричал, созывая свидетелей. На его крик сбегались соседи с других участков, преградили налётчикам путь к шоссе и потребовали документы. Тогда один из налётчиков предъявил красную книжечку удостоверения, и соседи расступились. Горлова же с изуродованным лицом, изорванным костюмом повели к машине. «Хороши же ваши методы!» — сказал он сопровождающим. «Мы — на операции, а на операции нам всё позволено».

По предъявленному соседям документу — капитан, а по личному заявлению — Иванов сперва повёз Горлова в нарофоминскую милицию, где местные чины почтительно приветствовали «Иванова». Там «Иванов» потребовал с Горлова же (!!) объяснительную записку о происшедшем. Хотя и сильно избитый, Горлов изложил письменно цель своего приезда и все обстоятельства. После этого старший налётчик потребовал с Горлова подпись о неразглашении. Горлов наотрез отказался. Тогда поехали в Москву, и в пути старший налётчик внушал Горлову в следующих буквальных фразах: «Если только Солженицын узнает, что произошло на даче, считайте, что ваше дело кончено. Ваша служебная карьера (Горлов — кандидат технических наук, предстал к защите докторскую диссертацию, работает в институте Гипротис Госстроя СССР) дальше не пойдёт, никакой диссертации вам не защитит. Это отразится на вашей семье, на детях, а если понадобится — мы вас посадим».

Знающие нашу жизнь знают полную осуществимость этих угроз. Но Горлов не уступил им, подписку дать отказался, и теперь над ним нависает расправа.

Я требую от Вас, гражданин министр, публично поименования всех налётчиков, уголовного наказания их и публичного же объяснения этого события. В противном случае мне остаётся считать их направи- телем — Вас.

А. Солженицын.

13 августа 1971 г.

[20]

Председателю Совета Министров СССР
А. Н. КОСЫГИНУ

Препровождаю Вам копию моего письма министру госбезопасности. За все перечисленные беззакония я считаю его ответственным лично. Если правительство СССР не разделяет этих действий министра Андропова, я жду расследования.

А. Солженицын.

13 августа 1971 г.

[21]

Есть много способов убить поэта.

Для Гвардовского было избрано: отнять его детище — его страсть — его журнал.

Мало было шестнадцатилетних унижений, смиренно сносимых этим богатырём, — только бы продержался журнал, только бы не прервалась литература, только бы печатались люди и читали люди. Мало! — и добавили жжение от разгона, от разгрома, от несправедливости. Это жжение прожгло его в полгода, через полгода он уже был смертельно болен и только по привычной выносливости жил до сих пор — до последнего часа в сознании. В страдании.

Третий день. Над гробом портрет, где покойному близ сорока и желанно-горькими тяготами журнала ещё не борожден лоб, и во всё сиянье — та детски-озарённая доверчивость, которую пронёс он через всю жизнь, и даже к обречённому она возвращалась к нему.

Под лучшую музыку несут венки, несут венки... «От советских воинов»... Достоинно. Помню, как на фронте солдаты все сплошь отличали чудо чистозвонного «Тёркина» от прочих военных книг. Но помним и: как армейским библиотекам запретили подписываться на «Новый мир». И совсем недавно за голубенькую книжку в казарме тягали на допрос.

А вот вся нечётная дюжина *Секретариата* вывалила на сцену. В почётном карауле те самые мёртво-обрюзгшие, кто с улюлюканьем травил его. Это давно у нас так, это — с Пушкина: именно в руки недругов попадает умерший поэт. И расторопно распоряжаются телом, вывёртываются в бойких речах.

Обстали гроб каменной группой и думают — отгородили. Разогнали наш единственный журнал и думают — победили.

Надо совсем не знать, не понимать последнего века русской истории, чтобы видеть в этом свою победу, а не просчёт непоправимый.

Безумные! Когда раздадутся голоса молодые, резкие — вы ещё как пожалеете, что с вами нет этого терпеливого критика, чей мягкий увещательный голос слышали все. Вам впору будет землю руками разгрести, чтобы Трифоныча вернуть. Да поздно.

А. Солженицын

к девятому дню

(27 декабря 1971)

[22]

Москва, 22 октября 1971.

ШВЕДСКАЯ АКАДЕМИЯ, г. КАРЛУ РАГНАРУ ГИРОВУ
НОБЕЛЕВСКИЙ ФОНД, г. НИЛЬСУ К. СТОЛЕ

Многоуважаемые господа!

Получил Ваше «Сообщение для прессы» от 7.10.71, благодарю.

Действительно, в прошлом году посол г. Ярринг в числе других вариантов предлагал передать мне нобелевский диплом и медаль в шведском посольстве в Москве. Уже поняв к моменту нашей с ним беседы, что я не смогу выехать в Стокгольм, я хотел принять именно этот предложенный мне вариант, понимая так, что вручение будет происходить открыто, при каком-то числе собравшихся, и я смогу прочесть перед ними свою Нобелевскую лекцию. Однако, посол Ярринг категорически возразил мне, что вручение может быть только конфиденциальным, «вот как сейчас, в кабинете».

Согласиться на такое предложение мне казалось унижительным для самой Нобелевской премии; как будто она есть что-то порочное, что надо скрывать от людей. Как я понимаю, вручение Нобелевских премий потому и происходит публично, что церемония эта содержит общественный смысл.

Когда я писал Вам 27.11.70, что готов принять нобелевские знаки и в Москве, я подразумевал именно такое естественное истолкование.

С тех пор ни моё положение, ни моя точка зрения не изменились.

И в нынешнем году, как и в прошлом, я готов получить нобелевские знаки в Москве, но, разумеется, не конфиденциально. Если же, как и в прошлом году, такое вручение будет сочтено нежелательным или неудобным, я вновь буду просить Вас оставить мои нобелевские знаки для дальнейшего хранения в Нобелевском Фонде, тем более, что это не противоречит Вашим правилам, как я узнал из присланного Вами коммюнике.

В этом случае я вместе с Вами буду сохранять терпеливую надежду, что в каком-то году обстоятельства станут, наконец, благоприятны для моего участия в традиционной Нобелевской церемонии в Стокгольме.

Лично Вам обоим я приношу свои глубокие извинения, что невольное послужил причиной излишних беспокойств и забот, которых Вы не испытывали с большинством моих предшественников.

С самыми тёплыми пожеланиями

А. Солженицын.

Стокгольм, 22 ноября 1971 г.

Дорогой господин Солженицын,

Нильс Столе и я встретились теперь с Гуннаром Яррингом. Наша беседа ни к чему новому не привела, но мы едва ли и ожидали положительных результатов. Приходится констатировать, что в посольстве нет подходящего помещения для публичной лекции и что Академия в данное время лишена возможности устроить такое помещение в другом месте в Москве. Нам придётся вооружиться терпением, как Вы пишете, в надежде, что обстоятельства позволят нам позже осуществить желания, от которых сейчас приходится отказаться. Знаки почёта всё ещё остаются здесь. Но я, естественно, всегда готов поехать в Москву, чтобы передать Вам в достойных формах Нобелевский диплом и медаль в посольстве или другом, удобном для Вас месте, по мере возможности. В этом случае я может быть мог бы взять с собой копию Вашей лекции, чтобы она могла быть опубликована в *Les Prix Nobel* в ожидании случая, когда Вы могли бы сами прочитать её. Это только предложение, о котором я хотел упомянуть.

С самыми искренними пожеланиями

Ваш

К. Р. Гиров.

[23]

Москва, 4 декабря 1971.

ГОСПОДИНУ КАРЛУ РАГНАРУ ГИРОВУ,
КОРОЛЕВСКАЯ ШВЕДСКАЯ АКАДЕМИЯ,
СТОКГОЛЬМ

Дорогой господин Гиров!

Четыре последних Ваших письма (от 7 и 14 октября, 9 и 22 ноября) всё более проясняют, посильно ли вручить мне Нобелевские знаки в Москве, в достойной, как Вы пишете, обстановке.

Скажу прежде всего: хотя помехи как будто упрочиваются, а бодрость ослабевает, я высоко и даже сердечно ценю высказанное Вами непреклонное намерение приехать в Москву лично, во всякое время и при любых обстоятельствах, для того, чтоб это вручение состоялось. Я искренне благодарен Вам за это решение и, откровенно говоря, считаю, что оно как луч проходит сквозь эту препятственную ситуацию.

Итак, после всех запросов, газетных статей, коммюнике для прессы, ответов шведского МИД и даже личных разъяснений Вашего премьер-министра, нас возвращают к тому, что безо всяких усилий ве-

ликотушно предлагал мне г. Ярринг ещё год назад: тайное безгласное вручение Нобелевских знаков в его закрытом кабинете.

По пословице, из большой тучи да малая капля...

А вся досадность оказывается в том, что шведское посольство в Москве просто не имеет помещения для любой иной процедуры. (И от этого бедствия, может быть, даже никогда не проводит приёмов?)

Закрадывается: а нет ли здесь семантического недоразумения? Не понимает ли господин посол Ярринг и стоящая над ним администрация под «публичностью», «гласностью» процедуры — непременно «массовость» её? — уж если не с глазу на глаз, так только при тысяче человек? Для того, действительно, помещения нет. Но в кабинете самого господина Ярринга — неужели не расставить стульев на 30 человек? И если эти гости будут приглашены Вами и мною, — то вот, по-моему, и вполне достойная публичная обстановка для чтения Нобелевской лекции. Таково самое простое решение.

Увы, увы, боюсь, что не поверхностная семантика разлучает нас и владельцев помещений, но неожиданная разность в понимании того, где проходят границы культуры. По делам культуры шведское посольство имеет в своём составе атташе и, стало быть, обнимает своим ведением всевозможные культурные вопросы, акты, события, — но вот рассматривает ли оно вручение Нобелевской премии (к сожалению, на этот раз мне) как явление культурной жизни, соединяющее наши народы? А если нет, а скорее даже как предосудительную тень, грозящую омрачить посольскую деятельность, — то ведь тогда и при самом просторном помещении, господин Гиров, для нашей с Вами процедуры места никак не найти.

Но тут я с утешением вспоминаю Ваши слова, что Шведская Академия и Нобелевский Фонд в своей деятельности и в своих решениях независимы и неприкосновенны, и этому факту могла бы нанести даже и ущерб официальная церемония, организованная «как бы» шведским государством.

Очень понимая и разделяя это Ваше чувство, с другой же стороны не зная в Москве такой общественной или кооперативной организации, которая согласилась бы предоставить нам помещение для искомой цели, я осмелюсь предложить Вам иной вариант: совершить всю церемонию в Москве на частной квартире, а именно — по адресу, по которому Вы посылаете мне письма. Квартира эта, правда, никак не просторнее шведского посольства, но 40—50 человек разместятся, по русским понятиям, вполне свободно. Церемония может несколько потерять в официальности, зато выиграть в домашней теплоте. И зато, вообразите, господин Гиров, какой душевный груз мы при этом снимем и с господина шведского посла и даже со шведского министерства Иностраных дел?!

Я не знаю Нобелевских анналов, но предполагаю, что уже и в прошлом мог быть случай, когда нобелевский лауреат оказывался прикован к месту — ну, например, болезнью — и представитель Фонда или Академии выезжал и вручал ему премию прямо на дому?

А если все варианты окажутся нам с Вами преграждёнными? Что ж, тогда подчинимся судьбе: пусть мои Нобелевские знаки продолжают и дальше храниться в Нобелевском Фонде, они ведь несколько от того не обесцениваются. И когда-нибудь, даже после моей смерти, Ваши преемники с пониманием вручат эти знаки моему сыну?

Однако, уже переждавшая год, старится Нобелевская лекция по литературе за 1970 год. Как нам быть с ней?..

В этом письме, господин Гиров, я допустил несколько шуточный тон — лишь для того, что так легче одолеваются неприятные затруднения. Но Вы почувствуете, что этот тон нигде не отнёсся лично к Вам. Ваше решение благородно, находится на пределе Ваших возможностей, и я снова тепло благодарю Вас за него.

Передайте мои самые добрые пожелания господину Нильсу Столе, который, как я понял, вполне разделяет Ваши взгляды и оценки. Всё же веря, что нам с Вами не закрыто в жизни и встретиться, крепко жму Вашу руку.

Искренне Ваш

А. Солженицын.

[24]

ИЗ ИНТЕРВЬЮ А. СОЛЖЕНИЦЫНА
газетам «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост»
Москва, 30 марта 1972

(Над чем сейчас работает.) «Октябрь Шестнадцатого», это второй Узел той же книги.

(Скоро ли кончит). Нет. В ходе работы выяснилось, что этот Узел сложнее, чем я предполагал. Приходится охватить историю общественных и духовных течений с конца XIX века, ибо они впечатлелись в персонажей. Без предшествующих событий не понять и людей.

(Не опасается ли, углубясь в детальную историю России, удалиться от тем общечеловеческих и вневременных.) Мне кажется, наоборот: тут многое выясняется общее и даже вневременное.

(Много ли материалов приходится изучать.) Очень много. И эта работа с одной стороны для меня малопривычна, ибо до последнего времени я занимался только современностью и писал из своего живого опыта. А с другой стороны так много внешних враждебных обстоятельств, что гораздо легче было никому не известному студенту в провинциальном Ростове в 1937—38 годах собирать материалы по Самсоновской катастрофе (ещё не зная, что и мне суждено пройти по тем же местам, но только не нас будут окружать, а — мы). И хотя хибарка, где мы жили с мамой, уничтожена бомбой в 1942, сгорели все наши вещи, книги, бумаги — эти две тетрадочки чудом сохранились, и когда я вернулся из ссылки, мне передали их. Теперь я их использовал.

Да, тогда мне не ставили специальных преград. А сейчас... Вам, западным людям, нельзя вообразить моего положения. Я живу у себя на родине, пишу роман о России, но материалы к нему мне труднее собирать, чем если бы я писал о Полинезии. Для очередного Узла мне нужно побывать в некоторых исторических помещениях, но там — учреждения, и власти не дают мне пропуска. Мне преграждён доступ к центральным и областным архивам. Мне нужно объезжать места событий, вести расспросы стариков — последних умирающих свидетелей, но для того нужны одобрение и помощь местных властей, которых мне не получить. А без них — все замкнутая, из подозрительности никто рассказывать не будет, да и самого меня без мандата на каждом шагу будут задерживать. Это уже проверено.

(Могут ли это делать другие — помощники, секретарь.) Не могут. Во-первых, как не член Союза писателей я не имею права на секретаря или помощника. Во-вторых, такой секретарь, представляющий мои интересы, так же был бы стеснён и ограничен, как и я. А в-третьих, мне просто было бы нечем платить секретарю. Ведь после гонораров за «Ивана Денисовича» у меня не было существенных заработков, только ещё деньги, оставленные мне покойным К. И. Чуковским, теперь и они подходят к концу. На первые я жил шесть лет, на вторые — три года. Мне удалось это потому, что я ограничил свои расходы на прежнем уровне, как в преподавательское время. На самого себя я никогда не трачу больше, чем надо было бы платить секретарю.

(Нельзя ли брать деньги с Запада.) Я составил завещание, и когда создастся возможность осуществлять его — все гонорары будут направлены моим адвокатам для общественного использования у меня на родине. (Чистосердечная, никогда не лгущая «Литературная газета» так и напечатала: «он дал подробные указания, как следует распорядиться гонорарами», а что для общественного использования на родине — попало у неё в невинное сокращение.) Сам же я буду пользоваться лишь Нобелевской премией. Однако, получение и этих денег сделали мне унижительным, трудным и неопределённым. Министерство внешней торговли объявило мне, что на каждую приходящую сумму потребуются специальное решение коллегии: выплачивать ли мне её вообще, в каком виде, сколько процентов.

(Как всё-таки удаётся собирать материалы.) Тут опять особенность нашей жизни, которую западному человеку, вероятно, трудно понять. Насколько я представляю, на Западе установилось, что каждый труд должен быть оплачен, и малопривычно делать работу бесплатно. А у нас например тот же Самиздат на чём и держится, как не на бесплатности? Люди тратят свой труд, свободное время, сидят ночами над работой, за которую могут попасть только под преследования.

Так и со мной. О моей работе, моей теме широко известно в обществе, даже и за пределами Москвы, и доброхоты, часто мне неизвестные, шлют мне, передают, разумеется не по почте, а то бы не дошло — разные книги, даже редчайшие, свои воспоминания и т. д. Иногда это бывает впопад и очень ценно, иногда невпопад, но всегда трогает и укрепляет во мне живое ощущение, что я работаю для России, а Россия помогает мне. И иначе. Часто я сам прошу знающих людей, специалистов — о консультациях, порой очень сложных, о выборке материалов, которая требует времени и труда, и не только никто никогда не спрашивал вознаграждения, но все наперебой рады помочь.

А ведь это бывает ещё и очень опасно. Вокруг меня и моей семьи создана как бы запретная, заражённая зона. И посегодняя в Рязани остались люди, уволенные с работы за посещение моего дома несколько лет назад. Директор московского института членкор Т. Тимофеев, едва узнав, что работающий у него математик — моя жена, так перетрусил, что с непристойной поспешностью вынудил её увольнение, хотя это было почти тотчас после родов и вопреки всякому закону. Семья совершила вполне законный квартирный обмен, пока не было известно, что эта семья — моя. Едва узналось — несколько чиновников в Моссовете были наказаны: как они допустили, что Солженицын, хотя не сам, но его сын-младенец, прописан в центре Москвы?

Так что мой консультант иногда встретится со мной, поконсультирует час или два — и тут же за ним начинается плотная слежка, как за государственным преступником, выясняют личность. А то и дальше следят: с кем встречается уже этот человек.

Впрочем, не всегда так. У госбезопасности свой график, свои глубокие соображения. Иные дни внешнего наблюдения нет или только простейшее. Иные — как обвисают, например, перед приездом Генриха Бёлля. Поставят у двух ворот по машине, в каждой сидят по трое, да и смена ведь не одна, и вослед моим посетителям едут, так и гоняются за пешеходами. Если вспомнить, что круглосуточно подслушиваются телефонные и комнатные разговоры, анализируются магнитные плёнки, вся переписка, а в каких-то просторных помещениях все полученные данные собирают, сопоставляют, да чины не низкие, — то надо удивляться, сколько бездельников в расцвете лет и сил, которые могли бы заниматься производительным трудом на пользу отечества, заняты моими знакомыми и мною, придумывают себе врагов. А ещё кто-то роется в моей биографии, кто-то посылает агентов

за границу, чтобы внести хаос в издание моих книг. Кто-то составляет и регулирует общий план удушения меня. План этот ещё не принёс успеха и потому несколько раз перестраивался на ходу. Но развитие его за минувшие годы можно проследить по стадиям.

Удушить меня решили с 1965 года, когда арестовали мой архив и ужаснулись моим произведениям лагерных лет — как будто они могли не нести на себе печати обречённых навек людей! Если б это были сталинские годы, то ничего проще: исчез и всё, и никто не спросит. А после XX и XXII съездов сложнее.

Сперва решили замолчать меня. Нигде ни строчки не появится, никто не упомянет даже бранно, и через несколько лет меня забудут. Тогда и убрать. Но уже шла эпоха Самиздата, и мои книги растекались по стране, потом уходили и за границу. Замолчать — не вышло.

Тогда-то против меня начали (и посегодняя не кончили) клевету с закрытых трибун.

Этого тоже западному человеку почти и представить нельзя. Существует по всей стране устоявшаяся сеть партийного и общественного просвещения и лекционная сеть. Нет такого учреждения или воинской части, районного центра или совхоза, где бы по определённом расписанию не выступали лекторы и пропагандисты, и все они, во всех местах, в одно и то же время говорят одно и то же, полученное по инструкциям из одного центра. Бывают и некоторые варианты — столичные, областные, армейские, академические. Благодаря тому, что допускаются только свои сотрудники или живущие в данном районе, такие лекции фактически носят закрытый характер, или прямо закрытый. Иногда так и командуют, даже научным работникам: уберите записные книжки и авторучки. В эту сеть можно заложить любую информацию, любой лозунг. С 1966 года дали команду говорить обо мне: сперва, что я сидел при Сталине *за дело*, что я реабилитирован неверно, что произведения мои преступны. Причём сами лекторы сроду не читали тех произведений, потому что власти боялись дать и им, но им велено было так говорить.

Система, замысел в том, что читают только своим сотрудникам. Снаружи — тишь и благодать, никакой травли, а по стране разливается клевета, и неотразимая: не поедешь возражать во все города, не пустят в закрытые аудитории, лекторов этих тысячи, все неуловимые, а клевета завладевает умами.

(Как это становится известно.) А — эпоха новая, эпоха другая. И из провинции и по Москве очень много ко мне стекается. Время такое, что на всех этих лекциях, даже самых закрытых, везде сидят мои доброжелатели и потом разными путями мне передают: такого-то числа в такой-то аудитории лектор по фамилии такой-то говорил о вас такую-то ложь и гадость. Самое яркое я записываю, может когда-нибудь и пригодится, какому-то из этих лекторов и предъявить. Может быть, наступит в нашей стране и такое время, когда они за это персонально ответят по суду.

(Почему слушатели не возражают тут же, если видят искажение.) О, это у нас невозможно и сегодня. Встать и возразить партийному пропагандисту никто не смеет, завтра прощайся с работой, а то и со свободой. Бывали и такие случаи, что по мне, как по лакмусу, проводили проверку лояльности при отборе в аспирантуру или на льготную должность: «Читали Солженицына? Как к нему относитесь?» — и от ответа зависит судьба претендента.

Говорят на этих лекциях много и пустяков. Одно время перемалывали мою семейную историю, нисколько не зная сути её, а — на самом кухонном уровне. Представьте, какая у нас занятость и за что платят зарплату, если не бабы базарные, но штатные пропагандисты в сети просвещения обсуждают с трибун чью-то женитьбу, рождение

и крещение сына. Одно время очень охотно обыгрывали моё отчество «Исаевич». Говорили, так вроде небрежно: «Между прочим, его настоящая фамилия Солженицер или Солженицкер, но это конечно в нашей стране не имеет значения».

А по-серьёзному была взята установка, к чему легко склоняется ухо слушателей: *изменник родине*. У нас вообще для травли приняты никогда не аргументы, но самые примитивные ярлыки, грубейшие клички, наиболее простые, чтобы вызвать, как говорится, «ярость масс». В 20-е годы это был «контрреволюционер», в 30-е — «враг народа», с 40-х — «изменник родине». Ах, как листали мои военные документы, как искали, не был ли я хоть два денёчка в плену, как Иван Денисович, — вот была бы находка! Но впрочем, с закрытых трибун можно плести доверчивой публике любую ложь. И понесли — годами, годами, по всем близким и отдалённым аудиториям, по всей стране: Солженицын добровольно сдался немцам в плен! Нет, целую батарею сдал! После этого служил у оккупантов полицаем! Нет, был власовцем! Нет, прямо служил в Гестапо!.. Снаружи — тихо, никакой травли, а под коркой — уже опухоль клеветы. Как-то проводил «Новый мир» читательскую конференцию в Новосибирске — прислали Твардовскому записку: «Как Вы могли допустить, что в Вашем журнале печатался сотрудник гестапо?» Таким образом, общественное мнение по всей стране было вполне подготовлено к любой расправе над мной. А всё-таки — эпоха не та, и раздавить без гласности...

Правда, пришлось публично признаться, что я был боевой офицер, что моя боевая служба безупречна. Туман повисел-повисел без дождя и стал рассеиваться.

Тогда началась новая кампания обвинений, что я сам передал «Раковый корпус» на Запад. С закрытых трибун чего только не ввали: как на границе (неизвестно, где) задержали знакомого моего знакомого (имён — никаких), а у него в чемодане двойное дно, а там-то — мои произведения (названий никаких). И эту дребедень серьёзно внушали всей провинции, и люди ужасались, какой я злодей, опять-таки изменник родине. — Потом с исключением из Союза писателей открыто мне намекали, чтоб я убирался из страны — под ту же «измену родине» подводя. Потом — вокруг Нобелевской премии. Со всех трибун заладили: *Нобелевская премия — иудина плата за предательство своей родины*. И сейчас повторяют, не стесняясь, что могут бросить тень, например, на Пабло Неруду. Незапасливо оскорбляют всех нобелевских лауреатов и сам институт Нобелевских премий.

(Но ведь «Август Четырнадцатого» передал за границу сам — и это действие не инкриминируют.) Пока хватает ума не инкриминировать. Но честная «Литературная газета» и здесь допускает сокращение, невинное, как все её «сокращения»: «Солженицын сразу передал рукопись своего романа за границу», — о, не ложь! упущено самое маленькое: *после того, как предложил семи советским издательствам — «Художественной литературе», «Советскому писателю», «Молодой гвардии» и разным журналам, не хотя ли они хоть прочесть, хоть полистать мой роман — и ни одно не изъявило желания даже взять его в руки. Как сговорились. Ни одно не ответило на моё письмо, ни одно не попросило рукописи.*

Однако, появление «Августа» надоумило моих преследователей о новом пути. Дело в том, что в этом романе я подробно рассказал о материнской и отцовской линиях. Хотя моих родственников знали многие ныне живущие друзья и знакомые, но, как ни смешно, всеведущая госбезопасность только из этого романа и узнала. Тут они и бросились «по следу» с целью скомпрометировать меня — по советским меркам. Усилия их при этом удвоились. Сперва ожила опять расовая линия. Верней, еврейская. Специальный майор госбезопасности по фамилии Благовидов кинулся проверять личные дела всех Исаакиев в ар-

живах Московского университета за 1914 г. в надежде доказать, что я — еврей. Это дало бы соблазнительную возможность «объяснить» мою литературную позицию. Ведь с появлением исторического романа задача тех, кто травит меня — сложней: мало опорочить самого автора, ещё надо подорвать доверие к его взглядам на русскую историю — уже высказанным и возможным будущим.

Увы, расовые исследования сорвались: оказался я русский. Тогда сменили расовую линию на классовую, для чего поехали к старой тётке, сплели статью из её рассказов, и бульварный «Штерн» напечатал.

Главный редактор «Штерна» теперь настаивает, что именно его корреспондент был у моей тётушки. Допускаю, что был и он вместе с советскими. Однако, заметим, что город Георгиевск, в отличие от соседнего Пятигорска, глухо закрыт для иностранцев все 55 лет советской власти. Приехали трое, прекрасно говоривших по-русски, и были у тётушки пять раз, не торопились. Очень восхищались её собственной биографией, попросили у неё записки почитать на несколько часов — и больше не вернулись, украли. Наружностей их она, почти слепая, не видела, но по ухватке, по психологической окраске — характер диккенсовского Иова Троттера, гости были из компании Виктора Луя, да не исключаю, что и сам он. Связь «Штерна» с Виктором Луем давно хорошо известна. Например, когда Луй приезжал ко мне оправдываться, будто не он продал «Раковый корпус» на Запад, — детали нашего с ним разговора и его воровские фотографии (телеобъективом из кустов) появились именно в «Штерне», уже не за его подписью. Даже на моём малом опыте я заметил, что «Штерн» имеет особые льготы в нашей стране, ему доступны такие телефоны и адреса, которые можно получить лишь от тех, кто подслушивает мои телефонные разговоры и перлюстрирует мои письма. Едва появилась статья в «Штерне», как секретарь Союза писателей Верченко сказал на партсобрании: *«Это тот источник; которому мы имеем все основания верить».*

(Судьба рукописи «Августа». Издательство «Ланген-Мюллер» уверяет, что получило рукопись ещё весной 1971, из Самиздата.) Как же могло оно получить, если я до июня выпустил из стола только тот один экземпляр, который пошёл в ИМКА-пресс? Ну, пусть назовёт, от кого получил. Это должен быть или очень уж близкий ко мне человек, или вор из разряда тех, кто приходит в отсутствие хозяина в его дом с надёжным удостоверением. Издательство хочет неблагородно спрятаться за наш благородный Самиздат. Тут делается логическая натяжка: раз предыдущие мои вещи сперва появлялись в Самиздате, значит и в этот раз так. А как раз и не так! Предыдущие вещи я давал читать беспрепятственно. Эту же книгу я хотел сам непременно довести до печатания. Лишь когда книга вышла — лишь тогда я стал давать и машинопись желающим.

Так вот по ухватке штерновской статьи, по шкодливой подсказке, проглядываются знакомые сочинители, особенно там, где решаются судить о природе литературного творчества. Мы узнаём, что Солженицын применил такой хитрый литературный приём: перенёс действие в дореволюционное время — для того углубился в людей другой эпохи, прочёл немало военных и исторических трудов, напрягая изобразить не ту войну, которую сам прошёл, а другую, непохожую, — и всё для того, чтобы на 740-й странице высунуться с одной фразой, которую «Штерн» подсказывает понять в переносном смысле, чтобы можно было посадить Солженицына в тюрьму. Точно как в своё время вожди Союза писателей упрекали меня, что я подробно изучал онкологию, вступил в раковую клинику и раком заболел нарочно, — чтобы подсушить какой-то символ. Трусливые шкодники лезут судить о природе художественной литературы. Им невозможно в голову вобрать, что человек давно не нуждается в прятках и говорит о современности открыто всё, что думает.

(Насколько достоверны сведения в статье «Штерна».) Да уж будем говорить прямо, о статье в «Литгазете». Достоверны в том, что уже совпадает с напечатанным моим романом. В остальном есть смехотворный вздор, а есть и очень направленная, продуманная ложь. Только в усердии перебрали. Например, утверждают, что оба моих деда были помещиками на Северном Кавказе. «Литературной газете» всё-таки неудобно до такой степени не знать отечественной истории. Кроме нескольких всем известных казачьих генералов, никаких помещиков, то есть, дворян-землевладельцев, потомков древней знати, получившей земли за военную службу, на Северном Кавказе вообще никогда не бывало. Все земли принадлежали Терскому и Кубанскому линейным казачьим войскам. Эти земли до самого XX века многие пустовали, не хватало рабочих рук. Крестьяне-поселенцы могли получать в собственность лишь небольшие участки, но казачье войско охотно сдавало в аренду сколько угодно, по баснословно низкой цене.

Деда мои были не казаки, и тот и другой — мужики. Совершенно случайно мужицкий род Солженицыных зафиксирован даже документами 1698 года, когда предок мой Филипп пострадал от гнева Петра I (газета «Воронежская коммуна» от 9 марта 1969, статья о городе Боброве). А прапрадеда за бунт сослали из Воронежской губернии на землю Кавказского войска. Здесь, видимо, как бунтаря, в казаки не поверстали, а дали жить на пустыющих землях. Были Солженицыны обыкновенные ставропольские крестьяне: в Ставрополе до революции несколько пар быков и лошадей, десяток коров да двести овец никак не считались богатством. Большая семья и работали все своими руками. И на хуторе стояла простая глинобитная землянка, помню её. Но для классовой линии, чтобы оправдалась Передовая Теория, нужно приврать какой-то банк, приписать ноли к имуществу, придумать 50 батраков, двоюродную сестру-колхозницу вызвать в правление на допрос, а под кисловодским дачным домом Щербаков, где я родился, подписать, что это «деревенский дом» Солженицыных. И дураку видно, что не станичный дом. Вот такие мы «помещики». Всю эту ложь раздула нечисть ещё и для того, чтобы отцу моему, народнику и толстовцу, приписать трусливое самоубийство «из страха перед красными» — не дождавшись желанного первенца и почти не пожив с любимой женой! Суждение пресмыкающегося.

(О матери.) Она вырастила меня в невероятно тяжёлых условиях. Овдовев ещё до моего рождения, не вышла замуж второй раз — главным образом опасаясь возможной суровости отчима. Мы жили в Ростове до войны 19 лет — и из них 15 не могли получить комнаты от государства, всё время снимали в каких-то гнилых избушках у частных, за большую плату; а когда и получили комнату, то это была часть перестроенной конюшни. Всегда холодно, дуло, топились углем, который доставался трудно, вода приносная издали; что такое водопровод в квартире, я вообще узнал лишь недавно. Мама хорошо знала французский и английский, ещё изучила стенографию и машинопись, но в учреждения, где хорошо платили, её никогда не принимали из-за её *соцпроисхождения*, даже из безобидных, вроде Мельстроля, её подвергали чистке, это значит — увольняли с ограниченными правами на будущее. Это заставляло её искать сверхурочную вечернюю работу, а домашнюю делать уже ночью, всегда недосыпать. По условиям нашего быта она часто простужалась, заболела туберкулезом, умерла в 49 лет. Я был тогда на фронте, а на её могилу попал лишь через 12 лет, после лагеря и ссылки.

(О тётке Ирине.) Раза два-три мама отправляла меня к ней на летние каникулы. Остальное — плод её воображения, уже затемнённого. Я не жил с ней никогда.

(Что помнит об отце.) Только фотокарточки да рассказы матери и знавших его людей. Из университета добровольно пошёл на фронт, служил в Гренадерской артиллерийской бригаде. Горела огневая позиция — сам растаскивал ящики со снарядами. Три офицерских ордена с первой мировой войны, которые в моё детство считались опасным криминалом, и мы с мамой, помню, закапывали их в землю, опасаясь обыска. Уже весь фронт почти разбежался — батарея, где служил отец, стояла на передовой до самого Брестского мира. Они с мамой и венчались на фронте у бригадного священника. Папа вернулся весной 1918 и вскоре погиб от несчастного случая и плохой медицинской помощи. Его могила в Георгиевске закатана трактором под стадион.

(О другом дед.) А дед по матери пришёл из Таврии молодым парнем — пасти овец и батрачить. Начал с голá, потом стал арендовать землю и к старости, действительно, весьма разбогател. Это был человек редкой энергии и трудолюбия. В пятьдесят своих лет он выдавал стране зерна и шерсти больше, чем многие сегодняшние совхозы, и не меньше тех директоров работал. А с рабочими обращался так, что после революции они старика 12 лет до смерти добровольно кормили. Пусть директор совхоза после снятия попробует своих рабочих попросить.

(Ставится ли сейчас в вину происхождение.) Конечно, не бушует, как в 20-е—30-е годы, но это «суждение по соципроисхождению» — оно очень прочно внедрено в сознание и весьма ещё живо в нашей стране, ничего не стоит снова раздуть костёр в любую минуту. Да совсем недавно враги Твардовского публично ставили ему в вину так называемое «кулацкое» происхождение. И со мной: если «измена родине» не вышла через плен, так может натянется через *классовую основу*? Так что последние статьи в «Литгазете» при всей их безграмотности и глупости — совсем не простое, бесцельное зубоскальство.

Кстати, Вы замечаете, что «Литгазета», и никогда не спорившая с моими произведениями и взглядами *по существу*, никогда не отважившаяся напечатать обо мне ни одного подлинного критического разбора, хотя бы самого враждебного, ибо тем самым приоткрыла бы часть невыносимой правды, — она в суждениях обо мне как будто и вообще потеряла свой голос, как будто лишилась собственных критиков и авторов. В нападках на меня она всё прячется за перепечатки, за бульварный журнал, за иноземных журналистов, а то даже — эстрадных певцов или жонглёров. Я этой робости не понимаю. Может быть потому, что «с детства вскормленные уксусом, как говорят в Финляндии», становятся же всё-таки и образцовыми соц. реалистами и даже пробираются в руководство Союза писателей и той же «Литгазеты»?.. *

Так вот, по заданию «Литгазеты» финский журналист Ларни взялся написать и напечатать не у себя в Финляндии, а ещё в третьей стране, взялся натянуть зубами стальную пружину. Смертельный номер. Знаете, как бывает в цирке: выходит дураковатый клоун, все над ним смеются, он лезет куда-нибудь к мастерам, под купол, на проволоку, вдруг виснет на зубах — и весь цирк замирает и видит, что он совсем не клоун, что он пошёл на смертельный номер. Ларни намекает на какие-то *намёки*, я так могу понять: что в моём романе социал-демократ-пораженец Ленартович высказывает в 1914 сочувствие к тому, чтобы Россия потерпела поражение и тогда она перестроится социально. Именно так желали и рассуждали все с-д-пораженцы в отличие от так называемых *социал-патриотов*, то есть с-д-оборонцев,

* Намёк на Чаковского, Михалкова, Соболева, Софронова, имевших буржуазное, а кто и дворянское происхождение. (Примеч. 1978.)

и Ларни, как коммунист, вероятно же это знает — и всё-таки безрасчётно натягивает стальную пружину зубами, не понимая, как легко сорваться самому, на кого на самом деле переносится тут обвинение в измене родине. Он натягивает отсюда, что сам автор, то есть я (отнюдь не социал-демократ!) «не прочь видеть немцев победителями» — и уже, кажется, не в 1914, а в 1941 («1» и «4» отчего не переставить местами, руки свободны?).

Вот уж чего в моём романе и духа нет — так это пораженчества. А они всё равно натягивают. Любой ценой им нужен газетный плацдарм, чтобы следом печатать «гневные письма трудящихся», как уже бывало не раз. Бессовестное мошенничество прессы, которая не привыкла к поправкам и опровержениям. Ах, как бы нужен им плен, как нужна их литературной критике справочка из гестапо... Если так натягивают на глазах у всего цирка, то что ж они чудят с бесконтрольных закрытых трибун!

Конечно, это не последняя ложь, впереди их, наверно, больше, чем позади, против всех лжей не оправдаешься, пусть навешивают. Да может, кто-нибудь и другой ответит вместо меня. Интервью — не дело писателя. Девять лет я воздерживался от интервью и несколько не жалею.

Вообще, известность — густая помеха, много времени съедает попусту. Ещё не тянут меня на заседания, как других, спасибо, исключили. Хорошо мне было работать, когда никто меня не знал, не упражнялся басни обо мне сочинять, не собирал подзаборных сплетен, вроде этих Бурга и Файфера.

(В чём состоит план.) План состоит в том, чтобы вытолкнуть меня из жизни или из страны, опрокинуть в кювет, или отправить в Сибирь, или чтоб я «растворился в чужеземном тумане», как они прямо и пишут. Какая самоуверенность, что те, кого ласкает цензура, имеют на русскую землю больше прав, чем другие, рождённые на ней же. Вообще во всей этой травле — неразумие и недалёковидность тех, кто её ведёт. Они не хотят знать сложности и богатства истории именно в её разнообразии. Им лишь бы заткнуть все гласы, которые неприятны их слуху и лишают сегодня покоя, а о будущем они не думают. Так неразумно они уже заглушили «Новый мир» и Твардовского — обеднели от этого, прислепли от этого — и не хотят понять своей потери.

Кстати, недели две назад в «Нью-Йорк Таймс» было напечатано письмо одного советского поэта, Смелякова, где он оспаривает моё поминальное слово о Твардовском.

(О доступности западной прессы.) Нет, мы её не видим, но иногда сквозь скрежет глушения слышны западные радиостанции. Если что узнаём о своих же событиях, так оттуда.

Этот новый выпад против меня поразителен по форме: казалось бы, вся печать в их руках, а ответить мне телед ближе, чем в «Нью-Йорк Таймс»? Вот что значит бояться правды: отвечать мне в советской печати — пришлось бы меня хоть немного цитировать, а это невозможно. А по содержанию: удивительно, что Смеляков спорит, как будто меня не читавши. Я пишу, что задушили «Новый мир» и этим способом убили Твардовского. Смеляков обходит: «у Твардовского были тяжёлые минуты». Я пишу, что Твардовский написал о фронте искреннее, чище всех. Смеляков кривит: значит, «Твардовский отрицательно относился к советской армии»? Откуда это? Я написал буквально: «этот мягкий увещательный голос, который слышали все». Смеляков выворачивает: «Солженицын приписывает Твардовскому свои иллюзии, что в некий день советская власть рухнет и новое поколение построит новую Россию». Перечтите моё поминание, — где там такое?

А там последний абзац действительно полон смысла, да что же делать, если прочесть не хотят, не умеют? Изучение русской истории, которое сегодня уже увело меня в конец прошлого века, показало мне, как дороги для страны *мирные выходы*, как важно, чтобы власть, как ни будь она самодержавна и неограниченна, доброжелательно прислушивалась бы к обществу, а общество входило бы в реальное положение власти; как важно, чтобы не сила и насилие вели бы страну, а *праота*. Очевидно, это изучение и помогло мне увидеть в деятельности Твардовского именно примирительную, согласительную линию. Увы, и самый мягкий увещательный голос тоже нетерпим, затыкают и его. Уж как уступчиво, уж как благожелательно недавно выступали у нас Сахаров, Григоренко — никого даже *не выслушали*, пропадите, заглохните...

В том-то и мелкость, и измененность расчёта тех, кто руководит кампанией против меня. Им искренне не приходит в голову, что писатель, думающий иначе, чем большинство его общества, составляет богатство этого общества, а не позор и порок его.

(9 апреля — Нобелевская церемония. Где она будет происходить?) Пока ни шведское посольство, ни наше министерство культуры не согласились способствовать нам. Тоже удивительно до комичности: почему такая сердитость на Нобелевскую премию? Пройдёт сколько-то лет и это же самое событие придётся освещать совсем наоборот, стыдно будет.

(О приглашённых.) Не знаю, кого пожелает пригласить г. Карл Гиров. С моей же стороны, не говоря о моих близких друзьях — самые видные представители художественной и научной интеллигенции — некоторые писатели, главные режиссёры ведущих театров, крупные музыканты, артисты, некоторые академики. Я пока не назову их, ибо не знаю, все ли они сочтут возможным и захотят прийти, какие помехи встретят. Во всяком случае, я приглашаю тех, кого знаю, чьё творчество уважаю, а там — кто придёт. Ещё хотел бы я пригласить на церемонию своего адвоката г. Хееба, но, как частное лицо, не имею официального права приглашать из-за границы. Кроме того я приглашаю министра культуры СССР и корреспондентов «Сельской жизни» и «Труда» — двух центральных газет, которые пока ещё не клеветали на меня.

(Не могут ли быть поставлены препятствия церемонии.) Теоретически это не исключено, практически это очень легко сделать, не требуется ни много сил, ни много ума. Но я этого не предполагаю, это была бы постыдная дикость.

(А если г. Гирову откажут в визе.) Тогда церемония не состоится, и знаки мои полежат в Стокгольме ещё 10—20 лет.

(Был слух, пока не подтвердившийся, что против писателя Максимова возбуждено уголовное дело за его роман «Семь дней творения».) Художественная литература — один из самых высоких даров, из самых тонких и совершенных инструментов человека. Возбуждать против неё уголовное дело могут только те, кто сами уголовники, кто уже решился стать за чертой человечества и человеческой природы.

[25]

Мы с г. Гировым уступили во всём, что только было можно: его поездка намечалась как частная, на частную квартиру, для совершения церемоний почти по частному обряду. Запрет церемонии даже

в таком виде есть бесповоротный и окончательный запрет в всякой форме вручения мне Нобелевской премии на территории моей страны. Поэтому запоздалая уступка шведского мид уже нереальна.

Но она и оскорбительна: шведское мид продолжает упорно рассматривать вручение мне Нобелевской премии не как явление культурной жизни, а как политическое событие, потому и ставит условие, которое привело бы или снова к «закрытому» варианту вручения, или к специальному отбору присутствующих и запрету им как-либо выражать своё отношение к происходящему, ибо всё это может быть кем-то истолковано как «политическая демонстрация».

Кроме того, после отказа г. Гирову в визе, принять нобелевские знаки из чьих-либо иных рук, нежели Постоянного Секретаря Шведской Академии, я считал бы унижением и ему и мне.

Наконец, нашими скромными силами уже была произведена вся нелёгкая подготовка: были разосланы приглашения, не только по Москве, примерно двадцати писателям, которых я понимаю как цвет и творческую силу нашей сегодняшней литературы, и примерно стольким же артистам, музыкантам, академикам; многие из них из-за этого назначили или отменили свои поездки или репетиции и другие обязанности. Теперь всем этим сорока гостям нанесено оскорбление отказом, разослана отмена приглашения. И они, и я достаточно занятые люди, чтобы затевать такую процедуру вторично.

По разъяснённым мне правилам Шведской Академии нобелевские знаки могут храниться ею неограниченно долго. Если не хватит моей жизни, я завещаю их получение моему сыну.

А. Солженицын.

8.4.1972.

[26]

В КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СССР

Посылаю Вам копии двух дурно-анонимных писем, которые, впрочем, у Вас имеются по службе.

У меня нет досуга вступать с Вами в детективную игру. Если данный сюжет будет иметь продолжение в виде новых эпизодов, я предам публичности как его, так и предыдущие настойчивые приёмы Вашего ведомства в отношении моей частной жизни.

Солженицын.

2 июля 1973 г.

[27]

МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР Н. А. ЩЕЛОКОВУ

Четыре месяца назад я подал заявление о прописке к семье. После столь долгого размышления в столь бесспорном вопросе теперь мне объявлен отказ — милиции и Ваш лично.

Я бы выразил недоумение, какими человеческими или юридическими соображениями можно руководиться, чтобы препятствовать мужу жить с женой, отцу — со своими крохотными сыновьями, если бы не знал хорошо и из долгого опыта, что ни тех, ни других в нашем государственном устройстве просто не существует.

Оскорбительный принудительный «паспортный режим», при котором место жительства избирает не сам человек, а за него начальство, при котором право переехать из города в город, а особенно из деревни в город надо заслужить как милость, — вряд ли существует даже в колониальных странах сегодняшнего мира. Но за 42 года от него уже пострадали и каждый день страдают миллионы моих сограждан. При нынешней широкой дискуссии о свободе эмиграции для тысяч

насколько же разительно бесправие миллионов выбирать местожи-тельство и род деятельности даже в пределах собственной страны! Это бесправие ещё усилено законом 1973 года (Совмин, 19 июня): даже временная поездка крестьянина на сезонную работу запрещена без колхозного отпущения.

Я пользуюсь случаем напомнить Вам, однако, что крепостное пра-во в нашей стране упразднено 112 лет тому назад. И, говорят, Ок-тябрьская революция смела его последние остатки.

Стало быть, в частности, и я, как любой гражданин этой страны,— не крепостной, не раб, волен жить там, где нахожусь необходимым, и никакие даже высшие руководители не имеют владельческого пра-ва отторгнуть меня от моей семьи.

Солженицын.

21 августа 1973 г.

[28]

ИЗ ИНТЕРВЬЮ А. СОЛЖЕНИЦЫНА
агентству «Ассошиэйтед Пресс» и газете «Монд»

Москва, 23 августа 1973

Правда ли, что Вы получаете письма с угрозами и тре-бованиями от гангстеров?

Не столько с требованиями, сколько именно с угрозами,— распра-виться со мною и с моей семьёй, да. Этим летом такие письма прихо-дили ко мне по почте. Не говоря о просчётах психологических, многие и технические просчёты авторов убедили меня, что эти письма посы-лали деятели госбезопасности. Тут — и невероятная скорость достав-ки этих «бандитских» писем — менее, чем за одни сутки, как идут лишь письма важнейших правительственных учреждений (обычная почта ко мне по Москве идёт 3—5 суток, а письма сколько-нибудь важные, срочные и полезные мне не доставляются вообще никогда). Тут и — такая спешка, что заклейка конверта производилась после (!) штампа почтового приёма. Тут — и терминологические ошибки. На-пример, последнее такое письмо от 30 июля:

«Ну, сука, так и не пришёл?! Теперь обижайся на себя. *Правилку* сделаем. *Жгу!!!*»

Имитируя воровской жаргон, но не зная его достаточно, авторы употребляют слово «правилка», что означает суд и расправу воров над своим же виновным или изменившим воров, и никогда над «фраером», то есть вольным человеком остального презренного мира — те люди по мнению воров недостойны «правилки», их просто убирают.

Такого рода «бандитский» маскарад для сотрудников ГБ не так уж и нов: известны случаи с ненаказуемыми хулиганами, избивающи-ми на улицах неугодных инакомыслящих, вырывающими портфели у корреспондентов, разбивающими стёкла иностранных автомашин. После того как кампания заочной клеветы против меня провалилась, вполне можно было ожидать бандитского маскарада.

А вот случай с Майклом Скэммелом, редактором «Индекса», после отъезда из СССР он передал мне этот эпизод. На аэродроме в Ше-реметьеве он подвергся трёхчасовому обыску, у него были найдены его памятные записи о поездке. Вести такие записи считается по по-нятиям всечеловеческим — естественным, по советским понятиям — преступным. В связи с этой находкой оказывая на него давление, так называемые «таможенники» предложили ему... купить рукопись о Солженицыне (не называя вперёд автора и не показывая рукопись)— и тем уладить инцидент. Скэммел отказался.

Была ли то провокация против Скэммела или готовится очередная против меня, но посудите, каков диапазон госбезопасности: от «ганг-стеров» и уличных хулиганов — до «таможенников» и литературных

маклеров. И спрашивается: если наша госбезопасность защищает самый передовой в мире строй, которому согласно Единственно-Верному Мировоззрению и без того обеспечена всемирно-историческая победа, то зачем такая суеда и такие низкие методы?

Зимой 1971-72 меня предупредили, и даже несколькими каналами (в аппарате ГБ тоже есть люди, измученные своей судьбой), что готовятся меня убить через «автомобильную аварию». Я намекал на это в прошлом интервью.

Но вот особенность или, я бы дерзнул даже сказать, преимущество нашего государственного строя: ни волос не упадёт с головы моей или моих семейных без ведома и одобрения госбезопасности — настолько мы наблюдаемы, оплетены слежкой, подсматриванием и подслушиванием. И если бы, например, нынешние гангстеры оказались подлинными, то уже после первого письма они стали бы под полный контроль ГБ. Если, например, взорвётся письмо, пришедшее ко мне по почте, то нельзя будет объяснить, каким образом оно прежде того не взорвалось в руках у цензоров. А так как я давно не болею серьёзными болезнями, не вожу автомашины, а по убеждениям своим ни при каких жизненных обстоятельствах не покончу самоубийством, то если я буду объявлен убитым или внезапно загадочно скончавшимся, — можете безошибочно, на 100%, считать, что я убит с одобрения госбезопасности или ею самою.

Но должен сказать, что моя смерть не обрадует тех, кто рассчитывает ею прекратить мою литературную деятельность. Тотчас после моей смерти, или исчезновения, или любой формы лишения меня свободы необратимо вступит в действие моё литературное завещание (даже если бы от моего имени поступило ложное противоположное заявление, типа письма Трайчо Костова из камеры смертников) — и начнётся главная часть моих публикаций, от которых я воздерживался все эти годы.

Если офицеры госбезопасности по всем провинциальным городам выслеживают и отбирают экземпляры безобидного «Ракового корпуса» (а владельцев увольняют с работы, изгоняют из высших учебных заведений), то что ж они будут делать, когда по России потекут мои главные и посмертные книги?

В прошлом интервью, полтора года назад, Вы говорили о стеснениях и преследованиях как в своей литературной деятельности, в собирании материалов, так и в обычной жизни. Изменилось ли что-нибудь к лучшему?

Начальник тамбовского областного архива Ваганов отказался допустить меня даже к газетному фонду 55-летней давности, хотя вся тамбовская история у них там гибнет на полу сырого заброшенного храма и грызётся мышами. В Центральном Военно-Историческом архиве недавно производилось строгое следствие, кто и почему осмелился в 1963 (!) году выдавать мне материалы по 1-й мировой войне. Много помогший мне молодой литературовед Габриэль Суперфин, паразитического таланта и тонкости в понимании архивных материалов, 3 июля арестован по показаниям Якира — Красина и отвезен в Орёл, чтобы судить его погуще и подальше, ему предъявлена ст. 72, дающая до 15 лет. При его хрупком здоровье это означает убийство торьюмою. Открыто ему конечно не предъявят обвинения в помощи мне, но эта помощь отяготит его судьбу. — Александр Горлов, в 1971 г. не поддавшийся требованиям КГБ скрыть налёт на мой садовый дом, с тех пор третий год лишён возможности защитить уже тогда представленную докторскую диссертацию, как и угрожали ему: диссертация собрала 25 положительных отзывов, включая всех официальных оппонентов, и ни одного отрицательного, научно провалить её невозможно, но всё равно защита (по механике фундаментов!) не пройдёт, поскольку Горлову выражается «политическое недоверие». Приняты подгото-

вительные меры к увольнению Горлова с работы.—Мстислав Ростропович преследовался все эти годы с неутомимой изобретательной мелочностью, так свойственной аппарату великой державы. Это — длинный ряд придирок, шпилек, помех и унижений, которые ставились ему на каждом шагу его повседневной жизни, чтобы вынудить его отказаться мне в гостеприимстве, а требование это ему без стеснения высказывала мадам Фурцева и её заместители. Одно время его и даже Галину Вишневскую вовсе снимали с радио и телевидения, искажались газетные упоминания о нём. Немало его концертов в СССР было отменено без ясных причин — даже когда он находился на пути в город, где концерт назначен. Его методически лишили творческого общения с крупнейшими музыкантами мира. Из-за этого, например, уже несколько лет задерживается первое исполнение виолончельного концерта Лютославского в Польше, на родине композитора, куда Ростроповича не пускают, и первое исполнение концерта Бриттена, посвящённого Ростроповичу. Наконец, ему преградили пути дирижёрской работы в Большом театре, которая была для него наиболее творчески важна и интересна. Этой весной я съёл своим долгом уехать с его дачи, чтоб освободить его от преследований. Однако, они мстительно продолжают и по сей день. Ещё же нельзя ему простить его письма о судьбах советского искусства.

Уже несколько лет ни один телефонный или внутрикомнатный разговор — мой или членов моей семьи — даже на последнюю бытовую тему не остался не подслушанным и (есть признаки) не проанализированным. Мы уже привыкли к тому, что днём и ночью постоянно разговариваем в присутствии госбезопасности. Когда у них кончается плёнка, они бесцеремонно прерывают телефонный разговор, чтобы перезарядить, пока мы перезвоним. В таком же положении — Ростропович, Сахаров, Шафаревич, Чуковские, многие знакомые мне семьи, а ещё больше незнакомых.

Даже странно слышать, что где-то идут споры, имеет ли право президент распорядиться об установлении электронного подслушивания для защиты военных тайн своей страны. И даже оправдан по суду человек, разгласивший такие секреты. А у нас — и без суда считается виновным любой человек, однажды высказавший вслух мнение, противоречащее официальному. И электронное подслушивание за ним устанавливает не глава страны, но средний чиновник госбезопасности. Такое электронное подслушивание, не говоря о всей прочей слежке, опутывает тысячи и тысячи интеллигентов и ответственных служащих в главных городах Советского Союза. И множество дармоедов в мундирах сидят и анализируют плёнки подслушивания. И это даже не очень скрывается, министр считает дозволенным заявить подчинённому: «Мне давали слушать ваш такой-то телефонный разговор» — и дальше выговор за этот разговор. Слежка доходит до того, что даже в отношении соприкасающихся со мною людей 5-е управление КГБ (ген.-майор Никишкин) и его 1-й отдел (Широнин) дают письменные указания — «выявлять посещаемые ими адреса», т. е. спираль уже второго порядка.

В нашем дворе стоит поношенный ижевский «москвич» нашей семьи. С ним рядом ночуют несравненно лучшие машины, но какие-то странные «похитители» всякий раз покушаются именно на эту. Два раза потерпели неудачу, один раз повредили её нарочно, ещё раз угнали в Грузию. И хотя милиция нашла машину и будто бы угонщиков — никакого суда над ними не было. Не только я, но и мои знакомые засыпаны оскорбительными анонимными письмами. Перед недавними муниципальными выборами агитатор («блока коммунистов и беспартийных») заявил о моей жене, не скрываясь: «таких надо душить!». Редактор журнала «Октябрь» Зверев в публичных лекциях в институтах Вирусологии и Иммунологии Ак. наук заявил, что я «член исполнительного комитета сионистов». Ему возразили наивно: «Но ведь

в газете печатали, что Солженицын — помещичьего происхождения». Находчивый октябрист ответил во всеуслышание: «*Toga nago* было писать так. А теперь *nago* считать Солженицына евреем». Почтовая цензура не пропустила ни одного газетного западного отзыва на «Август» из многочисленных посланных мне моим адвокатом г. Хеебом. Таким образом я лишён возможности узнать, как же воспринята моя книга на Западе. Министр внешней торговли Патолитчев отказался признать мои права на получение сумм из нобелевской премии, и меня вынуждают дискриминировать её, признать «подарком частного лица» (что, к тому же, даёт право государству конфисковать третью часть гневно осуждённой премии). КГБ то и дело подсылает ко мне своих агентов под видом «юных авторов», принёсших свои литературные опыты.

Видный генерал КГБ передал мне через третье лицо прямой ультиматум: чтоб я убирался за границу, в противном случае меня сгноят в лагере, и именно на Колыме.

В связи с тем, что Вам не дали прописки к Вашей семье, где Вы живёте?

Я не живу более нигде, в зимнее время у меня нет другого места для жизни, как квартира моей семьи, естественное место для каждого человека. Я и буду здесь жить, независимо от того, дадут мне прописку или нет. Пусть бесстыжие приходят и выселяют меня, это будет достойная реклама нашего передового строя.

[29]

КГБ, ЭКСПЕДИТОРУ ПОЛЯКОВОЙ

В прошлом письме, полученном Вами 3 июля, я же предупредил, что сюжет с бандитами слишком ясен, его благоразумнее прекратить. Своим третьим письмом, да ещё таким злым, Ваше ведомство вынудило меня к интервью.

Если увидите Ивана Павловича Абрамова, передайте ему, пожалуйста, это.

Солженицын.

31 августа 1973 г.

[30]

В редакцию «Литературной газеты»
Глав. ред. Чаковскому

28 сентября 1973.

В Вашей газете 12 сентября в статье М. Максимова «После прозрения» лживо приписана мне цитата: обозвал Якира «алкоголиком, продавшимся за лишних сто граммов». Этих слов я никогда не говорил и не писал, о Якире я высказывался единственный раз в интервью 23 августа 1973 г., этот текст известен Вам.

Всё, что Ваша газета до сих пор несла и несёт обо мне, находится на совести Вашей. Однако, здесь я вижу новый приём — клеветать на меня, приписывая мне же ложные цитаты. Этот приём я вынужден буду пресечь. Если в ближайших номерах Ваша газета или М. Максимов не исправятся в сказанном, хотя бы как в «технической ошибке», я вынужден буду предать публичности формы и способы Вашей клеветы.

Солженицын.

[31]

Как заявил Солженицын, в конце августа в Ленинграде КГБ конфисковал машинописный экземпляр книги Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» — многотомного исследования о советских лагерях за пери-

од 1918—1956, содержащего только подлинные факты, места и имена ещё ныне живущих людей (свыше двухсот человек). Автор опасается, что теперь начнётся преследование всех их за показания о своих муках в сталинских лагерях, данные 10 лет назад.

Сведения о месте хранения книги сообщила Елизавета Воронянская, которую допрашивали в КГБ непрерывно 5 суток. Вернувшись домой, она повесилась.

5 сентября 1973 г.

[32]

(на титуле Самиздатского издания)

ОТ АВТОРА

Вступление СССР во Всемирную конвенцию по авторским правам позволяет предположить, что теперь права писателей нашей страны защищены от самовольных публикаций. В таком предположении автор и выпускает этот отрывок в Самиздат.

Сентябрь 1973.

[33]

28.10.73.

Дорогой Андрей Дмитриевич!

Был в отъезде, когда узналось о нападении на Вас, и потому пишу только сейчас.

Низко же поставлена наша страна перед арабами, если нет у них оснований уважать нашу национальную честь. Только и не хватало нам, чтоб ещё арабский терроризм «поправлял» русскую историю.

Однако, я утверждаю, что в нашем отечестве при условии сквозной слежки и подслушивания, какие установлены за Вами, такое покушение невозможно без ведома и поощрения властей. Если б оно было независимым и для властей нежелательным, многочисленным штатам не составляло никакого труда пресечь его перед началом, в полуторачасовом ходе или тотчас по окончании задержать преступников. Посмели б они у нас пошевеливаться, не получив разрешения! — нелепо и подумать знающему наши условия.

Но это — новейший приём. Свободному слову свободного человека — что противопоставить? Аргументов нет, ракеты неприменимы, решётка ущербна для репутации, остаётся наёмный убийца.

Если когда-нибудь нанесут Вам этот удар, а я ещё буду жив, заверяю Вас, что остатком своего пера и жизни послужу, чтоб убийцы не выиграли, а проиграли.

Крепко обнимаю Вас!
Ваш

А. Солженицын.

[34]

16 сентября 1973.

Дорогой Андрей Дмитриевич!

Восхищаюсь Вашей стойкостью и стоянием. В большинстве случаев удивляюсь, как мы с Вами, не встречаясь, не советуясь, говорим и действуем почти строго параллельно (а потому что это вытекает из истинного положения дел).

Но сейчас услышал о Вашем обращении к американскому конгрессу — и огорчён. Если правильно Вас передали, Вы поддерживаете только поправку Джексона, которая была вполне уместна полгода назад и даже 3 месяца назад, но сейчас представляется уже совсем слабой. После кампании августа—сентября против нас, в конгрессе существуют более определённые мнения (например, председатель

бюджетной комиссии палаты представителей Милз, очень влиятельное лицо): не предоставлять торгового благоприятствования тем странам, где нет гарантии прав человека (и он это сформулировал в защиту Вас и меня, специально). Разрабатываются мероприятия, как это добиться (короткие сроки соглашения, постоянные доклады конгрессу о состоянии прав человека в соответствующей стране). И вдруг — Ваше сегодняшнее выступление, верней отступление и сужение без всякой надобности? Андрей Дмитрич, дорогой, неужели же права эмиграции (по сути бегства) важнее прав постоянной всеобщей жизни на местах? права немногих тысяч — важнее прав многих миллионов? Право эмиграции — частный-частный случай всех общих прав. Я прошу Вас, убедительно, — не сводите вопроса к эмиграции, не акцентируйте её на первом месте выше всего, — ведь почву под собственными ногами сжигаете.

С любовью обнимаю Вас!

Ваш

А. Солженицын.

Если уж говорить о свободах — то не самая ли бы первая русская свобода была бы: от крепостного права, от закрепощения крестьянства, от паспортного режима?

При всех свободах была бы и свобода эмиграции как частность.

[35]

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ

14 января 1974

Не сомневаюсь, что побудительным толчком к нынешнему исключению писательницы Лидии Чуковской из Союза, этому издательскому спектаклю, когда дюжина упитанных преуспевающих мужчин разыгрывали свои роли перед больной слепой сердечницей, не видящей даже лиц их, в запертой комнате, куда не допущен был никто из сопровождающих Чуковскую, — истинным толчком и целью была месть ей за то, что она в своей переделкинской даче предоставила мне возможность работать, и напугать других, кто решился бы последовать её примеру. Известно, как три года непрерывно и жестоко преследовали Ростроповича. В ходе травли не остановятся и разорить музей Корнея Чуковского, постоянно посещаемый толпами экскурсантов.

Но пока есть такие честные бесстрашные люди, как Лидия Чуковская, мой давний друг, без боязни перед волчьей стаей и свистом газет, — русская культура не погаснет и без казённого признания.

А. Солженицын.

[36]

ЗАЯВЛЕНИЕ А. СОЛЖЕНИЦЫНА

18 января 1974

Полная ярости кампания прессы скрывает от советского читателя главное: о чём эта книга? Что за странное слово «ГУЛАГ» в названии её? «Правда» лжёт: автор «смотрит глазами тех, кто вешал революционных рабочих и крестьян». Нет! — глазами тех, кого расстреливало и мучило НКВД, «Правда» уверяет, что в нашей стране — «бескомпромиссная критика» периода до 1956 г. Ну, вот, пусть и покажут свою бескомпромиссную критику, я дал им богатейший фактический материал.

Ещё сегодня — ещё сегодня! — этот путь не закрыт. И какое очищение было бы для страны!

Публикуя «Архипелаг», я всё же не ожидал, что до такой степени отрекутся даже от своих прежних слабых признаний. Линия, избран-

ная органами нашей пропаганды, есть линия звериного страха перед разоблачениями. Она показывает, как цепко держатся у нас за кровавое прошлое и хотя не нераскрытым мешком тащить его с собою в будущее — лишь бы не произнести ни слова — не то что приговора, но морального осуждения ни одному из палачей, следователей и доносчиков. Характерно: едва только «Немецкая волна» объявила, что каждый день будет по полчаса читать «Архипелаг» — на неё накинута глушить неистово: ни одно слово этой книги не должно прорваться в нашу страну.

Как будто это надолго! Я уверен, что скоро наступит время, когда эту книгу в нашей стране будут читать широко и даже свободно. И найдутся памятливые и любознательные, кто потянется проверить: а что писала советская пресса при появлении этой книги? и кто подписывал? И в потоке мутной брани они не найдут имён собственных, ответственных, везде трусливая анонимность, псевдонимность.

Потому и врут так легко, что угодно; будто по моей книге «гитлеровцы снисходительны и милостивы к поработённым народам», «сталинградская битва выиграна штыряными батальонами». Всё лжёт, товарищи правдысты. Прошу объявить точные страницы! (Увидите, что не объезят.) Или ТАСС: «в своей автобиографии Солженицын сам признался в ненависти к советскому строю и к советскому народу». Моя автобиография напечатана в Нобелевском сборнике 1970 г., доступна всему миру, проверьте, как нагло лжёт Телеграфное Агентство Советского Союза. Да что о нём говорить, если оно имело бесстыдство плюнуть в смеженные глаза всем убитым: что написано об их муках и смерти только ради валюты (сообщение Кирилла Андреева, ТАСС. А его отец — жив? или расстрелян там же?).

Но и тут промахнулось ТАСС: продажная цена книги на всех языках будет предельно низка, чтоб читали её как можно шире. Цена такая, чтоб только оплатить работу переводчиков, типографии и расход материалов. А если останутся гонорары — они пойдут на увековечение погибших и на помощь семьям политзаключённых в Советском Союзе. И я призыву издательства отдать и свой доход на ту же цель.

А вот ложь «Литгазеты»: будто у меня «советские люди — исчадия ада», сущность русской души «в том, что русский человек готов за пайку хлеба продать отца и мать». Назовите страницы, агуны! Это для того так пишется, чтоб разъярить против меня моих неосведомленных соотечественников: Солженицын «ставит знак равенства между советскими людьми и фашистскими убийцами». Маленькая подгасовка: между фашистскими убийцами и убийцами из ЧК-ГПУ-НКВД — да, ставлю. А «Литгазета» натягивает сюда «всех советских людей», чтобы среди них нашим палачам укрыться удобней.

Но какие страницы они будут указывать, из какой книги? Ведь «Литгазета» попала на мародерстве, на раздевании трупа: она цитирует захваченный экземпляр, 4-ю и 5-ю части «Архипелага», которые ещё нигде не напечатаны — именно в Госбезопасности делал выписки подозрительный «Литератор»! Вот выйдет 4-я часть, вы прочтёте и эту цитату: «Я понял ложь всех революций истории» (конец главы 1-й) и эту оценку — не русского человека, но советской воли (глава 3-я, названия разделов): «постоянный страх», «скрытность и недоверчивость», «тление души», «ложь как форма существования»...

И ещё смеют обвинять, что момент печатания «Архипелага» выбран мировой реакцией, чтобы сорвать разрядку напряжённости. Он выбран — нашей госбезопасностью (она и есть главная «мировая реакция» сегодняшнего дня) — выбран её жадностью хватать рукописи. Если она ценит разрядку напряжённости, зачем же она в августе 5 суток выдавливала, выжигала эту рукопись из бедной женщины? В произошедшем захвате я увидел Божий перст: значит, *пришли сроки* Как предсказано было Макбету: **Бирнамский лес пойдёт.**

ИНТЕРВЬЮ А. СОЛЖЕНИЦЫНА
журнала «Тайм»

19 января 1974

Братья Медведевы выражают веру, что реформы в СССР могут произойти лишь изнутри, притом сверху, и что западное общественное мнение мало чем может помочь. Сахаров выражает мнение, что лишь давление снизу и извне может быть эффективным. Раздавались упрёки, что он и Вы обращались к западным правительствам и реакционным кругам на Западе. Что Вы скажете об этом?

Ни к иностранным правительствам, ни к парламентам, ни к иностранным политическим кругам я лично не обращался никогда. Сахаров же, сколько знаю, единственный раз к американскому сенату и один раз, косвенным советом, к правительствам Западной Европы. Верно, это не адрес для нас и не путь. Мы обращались к мировой общественности, к деятелям культуры. Их поддержка для нас — бесценна, всегда эффективна, всегда помогает. Мы оба до сих пор целы и живы только благодаря ей. Однако, и она не может быть бесконечной, призывами к этой поддержке мы не смеем злоупотреблять: во всех странах — свои заботы, и не обязаны они всё время заниматься нашими.

Но совсем смехотворно предложение Роя Медведева в его рыхлой статье, почти легальной по скучности: обращаться за помощью к западным коммунистическим кругам, — к тем, кто не имел желания и усердия защитить даже коммунистическое дело в Чехословакии, — так неужели нас они будут защищать? (За публикацию «Ивана Денисовича» Хрущёв получил выговор от Гомулки и Ульбрихта.)

Братья Медведевы предлагают терпеливо, на коленях, ждать, пока где-то «наверху», какие-то мифические «левые», которых никто не знает и не называет, одержат верх над какими-то «правыми», или вырастет «новое поколение руководителей», а мы все, живущие, все живые, должны — что? «развивать марксизм», хотя бы нас пока сажали в тюрьмы, хотя бы «временно» и усилилось угнетение. Чистый вздор.

Казалось бы и естественно нам — обращаться к нашему правительству, к нашим вождям, предположив, допустив, что они не совсем безразличны к судьбам народа, из которого произошли? Такие письма писались не раз — Григоренко, Сахаровым, мною, сотнями людей, с конструктивными выходами из сложностей и опасностей для нашей страны, — но никогда не были приняты даже к обсуждению, ответов не было, только карательные.

И остаётся наше право и наш прямой путь — обращаться к своим читателям, к своим соотечественникам и особенно к нашей молодёжи. И если она, всё узнав и всё поняв, не поддержит нас, то это уже будет от недостатка мужества. И тогда она и мы заслужили нашу жалкую участь, и не на кого нам жаловаться, только — на своё внутреннее рабство.

Каким же образом ваши соотечественники, ваша молодёжь может оказать вам поддержку?

Никакими физическими действиями, всего-навсего: отказом от лжи, личным неучастием во лжи. Каждому перестать сотрудничать с ложью решительно везде, где он сам видит ее: вынуждают ли говорить, писать, цитировать, или подписывать, или только голосовать, или только читать. У нас ложь стала не просто нравственной категорией, но и государственным столпом. Отшатываясь от лжи, мы со-

вершаем поступок нравственный, не политический, не судимый уголовно, — но это тотчас сказалось бы на всей нашей жизни.

ТАСС заявляет, что издание Вашей книги «Архипелаг ГУЛАГ» создаёт опасность возврата атмосферы «холодной войны» и наносит ущерб разрядке напряжённости между Востоком и Западом.

Вред миру и добрым отношениям между людьми и народами приносит не тот, кто рассказывает о совершённых преступлениях, а тот, кто делал или делает их. Раскаяние личное, общественное и национальное всегда только очищает атмосферу. Если мы открыто признаем наше страшное прошлое и сурово, не в пустых словах, осудим его — это только укрепит во всем мире доверие к нашей стране.

Ваша новая книга не будет напечатана здесь, но многие русские услышат её по радио. Как Вы себе представляете их реакцию, в особенности реакцию молодого поколения, знающего мало о событиях, которые Вы описываете?

Услышат ли по радио — неизвестно. По «Немецкой волне» «Архипелаг» уже глушат. Но всё равно правда дойдёт, узнается. Десятилетиями она настолько была скрыта, что её появление во весь рост потрясает всякого незнающего — но и воспитывает его сердце, но и даёт ему свет и силу на будущее.

Как Вы предполагаете, как поступят власти в отношении Вас?

Совершенно не берусь прогнозировать. Я и моя семья готовы ко всему.

Я выполнил свой долг перед погибшими, это даёт мне облегчение и спокойствие. Эта правда обречена была изничтожиться, её забывали, топили, сжигали, растирали в порошок. Но вот она соединилась, жива, напечатана — и этого уже никому никогда не стереть.

[38]

ПРОРЫВ НЕМОТЫ

Я полагаю, что выход в свет в 1973 г. новой книги Солженицына «Архипелаг ГУЛАг» — событие огромное. По неизмеримости последствий его можно сопоставить только с событием 1953 года — смертью Сталина.

В наших газетах Солженицына объявили предателем.

Он и в самом деле предал — не родину, разумеется, за которую он честно сражался, и не народ, которому приносит честь своим творчеством и своей жизнью, а Государственное Управление Лагерей — ГУЛАг — предал гласности историю гибели миллионов, рассказал с конкретными фактами, свидетельствами и биографиями в руках историю, которую обязан знать наизусть каждый, но которую власть по непостижимым причинам изо всех сил пытается предать забвению.

Кто же предательствует?

XX съезд партии приоткрыл над штабелями трупов окровавленный край рогожи. Уже одно это спасло в пятидесятые годы от гибели миллионы живых, полумёртвых и тех, в ком теплилась жизнь ещё на один вздох. Хвала XX съезду. XXII вынес решение поставить погибшим памятник. Но напротив, через недолгие годы, злодеяния, совершившиеся в нашей стране в ещё никогда не виданных историей масштабах, начали усердно выкорчёвывать из памяти народа. Погибли миллионы людей, погибли все на один лад, но каждый был ведь не мухой, а человеком — человеком своей особой судьбы, своей особой гибели. «Реабилитирован посмертно». «Последствия культа личности Стали-

на». А что сделалось с личностью, — не тою, окружённою культом, а той — каждой, — от которой осталась одна лишь справка о посмертной реабилитации? Куда она делась и где похоронена — личность? Что случилось с человеком, что он пережил, начиная от минуты, когда его вывели из дому — и кончая минутой, когда он возвратился к родным в виде справки?

Что стоит за словами «реабилитирован посмертно» — какая жизнь, какая казнь? Приблизительно с 1965 года об этом приказано было молчать.

Солженицын — человек-предание, человек-легенда — снова провал блокаду немоты; вернул совершившемуся — реальность, множеству жертв и судеб — имя, и главное — событиям их истинный вес и поучительный смысл.

Мы заново узнали, — слышим, видим, что это было такое: обыск, арест, допрос, тюрьма, пересылка, этап, лагерь. Голод, побои, труд, труп.

«Архипелаг ГУЛag».

Лидия Чуковская.

4 февраля 1974

Москва.

[39]

ЗАЯВЛЕНИЕ А. СОЛЖЕНИЦЫНА

2 февраля 1974

В декабре, ещё не публиковался «Архипелаг», лекторы московского горкома КПСС (например, Капица в Госплане) заявляли дословно: «Солженицыну мы долго ходить не дадим». Эти обещания властей вполне совпадали с псевдобандитскими письмами, в которых добавлялись только череп и скрепленные кости. Вышел в свет «Архипелаг» — и любимый знак бандитов перешёл из анонимных писем на витрину союза художников, а угрозы убить — в телефонную атаку («приговор приведём в исполнение!»). Эту телефонную атаку на мою семью — двух женщин и четырёх детей, хулигански вели агенты госбезопасности в две смены — с 8 утра до 12 ночи, кроме суббот и воскресений, когда у них законные выходные.

А визгливая кампания газет направлена, собственно, не на меня: заполняй они бранью хоть целые полосы, они все вместе не испортят мне одного рабочего дня. Газетная кампания направлена против нашего народа, против нашего общества: оглушить, ошеломить, испугом и отвращением откинуть соотечественников от моей книги, затоптать в советских людях знание, если оно прорвётся через глушилки. Сыграть и на низких инстинктах — у Солженицына три автомашины, буржуй! — кто ж и где опровергнет всевластных лгунов, что никаких трёх машин нет и не было, а передвигаюсь двумя ногами да троллейбусом, как не унизится самый последний корреспондент ТАССа. Сыграть и на высоком возмущении: он оскверняет могилы павших в Отечественной войне! Через башни газетной лжи кто ж доберётся, что моя книга — совсем не об этой войне и не о двадцати миллионах наших павших, но о других *шестидесяти* миллионах, истреблённых войною внутренней за 40 лет, — замученных тайно, замороженных на безлюдьи, выморенных голодом целых республиках?

Недели назад ещё был честный путь: признать правду о минувшем и так очиститься от старых преступлений. Но судорожно, но в страхе животном решились стоять за ложь до конца, обороняясь газетными бастионами.

Защита мирового общественного мнения пока не даёт ни убить автора, ни даже арестовать: то было бы лучшим подтверждением книги. Но остаётся путь клеветы и личной дискредитации, за это теперь и принимаются дружно. Вот вызван из провинции мой бывший однодед Виткевич, и, сохраняя свою научную карьеру, он через АПН,

этот испытанный филиал КГБ (они ему «дружески показали» протоколы следствия 1945 года, пошёл бы кто добился другой!), похваливает следствие тех времён: «следователь не нуждался искажать истину». 29 лет он не ставил упреков моему поведению на следствии — и до чего же вовремя попадает теперь в общий хор. Отлично знает он, что от моих показаний не пострадал никто, а наше с ним дело было решено независимо от следствия и ещё до ареста: обвинения взяты из нашей подцензурной переписки (она фотографировалась целый год) с бранью по адресу Сталина и потом — из «Резолюции № 1», изъятый из наших полевых сумок, составленной нами совместно на фронте и осуждавшей наш государственный строй. Вспоминает мои «показания на суде», а надо мной и суда не было, заочное ОСО. Верно пишет он, что мы «принадлежим к разным людским категориям»: настаивал он на забвении всех смертей и мук, своих и чужих. Да это только начало. Вот выловят, заставят лгать свидетелей, попутчиков, встречаемых моей полувековой жизни. Вот и из бывших зэков, недострелянных, недопущенных, выжмут заявления, что они не страдали, что их не пытали, что не было Архипелага.

У ЦК, КГБ и у наших газетных издательств, сегодня тайком раскват читающих «Архипелаг», нет уровня понять, что я о себе самом рассказал в этой книге сокровенное, много худшее, чем всё плохое, что могут сочинить их угодники. В этом — и книга моя: не памфлет, но зов к раскаянию.

Вся сегодняшняя газетная свистопляска, в которую вкружились именитые деятели искусств (а другие с твёрдостью отреклись, и идёт молва об их мужестве), — вся эта кампания есть бой против совести народа, против правды для народа. Перегораживая её чёрными фалдами, взмахами крыльев, решилась рогатая нечисть на этот безнадежный бой перед заутреней, чтобы протянуть свою власть над человеческими душами. Но чем отчаянней они мажут чёрным, тем полней им отдастся, когда узнается правда.

Наш народ уже полвека добывает её только разгребаньем ото лжи. Научились люди, уже знают, зачем и когда так избыточно вопят. Притекает ко мне поддержка — в телефонных же звонках, в достигших письмах, записках от названных и неизвестных людей, —

«От уральцев. Всё понимаем. Так держать, браток! Группа рабочих».

Пишут одиночные протесты в газеты, предвидя все губительные последствия для себя. Вот и публично выступили бесстрашные трое молодых — *Борис Михайлов, Вагим Борисов, Евгений Барабанов* (у каждого — малые дети), ничем не защищённые, кроме правоты. Быть может, раздавят и их и меня, но не раздавят правду, сколько б ещё знаменитых жалких имён ни подцепили к чёрному хороводу.

Я никогда не сомневался, что правда вернётся к моему народу. Я верю в наше раскаяние, в наше душевное очищение, в национальное возрождение России.

[40]

ПРОКУРАТУРА СССР

103793, Москва, К-9, Пушкинская, 15-а

8 февраля 1974 г. №

г. Москва, улица Горького
д. 12, кв. 169

Гр-ну Солженицыну А. И.

Гр-н Солженицын А. И.

Вам надлежит явиться в Прокуратуру СССР — улица Пушкинская, 15-а, 8 февраля 1974 г. в 17-00, комната № 513, этаж 5-й.

Прокурор следственного управления

Прокуратуры СССР

А. Балашов.

[41]

ПРОКУРАТУРЕ СОЮЗА ССР,
в ответ на её повторный
вызов

В обстановке непроходимого всеобщего беззакония, многолетне царящего в нашей стране (а лично ко мне — и 8-летней кампании клеветы и преследований), я отказываюсь признать законность вашего вызова и не явлюсь на допрос ни в какое государственное учреждение.

Прежде чем спрашивать закон с граждан, научитесь выполнять его сами. Освободите невинных из заключения. Накажите виновников массовых истреблений и ложных донощиков. Накажите администраторов и спецотряды, производившие геноцид (высылку *народов*). Лишите *сегодня* местных и отраслевых сатрапов их беспредельной власти над гражданами, помыкания судами и психиатрами. Удовлетворите *миллионы* законных, но подавленных жалоб.

А. Солженицын.

11 февраля 1974 г.

[42]

Я заранее объявляю неправомерным любой уголовный суд над русской литературой, над единой книгой её, над любым русским автором. Если такой суд будет назначен надо мной — я не пойду на него своими ногами, меня доставят со скрученными руками в воронку. Такому суду я не отвечу ни на один его вопрос. Приговорённый к заключению, не подчинюсь приговору иначе, как в наручниках. В самом заключении, уже отдав свои лучшие восемь лет принудительной казённой работе и заработав там рак, — я не буду работать на угнетателей больше ни получаса.

Таким образом я оставляю за ними простую возможность открытых насильников: вкратке убить меня за то, что я пишу правду о русской истории.

А. Солженицын.

[43]

Из письма

ПРАВИТЕЛЬСТВУ СССР ПО ПОВОДУ ИЗГНАНИЯ
СОЛЖЕНИЦЫНА

Безответственные правители великой страны!

...Вы, кажется, начали понемногу понимать... что в духовной борьбе убитый противник опаснее живого... Но... вы ещё не поняли, что с выходом в свет «Архипелага ГУЛага» пробил роковой для вас час истории; ...Вы ещё не поняли, что **Бирнамский лес уже пошёл**... что на вас поднялись десятки миллионов убитых... Они давно уже стучатся в нашу жизнь, но некому было открыть им дверь... «Архипелаг ГУЛаг» — это обвинительный акт, которым открывается судебный процесс человеческого рода против вас... И пусть паралич, которым Бог покарал вашего первого вождя, послужит вам пророческим образом того духовного паралича, который ныне неминуемо надвигается на вас.

...Может быть, задумается кто-то из вас: а всё же нет ли над всеми нами Того, Который спросит за всё?

Не сомневайтесь — есть.

И спросит. И — ответите.

...Отнимите Россию у Каина и отдайте её Богу...

Л. А. Регельсон.

17 февраля 1974
Москва.

ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ

*

ПАМЯТИ АЛАПАЕВСКИХ УЗНИКОВ

Все время за окном проходит часовой,
Не просто человек, другого стерегущий.

Вл. Палей.

Их вывезли ночью в скрипучих возках,
беззвучно буксующей в звездных песках
по левую руку Урала.
Дивясь, мужики заприметили то,
да только из чащи не крикнул никто,
ладонью завесив кресало.
По потному крупу ходила шлея.
Пудовая плечи встречала хвоя.
Слеза истощалась в морщине.
Заржал ли зазывно некормленный конь
под ветром с сивушным приказом «огонь!»,
пронесшимся в черной лощине?

Все вспомнилось разом: волна и скиты,
ахилловой твердая поступь пяты,
где радая, где безобразя,
сугубых заставок наивная вязь,
багрившая лирику не торопясь,
не ею великого князя.
Весь путь — от бочонков резного крыльца,
когда на постылые лавры венца
чужие задули амурь,
до сваи, забитой в балтийскую топь,
которую, как ни стекла, ни европь,
не вырубишь из амбразуры.

При помощи где топора, где весла
Россия сама себя переросла.
Ей прочит бессрочные вахты
симбирский чуваш, облысев по виски.
Так сгрудились под Синячихой возки
у самой заброшенной шахты.
И стали чекисты палить вразнобой
в столпившихся узников плотной гурьбой,
да мазали мимо, вестимо.
Но льнущее к чистым телам полотно
для пуль не помеха, а с ним заодно
и то, что и так уязвимо.

Как долго еще из земной глубины,
заваленной наспех, казалось, слышны
окрест песнопенья монахинь!
Быть может, вот так — перед тем как сгореть,

пропащие, будем возможность иметь
вдруг преобразиться во прахе,
смешении алого дыма и льда.
Но эхо уже опоздает сюда —
под стены земного прилога,
напрасно оно соберется искать
кого подбодрить, а кому попенять,
за своды цепляясь убого.

Да полно тесниться! Уже и теперь
открыта на скобах заржавленных дверь,
не зря собираются вместе
готовные пальцы у влажного лба,
не зря вразумительно дарит судьба
летающие издали вести:
что вот — непорочное Слово хранит
как будто железную взвесь малахит,
иного значенья приметы, —
как моши нетленные Ерусалим
при жизни утешившей платом своим
монахини Елизаветы.

7.XII.1983.

ИЗ СОВРЕМЕННОЙ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЭЗИИ

*

МАРГАРЭТ БАРРИНГЕР

Возраст

Медленно движется время и кожу твою иссушает.
Ты в одиночестве дремлешь, и кресло заснуло твое.

Что это в свете, таком животворном,
Невинном, невидимом?

И почему я смотрю на увядшие губы твои,
Но избегаю поймать пустоту этих выпцветших глаз?
Что я хочу и чего так боюсь я увидеть: ложь, может быть?

Ложь или правда проходит сквозь вены
И оставляет исчерченной кожу, ложь или правда?
И разница есть ли меж нами
Или есть возраст, иного различия нет?

Грани

Это середина декабря.
И зима меж нами поселилась.
Мы садимся вместе пообедать.
Подан хлебный суп, и хлеб, и масло.
Моя дочка слизывает масло,
Розовым касаясь языком
Пальца каждого. Глядит на нас лукаво.
Вот встает, идет к окну. Дыханьем жарким
Растопила на стекле промерзшем
Маленькую черную дыру.

Перевела ГАЛИНА НЕРПИНА.

РИЧАРД УИЛБЕР

Скачка

Мой конь как будто твердо знал,
Куда держать свой путь
Сквозь снегопад, сквозь снеговал.
Сквозь всю ночную жуть.

И понимал я, что меня
Спасут наверняка
Дыханье жаркое коня
И потные бока.

И я дремал под мерный топ,
 Очнусь, взгляну вокруг,
 А впереди лишь гривы столп,
 А сзади — крепкий круп.

Волшебнo легким было то,
 Что стоило труда,
 И мы сквозь гулкое Ничто
 Летели в Никуда,

Покуда этот вихрь во мгле
 Не стал дымком жилья,
 Стал изморозью на стекле,
 И пробудился я.

Как вспять теперь мне повернуть,
 Вернуть мгновенья те,
 Коль мой скакун, окончив путь,
 Стал клячей в хомуте?

И разве я представить мог
 Среди полночных грез,
 Что ждут нас конюх и станок,
 Попона и овес...

Миры

Не знал Александр про Дальний Восток,
 Он не перешел ни Тянь-Шань, ни Памир,
 И чувств никаких у него не исторг
 Китай — ведь на Индии кончился мир.

Но сэр Исаак понимал, как мала
 Вселенная, знал, что все наши миры —
 Лишь скудные крохи с большого стола,
 Где тьмы мирозданий справляют пиры.

Перевел ЕВГЕНИЙ ХРАМОВ.

Отец мой рисует лето

Решительный дождь решетит океан,
 Колотит по гальке, поганит пейзаж,
 Бьет, окаян,
 По стеклам отеля, глядящим на пляж,
 Под вздох постояльцев и их красотуль:
 «Ну и июль!..»

«Где ж лето?» — вздыхает каминный питомник.
 В душе, в перепонках — настойчивый звук
 В ритме пинг-понга —
 Настольного тенниса ширится звук.
 А может, часов обезумевший тик
 Всюду возник?

А сверху, в камерке с искусственным светом,
 Макая в зеленое кисть, мой отец
 Рисует нам лето.

И лето свершается наконец:
Зной. Фрукты садов. Обалдение сна.
Зеленая тишина.

Рай лета. Роскошнейшая Сахара.
Рим в Анзио!
Уж рыцарь кольчугу раздел для загара...
Но дождь продолжает свои безобразья.
По крышам, по нишам, по стеклам окон
Гуляет пинг-понг.

Вернуть людям лето — непросто весьма.
Владеет им время, что бесповоротно
Свихнулось с ума.
А может, лишь в сердце есть времена года?
И может, лишь в нем — недождливые дни?
Бог их храни!

Прости!

Мой пес пять дней лежал, непогребен.
Прости, моя мальчишечья любовь!
Меж жимолости, сосен и грибов
Наткнулся я на песий погибон.

Я подбежал, ударил в ноздри дух,
Той жимолости тяжкий аромат.
И смертный к ней примешивался смрад.
Тошнило от жужжанья мерзких мух.

Мне было десять. Было выше сил
Глядеть на друга сдохшего. Мой мозг
Простить природе мерзкого не мог.
Отец взял заступ. И его зарыл.

Но прошлой ночью я увидел: дерн
Разъялся. И, вселяя в душу страх
(В потусторонних ли прожекторах?),
Явился пес, зеленым озарен.

С ним несся отсвет чувственных светил,
Ночного солнца и зеленых мух.
В глазах веселых смертный выл испуг.
Я, как щенок, прощения просил,

Моля его безмолвную главу...
Ах, если б можно прошлое спасти!
Сон или явь? Я все твержу: прости,
Прости мне, смерть. И умерших зову.

Перевел АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ.

ДЖОН ЭШБЕРИ

Слоняясь вокруг

Какое имя подарю тебе?
Не называть же тебя так, как имя
Звезде дается, — лишь бы обозначить.
Слоняясь вокруг да около.

Кому-то, может, любопытно,
 Но сам ты слишком занят тайным
 Грязным пятном на дне души,
 Чтоб рассуждать. Ты, улыбаясь, бродишь

Вокруг да около. Ты одинок
 В каком-то смысле. Но и сам
 Ты вызываешь отчужденье. Но
 Непродуктивно как-то сознавать,

Что окружной путь — самый эффективный.
 Ты все плутаешь островами. И,
 Казалось, вечно кругалая даешь.
 Пришел конец. Когда сегмент пути

Раскрылся, словно долька апельсина.
 В ней светятся и таинство и плоть.
 Вкуси ее. Приди не для меня.
 Съешь апельсинчик — разреши свиданье.

Что есть поэзия?

Средневековый фриз
 Нагойских бойскаутов? Снег,

Что лег, когда мы хотим?
 Стилль? Проба мыслей избежь,

Как в этом стихе? Но мы
 Вернемся к ним, как к жене

От лярвы любимой? Вот
 Когда все поверят нам.

Мы верим. Учителя
 Взяли мысли под гребешок:

Осталось поле внутри.
 Закрой глаза, видишь — какое оно невысказанно огромное.

Теперь открой — вертикально идет тропа,
 В конце которой — как знать? — найдешь цветочки.

Перевел АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ.

Смешанные ощущения

Симпатичный запах консервированных сосисок
 Совершает налет на органы чувств, равно как и старая,
 практически стершаяся
 Фотография, на которой запечатлены вроде бы девушки
 Вокруг ветхого бомбардировщика, примерно 1942 года выпуска.
 Как растолковать этим девушкам, если это именно они,
 Всем этим Руфям, Линдам, Пат и Шейлам,
 Невероятные перемены, происшедшие с тех пор
 На фабрике нашего общества и радикально
 Преобразовавшие характер продукции? И все-таки
 Они выглядят как-то так, словно обо всем догадываются,
 Если забыть о том, что их и самих-то едва видно
 и едва можно разве что догадаться,

Что именно за выражения надеты у них на лица, каким
 Хобби они предаются. Ах нет, куда там,
 Этот мужик для меня слишком крут, кажется, говорит одна.
 Пошли-ка прошвырнемся, пошли-ка побродим
 Лабиринтами торгового центра
 И хватанем кофе в какой-нибудь забегаловке.
 Я ни в коей мере не задет тем, что эти создания (вот оно,
 слово!) моего воображения
 Принимают меня как будто за кого-то другого
 И не обращают на меня внимания. Это ведь, так или иначе,
 Входит в сложный ритуал завязывания знакомства. Но
 при чем тут торговый центр?
 Наверняка это разлагающее влияние калифорнийского солнца,
 Бросающего свои лучи на них и на эту крылатую развалину,
 К которой они притулились, доводя ее дональд-даковскую
 маркировку
 До абсолютно недвусмысленной четкости.
 Может быть, они и лукавили, но скорей всего
 Их умеренный ум не мог выдать на-гора большего количества
 информации.
 И даже самого главного обстоятельства. А именно того,
 Что они, как им кажется, находятся в Нью-Йорке. Мне нравится,
 Как они выглядят, поступают и чувствуют. Мне интересно,
 Как они выбрали эту стезю, но не хочется тратить
 Время на дальнейшие размышления об этих девушках.
 Я уже, собственно говоря, позабыл их —
 Вплоть до того дня в не столь отдаленном будущем,
 Когда мы, возможно, встретимся в зале современного
 аэропорта:
 Они — выглядящие столь же ослепительно юными и свежими,
 как в день, когда их сфотографировали,
 Но полные противоречивых мыслей, одни из которых с порога
 глупы, а другие
 Заслуживают определенного внимания, но все в равной мере
 захлестывают поверхность наших чувств,
 Покуда мы пузырьками всплываем в небо, и в непогоду,
 и в темные чащи преображений.

Перевел ВИКТОР ТОПОРОВ.

Сомнение

«Нормальность» — слово, пришедшее на ум Уоррену Г. Хардингу,
 А также совсем редкое *bloviate*, что, надо думать,
 Означает трепаться бестолку. Он не хотел быть президентом.
 Но «Банда из Огайо» сделала свое. А он...
 Он умер в Сан-Франциско, в гостинице «Палас», когда жена
 Ему о нем читала в «Ивнинг пост».
 Он не был негодяем, бедный Уоррен; он просто
 Любил женщин и любил Огайо.

О это благословенное лето с высокими облаками!
 Новая звезда гольфа сверкает, как конфетти,
 Все лето с мая до августа. Толпа впадает в истерику,
 Следом бежит почти до кромки ада, до
 Исчезновения звезды. По счастью, толпа не исчезает,
 А бредет, о том о сем болтая. Боль не вечна.
 Хотя и непрерывна. Бедный Уоррен.
 Он мог заметить это, Уоррен бедный.

Перевел АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Л. ПАНТЕЛЕЕВ

*

Я ВЕРЮ

Главы из автобиографической книги

Эта книга неожиданна. Неожиданна для нашей литературы. Неожиданна для этого писателя.

Его имя в литературе — Л. Пантелеев (при этом инициал не расшифровывается), а настоящее имя — Алексей Иванович Еремеев.

Он умер больше трех лет назад, в июле 1987 года, не дожив двух месяцев до своих восьмидесяти лет.

При его имени всегда вспоминается его первая книга, написанная вместе с другом юности Григорием Белых, который, уже будучи сложившимся писателем, погиб в застенке в 1938 году, — «Республика Шкид». Это действительно очень известная, знаменитая книга конца 20-х годов, которую издавали десятки раз. Она вышла в свет, когда Л. Пантелееву не было и двадцати лет. Так что не будет преувеличением сказать, что он был прославлен с юности. За «Шкидой» последовали чудесные «Часы», повесть «Пакет» с необыкновенным героем Петей Трофимовым, — и Пантелеев стал очень заметной фигурой в нашей литературе для детей.

Еще при жизни он был признан ее классиком. В учебниках по детской литературе ему отводили целые монографические главы, о нем, хорошо ли, плохо написанные — не о том сейчас речь, — появлялись книги. Он, конечно, входил в литературные энциклопедии, причем к статье давали и его портрет, чего, как известно, удостоивается не каждый. В конце жизни (в 70-е и 80-е годы) у него вышли два четырехтомных собрания сочинений, и в них были включены его дневники и записные книжки, что, по негласным правилам госкомпечати, дозволяется только покойным авторам. И так далее и тому подобно.

Но при всем том жил он как-то негромко. И, конечно, не бежал впереди своей славы.

Началось это давно, с первых лет его литературной известности.

Случилось так, что, когда они с Гришей Белых написали (примерно по половине текста каждый) свою книгу, они не знали даже, куда и кому ее отнести. Воспитанники Школы имени Достоевского (сокращенно: Шкиды), которая собралась на Старо-Петергофском проспекте в Ленинграде несколько десятков беспризорников, они, не смотря на то, что после школы уже попробовали себя в печати, не очень-то и представляли себе, кто может ее прочесть и потом издать. Единственное важное лицо, которое им было хорошо известно, — Злата Ионовна Лилина, не раз посещавшая Шкиду, потому что возглавляла губернский отдел народного образования. Ей и понесли рукопись.

«В огромном кабинете, за большим письменным столом, — рассказывал мне Пантелеев в 1972 году, — сидела невысокая, уже седая женщина в синей люстриновой кофточке. Она поднялась нам навстречу.

— Что вы хотите, мальчишки?

Я оробел окончательно, а Гриша нашел силы улыбнуться и развязно выдал из себя:

— Книжечку написали.

Лилина с ужасом посмотрела на наш огромный сверток:

— О чем?!

— О детском доме.

— Как?! Об одном детском доме такую махину!

...Покидая дом на Казанской, мы были уверены, что наше дело проиграно... Гриша сказал, что он и не подумает идти к Лилиной узнавать о результатах. Хватит с нас позора...»

Оказывается, их уже разыскивали по всему городу, потому что рукопись попала к Маршаку, в Детский отдел Госиздата, и ее собирались издать.

Но авторы-то были не из привычного рода писателей, которые сидят за столом и пишут. Бывало, что Маршаку позарез нужен автор по имени Алексей Пантелеев, а

писатель, войдя в очередной конфликт с властью, находится за решеткой, и требуется вмешательство самого Горького, чтобы освободить его.

Отсиживая (по счастью, недолго), автор в уме передельывал главу, которая вызвала редакторские нарекания.

Но к 1927 году все это было уже позади. Повесть вышла, и у нее был шумный успех.

В литературе, однако, бывают не предусмотренные судьбой сочетания.

В те же годы в детскую литературу вошел Аркадий Гайдар. Вошел своей «Школой», рассказом «РВС» и другими произведениями.

Нет, они, конечно, писали совсем не похожие вещи, — пуская кое-где совпадал даже не материал, а только фон: гражданская война.

Но — воля критиков и читателей (последние, впрочем, в меньшей степени) — их сравнивали. Гайдар и Пантелеев. Пантелеев и Гайдар.

«Пантелеев и Гайдар всегда пользовались любовью детей, — говорил Маршак в 1938 году. — В детских письмах к Горькому, которые мне несколько лет тому назад пришлось разбирать, эти два имени встречались несчетное число раз».

Да, жили они в разных городах — Гайдар в Москве, Пантелеев в Ленинграде, но их постоянно сопрягали. Я не уверен, что отсвет работы Пантелеева падал на Гайдара, на оценку его вещей, но на оценку того, что писал Пантелеев, безусловно влиял. Если не вдаваться в тонкости, то Пантелеева «погравнивали» к Гайдару. Ибо Аркадий Гайдар все больше становился в общественном сознании тем необходимым детским писателем, которого требовало время.

А Л. Пантелеев, начав очень интенсивно, стал с годами как бы отставать. У Гайдара в 30-е выходили всё новые и новые рассказы и повести, а Пантелеев чуть ли не на десятилетие предался поискам самого себя. Арест и смерть друга и соавтора первой книги, которую, конечно же, немедленно перестали издавать, тоже сыграли свою печальную роль.

Почти вся проза Л. Пантелеева всегда была автобиографическая, и писатель умел претворять свою биографию в интересный рассказ для детей. А тут, продолжая писать для них, то есть оставаясь писателем детским, он все больше, все чаще рассказывал о детях. Обычно эту грань — о детях и для детей — не очень-то чувствуют. Но в даровании Пантелеева это о и для было заложено. И можно вспомнить такие прекрасные рассказы, как «Буква "ты"», «На ялке», «Маринка», всем знакомый — «Честное слово», чтобы понять, как талантливо он сочетал о и для.

Гайдар в годы засилья пионерского движения, вернее, пионерской жизни, назывался пионерским писателем, потому что писал для этого возраста. И Л. Пантелеев тоже считался... Да, я вовремя остановился. Но возраст читателя и принадлежность в этом возрасте к пионерской организации, по тем меркам, характеризовали и писателя. К тому же почти уже не существующая в те годы критика детской литературы, честно говоря, мало разбиралась в оттенках.

Новое Л. Пантелеев писал медленно, мучительно долго. Известные его книжки (кроме «Шкиды») продолжали выходить. Но наступили годы, когда даже не все частные к детской литературе помнили, что Пантелеев еще жив.

Мне рассказывали, как один не по заслугам известный детский писатель, увидев на столе редактора радио передачу о Пантелееве, искренне спросил:

— А разве он еще жив?..

Между тем Пантелеев писал всегда, но печатался все реже.

Пережив самые тяжелые месяцы ленинградской блокады, он опубликовал свой дневник. Один из первых стал говорить в печати о безобразии с переименованием улиц в однотипные для всех городов и весей штампы. Писал воспоминания о Горьком и Маршаке, Евг. Шварце и Чуковском, в которых в лучших традициях мемуаристики не стеснялся и самого себя изобразить в нелепом виде, а не, как бывает, ретроспективно всезнайкой. С рождением дочки стал вести особый дневник, и в середине 60-х годов издал книгу, повествующую об удивительных отношениях отца и дочери, — «Наша Маша». А еще писал рассказы о своем детстве, о том, как мальчиком видел и понимал события и просто незначительные, на взгляд взрослого, происшествия тех небообразимо далеких лет.

Кое-что из этого печаталось в «Новом мире», у Твардовского («Маршак в Ленинграде»), дневник 1944 года, рассказ из цикла «Дом у Египетского моста...»), потому что все это могло быть интересно и выросшим детям, взрослым. Но он оставался детским писателем.

И если назвать нерв его прозы, то, что ее определяет, то это, разумеется, этика. Вы скажете, что она обязательна для каждого писателя, тем более детского, но не у каждого она так осязаема, как у Л. Пантелеева.

И что самое хорошее — он и жил по ее высоким законам, не поступаясь ради нее ничем. В мемуарах о Маршаке было всего лишь мимолетное упоминание о Солженицыне, и другой бы его снял, чтобы перепечатывать эти воспоминания (лучшие о Маршаке, по моему мнению) снова и снова. Пантелеев на это не пошел. Он публично — телеграммами и письмами — протестовал против изгнания из Союза писателей А. Солженицына, Лидии Чуковской... Ему, конечно, мстили. Но он оставался самим собой.

Что же заставляло его жить по законам, по которым не все живут даже в писательской братии, то есть в среде, думающей о себе как об учительях жизни?

До самой его кончины это оставалось для многих таинственным. Думали, что только характер, замкнутость, упрямство. Наблюдательный Евгений Шварц отметил

эту черту даже в молчании Пантелеева. «Держится он независимо, даже наступательно независимо. Эта независимость, даже когда он молчит, не теряет своей наступательной окраски. А он крайне молчалив».

Но теперь мы знаем, что дело было не только в характере. Изо дня в день пополняя свой дневник и удивительные записные книжки (смотри его книгу «Приоткрытая дверь», изданную в 1980 году), он, как и положено, таил от беззастенчивых и глумливых глаз свое сокровенное.

Но в середине 70-х, на склоне жизни почувствовал потребность рассказать об этом, излить это на бумаге, и принялся за свою «исповедную повесть», которую тщательно прятал.

На листе, ее предваряющем, он написал: «Разрешаю печатать эту рукопись — или отдельные отрывки ее — через три года после моей смерти. Л. Пантелеев».

Всей книги журнал не мог бы напечатать из-за ее размера, и поэтому я выбрал отдельные страницы. Но посчитал необходимым сохранить и в этом фрагментарном виде те эпизоды, которые отдают «манией преследования». Сохранить не только потому, что они целиком относятся к теме книги, но и потому, что без них представление о жизни советского человека будет неполно.

И, разумеется, нигде не посягал на суждения и оценки, с которыми кто-то может и не согласиться.

Таким писателя Л. Пантелеева, кроме самых близких ему людей, наверняка не знал никто. И еще меньше кто-либо ожидал, что он когда-нибудь объяснит причину своего несколько странного для многих человеческого и писательского поведения.

Но вот она — разгадка.

ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР.

Всю жизнь исповедуя христианство, я был плохим христианином. Конечно, догадаться об этом нетрудно было бы и раньше, но, может быть, впервые я понял это со всей грустной очевидностью лишь в тот день, когда от кого-то услышал или где-то прочел слова Н. Огарева о том, что невысказанные убеждения — не есть убеждения. А ведь я почти весь век свой (исключая годы раннего детства) должен был таить свои взгляды. Впрочем, не знаю, то ли я слово употребил: должен. По Огареву НЕ должен. Знаю только, что так поступать вынужден был не я один, а тысячи и даже тысячи тысяч моих единомышленников и сограждан. Потому что многих из тех, кто НЕ таил, давно уже нет с нами. Не всех этих людей мы знаем, не все они и в будущем будут разысканы (не они, конечно, а могилы их), не все будут названы по имени, но и не названные да святятся до скончания века их великие — все до единого великие — имена!..

Сейчас, когда, подводя итоги, я надумал писать свою исповедную повесть, я еще раз вспомнил слова Николая Огарева, взвесил их, задумался над ними и — показалось мне, что, может быть, все-таки не всегда и не ко всему приложима эта огаревская максима. Ведь делом, а не словом подкрепляются и утверждаются убеждения. Вера без дел мертва есть*. Без дел, а не без слов... Но нет — все это я себе в оправдание и в утешение пишу. Ведь в той же великой книге сказано, что за жегши свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме*.

И вот именно потому прежде всего и называю я себя дурным христианином, что редко, слишком редко ставил я свечу на подсвечнике, и если и светила она когда-нибудь кому-нибудь, то очень слабым, отраженным светом. Этот грех, вместе со многими другими, десятки лет камнем лежит на моей душе.

И все-таки я не могу не считать себя человеком счастливым. Да, жизнь моя пришла на годы самого дикого, самого злого, жестокого и разнузданного безбожия, всю жизнь меня окружали неверующие люди, атеисты, в юности было несколько лет, когда я и на себе испытал черный холод безверия, а между тем я считаю, что мне всю жизнь самым чудесным образом везло: я знал очень много людей духовно глубоких, верующих, ведущих или хотя бы ищущих Бога, а с некоторыми из этих людей даже был связан близкой дружбой.

«Чудесным образом» я сказал не случайно, не красного слова ради, а потому что ни я не искал этих людей, ни они меня не искали, а просто так получалось, будто сам Господь Бог посылал нас друг другу навстречу.

Ну, как же иначе объяснишь и растолкуешь такое вот явление.

* К именам, названиям и цитатам, помещенным звездочкой, в конце, после авторского текста, дается краткий комментарий.

Весной 1926 года пришел за чем-то в ленинградский Дом книги, в детский отдел Госиздата (где готовилась тогда к печати «Республика Шкид»), стою где-то в полутемном коридоре, покуриваю, отдыхаю от редакционного шума, от лихорадочно-вдохновенного голоса Маршака, от ослепительных шуток Олейникова *, Шварца *, Андроникова *, просто от многолюдья. Вдруг распахнулась дверь, и в коридоре появляется мой редактор Евгений Львович Шварц — молодой, стройный, красивый и такой возбужденный, распаренный, как будто он только что танцевал или в снежки играл. Через плечо у него перекинуты длинные типографские гранки, он направляется в корректорскую. Но прежде чем открыть дверь, он делает шаг в мою сторону, прямо и весело взгляды-вает на меня большими радостными глазами и спрашивает:

— Ты в Бога веришь?

Отвечаю без малейшего стеснения, не задумываясь:

— Да. Верю.

— Я — тоже,— говорит он. И с той же веселой, счастливой, совсем еще юношеской улыбкой сжав мою руку, слегка тряхнув ее, он бежит со своими бумажными лентами к дверям корректорской.

Что же — этот коротенький разговор получил какое-нибудь развитие, был продолжен? Нет, никогда он не был продолжен. Почему же? А думаю, прежде всего потому, что оба мы (особенно Шварц) пуще смерти боялись громких слов, велеречия, ханжества, оба мы хороший юмор почитали за четвертую христианскую добродетель, а можно ли с юмором говорить о Боге?! Весело — да, не только можно, но, пожалуй, и нужно, а с юмором — разве что кощунствовать вপুরо.

И вот все долгие тридцать пять лет нашей дружбы мы довольствовались тем, что знали друг о друге самое значительное, что может узнать один человек о другом, понимали, что мы единомышленники, братья, дети одного Отца... А говорить об этом не говорили. Как никогда, кстати, не говорили мы и о нашей дружбе. Кажется, только один раз Шварц произнес это слово, и мне больно вспомнить, при каких обстоятельствах оно было сказано. По легкомыслию ли, по небрежности, по лености я не прочел за ночь рукопись его пьесы, которую он мне принес вечером, и, осерчав, покраснев, даже задрожав, он сказал мне:

— Так друзья не поступают!..

...Бывал ли он в церкви? Думаю, что только при случае — на венчании, на панихидах, на крестинах. Молиться же в церковь на моей памяти не ходил. Но не только без уместки, а с большим уважением рассказывал о людях богомольных, — например, о Владимире Ивановиче Смирнове, о нашем прославленном математике, академике, — о том, как тот каждую субботу ездит из Комарова в Никольский Морской собор ко всенощной. И с еще большим почтением (даже с некоторым трепетом) отзывался Евгений Львович (да и он ли один?) об архиепископе Крымском и Симферопольском Луке* — об этом удивительном человеке, который в юные годы учился на медицинском факультете университета, работал врачом, хирургом, в трудные для церкви двадцатые годы, не оставляя врачебной деятельности, принял сан священника, овдовев, постригся в монахи, был хиротонисан во епископы, был арестован, без малого двадцать лет провел в заключении и в ссылке, а когда в годы войны его освободили, он сана не снял, до самой смерти возглавлял Крымскую епархию, продолжая одновременно научную, врачебную и преподавательскую работу. В 1946 году преосвященный Лука (в миру проф. В. Ф. Войно-Ясенецкий) получил Сталинскую премию первой степени за научные труды «Очерки гнойной хирургии» и «Поздние резекции при инфицированных огнестрельных ранениях суставов». Архиепископ Лука — это один из тех, кто не только не таил своих высоких убеждений и не ставил свечу под сосудом, но претерпев все гонения, все испытания жестокого века, до последнего дня служил Богу и словом и делом... В доме Шварцев я познакомился с сыном преосвященного Луки — М. В. Войно-Ясенецким, известным патологоанатомом*. Евгений Львович любил его до конца жизни.

Но был в жизни Шварца другой православный князь церкви — архиепископ Сан-Францисский Иоанн, еженедельные проповеди которого Евгений Львович слушал в передачах Голоса Америки. Этого архиерея Шварц почему-то терпеть не мог.

— Даже голоса его не могу слышать,— говорил он с раздражением и довольно зло пародировал религиозно-нравственные декламации заокеанского владыки.

Частым гостем в доме Шварцев (особенно в комаровские времена) был тезка американо-русского архипастыря — о. Иоанн Чакой, или попросту Иван Иванович*, как чаще называл его Шварц. Отец Иоанн служил последние годы в кафедральной:

Никольском соборе. Познакомились с ним Шварцы через его дочь, артистку акимовского Театра Комедии Татьяну Ивановну Чакой. Сам я знал о Иоанна еще в юности: несколько лет мы жили в одном доме. Много раз видел я его и на служении в храме, но встречаться у Шварцев нам почему-то не приходилось. Помню только некоторые рассказы о нем Евгения Львовича.

Вот гуляем зимним погожим днем по комаровским заснеженным улицам и Евгений Львович, посмеиваясь, рассказывает:

— Вчера опять были Иван Иванович с Таней. Заговорили о Толстом. Иван Иванович слова о нем спокойно сказать не может. И до чего же, ты знаешь, похоже то, что он говорит, на то, что говорят о Толстом марксисты.. Ну, буквально те же слова — как будто из Ленина или из Плеханова выписал: «художник великий, не спорю, а как мыслитель — полное ничтожество, ни малейшей критики не выдерживает!»

...А вот вспомнился почему-то другой рассказ Евгения Львовича — еще об одном Иоанне, об Иване Петровиче Павлове, академике.

Каким-то образом Шварц и Олейников были знакомы с известным хирургом, профессором Грековым*, бывали у него дома. Были они и на похоронах Грекова, а перед этим на гражданской панихиде в Обуховской больнице.

— Никогда не забуду это явление, — говорил Евгений Львович. — Идет обычное надгробное славословие... Звучат слова знакомые, скучные, казенные... От месткома, от парткома. И вдруг откуда-то возникает и становится в изглавии гроба невысокий, с сократовским лбом и вообще чем-то похожий на Сократа — Павлов. Подошел, постоял, кашлянул и громким профессорским голосом начал: «Великий Учитель человечества Иисус Христос однажды сказал...»

— А ты знаешь этот анекдот о Павлове? — перебивает самого себя Шварц.

— Какой? С красноармейцем?

— Да. Знаешь?

Да, этот анекдот я много раз слышал. Академик Павлов выходит из Знаменской церкви, крестится. Мимо идет красноармеец. Усмехнулся, покачал головой:

— Эх, серость!..

...Евгений Львович, как известно, меньше всего был отшельником. Всю жизнь — и в молодости, в зрелые годы, и до последних дней — он был окружен друзьями и приятелями. Но многим ли из этих людей было известно, что Шварц человек религиозный? С уверенностью могу назвать пять-шесть имен. На большее этой уверенности не хватит. Откуда же она могла возникнуть, эта уверенность, в мире, где даже с друзьями, даже с близкими по крови мы не всегда решались на полную откровенность!..

Уже много лет спустя после смерти Евгения Львовича как-то в Комарове спросил у меня друг его юности — М. О. Янковский*:

— Женя ведь был верующий, правда?

...Над могилой Шварца на Богословском кладбище стоит высокий белый мраморный крест. Когда в моем присутствии у Екатерины Ивановны спрашивали: почему крест? — она излишне громко, а иногда даже излишне сердито отвечала:

— Потому что Женя был верующий!..

*

Когда я задумал писать эту книгу, я хотел прежде всего последовательно рассказать о всех тех духовно близких мне людях, которых мне суждено было повстречать — о тех, кто украсил, согрел, осветил, сделал веселее, осмысленнее, счастливее мою жизнь. Но потом подумал: а не вернее ли будет начать не с других, а с себя самого, чтобы понятнее стало, почему же эти встречи были для меня всегда такой большой радостью, праздником, озарением?

И вот я решил: отойду, — может быть и надолго, — в сторону, попробую рассказать о себе. И при этом начну не «с самого начала», а запишу то, что вспомнится в первую очередь.

Вспомнился почему-то летний вечер 1929 года, когда шел я с двумя приятелями по Невскому и на углу улицы Рубинштейна встретил Ивана Ивановича Соллертинского, блистательного театрального деятеля, музыковеда, и от него, вихрем налетевшего на меня («Пантелеев, здравствуйте, вам известно, слышали?»), узнал, что несколько дней назад в Москве в городской больнице умер от детской болезни скарлатины Жоржик

Ионин, мой товарищ по школе им. Достоевского (в повести «Республика Шкид» он выведен под кличкой «Японец») ... Конечно, мы были потрясены этой новостью. Ведь кроме всего для каждого из нас это была первая смерть сверстника, одноклассника: Ионин (талантливейший человек, театральные режиссер, драматург, автор либретто к опере «Нос» Шостаковича) умер, не дожив до двадцати лет! Один из моих тогдашних спутников, милый друг мой Костя Лихтенштейн (тоже рано ушедший, тоже из Шкиды — в повести он «Кобчик», Костя Финкельштейн) расплакался. Был знаком с Иониным и третий из нас — Ися Рахтанов*.

Будь я тогда один — как бы я поступил, что бы сделал? Зашел бы, надо думать, в первую действующую церковь, в Казанский или к Спасу на Сенной и поставил бы свечу «на канун» за упокой души раба Божия Георгия. А тут, с товарищами, мне и в голову такое не пришло, — и вот, по моему же, кажется, предложению и по глупому русскому стародавнему обычаю мы зашли помянуть Жоржика Японца — не в церковь, а — в бар под Европейской гостиницей.

Спутники мои были оба совершенно непьющие, оба евреи, один из них — Рахтанов — к тому же еще и вегетарианец. Запомнилось мне, что из салата оливье, который мы заказали на закуску, он выуживал только кусочки огурца, морковку, петрушку и еще какую-то декоративную зелень. Ничего другого память моя об этом вечере не сохранила. Трезвенником я не был, пил, но пить не умел, хмелел быстро и, охмелев, ничего уже после этого не помнил. Всё, что было дальше, знаю по рассказам моих трезвых собутыльников. Пробыли мы в ресторане совсем недолго и, когда выходили, я с кем-то повздорил. У выхода сидела за столиком какая-то пьяная шпанистая компания. Я шел сильно пошатываясь и, ничего не видя, налегел на одного из этих парней, сдвинул его стул. Он выругал меня. Я попросил его «вести себя, если можно, вежливей»... Парни быстро рассчитались с официантом и вышли на улицу. Там они — шесть или семь человек — накиннулись на меня и стали бить. Били основательно, в этой драке я потерял два зуба. Конечно, я не стоял, закрыв руками лицо, а отбивался и отбивался яростно. Не увидев милиционера, который явился нас разнимать, — ударил и милиционера. Тот оказался человеком мелким, обидчивым, плохим стражем закона. Вместо того, чтобы отконвоировать меня и моих обидчиков в милицию, он счел виновным меня одного и доставить меня в отделение поручил — дворнику и той же ораве хулиганов, которая меня била. Нещадно избивали они меня и по пути в милицию — и на Невском, и на улице Желябова. Защищать меня пытался Костя — ему тоже досталось. Большой, полупарализованный Рахтанов при всем желании притти мне на помощь не мог — он следовал в отделение и «ужасался тому, что происходило».

Утром я проснулся на полу в милицейской камере. Как я себя чувствовал, говорить не надо. На теле и на лице не было, что называется, живого места. Через полчаса меня отвели к дежурному.

— Получите ваши вещи, — сказал тот. Из железного ящика-сейфа он достал и передал мне бумажный сверток. В старую газету были завернуты — мой брючный ремешок, бумажник с деньгами, серебряная мелочь и — отдельно, в носовом платке — золотой крест на золотой цепочке. С удивлением вспоминаю, что по поводу креста не было произнесено ни одного слова. Даже когда я при милиционерах надевал через голову крест, никто ничего не сказал, не усмехнулся даже.

Через полчаса я был уже в уголовном розыске, где меня встретили как старого знакомого...

Впрочем, чувствую, что сильно затянул рассказ. Попробую рассказывать короче.

Встретили меня в розыске, как я уже сказал, грубо, заполняя анкету, обращались на ты. Я отвечать отказался. Три раза меня отводили в общую камеру и три раза вызывали снова.

— Отвечать будешь? — спрашивал мальчишка-следователь моего приблизительно возраста.

— На ты не буду, — отвечал я и снова шел в камеру.

И вдруг тот же следователь вызывает меня еще раз:

— Садитесь.

Я сел.

— А впрочем — идите.

— Куда?

— К заместителю начальника.

Сам этот юный садист (как говорили в камере сведущие люди — бывший уголов-

ник, карманник) ведет меня к замачу УР'а, тот поднимается навстречу, с удивлением оглядывает меня и говорит:

— Вы Пантелеев?

— Да.

— Писатель?

— Писатель,— с трудом выжевываю я пересохшими губами.

— Так вот, товарищ Пантелеев, берем с вас подписку о невъезде и—можете считать себя свободным.

И заметив на моем лице недоумение, объясняет:

— Только что звонил, ходатайствовал за вас Максим Горький.

На площади Урицкого у подъезда уголовного розыска меня ждал верный друг мой Костя Лихтенштейн. При моем появлении он заметным образом содрогнулся. Но и на его лице тоже было немало следов вчерашнего побоища,— достаточно сказать, что нижняя Костина губа была надорвана и заклеена черным пластырем.

— Чтобы не забыть,— невнятно сказал Костя.— Тебя просил зайти к нему в Европейскую гостиницу Горький.

— Когда зайти?

— Сейчас же. Сию минуту.

— То есть как сию минуту?

— Да. Велел — не заходя домой.

И пока мы шли с ним по Дворцовой площади к Невскому проспекту, Костя рассказал мне, как все получилось. Чуть свет он прибежал к моей маме и сказал, чтобы она не беспокоилась, что я — жив, только попал в несколько затруднительное положение. От мамы он узнал адрес С. Я. Маршака и побежал — через весь город — к нему. Денег ни на трамвай, ни на телефон-автомат у Кости не оказалось. Когда он появился на улице Пестеля у Маршаков, Самуил Яковлевич принимал ванну. Ему через дверь сообщили, что с Пантелеевым что-то случилось (снова что-то случилось!)... Самуила Яковлевича — как это часто бывало в его жизни — осенило. Задав себе вопрос: «что можно сделать?» — он тут же вспомнил: «В Ленинграде Горький!» И мокрый, голый, в накинутой на плечи махровой простыне — стал дозваниваться к Горькому в Европейскую гостиницу. Оказалось, что Алексей Максимович болен, гриппует. Крючков * все-таки согласился доложить ему. Алексей Максимович стал звонить в розыск. А дозвонившись, просил Крючкова сообщить о результатах Маршаку и просил передать, чтобы я сразу же, не заходя домой, шел к нему.

В те годы на Невском угол Мойки, в доме, где когда-то в кофейне Вольфа завтракал перед дуэлью Пушкин, доживало короткий нэповский век крохотное — в одно окно — кафе. Услышав запах кофе, я вспомнил, что со вчерашнего вечера не ел, и предложил Косте зайти позавтракать. Стена в этом кафе была зеркальная. Я увидел в зеркале свое отражение, свою окровавленную, исполосованную физиономию и понял, что в таком виде в Европейскую гостиницу идти не могу — просто меня швейцар не пустит. Зашел в уборную и полчаса приводил себя в порядок — отмывал кровь, чистил костюм, приглаживал волосы.

В гостиницу меня пропустили. Но когда я вошел в комнату, где лежал больной Алексей Максимович, он встретил меня громким хрипловатым хохотом:

— Ну и ну! Здорово же вас отделали...

У его постели сидел пожилой румяный человек с красивыми руками пианиста, профессор Греков. Это у его гроба пять лет спустя стояли Шварц, Олейников и академик Павлов.

Горький расспрашивал меня, как было дело. Я рассказал.

Он уже не смеялся, слушал, покачивал головой. Потом попросил Грекова, чтобы тот осмотрел меня. Профессор предложил мне раздеться.

Разоблачаясь, я снял крест. Оба они видели это, но ничего не сказали.

На теле у меня Греков обнаружил 26 синяков и кровоподтеков. То, что он осмотрел меня, обнаружил и подсчитал эти синяки, в дальнейшем очень пригодилось мне. Но об этом дальнейшем я здесь рассказывать не буду — не о том сейчас речь.

Греков собрался уходить. Стал и я прощаться с Горьким. Он удержал меня: — Посидите.

После ухода Грекова, после небольшой паузы Алексей Максимович сказал:

— Видите ли... Пить — довольно веселое занятие. В вашем возрасте я и сам был

Я ВЕРУЮ

не дурак по этой части. Но вам, по-видимому, пить нельзя. Есть противопоказания. Нехорошо пьете. Надо бросать.

— Обещаю вам, Алексей Максимович,— сказал я с необычной для себя порывистостью. — С сегодняшнего дня бросаю...

А когда я через несколько минут прощался с ним, он задержал мою руку в своей и глухо сказал:

— Вы в Бога верите?

— Да,— ответил я.

— Давно?

— С детства.

Что он на это сказал и сказал ли вообще что-нибудь — не помню. После этого я встречался с ним много раз, недели две гостил у него — в Москве и на даче. К э т о м у вопросу он никогда не возвращался.

*

Да, я сказал правду, что верил в Бога с детства. Но как же, через кого и в какую минуту пришла ко мне эта вера?

Часто говорят: он вырос в религиозной семье. В случае со мной так, пожалуй, не скажешь. Назвать религиозным отца я не решусь. Он крестился перед сном, перед едой и после еды, носил нательный крест (тот самый, что я снимал и надевал в присутствии Горького и профессора Грекова), ходил, вероятно, как положено было, к исповеди и к причастию, но на богослужении в храме я видел его, если не ошибаюсь, всего один раз — на пасхальной заутрени 1917 года — в домово́й церкви Второго Петроградского реального училища. Что отец верил в Промысел Божий, в этом я не сомневаюсь. Но как рассказывала мне впоследствии моя тетушка, сводная сестра отца, от церковной религиозности его оттолкнул — еще в отроческие годы — катехизис, та книга, по которой в старших классах гимназии и реального училища проходили, вернее — долбили, зазубривали Закон Божий и основы богословия. Это и в самом деле нечто ужасное, бездуховное, угрюмо-чиновное, схоластическое в наидурнейшем смысле этого слова. Скольких, я думаю, эта книга должна была отпутнуть, отвратить от церкви!

Отец был человек суровый, замкнутый, духовно, как мне представляется, не очень богатый, а главное — понимающий, чувствующий эту свою ущербность и потому страдающий. Способствовала этому и его безукоризненная честность, фанатическое благородство, которое я рано увидел, заметил, оценил и о котором с восхищением, а порой даже и с некоторым страхом говорили и после его гибели все, кто его знал. Среди моих родственников был только один, напоминавший мне немножко отца. Это был некто Коля Спехин, мамин троюродный брат, дядя Коля, как я его звал. Недолго звал. Между прочим, из всех наших родственников-мужчин только эти двое — мой отец и Коля Спехин — с первых дней войны оказались на фронте. Все другие ловчили, откупались, носили земгусарскую или санитарскую форму, правдами и неправдами через влиятельных знакомых, с помощью всяких шарлатанов и проходимцев, даже через самого Распутина, добывали белые билеты. И все эти люди долго и удачливо, по их понятиям, жили. А мой отец и дядя Коля оба погибли: вольноопределяющийся Спехин в самом начале войны, поручик Еремеев — в конце ее, на исходе...

Никакой видимой душевной близости с отцом у меня не было. О какой близости можно говорить, если обращаясь к отцу я называл его «на Вы». Но образ отца я с гордостью и любовью пронес в памяти своей и в сердце через всю жизнь. Сказать с в е т л ы й о б р а з — было бы неправильно. Скорее — темный как почерневшее серебро. Р ы ц а р с к и й — вот самое точное слово.

Моим первым другом и первым наставником в вере была моя мама. От кого приняла веру она — не знаю. Матери она лишилась очень рано — шести или семи лет. Мачеха была молодая, легкомысленная, невиданной красоты. В церковь ходила, обряды блюла, но собственных детей воспитать в религиозном духе не сумела. Несколько лет назад, на похоронах одного дальнего родственника, ее дочь, моя тетя, сказала мне, выходя из церкви:

— Как все-таки жалко, что нет веры.

Значит, ее и не было, этой веры, если даже к старости она не вернулась, не воскресла.

Гувернантки в спехинском доме были все немки, лютеранки. О няньках я вообще никогда ничего не слышал. Крестная мать? Да, может быть. Мамина, крестная, или

«к ó к а», как называла ее на деревенский архангельский манер мама, была женщина глубоко религиозная, честная, прямодушная и суровая — это ее сын Коля, славный молодой человек, студент университета, погиб в 1915 году где-то в Галиции.

От своей доброй мамы я принял эстафету. Это она, мама, учила меня христианству — живому, деятельному, активному и, я бы сказал, веселому, почитающему за грех всякое уныние.

Мать моя не была ханжой. Не бежала мирских радостей, в любом обществе слыла его душой, любила пошутить, посмеяться, с удовольствием танцевала, пела, принимала участие в любительских спектаклях. Но при всем том — ни девочкой, ни девушкой, ни после замужества — не пропустила она, я думаю, ни одной субботней всенощной и ни одной воскресной обедни. А главное, — во всех случаях, при всех житейских обстоятельствах наша мать оставалась убежденной деятельной христианкой.

Такими воспитывала она и нас, своих детей. Я был первенец, и на мою долю пришлось больше и любви, и ласки, и внимания. Чаше чем Васю * и Лялю *, брала меня мама с собой в гости, в театр, в кинематограф, на благотворительные вечера. И еще, пожалуй, чаще ходил и ездил я с нею в окрестные и дальние храмы — к Покрову, к Скорбящей, на Смоленское кладбище, в домик Петра Великого, где молились тогда перед старинным образом Спасителя... Самые же любимые церкви — и мамини и мои — были домовые, при лазаретах и больницах. Таких в те годы вокруг было очень много. На одной Фонтанке, и только на одной четной ее стороне, на расстоянии полутора-двух верст я насчитал сейчас пять домовых церквей: при Александровской больнице, при Обуховской, при Морском госпитале, в лазаретах Кауфманской и Крестовоздвиженской общин... Была еще часовня при Экспедиции заготовления государственных бумаг, рядом с нашим домом. А если бы я позволил своей памяти свернуть с Фонтанки, можно было бы, вероятно, назвать не десяток, а несколько десятков церквей, часовен, соборов, подворий и монастырей, в которых я побывал в свои детские годы.

Все это, конечно, легко могло сделать из меня ханжу, святошу. Но нет, слава Богу, не сделало. Потому что не была ни ханжой, ни святошей наша мама.

*

Церковная служба, самая долгая, великопостная — утомительная и для взрослого, — никогда, даже в раннем детстве не была мне в тягость. Наоборот, уже в этом возрасте я испытывал чистейшую и сладчайшую радость от всего, что меня окружало, от всего, что я видел, слышал, чем дышал и что чувствовал на богослужении. А чувствовал я, — да, уже в те годы, — близость Бога, присутствие благодати.

В домовые, маленькие церкви мы ходили по вечерам, ко всенощной, а литургию я представляю почему-то непременно в большом храме и непременно в погожий, летний или весенний день, когда синеватый, пронизанный ладанным дымом солнечный столп косо падает откуда-то сверху, из купольного окна. Округло, выпукло блестит золото предалтарного иконостаса. Пронизанная светом пурпурно алеет в прорезях царских врат таинственная завеса. Все радует меня, трогает, веселит мое сердце. И раскатыстые, гудящие возгласения дьякона, и наплывающие, набегающие на эти возгласения «Господи, помилуй» и «Подай, Господи!» хора, и истонный и вместе с тем веселый, радующий почему-то сердце крик младенца перед причастием, и запахи деревянного масла, ладана, свечного нагара, разгоряченного человеческого тела, толпы... И прежде всего — молитва, молитвенный настрой души... Да, уже и тогда я умел молиться — не только знал заученные слова молитв, но и находил свои собственные слова, обращенные к Господу, — слова благодарности, просьбы, восхваления.

— Господи, помоги, чтобы папу нашего ни убило, ни ранило, — шептал или мысленно говорил я, стоя на коленках, делая земной поклон и касаясь крутым еремеевским лобиком каменной плиты церковного пола.

Мама поручала мне класть деньги на блюдо или ставить свечу «на канун», — и я уже знал, как это делается. Затеплив огонек от другой свечи, расплавив, размягчив основание тоненькой восковой палочки на пламени этой другой, горящей, свечи, вставляешь свою свечку в свободное гнездо многосвечника и плотнее прижимаешь, придавливаешь ее к стенке гнезда, стараясь, чтобы она стояла совсем прямо, вертикально.

И всё это — не суета, не развлечение, всё это — часть ритуала. Не на ёлке свечки зажигаешь, не для себя, не для гостей — для Бога.

— Воннёмёмми! — гудит под сводами собора бас дьякона. И прежде чем священник откроет на аналое большую книгу в серебряном окладе и начнет читать: «Во время

оно придет Иисус в Назарет идеже бе воспитан*»...—ты уже низко наклоняешь голову — знаешь, что именно так, с преклонением головы, слушают в церкви Евангелие.

Вместе со всеми, кто стоит вокруг, ты поешь «Верую»—и веруешь,—не все еще понимаешь, но всей душой веруешь — и во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, и в Духа Святого, и в воскресение мертвых, и во Единую, Святую, соборную и апостольскую церковь...

А как трепетно ждешь ты главной минуты литургии!..

Как радостно было накануне, когда вернувшись домой после первой исповеди, ты лег спать не поужинав. И утром, перед обедней, перед причастием тоже ничего не ешь и не пьешь. С какой легкостью и на душе и в теле идешь ты вместе с мамой в церковь.

И вот она — главная минута. Ты — впереди, но не из самых первых. Первые — младенцы и вообще маленькие, а ты уже большой, ты — исповедник.

Еще издали видишь Чашу и красный плат в руке дьякона. И красную завесу в барочных прорезях царских врат.

Подходит твоя очередь. Волнуешься, но волнение это радостное, счастливое. Слегка привстав на цыпочки, тянешься, вытягиваешь шею. Высокий дьякон, чуть-чуть наклонившись, подносит к твоему подбородку сложенный вчетверо большой красный шелковый, почему-то очень нежно касающийся твоей кожи платок.

— Имя? — сдерживая бас, вопрошает дьякон.

— Алексей.

(Да, я уже знаю, что в церкви я — не Алексей, а Алексий.)

Руки сложены крестом на груди. Открываешь рот. И видишь, как, слегка наклонившись, бережно подносит баюшка к твоему отверзтому рту золотую или серебряную плоскую, утлую ложечку, что-то при этом произнося, называя твое имя. Уже! Свершилось! В тебя вошли, озарили тебя блаженством — тело и кровь Христовы. Это — вино и хлеб, но это не похоже ни на вино, ни на хлеб, ни на какие другие человеческие еды и питья.

Спускаешься с амвона, медленно следуешь за другими мальчиками и девочками, и за какими-нибудь дряхлыми старичками и старушками, к тому низенькому столику, на котором ждет тебя блюдо с белыми кубиками просфоры, большой медный кувшин или чайник, а рядом на подносе плоские серебряные чашечки с такими ручками, какие бывают на ситечках для чая. В чашках слегка розовеет прозрачная жидкость — т е п л о. Кладешь в рот два-три кусочка просфоры, запиваешь теплом. Ах, как хорошо!.. Подумал сейчас — никакие конфеты, никакая халва или пастила никогда не доставляли такого наслаждения. Но — нет, при чем тут пастила и халва? Эта радость — не гастрономическая, не чувственная. Это — продолжение, заключение того, что только что свершилось на амвоне.

Отходишь в сторону, ищешь глазами маму. Вот она! Издали улыбаясь, пробирается она к тебе, наклоняется, нежно целует в щеку, поздравляет с принятием святых тайн. И ко всем другим запахам примешивается еще и мамин запах — запах муфты, меха, духов и зубного лекарства...

*

А перед этим была неделя, когда ты говел, то есть готовился к исповеди. Мама, не евшая скоромное весь великий пост, нам, детям, позволяла поститься только ту неделю, когда мы говели. По возрасту я пошел к исповеди первый, за мной — Вася, а потом, уже в год революции, и Ляля, очень по ее словам весь день волновавшаяся, потому что был на ее душе большой грех: неделю назад стянула она на кухне и украдкой съела испеченную из теста птичку, румяного благовещенского жаворонка.

Конечно, наш детский пост не был изнуряющим. Вместо мяса мы ели рыбу, кофе пили с миндальным молоком, на ужин нам давали картофельные котлеты с грибным соусом или какие-нибудь копчушки.

Когда я подрост, мне позволено было поститься и на Страстной неделе. Всю эту неделю я ежедневно бывал с мамой в церкви, иногда и по два раза, на двух службах. И тогда, в детстве, и сейчас, когда голова моя давно побелела, великопостная служба, особенно всенощная,— моя самая любимая. Не передать всей прелести той скромной и печальной обстановки, какая царит в полутемном храме в эти зимние или весенние вечера. И облачение духовенства и парчовые украшения на иконостасе и те холщовые

чехлы, которые надеваются на аналои,— всё в эти дни траурное, неяркое, неброское— черное с белым или серебряным.

И в детстве я не мог и сейчас не могу без слез, без спазма в горле слушать или читать молитву Святого Ефрема Сирина.

Отзвучали последние песнопения, отгудел бас дьякона, погасло электричество, только редкие свечки помигивают то тут, то там — у распятия, у Казанской, у Скорбящей, у Николы Чудотворца, у Серафима Саровского... И молящихся уже не так много.

Из левой боковой алтарной двери выходит на амвон батюшка. Он уже снял свое жесткое черно-серебряное облачение, остался в домашней, черной или темносерой рясе, на которой так чисто и молитвенно грустно посверкивает наперсный серебряный крест.

Обратившись лицом к уже закрытым, уже потемневшим, потускневшим царским вратам, батюшка некоторое время молчит. Молчим и мы, ждем. Тихо, как никогда в другое время не бывает тихо, в храме. Только где-нибудь догорающая свечка вдруг нешумно затрещит, зафыркает, как бенгальский огонь. И опять тишина.

— Господи и владыко живота моего,— истово, мягко и четко начинает батюшка, осеняя себя широким и неторопливым крестом. И ты, маленький, но не чувствующий себя маленьким, громко или шопотом повторяешь за седовласым пастырем дивные слова молитвы:

— Дух праздности, уныния, любоначала и празднословия не даждь ми!

И вслед за священником и вместе со всеми, кто стоит вокруг, ты опускаешься на колени, крестишься и лбом касаешься холодной плиты пола. И сразу поднимаешься. И все поднимаются. Как море, как волны шумят вокруг. И ты опять слышишь голос батюшки и со слезами в голосе истово повторяешь за ним:

— Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему!..

И опять шумят волны. Опять ты опускаешься на колени.

Одна за другой гаснут свечи. И в полумраке храма только лампы— малиновые, зеленые, густосиние, по моим представлениям неугасимые, никогда не гаснущие, неярко светятся, мигают и тоже на всю жизнь оставляют след в твоей памяти и в твоей душе.



Нет, конечно же, не только здесь, в храме, на богослужении, приобщался я к христианской вере. Еще задолго до школы мама познакомила меня с Новым, а потом и с Ветхим Заветом. Если не ошибаюсь, она не читала, а рассказывала.

Если всё ветхозаветное— Адам и Ева, Каин и Авель, Авраам, Иаков, младенец Мойсей, плывущий в корзиночке по реке, история Иосифа и братьев его, Давид и Голиаф, Самсон— если, при всей возвышенности и духовности, всё это было все-таки чем-то отвлеченным, эпическим, сказочным, то в истории жизни и смерти Спасителя все — даже чудеса — было лишено малейшей книжности, было очень домашним, понятным, родственно-близким. Вероятно, рассказывая, мама пользовалась какими-нибудь картинками, потому что в памяти моей живет как свое, как виденное мной самим — и хлев в Вифлееме, и плотничий верстак Иосифа, и мальчик Иисус в белом хитончике, которого потеряла на празднике мать и, изволновавшись, нашла наконец в храме, окруженного взрослыми, учеными людьми, с удивлением в н и м а ю щ и м и ему и у ж а с а х у с я. И свадьба в Кане Галилейской, когда не хватало вина. И Генисаретское озеро. И Нагорная проповедь, слова которой не поражали тебя, а ненавязчиво, как нечто непреложное, входили в твое сознание, в душу, в твой жизненный обиход.

Но даже, пожалуй, и не этими урочными беседами учила и воспитывала нас прежде всего мама. Учила она, каждый день и каждый час, добрым примером, собственными поступками, всем, что делала и о чем говорила. Самый несложный житейский случай, какой-нибудь семейный анекдот приобретали в ее изложении ненавязчивый учебный характер. Вот рассказывает она о нашем отце:

— Когда вы с Васей были совсем маленькие (а тебя, детка, еще и совсем на свете не было), собрались у нас как-то гости. И среди нчх был один мальчик, дальний папин родственник — Володя. Он забрался к папе на колени, стал обнимать его и говорить: «Вы знаете, дядя Вяня, хочу коньки себе купить!» «Да что ты?— говорит папа.— А где же ты деньги возьмешь?» «Накоплю». Прижался так нежно-нежно к нашему папочке

и ласково так: «Вот вы мне, дядя Ваня, рублик дадите». Папа его с колен стряхнул и говорит: «А ну пошел!»

Этот рассказ повторялся многократно и все-таки всякий раз мы встречали конец его громким хохотом. Смеялась, ничего не понимая, даже маленькая Ляля. А нам с Васей ненавязчиво внушалось, что поступать так нельзя. Мы смеялись над подлизой, подхалимом, над низостью этого нашего дальнего, а теперь уже и вовсе далекого, не нужного нам родственника Володи. «Вот вы рублик дадите» и «Пошел вон» — два характера. Кому подражать? Над кем смеяться? У кого учиться? Знали, над кем, знали, у кого.

Или рассказывает мама о своей гимназической подруге Мане Зиминной. Эта Маня была уже барышня, может быть даже замужняя. Шла Гостинным двором, у нее расстегнулась сумочка и вся мелочь — медь и серебро — посыпалась на тротуар. И эта барынька постеснялась собрать деньги. Покраснела и убежала, стуча каблучками. Оценка и тут не подсказывалась. Но ясно было, что мама, не зло, но все-таки подсмеивается над пошлячкой, мещанкой, над не очень умным человеком.

Мы часто бывали с мамой на Смоленском кладбище. Там, на Кузнецовской дорожке находилась усыпальница Спехиных. В те годы (а впрочем, и долго после этого) на Смоленском стояла часовня памяти Ксении Блаженной. В часовне служили молебны. Питерская жительница юродивая Ксения жила, если не ошибаюсь, в конце восемнадцатого или в начале девятнадцатого века*. Мама часто рассказывала мне о ней. Но — что рассказывала? Не о чудесах каких-нибудь, а о том, например, как строился на Васильевском острове трехэтажный дом и как по ночам блаженная Ксения носила вверх кирпичи — украдкой помогала каменщикам, делала за них часть работы. До сих пор вижу эту согбенную старую женщину с ношей кирпича за спиной, поднимающуюся по жиденьким дощатым лесам.

Вообще мама всегда с большим уважением говорила о рабочих людях, будь то сапожник, плотник, часовщик или зонтичных дел мастер.

Но главное — это все-таки добрый пример, поступки самой мамы. Учила нас работать, учила помогать ближним, учила веселому терпению.

Вот взяла она меня с собой на Покровский рынок. Мы совсем немного прошли по набережной, когда кто-то окликнул маму. Набережную Фонтанки наискось переходила бедно одетая женщина. Плача и хватая маму за руки, эта женщина стала рассказывать какую-то ужасную историю о больнице, об умирающей от чахотки матери, о том, что нет денег выкупить из ломбарда швейную машину. Сейчас я думаю, и почти не сомневаюсь в этом, что женщина эта была «стрелком», профессиональной нищенкой, вымогательницей.

— Помогите! Барыня! Сколько можете, — говорила она, захлебываясь слезами.

— Не плачьте, милая, успокойтесь, не надо, — говорила, сама чуть не плача, мама. И торопливо расстегнув свой ридикюль, она протянула женщине синюю пятирублевую бумажку. Женщина на лету схватила деньги, схватила мамину руку, поцеловала ее и побежала в сторону Лермонтовского.

Защелкнув ридикюль, повернула и мама.

— Идем домой, — сказала она.

— Как? Мы же на рынок!..

— Нечего, дорогой, нам там делать. У меня больше денег с собой нет.

Разумеется, нищими, даже просто бедными мы не были, но и безмерными богатствами тоже никогда не располагали. А сейчас во время войны, когда отец был на фронте, мама сама с утра до закрытия простоявала в лесном дворе; экономя деньги, она жила это время с одной прислугой «за кухарку и горничную». Вряд ли мы легли спать голодными в тот вечер, но ели, я думаю, что-нибудь вчерашнее, разогретое.

Таких случаев я мог бы, вероятно, привести десятки, если не сотни. Сейчас записываю только то, что сию минуту вспомнилось, всплыло в памяти...

Вот вспоминается случай — может быть, самый разительный, говорящий уже не просто о доброте, а о святости нашей мамы. «О глупости», — сказал бы другой. «О простоте», «О юродстве».

Революция разорила нашу семью самым буквальным образом. То есть разорила до гла. Ранней весной 1918 года мама увезла нас от голода в ярославскую деревню, на родину нашего управляющего Федора Глебыча. Последить за квартирой она просила Васю Корицова, внука этого Федора Глебыча, мичмана, которого отец наш, что называется, вытащил из грязи в князи, дал образование, помог стать на ноги. Когда ме-

сяца два спустя, в том же восемнадцатом году, мама приехала из деревни в Петроград, чтобы взять кое-что из вещей, — этот Васька встретил ее вдрызг пьяный. Он пиროвал с друзьями и подружками в нашей гостиной. Маму он выгнал, стрелял над ее головой из нагана...

Квартира была разграблена. В кабинете отца и в спальней поселился некто Киселев, работник Экспедиции заготовления государственных бумаг. Вообще-то это, пожалуй, совсем другая тема, но вместе с тем каким-то боком то, о чем я говорю, касается и этой темы, поэтому позволю себе сказать, что несмотря на весь ужас положения, в котором мы оказались, несмотря на самую беспросветную нищету, на голод, холод, обмороженные руки, на бездомную, беспризорную жизнь, я, мамин выученик и воспитанник, и тогда, в детстве, и много лет, даже десятилетий спустя, считал всё случившееся с нами законным и справедливым. Хотя, если вдуматься, ни малейшей справедливости тут не было. Другое дело, если бы в доме нашем поселились настоящие бедняки, обездоленные из лачуг и подвалов, из-за какаля-нибудь Нарвской или Невской заставы. Киселев, сколько мне известно, ни в подвалах, ни в лачугах не жил. Как я уже сказал, он работал в Экспедиции. Это было государственное предприятие, работавшие в Экспедиции принадлежали к так называемой рабочей аристократии. В Экспедиции был свой хороший кооперативный магазин, свой клуб, даже свой самодеятельный театр. Рабочие Экспедиции носили форменную — черную с зеленым — одежду. Заработная плата у них была значительно выше, чем на предприятиях частных.

Поселившись в нашем доме, Киселев получил какой-то руководящий пост: председатель домкомбеда (то есть домового комитета бедноты?). Мы жили тогда у тетки, маминной сестры. Вася и я спали на полу в прихожей. В прихожей было холодно. Лютый холод стоял и в той комнате, где приютились мама, Ляля, другая мамина сестра с дочерью Ирой и разделявшая с нами все злоключения тех лет бывшая наша бонна Елена Ивановна.

Несколько раз мама ездила на Фонтанку, просила Киселева, чтобы он разрешил взять несколько досок с нашего лесного двора. Один раз он разрешил взять десять досок другой раз — пять. Помню, как мы с Васей приезжали с санками и как нам отпущали, отсчитывали эти доски. Помню свои руки — лиловые, покрытые цыпками.

Потом оказалось, что этот Киселев — не только садист, но и мошенник. В кабинете отца он обнаружил вделанный в стену небольшой несгораемый шкаф. Думая, что там хранятся какие-нибудь несметные сокровища, он взломал этот шкаф. В шкафу не оказалось ничего, кроме деловых бумаг и высочайших указов о награждении отца боевыми орденами...

Кто-то на Киселева донес. Дело попало в милицию или, кажется, даже в Чека. Ему грозили крупные неприятности. Каким-то образом он разыскал нас на Екатерининском канале, где мы тогда прозябали, прибежал и стал чуть ли не на коленях умолять нашу маму, чтобы она пошла и сказала, что это она открыла сейф. Иначе, мол, ему грозит расстрел. И мама, недавно потерявшая мужа, разоренная, лишившаяся буквально всего — от икон до детских башмаков и игрушек, — пошла куда требовалось и сказала то, о чем просил ее этот человек.

✱

До сих пор я рассказывал о своей вере. Хочешь не хочешь, а пришло время сказать о том, как я ее потерял. Впрочем, как и в какую минуту это случилось, когда именно я стал безбожником, при всем напряжении памяти вспомнить не могу. Хорошо помню, что еще летом 1918 года в деревне Ченцово, читая «Братьев Карамазовых» и подражая Алеше, я страстно мечтал уйти в монастырь, стать послушником.

Тогда же, в начале того же лета я видел в последний раз отца. Он пожил с нами в деревне три-четыре дня и уехал. Прощаясь, он снял с себя старинный золотой старообрядческий крест, надел его на меня и сказал:

— Носи.

И я носил этот крест, перед сном целовал.

Молитвенно был настроен я, помнится, и в Ярославле, куда мама привезла лечить меня от дифтерита и где мы неожиданно оказались в самом центре знаменитого эсеровского восстания. Хорошо помню церкви и в самом Ярославле и в селе Красном, куда мы несколько раз ходили из Ченцова. Помню Николо-Бабайский монастырь на Волге. Там нам пришлось ночевать — перед тем как тронуться дальше — в поисках хлебных

мест. Спали мы на полу, на тюфяках, которые нам дали монахи. Сам я этого не помню, а Ляля говорит, что я долго тогда молился, крестился, укрывшись с головой одеялом. Да и в памяти души сохранилось ощущение святости, духовности, божественности этого места...

А потом — Мензелинск. Убогая, вшивая, угарная, голодная и холодная жизнь. Детский дом. Сельскохозяйственная школа. Профтехническая школа. И тут вот будто в черную яму проваливаюсь.

Уже ничего святого нет в душе.

Вместе со всеми ору:

Никто не даст нам избавленья —
Ни Бог, ни царь и ни герой...

Бога нет! Все позволено. Все можно. Забыты моисеевы заповеди. Забыты заповеди блаженства.

Первая кража. И не где-нибудь, а — в монастыре, у монахинь!

Пожалуй, все-таки я неправильно сказал — о черной яме. Это сейчас, издали так мне кажется, будто я был в яме. А тогда, вероятно, лукавый здорово путал меня. Неправда, будто я орал слова Интернационала. Я истово пел, а не орал. Ушел Бог, но пришли идолы. Мировая Революция. Коминтерн. Ленин. Троцкий. Зиновьев. И прекрасная заповедь:

«Мир хижинам, война дворцам».

Тогда я не знал, не понимал и понимать не хотел, что за алым полотнищем, на котором начертаны были эти соблазнительные слова, прячутся, притаились со зловещей ухмылкой Киселев и мичман Корытов. То есть я этой ухмылки не видел, не хотел видеть. Все справедливо, — говорил я себе. «В белом венчике из роз впереди Иисус Христос». Именно так принимал я революцию, еще не зная, не слыша даже имени Блока. И шел — без имени святого — куда все шли.

Долой, долой монахов,
Долой, долой попов,—

кричал я вместе со всеми на первомайской или октябрьской демонстрации.

И все-таки это было наваждением, кознями дьявола. В самом деле — как же это могло так сразу — будто с пятого этажа головой вниз?!

А что же мама? Мама, конечно, страдала, как страдали и другие матери, терявшие духовное родство с детьми. Правда, я щадил ее. Когда мы вернулись в Петроград, я несколько раз ездил с нею на Смоленское кладбище. Безработные попы тучами накидывались на нас еще у ворот, предлагая свои услуги. Мама выбирала самого несчастного, голодного, и он служил на спехинских могилах панихиду. Я стоял, сняв шапку крестился, но в душе Бога не было.

Я уже был в Шкиде, когда маме сделал предложение мой будущий отчим Василий Васильевич. Точных сведений о гибели отца не было, мама и по церковному и по гражданскому праву считалась замужней. За разрешением на новый брак ей пришлось обращаться к петроградскому митрополиту. Митрополит разрешение дал. Но этого ей показалось мало. В первый приемный день она приехала ко мне в школу им. Достоевского и сказала, что без моего согласия замуж не пойдет. Страшновато вспоминать этот день. Я не только благословил ее на брак, но и согласился быть шафером на свадьбе. Венчались они в домово́й церкви Обуховской городской больницы, на Фонтанке, и я, четырнадцатилетний, держал над головой матери венец. И опять холодно и пусто было и в церкви и в душе. И когда я крестился или прикадавался ко кресту — это было притворством.

*

Сколько же оно длилось это наваждение? Вспоминал, считал и подсчитывал сейчас и оказалось, что очень долго длилось — лет шесть или семь.

Стыдно, ужасно стыдно писать об этом, но — взялся каяться, изволь каяться до конца.

Я не только был безбожником. Я был неистовым, воинствующим, скотоподобным по выражению Вл. Соловьева, безбожником. И в Шкиде и после Шкиды, и в жизни и в постыдных писаниях своих.

Гриша Белых, например, человек религиозно индифферентный, только года за два до случившейся с ним беды задумавшийся над смыслом жизни, сказавший мне

как-то: «Пожалуй, ты прав, без Бога жить нельзя»,— Гриша Белых в те черные годы никогда не писал таких омерзительных, кощунственных антирелигиозных гадостей, какие печатал под разными псевдонимами я.

Но самый страшный грех моей жизни — грех, который никогда и ничем не оплатишь, относится ко временам Шкиды.

Пришел к нам, в IV отделение новичок, худенький белобрысый и краснолицый мальчик Сережа Лобанов *, как позже узнали мы, саратовский, из купеческой семьи. Не помню, в первый ли день или позже, кто-то обнаружил у него на шее ладанку.

— Что это?

— Это мне мама, когда я уезжал, повесила.

Другие посмеялись, даже поиздевались и — отстали. А я — не отстал.

— Снимай! Показывай, что это?

Лобанов, вообще-то мальчик мягкотелый, безвольный, снять ладанку отказался. Тогда я накинулся на него, повалил на пол, сорвал этот мешочек, вспорол его. Там оказался маленький серебряный образок и горсточка родной, саратовской земли.

Что я сделал с этим поруганным образком, с этим мешочком и с землей — не помню. Но помню, как сидел на полу, раскинув ноги, Сережа Лобанов и горько плакал и размазывал слезы по лицу.

Екнуло у меня тогда сердце? Хоть на миг, хоть на секунду? Тоже не помню. Испытываю только жгучий стыд и позднее раскаяние.

Как это ни удивительно, с Сережей Лобановым мы в дальнейшем подружились. Еще в Шкиде. И тянулась наша дружба много лет, до дня его смерти в 1955 году. Это был прекрасный человек, чистый, добрый, хороший товарищ. Уйдя из Шкиды, он жил и работал в разных городах, вступил в комсомол, потом в партию, был журналистом, кончал ленинградскую партийную школу, работал в газетах, подвергался гонениям, исключался, восстанавливался... Последние десять — двенадцать лет Сергей Иванович возглавлял Карело-финское республиканское издательство. Находясь на этом посту, он делал много доброго. В трудные для меня времена, когда Детгиз и другие издательства или не печатали меня, или переиздавали раз в год какую-нибудь старую книжечку, С. И. Лобанов выпустил мой однотомник, для которого я написал — по его настоянию — автобиографическую повесть «Лёнька Пантелеев» *. За эту книгу ему очень сильно попало от местного партийного начальства, но именно этот мой петрозаводский однотомник вызвал полгода или год спустя появление в «Литературной газете» * хвалебной статьи К. Чуковского «Мускулатура таланта». Сережа был тогда уже безнадежно болен, травля, которой он подвергался, и другие беды свалили его, обострился и быстро стал сжигать его туберкулез, но статью в «Литературке» он все-таки прочесть успел.

Не меньше, если не больше, сделал Сережа Лобанов для Михаила Михайловича Зоценки. Это по его, сережиной, идее была разыскана повесть Лассила «За спичками», а перевод ее предложен Зоценке *. Михаил Михайлович всегда, до последнего дня, с нежностью и благодарностью вспоминал Сережу, человека, который в те безжалостные сталинско-ждановские времена нашел в себе мужество дать опальному писателю интересную, денежную работу (а советскому читателю возможность читать Зоценку под другой, финской фамилией).

В повести «Республика Шкид» Сережа Лобанов ни разу не появляется, даже не назван. Почему же? Как могли авторы обойти его? Забыли? Нет, не забыли. Когда мы с Белых разрабатывали план повести, была намечена целая глава, посвященная Лобанову, и даже название было придумано — «Печорин из Саратова». Работать над этой главой предстояло мне. Но я не стал писать ее. Не мог. Было стыдно.

Не здесь ли, не в ту ли минуту, когда я вдруг испытал этот стыд, открылось в душе мсей окошечко, в которое, сначала робко, а потом в полную силу снова хлынул свет?.. В конце 1926 года я твердо сказал Шварцу: «Верю». Полгода или год назад я, может быть, и не сказал бы так.

У Лобанова были основания для обиды. Не найдя себя на страницах книги, где были названы куда менее заметные наши одноклассники, он, конечно, не мог не огорчиться. Но об этом он никогда не заговаривал. Заговорил как-то я сам.

Мы шли с ним по проспекту Майорова, проходили мимо церкви Вознесения, я снял шапку, перекрестился. Искоса посмотрев на меня, Сережа слегка улыбнулся.

— Я знаю, о чем ты сейчас подумал,— сказал я.

— О чем?

— Ты вспоминал свой первый день в Шкиде.

Он промолчал, все так же мягко улыбаясь.

Сбиваясь и краснея, я сказал, что испытываю чувство огромной вины перед ним. И чувство стыда. Что именно этот стыд помешал мне рассказать о нем на страницах «Республики Шкид».

Тут он произнес слова, которые должны были убить меня и — не убили.

— Да, я очень хорошо помню этот день, — сказал Сережа. — Не сразу, но очень скоро после этого я стал «как все» — потерял Бога.

— Ты жалеешь об этом?

— Да. Откровенно говоря, жалею. И много раз пытался воскресить в себе свою детскую веру. Много раз заходил в церковь. Но — нет, не воскрешается, не возвращается.

На своем веку я знал несколько человек, которые, не считая себя верующими, исповедуя атеизм, оставались тем не менее до конца истинными христианами. Так по-христиански, по-божески прожил свою трудную жизнь и член КПСС Сергей Иванович Лобанов.



Говоря о своем раннем детстве, вспоминая мать и отца, я не упомянул об одном удивительном на первый взгляд явлении. В нашей купеческо-дворянской семье никогда не было ни малейшего антисемитизма. Мама наша не могла быть юдофобкой как убежденная, мыслящая христианка, отец, вероятно, по присущему ему благородству. Хотя рос он в среде самой располагающей, самой темной, черносотенной. Достаточно сказать, что отчим его был членом Русского собрания. Но может быть именно это обстоятельство, как и то, что человек этот был подписчиком «Нового Времени», шовинистом и монархистом, еще больше способствовало отталкиванию отца от всего того, чему его пытались учить и наставлять. Это в доме отчима, уже будучи офицером, отец мой не стал пить, отставил бокал с шампанским и продолжал сидеть, когда был провозглашен тост «за здоровье государя-императора» и все вокруг дружно и торжественно поднялись. Назвать отца интеллигентным я не могу. Читал он мало. Но со слов бабушки знаю, что на решение его уйти из армии повлияла «Поединок» Куприна. Разочаровавшись в идеалах своей юности, отец сразу после русско-японской войны вышел в запас. Однако в августе 1914 года он, как я уже говорил, опять оказался в действующей армии. А четыре года спустя вдруг вспомнил, что присягал на верность — тому самому государю-императору, за здоровье которого когда-то отказался пить и которого, как личность, не только не уважал, но скорее презирал...

Антисемит — это всегда (не «почти всегда», как я первоначально написал, а всегда) мелкий человек. Отца я просто не представляю опустившимся до этого.

Мамин отец Василий Федорович Спехин, «дедушка Василий», мальчиком работал в зонтичной мастерской Левина. Жил он при хозяине. Сколько раз слушали мы от мамы всякие трогательные и смешные истории из жизни этого большого и дружного еврейского семейства, душой которого была хозяйка, добрая, веселая женщина...

Слово «жид» я впервые услышал на улице, когда мне было уже лет семь-восемь. У ворот Экспедиции стоял бородатый сторож в тулупе и смеялся над очень худой, бледной, ёжащейся от холода еврейкой в черном платке. Тоненьким и гаденьким голосом бородач повторял одно и то же слово:

— Жи-и-и-д!

А женщина сердилась и отвечала ему:

— Это ты не хочешь жить, а я хочу жить.

— Что он говорит? — спросил я маму.

— Это нехороший человек, — сказала мама.

«Нехороший человек», «нехорошее слово»... Как «чорт», как божба, как те грязные, страшные и непонятные слова, которые со вкусом выговаривал в уборной приговорительного училища толстощекий штабс-капитанский сын Василевский.



Коротенький, как переключка патрулей, разговор с Женей Шварцем в коридоре Госиздата запомнился мне, запечатлелся в памяти, как на магнитофонной или кинематографической ленте. А вот когда и как я узнал, что верят в Бога Самуил Яковлевич

Маршак, Тамара Григорьевна Габбе*, Даниил Иванович Хармс*,— при всем желании вспомнить не могу. Но ведь была же минута, когда и Самуил Яковлевич спросил:

— Ты в Бога веришь?

И я ответил:

— Да.

В какого же Бога он верил?.. Он читал и возил с собой повсюду две маленьких книжечки: русскую Псалтырь и английского Блейка*. Об этом я писал в воспоминаниях о Маршаке, думая, что сообщаю этим очень много. Боюсь, что большинство читателей расценили это лишь как свидетельство эстетических вкусов Маршака.

О том, как он верил, я его не спрашивал. Обо мне он знал, что я хожу в церковь, ношу крест, что я православный. Бог у нас был один. В ленинградские и в первые московские годы он молился. Сколько раз слышал я от него в трудную минуту:

— Молись! Молись!

И руку твою при этом крепко сожмет, как будто внушает, передает, перекачивает в тебя свое высокое молитвенное состояние.

Хорошо помню, как молились мы с ним в тот страшный, незабываемо страшный вечер 1937 года, когда пришли мы втроем измученные, истерзанные с улицы Воинова на улицу Пестеля и когда Софью Михайловну* оставила обычная ее собранность и сдержанность, когда она с рыданиями упала в столовой на тахту, забилась в истерике и стала кричать:

— Все кончено! Мы погибли! Завтра нас всех арестуют!..

Вместо того, чтобы успокаивать жену, Самуила Яковлевич увел меня к себе в кабинет, прикрыл дверь и сказал:

— Молись!

Много лет спустя критик Сарнов в какой-то статье о Маршаке упомянул об атеистическом мировоззрении поэта. Я не удержался и написал Сарнову, спросил его: достаточно ли твердо он убежден в своем праве так писать? Он удивился, ответил в том смысле, что о мировоззрении поэта свидетельствуют его стихи.

Никогда на моей памяти в своих публиковавшихся лирических стихах Самуил Яковлевич не касался этой темы. В переводах с английского встречаются острые антиклерикальные эпиграммы. Но антиклерикальное можно найти и у глубоко верующего Вильяма Блейка.

Да, в самые последние годы, уже после смерти Тамары Григорьевны Габбе, какой-то поворот в мировоззрении Маршака произошел. Мне кажется, в какую-то минуту он усомнился в бессмертии души. Основываюсь на тех же источниках, на какие ссылается Б. М. Сарнов: на его стихах*.

Последние годы мы виделись с Самуилом Яковлевичем не часто, и он уже никогда не заговаривал на эту тему. И все-таки я знал и знаю и могу присягнуть, что атеистом он не сделался, как бы ни хотели этого некоторые близкие к нему люди.

Когда он умер и я, узнав об этом, умудрился за двенадцать часов, пересаживаясь с поездов на поезды, с автобуса на автобус, примчаться из глухой эстонской деревушки в Москву и очутился на улице Чкалова в опустевшей, онемевшей и оглохшей квартире, первое, что я увидел, что бросилось мне в глаза — это два или три листочка очень белой бумаги, положенные на черную крышку рояля. Буквально всем, кто появлялся в столовой, сын Самуила Яковлевича Элик* говорил, показывая на рояль:

— Последние стихи Самуила Яковлевича*.

И все читали. И многие удивлялись. Когда мы полчаса или час спустя вышли с Александрой Иосифовной Любарской* на лестницу, первое, что она сказала, было:

— Какие странные стихи!

— Да,— сказал я.— Очень странные.

— Это так непохоже на то, что он всю жизнь говорил!..

Сама Александра Иосифовна оставалась неверующей и, как я знаю, последние годы жалела об этом. Лет пять-шесть назад в очень трудную для нее минуту она сказала мне:

— Я убедилась, что человека надо с детства воспитывать в религиозном духе. В этом одном — спасение.

— Да,— сказал я.— Мне это очень давно известно.

Когда были написаны последние стихи Маршака,— и действительно ли они были последними,— я не знаю. Но знаю, что при жизни он их не печатал, не хотел, во всяком случае колебался, откладывал, не решался. А сын, во всем очень похо-

жий на отца, но похожий карикатурно, любивший отца и ненавидевший его, презиравший все, что любил отец (Гоголя, например), сын, больше всех знавший правду, больше всего боялся, что за отцом его останется слава идеалиста, человека, верившего в Бога.

Убежден, что листочки со стихами были заготовлены очень загодя и ждали своего часа. И когда этот час пришел, Иммануэль Самойлович положил их — якобы небрежно — на черную доску рояля и так же якобы небрежно ронял:

— Последние стихи Самуила Яковлевича.

Я сказал: знавший больше всех... Да, больше всех, и все-таки не всю правду.

Всю правду о Маршаке знала, может быть, одна Розалия Ивановна Вильтцын, его долголетний секретарь *. Она любила Самуила Яковлевича. И в старости уже не скрывала этой любви. Когда он умер, она не отходила от его гроба. Всю ночь пролежала в морге.

А после похорон, на поминках, когда кто-то что-то попросил на память о Самуиле Яковлевиче или — не помню — в связи с какими-то другими разговорами о вещах Самуила Яковлевича, она, заплакannая, изрванная, осунувшаяся и потемневшая, вдруг улыбнулась и сказала — как будто не людям, ее окружавшим, а самой себе, внутри себя:

— А уж одну его книжечку я никому не отдам. Не-е-ет, никому!..

Тогда я не понял. Представилась записная книжка. А потом — в тот же день — вдруг догадался: серенькую, потрепанную, слегка уже засаленную Псалтырь она никому не отдаст, книгу, которая ей дорога и как память о Маршаке и, может быть, больше, чем память. Думаю, что и Розалия Ивановна была верующей. По-немецки. По-лютерански. Именно еще и потому была близка ее сердцу эта «книжечка»: Книга Псалмов.

✱

Свои чудесные записки, посвященные памяти Тамары Григорьевны Габбе *, наш общий друг Л. К. Чуковская начинает такими словами:

«Тусенька была первым интеллигентным религиозным человеком, с которым я встретилась в жизни. Меня это дивило; мне тогда казалось, по молодости лет, что религиозность присуща только людям простым и отсталым; Туся же была так умна, так образованна, так начитанна, от ее суждений веяло зрелостью ума и сердца. И вдруг — Евангелие, Пасха, церковь, золотой крестик, молитвы... Я видела, что разговаривать о своей религии она не любит, и долго не решалась ее расспрашивать. Но любопытство взяло верх и однажды, уже в редакционные годы (наверное, в начале тридцатых) я попросила ее рассказать мне и Шуре о своей религии, объяснить нам, в какого она верит бога.

— Хорошо, — сказала Туся, — но только с одним условием. Я вам объясню раз, и поймете вы или нет — я больше никогда объяснять не стану, а вы больше никогда меня спрашивать не будете...»

Что Лидия Корнеевна не поняла, видно уже из того, как она пересказывает «символ веры» Тамары Григорьевны. Это что-то придуманное, рассудочное, обжигающе холодное, где нет места ни Евангелию, ни кресту, ни церкви, ни тем более молитве (в ее записи есть такое выражение: «Бог — это счет»). Правда, Л<идия> К<орнеевна> тут же оговаривается, что «воспроизвести тусин рассказ подробно я сейчас, четверть века спустя, не могу». Не может, и все-таки пытается, записывает. Неудивительно, что так долго не отзывалась Тамара Григорьевна на лидино любопытство. Понимая, что переучить, переубедить своих неверующих приятельниц она не сумеет, Тамара Григорьевна не хотела и не могла в с у е говорить о столь дорогих для нее вещах. Как же мне это знакомо — ненужность и невозможность проповеди в тех случаях, когда видишь перед собой глухую стену, когда не хватает кислорода для того, чтобы горела свеча, и ты чувствуешь и понимаешь это. Другое дело, если свеча горит ярко и есть надежда, что свет ее будет увиден, а ты — из страха, из лени, наконец просто по своей дурацкой стеснительности — ставишь ее под сосудом, проще говоря — не делаешь попыток нести ближним слово Божие.

Во мне Тамара Григорьевна очень скоро разглядела единомышленника, но как, при каких обстоятельствах это обнаружилось, я тоже не запомнил. В молодые годы мы несколько раз бывали с нею в церкви, молились. Помню, она говорила мне, что молитва в храме умиляет ее часто до слез.

— Стоишь на коленях и молишься, а рядом тоже стоит на коленях и тоже молится какая-нибудь торговка сеledками и от нее так трогательно пахнет этими сеledками...

В те годы Тамара Григорьевна носила крест. Однажды в редакции, когда она наклонилась, чтобы поднять упавший на пол корректурный лист, золотой крестик выскользнул из-за воротника блузки. Произошло это в присутствии тогдашней руководительницы ленинградского отделения издательства Веры Кетлинской. У нее хватило чести, чтобы промолчать, сделать вид, что не заметила, но в тот же вечер она поехала к Маршаку и сказала:

— Хочу надеяться, что это — семейная традиция... какая-нибудь родовая реликвия?

— Да... по-видимому,— смутился Самуил Яковлевич.

— И все-таки посоветуйте, пожалуйста, Тамаре Григорьевне креста больше не носить, помнить, что она работает редактором издательства Центрального комитета ВЛКСМ.

Слышал я это от Самуила Яковлевича. Как поступила Тамара Григорьевна — не знаю. Кресты в те годы (а пожалуй, и много позже) пришиливали булавками к нижнему белью, зашивали в подкладку... Иконы висели в шкафах, маскировались занавесками, шторами, портъерами. В полновской сельскохозяйственной коммуне на озере Селигер в 1929 году у одной верующей женщины нашли икону, висевшую — под кроватью.

О своей ранней детской религиозности Тамара Григорьевна рассказывала мне довольно часто, но как и когда пришла к ней вера, я узнал значительно позже. Унаследовать религиозность ни с какой стороны Тамара Григорьевна не могла. Родители ее были выкрестами. Отца она потеряла рано, отчим Соломон Маркович, врач-стоматолог, насколько я знаю, был человек безрелигиозный. Мать, Евгения Самойловна, и обликом и характером удивительно напоминала мне мачеху нашей мамы Анастасию Николаевну. Обе они были красавицы. И в той и в другой было много какого-то цыганско-русского обаяния, светскости, но нельзя было обнаружить ни малейшего проявления духовности.

Евгения Самойловна была полковой дамой. Муж ее, отец Тамары Григорьевны (ничего еврейского, полный, солидный немец в мундире с эполетами), был военным врачом.

О том, когда, в какой именно час пришла к нашей милой Тусе благодать веры, я узнал из тех же прекрасных записок Л. К. Чуковской:

«Религиозная мысль впервые посетила ее в детстве. Маленькой девочкой, в Выборге, она стояла вечером у окна, слегка раздвинув шторы. За окном, в луче света, опускался снег, и она впервые ощутила огромность вселенной, единство жизни, свою причастность к миру и неизбежность смерти».

Конечно, и в этом случае, я уверен, Тамара Григорьевна рассказывала не этими словами и даже не совсем о том. И все-таки честь и слава Лидии Корнеевны, так хорошо написавшей этот зимний вечер в Выборге и маленькую задумавшуюся девочку у раздвинутой шторы...

Сама Лидия Корнеевна, к сожалению, совершенно глуха ко всему, что в ее устах и на языке ее круга именуется мистикой. Вспомнилось, как однажды, задолго еще до войны, говорила мне с улыбкой и огорчением Тамара Григорьевна:

— Представьте себе,— Лида мне сказала сегодня, что не верит в религиозность Анны Андреевны Ахматовой, считает все церковные мотивы в ее стихах — одной только «поэтикой»...

Впоследствии, узнав лучше Ахматову, а потом и близко подружившись с нею, Лидия Корнеевна не могла не изменить это свое мнение. Хотя верующий интеллигентный человек по-прежнему оставался — и остается — для нее сфинксом, загадкой, неразгаданной тайной*.

Об Анне Андреевне Ахматовой я здесь говорить не буду. Больше, чем знают о ее религиозности другие, мне знать не дано.

С горькой радостью вспоминаю, как нес к могиле ее гроб. Помню лица толпившихся у ямы. Ближе к яме всё больше члены партии, атеисты. От ленинградского союза писателей выступал с прощальным словом почему-то Нисон Ходза (оболгавший недавно Маршака, написавший в какой-то статье, будто тот «уговорил» его работать над антирелигиозной книжкой*). Из Москвы приехал неприлично веселый, развязный,

бодрый Михаилков. Жаловался, что легко оделся, думал — весна. Вижу в толпе — Ник. Григорьева*, А. Бейлина*, Петра Капицу*... Но перед гробом несли большой деревянный крест, шел с кадилом молодой маленький сердитый батюшка из Никольского собора. Запах табака перебивал запах ладана. Когда гроб поставили, открыли, началась давка, и кто-то крикнул:

— Сделайте проход! Дайте проститься друзьям и почитателям.

— Нет,— твердо и громко сказал маленький священник в серебряной ризе,— прежде чем пойдут прощаться друзья и почитатели, я должен предать ее земле.

И стал совершать то, чего много лет не видело и не слышало старое Келомякское лесное кладбище...

А Тамару Григорьевну сожгли в крематории у Донского монастыря. Кто так решил и кто придумал — не знаю. Сама она просить об этом вряд ли могла. Просила она о другом.

Перед выносом из квартиры на Аэропортовской, когда все уже простились с Тусей и вот-вот должны были застучать молотки, меня увлек куда-то в ванную или на кухню Самуил Яковлевич. В руке он держал маленькую, хорошо знакомую мне серебряную иконку. Руки у него дрожали, голос срывался.

— Подскажи, что делать. Вот иконка, с которой она не расставалась до последней минуты. Еще третьего дня она просила меня положить эту икону в гроб. Но ведь гроб сожгут!

Я сказал:

— Если она просила — положи.

— Но ведь сгорит!

— Душа ее не сгорит. Она верила. Ей нужно было это. Положи.

Но он продолжал колебаться. Вернувшись в ту комнату, где стоял гроб, он еще к кому-то обратился за советом. Твардовский, как всегда на похоронах, оживленный, разговорчивый, прежде времени выпивший, крикнул из угла, где стоял с таким же оживленным А. А. Сурковым:

— Положите в гроб икону! Она же была верующая...

Стоявшие у гроба Лида Чуковская и А. И. Любарская возмутились.

— Да прекратите же это наконец! — крикнула Лидия Корнеевна.

В ту минуту мне стало жалко ее. Да, не Тамару Григорьевну и не себя стало жалко, а Лиду Чуковскую.

✱

Пожалуй, никто из русских поэтов советского времени так ясно и недвусмысленно не заявлял о своем мировоззрении, как это сделано в стихах Николая Алексеевича Заболоцкого*. В группе обернутов, к которой примыкал молодой Заболоцкий, я могу назвать трех верующих. Заболоцкого в этот счет я не включаю. Его юношеский пантеизм, пантеизм «Ночных бесед», волновавший меня когда-то (и волнующий до сих пор), очень далек, однако, от моей религии. Православными, по-церковному религиозными людьми были Хармс, Введенский* и Юра Владимиров*. Учился в духовной школе, хорошо знал, любил и часто читал на древне-еврейском Библию Дойвбер Левин*. Но были он верующим — поручиться не могу. (Верующих интеллигентных евреев, т. е. иудеев, мне вообще встречать не приходилось. Может быть, исключением был С. М. Алянский, венчавшийся в синагоге, что в свое время было с одобрением отмечено в дневнике Блока*. Те же верующие евреи, которых я мог бы назвать, познав Бога, стали христианами, приняли крещение.)

Сказать, что я был близким другом Даниила Ивановича Хармса, я не могу. Меня редко радовали его стихи («взрослые»; детские я принял с восторгом сразу же). В первые годы, пока я к нему не привык, не всё нравилось мне в его поведении, кое-что раздражало, казалось наигрышем. В его окружении далеко не все были мне симпатичны. И все-таки нас всегда, едва ли не с первой встречи тянуло друг к другу. Духовная близость между нами была, мы чувствовали ее оба. Конечно, прежде всего и тут связывала нас наша вера.

Да, все-таки дружба была. В знак этой дружбы мы поменялись как-то с Даниилом Ивановичем — по его предложению — молитвенниками. Не знаю, какая участь постигла мою, очень старую, старообрядческую книгу. Его, то есть перешедший ко мне, мо-

литвослов пережил разорение блокадных лет, войну, Москву — и до сих пор стоит у меня в шкафу на заветной полке.

— Каким вы представляете Бога? — спросил меня однажды Даниил Иванович. — Стариком Саваофом, каким Его изображают под куполами церквей? С бородой?

— В детстве — да, представлял таким.

— А я и сейчас именно таким. Краснолицего с белой пушистой бородой.

Один раз мы где-то засиделись, и поздно вечером Даниил Иванович провожал меня. Трамвай еще ходили, но мы шли пешком — из центра на проспект Майорова, где я тогда жил. Проходили мимо церкви Вознесения. Даниил Иванович поднялся на паперть, опустился на колени и стал молиться. Молился долго. Может быть, и мне хотелось последовать его примеру, но я не сделал этого. Не мог. Боялся позы. Молился за его спиной, стоя.

Во многом, что делал и говорил тогда Хармс, мне чудилась поза. Конечно, я часто ошибался. И слишком поздно, увы, понял, что если в его поведении и бывало напускное, то в отношениях со мной этого напускного почти не было. Со мной он был искренен, честен, всегда оставался самим собой.

Ссориться мы с ним не ссорились, но размолвки бывали. Я, например, не понимал, как в одной душе могут уживаться вера и суеверие. А Даниил Иванович был суеверен.

Удивился я, когда Хармс не пришел ни на домашнюю литию, ни на вынос, ни на отпевание в Сергиевскую церковь, ни на Смоленское кладбище — проститься со своим верным другом и учеником Юрочкой Владимировым.

Несколько дней спустя я встретил Даниила Ивановича на Невском и спросил:

— Почему вы не были на похоронах Юры?

Хармс очень серьезно, почти надменно ответил:

— Я никогда никого не провожаю.

До сих пор чувствую укол в сердце от этих его слов.

Юрочка Владимиров! Курчавый мальчик, больше похожий на француза, чем на отпрыска старинного русского дворянского рода. Веселый, проказливый, неистощимый на выдумки! Когда к этому розовощекому мальчику успела пристать чахотка, так быстро унесшая его в могилу?

Юра был страстный поклонник спорта, яхтсмен. Не забуду белую петербургскую ночь и прогулку на яхте по небурным водам Маркизовой лужи — от Петровского острова до Лахты. Гостями на яхте мы с Костей Лихтенштейном. А Юрочка стоит на своем капитанском месте, гордо и ловко орудует какими-то веревочками, управляет парусами. Ворот рубахи его растегнут, на груди поблескивает крестик.

А вот другое воспоминание, о другом обериуте. Первый день Пасхи. Я в гостях у Даниила Ивановича. Приходит А. И. Введенский, красивый, больше, чем обычно, нарядный. Они христосуются, целуются. Потом Введенский поворачивается ко мне, протягивает руку.

— А почему же ты не христосуешься с Алексеем Ивановичем? — спрашивает Хармс.

— Как?! — поднимает брови Введенский. — Я думал — он комсомолец!..

Так много раз в моей жизни бывало, что якобы случайно встречался я с братьями и сестрами по вере.

Вот Витебский (тогда еще Детскосельский) вокзал. Если не ошибаюсь, 30-й год. Да, точно, тридцатый: только что застрелился Маяковский. Я живу «на хлебах» в Детском Селе. Возвращаюсь туда, стою на перроне, жду второго звонка. Подходит Вера Павловна Калицкая, детская писательница, первая жена Александра Грина. Она еще не старая, гораздо моложе моей мамы. Стоим у вагона, разговариваем на разные литературные темы. Вдруг лицо ее освещается улыбкой, и она говорит:

— А мы с вами, оказывается, единомышленники!

И показывает глазами мне на шею, где блеснула по-видимому цепочка нательного креста.

Недавно я узнал, прочел где-то, что верующим был и сам А. С. Грин. К нему, уже в советские, конечно, годы, пришел сотрудник какой-то газеты или журнала, просил написать статью на тему: «Почему я не верю в Бога». Грин отказывался, отмахивался, а потом рассердился и говорит:

— А почему вы, молодой человек, думаете, что я не верю? Я мог бы написать для вас статью «Почему я верю в Бога». Но ведь — не напечатаете.

Как-то в день Ангела нашего отца я зашел в Вознесенский храм поставить свечу и помолиться за упокой души раба Божия Иоанна. У образа Иоанна Воина—нестройная толпа-очередь. Люди медленно двигаются, поднимаются на две ступеньки, прикладываются к иконе. Стоящий передо мной человек оглянулся, и я узнаю Ивана Петровича Бельшева, детского писателя*. Встреча неожиданная. Бельшев — общественник, кажется, член месткома. Мы киваем друг другу. Он, высокий, наклоняется ко мне и вполголоса спрашивает:

— Самуила Яковлевича давно не видели?

Помню, как насмешил мой рассказ об этой встрече Тамару Григорьевну Габбе:
— Нашел место, где спрашивать о Самуиле Яковлевиче!..

Случайно, стороной, узнал я, еще при жизни художника Стерлигова, что этот человек, близкий друг и сподвижник Д. И. Хармса, тоже был верующим. Однажды в гостях у Рахмановых* их друзья, пожилая супружеская пара, жаловались, что сына их, молодого художника, «совращает в религию» Стерлигов. Позже я получил письмо от Стерлигова. Он прислал мне фотографии Хармса и спрашивал, не я ли автор этих снимков. Письмо начиналось цитатой из Евангелия.

...Никогда не забуду, что имел мимолетное счастье познакомиться и говорить с Марией Вениаминовной Юдиной — еще до того как она была изгнана из ленинградской консерватории, до появления статьи «Профессор в рясе»*.

Счастлив и тем, что был знаком, несколько раз встречался у Маршака, с Евгением Павловичем Ивановым*.

В Переделкине Чуковский познакомил меня с Борисом Леонидовичем Пастернаком.

Только после смерти Зои Владимировны Гуковской* я узнал, что и с нею мы были единомышленниками. А ведь мог и раньше догадаться. Впрочем, не очень уж давно. Познакомились мы с нею, вернее — по-настоящему, душевно разговорились лишь года за полтора до ее кончины. Помню, она сказала мне однажды, что в Ленинграде есть только одно высшее учебное заведение, где студенты получают настоящее, глубокое, полноценное гуманитарное образование, — это Духовная академия. Вряд ли так мог бы сказать человек, далекий от церкви.

На могиле Зои Владимировны падчерица ее Наташа Долинина* поставила черный гранитный параллелепипед. На одной стороне его высечено: «Памяти моего отца Григория Александровича Гуковского». На другой — крест и даты рождения и смерти Зои Владимировны.

*

Праха Зои Владимировны покоятся на том же комаровском кладбище, где лежат и А. А. Ахматова, и друг ее комаровских лет Александр Гитович, и академик В. И. Смирнов, и В. М. Жирмунский, и Натан Альтман, и Мих. Слонимский, и многие другие люди искусства и науки.

Там же, через дорожку, возвышается деревянный крест на могиле Веры Федоровны Пановой.

Отпевали Веру Федоровну, по ее завещанию, в том же Никольском кафедральном соборе, где и Анну Андреевну Ахматову. О том, что к концу жизни она стала религиозной, многие знали и много говорили об этом. Не один раз мне приходилось слышать версию, что, мол, лишь тяжело заболев, испугавшись приближения смерти, Вера Федоровна вдруг впала в мистицизм, окружила себя иконами и лампадами.

Это неправда. Свидетельствую, что произошло это очень задолго и до смерти и до болезни.

Вера Федоровна была еще совершенно здорова, еще нельзя было сказать про нее не только «старая», но и «пожилая», когда однажды летом мы ехали с нею и с театроведом М. О. Янковским на машине союза писателей из Комарова в Ленинград. Вера Федоровна сидела рядом с шофером, мы с Янковским — сзади. Янковский был под впечатлением какой-то, только что прочитанной им книги, с воодушевлением говорил о ней. Вера Федоровна молча слушала, потом слегка повернула голову и сказала:

— Есть, товарищи, только одна книга, которую нам следует часто читать. Это — Священное писание.

Я удивился, обрадовался и — промолчал. Разговорчивый, даже болтливый Янковский слегка смутился и пробормотал что-то вроде:

— Ну, мне-то уж поздно этим заниматься.

— Нет, Моисей Осипович, вы ошибаетесь,— сказала Панова.— Никогда не поздно. И добавила:

— Я это совершенно серьезно говорю, товарищи...

А года через два-три она подарила нам с женой книгу «Лики на заре», куда входит одно из лучших ее произведений (после «Сережи» — лучшее) — житие неподобного Феодосия Печерского*. Удивляюсь, как могли подписать к печати эту книгу! Какая Сила отвела руку цензора, замахнувшуюся на нее? Ведь это же действительно Житие, написанное современным языком и современным мастером-христианином.

В романе Пановой «Времена года», вышедшем, если не ошибаюсь, еще в сталинские годы*, четырнадцатилетний мальчик, один из героев книги, записывает в своем дневнике об удивительном открытии, которое он в этот день сделал. Он всегда считал, что бывает так: человек верит в Бога, а потом становится сознательным и верить перестает. И вот оказалось, что бывает и о совсем наоборот. Сегодня он разговорился с пожилым человеком, — кажется, с завхозом их школы, который всю жизнь был неверующим и вдруг — после одного события на охоте, когда он живым вышел из лап медведя, — стал верить в Бога.

Не знаю, какого медведя повстречала на своем жизненном пути Вера Федоровна Панова, но знаю, что с нею произошло нечто очень похожее на историю этого, придуманного ею или зарисованного с натуры завхоза. Она всю жизнь была неверующей. В молодости была комсомолкой. Уже после смерти Сталина, когда советские люди стали ездить за границу, Панова побывала в Соединенных Штатах. Помню газетный отчет об одной пресс-конференции, в которой она участвовала. Ее спросили о преследовании религии в СССР и об ее отношении к этому. Ответ Пановой я хорошо запомнил:

— Разрешите нам, господа, оставаться теми, кем мы являемся, то есть атеистами.

Хорошо понимаю, как больно, как тягостно было вспоминать или перечитывать ей эти слова. Ведь я и сам через это прошел — был неверующим и глупо гордился этим.

*

В этих заметках я не называю имен молодых. На молодых-то ведь особечно прилежно идет у нас охота. И молодые себя не берегут, ведут себя не так опасно, как вели себя в их годы мы. Время стало как будто помягче. За веру как будто не берут. Но вот именно — как будто. Берут или не берут — спросите у тех, кто побывал там.

Не мягче ли были годы моей молодости?

Я уже рассказывал где-то, что одну из глав «Республики Шкид» я писал (вернее, переписывал) в лазарете Ново-Знаменского исправдома. Было это ранней осенью 1926 года. Идиллические времена! Исправдом располагался в бывшем имении. Под одной кровлей, в удобных, похожих на больничные палаты, спальнях жили, отбывая разные сроки наказания, — латвийский шпион, цыгане-конокрады, растратчики, взяточники, профессиональный шулер Вяткин, комдив Сашко, осужденный за участие в дуэли, и тут же — карманные воры, фармазонщики, взпманы-налогонеплательщики... Две большие комнаты почти сплошь были заселены молодыми сектантами-баптистами, отбывавшими трехлетний (кажется) срок за отказ от военной службы. Когда в одной из предыдущих главок этой статьи* я писал о своем возвращении к вере, в памяти моей все время мелькали эти славные парни, мои однолетки. Не помню, чтобы кто-нибудь их обижал, никто не смеялся над ними — ни комдив Сашко, ни шулера, ни карманники. С уважением относилось к этим ребятам, насколько мне помнится, и тюремное начальство. Не мог, конечно, и я не заглядеться на них, не залюбоваться ими, не задуматься над тем, какая сила ведет их на подвиг. Правда, в годы, о которых идет речь, подвиг этот не был таким уж невыносимо тяжелым. Когда молодые евангелисты досиживали свои три года, к ним никто уже не предъявлял никаких претензий, от воинской повинности они освобождались начисто, получали белые билеты. Но нетрудно предположить, что стало с этими людьми потом, лет десять — пятнадцать спустя.

Во время войны, когда Сталин заигрывал и с церковью и с верующими, из тюрем и лагерей стали тысячами выпускать священников и активных церковников-мирян. Выпускали всех, только не евангелистов, не тех, кто отказывался брать в руки оружие. Об одном из таких молодых сектантов рассказал нам автор «Ивана Денисовича». Думаю, что не я один обратил тогда внимание на ту неожиданную для книги советского автора симпатию, с какой написан у Солженицына верующий юноша Алеша.

А вообще-то — сажали, освобождали, снова сажали.

Освобождали, между прочим, и в первые послевоенные годы.

После демобилизации я несколько лет прожил в Москве. Однажды, по поручению нашей бабушки, я ездил на Рогожское кладбище, разыскивал могилы предков. Возвращаясь под вечер, зашел в старообрядческий собор. Служба еще не начиналась, посреди храма, у наоя, средних лет человек в солдатской форме, демобилизованный, уже без погон, читал часы. А у свечного ящика стояла совсем молоденькая девушка в платочке, повязанном «в распуск», и разговаривала с женщиной, продающей свечи. Я подошел купить свечу и услышал конец их разговора.

— Что же — всех вас выпустили? — спрашивала женщина за ящиком.

— Да. Всех,— отвечала девушка.

— И паспорта чистые выдали?

— Да. Выдали.

— И прописали?

— И прописали.

— Сколько же ты там была?

— Да вот — немного трех лет не досидела.

Когда девушка, широко перекрестившись и сделав поясной поклон в сторону алтаря, отошла, я спросил у женщины за ящиком, о чем они говорили.

— Наших молодых из тюрьмы выпустили. Двенадцать человек.

— Девушки?

— И девушки и парни.

— За что же их?

— А за что? Ни за что. За то, что собирались у кого-нибудь на квартире и наши духовные песни по кружкам пели.

Брали тогда — и сейчас берут — не за то, что молились, а за то, что собираются. За участие в сообществе, за проповедь, то есть за пропаганду религиозных, а следовательно и непременно антисоветских взглядов. За то, что не ставили свечу под кроватью.

Что касается духовенства, то тех брали и просто так — чтобы закрыть, например, церковь. «Дело» выдумать и пришить было нетрудно. Дела тогда пришивались, как известно, не только сельским батюшкам, но и маршалам, и наркомам, и секретарям обкомов.

✱

Хотя почти всю жизнь я ходил в церковь таясь, оглядываясь, делая, как заяц, петли, запутывая след, о том, что я там бываю и молюсь, знали не только в нынешнем МГБ, но еще и в НКВД и даже, пожалуй, в ГПУ. И высокое начальство знало. Однако терпели. Я ведь ни с кем не «общался», нигде не «собирался». Криминала не было. А найти его, этот криминал, очень, по-видимому, хотели.

Однажды, если не ошибаюсь, в начале 60-х годов, уже в Ленинграде, пришла ко мне женщина... Я был дома один, дверь на звонок открыл сам. Стоит передо мной, нос к носу, пожилая особа, этакая сваха из комедии Островского. Черная кружевная шаль, в руках, прижимая к животу, держит большой кожаный ридиколь. И первое, что она делает,— открывает, расстегивает этот ридиколь. Он смотрит на меня своей черной разверстой пастью, и у меня тут же мелькает мысль: «Магнитофон!»

Спрашиваю:

— Что вам угодно?

— Пантелеев Алексей Иванович здесь живет?

— Да, здесь. Это я.

— Здравствуйте. Я приехала из Москвы. Хочу с вами поговорить.

— О чем?

— О митрополите Николае.

— О каком Николае?

— О Николае, митрополите Крутицком и Коломенском. Мы там о нем книгу собираемся выпускать. Ведь вы знакомы с ним были?

— Нет, вы ошибаетесь. Я не был знаком с митрополитом Николаем.

Она усмехается.

— Что это вы, ленинградцы, такие пугливые! Зайти-то к вам можно?

— Да. Прошу вас. Заходите.

Веду эту маскарадную салопницу — на кухню. Садится. Ридикюль стоит у нее на коленях, все так же зияя своей черной пастью.

Сажусь тоже. Спрашиваю:

— Прежде всего, позвольте поинтересоваться: где вы узнали мой адрес?

— Адрес ваш? Адрес ваш мне в Никольском соборе дали.

— Простите, но вы говорите неправду. В Никольском соборе не могут знать моего адреса. И вообще в этом соборе я не был лет пять.

Опять усмехается.

— Ну, хорошо. Так и быть. Скажу вам правду. Мне Александра Иосифовна Любарская дала ваш адрес.

— Ах, вот как! Любарская?

Как раз в это время или минутой раньше вернулась дсмой моя жена*. Когда я вышел в коридор, она спросила:

— С кем ты там?

Я сделал знак, которым в нашей семье уже очень давно обозначают присутствие какой-нибудь специфического характера опасности.

— У нас гостья,— сказал я громко. И совсем тихо добавил: — Побудь с нею.

А сам прошел к телефону и позвонил Александре Иосифовне Любарской. Нет, конечно, никто у нее моего телефона не спрашивал.

— А в чем дело? — интересуется она.

Сказав: «Объясню позже», вешаю трубку и возвращаюсь на кухню.

Салопница с подслушивателем на коленях что-то объясняет моей жене. Я говорю:

— Александра Иосифовна Любарская вам адреса моего не давала.

Смотрит не смущаясь, развязно, даже нагло.

— Забыла, что ли?

И сразу — тем же развязно-насмешливым тоном:

— Ой, до чего же вы здесь пугливые! Зачем же вы скрываете? Ведь вы же еще в Ленинграде с Николаем были знакомы. Когда он у вас митрополитом был.

— Говорю вам еще раз: с митрополитом Николаем я никогда знаком не был. И даже не знал, что он когда-то служил в Ленинграде.

— Как не служил?! Сколько лет был митрополитом Ленинградским и Новгородским.

— Представьте, не знал этого. О нынешнем патриархе — что он в свое время был митрополитом Ленинградским — это мне, действительно, известно...

— Ну как же! Алéксий.

Я чуть не подскакиваю.

— Что?! Как вы сказали?!

— Я говорю: Алéксий. Патриарх...

— А почему, скажите, пожалуйста, вы говорите «Алéксий», а не «Алексий»?

— Как почему? Так все говорят.

— Нет! Так все не говорят!

Я распахиваю дверь в коридор.

— А ну! Прошу вас...

— Что это вы? — пугается она. Но при этом торопливо защелкивает свой чемоданчик и поднимается.

Я уже весь, до надбровных дуг, до кончиков ушей, налит гневом.

— А ну — быстро! Не задерживайтесь.

Что-то бормоча и кудахча, она спешит в прихожую.

Дверь на лестницу захлопнулась.

— В чем дело? — спрашивает жена.— Кто это? Что случилось? Почему ты ее выгнал?

Делаю тот же пояснительный и предостерегающий знак.

— Ты обратила внимание, как она произносит имя патриарха?

— Да. Обратила. Алéксий.

— А ведь явилась ко мне как представительница каких-то московских церковных кругов.

Вот что может сделать одно неправильное ударение в одном-единственном слове!

Да, люди безрелигиозные, неверующие, не бывающие в церкви, никогда не слышавшие, а только видевшие имя патриарха, напечатанным в каком-нибудь газетном сообщении («Среди присутствующих находился Патриарх Московский и Всея Руси

Алексий»), эти люди, даже интеллигентные, чаще всего говорят «Алѣксій». Помню, как уже в семидесятые годы, целый месяц отравляли мне жизнь дикторы радиостанции «Свобода», читавшие письмо двух молодых московских священников к патриарху Алексію. Все эти радиочтецы — и мужчина и женщина — произносили Алексий с ударением на втором слоге, не ведая о том, как больно слышать их православным верующим, как оскорбляет наш слух это дурацкое ударение. Тот, кто бывает в церкви, слушает и мысленно повторяет великую ектению*, не может не знать правильного звучания имени покойного патриарха.

Люди, подославшие ко мне соглядатая, неплохо продумали внешний облик этой особы: похожие на нее тетеньки нередко стояли в те годы за свечными ящиками московских церквей, работали в церковных «двадцатках». Эта женщина, конечно, бывала в храмах, знала церковную иерархию, послужные списки некоторых, нужных ей для «работы» священнослужителей. Но, бывая на богослужении, она никогда не вслушивалась в слова песнопений, в возгласы священника или дьякона. Ей не до этого было. Стоя где-нибудь сбоку от свечного ящика, у входных дверей, она внимательно следила за теми, кто появляется в храме, кто, входя, крестится и кланяется — особенно за молодыми и интеллигентными...

Но почему ее вдруг направили ко мне? И при чем тут митрополит Крутицкий и Коломенский? Ведь я его и в самом деле никогда не видел.

Долго мне ломать голову не пришлось. Позвонила Александра Иосифовна Любарская и сказала:

— Простите, я виновата перед вами. Изменила память. Забыла, что несколько дней назад ваш адрес у меня действительно спрашивали.

— Кто?

— Вера.

— Какая Вера?

— Бывшая домработница Маршака.

Существует особый склад ума, он бывает у следователей, у врачей-диагностиков и, вероятно, у писателей. Где-то в глубинах мозга, как в недрах кибернетической машины, что-то вдруг срабатывает, молниеносно сталкиваются десятки, если не тысячи, ассоциаций, и — приходят решение, разгадка. Я увидел мысленно Веру, дом на Чкаловской в Москве, двор этого дома, идущего через двор человека в черном одеянии, в белом клобуке с белой же мантией...

Но это уже другая тема. И совсем другие годы.

*

После демобилизации, вернее когда меня стараниями Маршака, не по моей воле, отозвали из Армии в Москву, я какое-то время работал в редакции детского журнала «Дружные ребята». Должность моя называлась — литературный редактор. Работа была необременительная, в редакцию я ходил не каждый день, рукописи авторов читал дома. Хотя работать дома тоже было несладко. Жил я на Плющихе, снимал проходную комнату в маленькой, очень милой, но и очень шумной еврейской семье. Впрочем, к тому времени, когда произошло полуанекдотическое событие, о котором я хочу рассказать, мои сослуживцы по редакции уже подыскали мне другую комнату — в Замоскворечьи. Со дня на день я должен был туда переехать. Мои хозяева знали об этом. И отношения между нами были, что называется, натянутые.

Один раз я пришел в редакцию. Не успел войти, Лялочка Григорова, секретарша, объявляет:

— Алексей Иванович, вам звонил митрополит!

Водружаю на вешалку свою сильно поношенную шинель и говорю:

— Очень приятно.

— Нет, серьезно!..

И другие мои сослуживцы — тоже, в один голос:

— Да, да, серьезно, Алексей Иванович, вам звонил митрополит Вениамин. Просил позвонить в гостиницу. Вот тут все записано.

Всё еще полагаю, что девушки подшучивают надо мной, что продолжается не очень остроумный розыгрыш... Но на редакционном бланке записано:

«Митрополит Вениамин. Гост. "Националь". Номер такой-то. Телефон такой-то. Просил позвонить А. И. Пантелеева».

— Ну, что ж. Позвоню. Пожалуйста — говорю я, усмехаясь.

Номер не отвечает.

Звоню через полчаса. Не отвечает.

— А вы позвоните к портье,— советуют мне.

Звоню к портье «Националя». Спрашиваю, в каком номере остановился митрополит Вениамин. Называют тот самый номер. Звоню по этому номеру несколько раз. Никто не подходит.

Дома у меня телефона не было. Пробовал ли я звонить из автомата — не помню. Кажется, не звонил. Вообще, оставшись наедине и подумав, я решил, что история сильно пахнет провокацией. Какой митрополит и с какой стати мог интересоваться моей особой?

Но все-таки на другой день, придя в редакцию, спрашиваю:

— Никто не звонил?

— Звонили.

— Митрополит?

— Нет, не митрополит, а Виктор Борисович Шкловский. Просил вас позвонить к нему. Сразу же как придете. Срочно.

Звоню Шкловскому. Он как будто ждал меня, сидел у телефона.

— Алексей Иванович? Скажите, вам звонил митрополит Нью-Йоркский и Северо-Американский?..

— Нью-Йоркский? Да... Звонил. Но я думал...

— Думали, что над вами кто-то подшучивает? Я — тоже. Он мне тоже звонил. И Маршаку. Вы ведь знакомы были с Лидией Надежиной?

— Был. Да.

— Ну, вот. Он привез нам от нее письма. Позвоните непременно. Он вас очень хочет видеть.

— Я звонил. Несколько раз. Никак его не застать.

— Да. Он очень рано встает. И очень много ездит. Позвоните ему или рано утром, или поздно вечером. Кстати, вам известно, каким образом к нему следует обращаться?

— Каким?

— В л а д ы к а! Я специально узнавал,— звонил к компетентным товарищам. Опять я стал названивать в «Националь». И опять не дозвонился.

А на другой день или дня два спустя возвращаюсь откуда-то очень поздно к себе на Плющиху, звоню и тотчас дверь открывается — передо мной стоит старик-хозяин, Григорий Маркович. Впечатление, что он тоже притаился и ждал меня.

— Алексей Иванович, ох! — говорит он, не успел я переступить порога.— Вы бы знали, какая тут без вас была петрушка!!!

— Что такое? В чем дело?

— Часов, я думаю, так в десять вечера слышу — звонок. Я думал, это вы. Иду отворять и — можете себе представить — вижу вот на этом месте передо мной стоит — кто бы вы думали?

— Ну, кто?

— Митрополит! В такой вот штуке. С крестом. С серебряной длинной палкой.

— Позвольте, Григорий Маркович,— говорю я.— А при чем тут, скажите пожалуйста, петрушка? Ко мне приходит мой друг митрополит, а вы, вместо того, чтобы... Он ужасно смутился, даже испугался.

— Да, но ведь, Алексей Иванович, вы поймите, я их тридцать лет не видел!..

— Ну, хорошо,— говорю,— а что дальше?

— А дальше... Ну, я провел его в вашу комнату...

— Еще этого не хватало!

— Он там посидел, оставил вам письмо... мы поговорили с ним... В общем, я вам скажу, очень симпатичный митрополит!..

После этих его слов я совсем пришел в ужас. Надо сказать, что чрезмерной аккуратностью я вообще никогда не отличался, а тут, собираясь со дня на день покинуть эту комнату, я совершенно, до невозможности запустил ее. Стол был усыпан окурками. Тут же стояла электрическая плитка с немойтой сковородкой, лежала платяная щетка, а по соседству красовалась тарелка с недоеденной кашей.

Не буду дорисовывать этот натюрморт.

Письмо было от Лидии Александровны Надежиной. С этой женщиной я познако-

мился в 1929, кажется, году, когда она приезжала к себе на родину — в Ленинград. Эмигрантка еще дореволюционного времени, покинувшая Россию в четырнадцатилетнем возрасте, она увлечена была молодой советской литературой, переводила кое-что (пробовала, между прочим, переводить и «Республику Шкид»), заинтересовалась обэриутами... Много лет после этого мы переписывались. В 1937 году переписка оборвалась.

И вот передо мной лежит синевато-белый добротный американский конверт и на нем знакомым мне почерком начертано мое имя. А сбоку огрызком моего синего карандаша начарапано: «National № 335. Прошу позвонить. Митрополит Вениамин».

Лидия Александровна не совсем грамотно, делая больше ошибок, чем прежде, писала мне:

«Дорогой Лёня! Очень прошу Вас по старой дружбе оказать внимание подателю этого письма и показать ему Советский Союз».

Дальше шли всякие хорошие слова в адрес владыки.

Не помню, делал ли я дальнейшие попытки разыскать митрополита Вениамина. Знаю только, что встретиться с ним мне не пришлось. Месяца через два я получил — уже по почте — письмо из Нью-Йорка. Надежина писала, что и она и владыка очень сожалеют, что ему не удалось со мной встретиться. «О Вас он ничего не мог мне рассказать, кроме того, что Вы очень много курите, в комнате у вас много окурков».

Если не ошибаюсь, впоследствии преосвященный Вениамин вернулся в Россию и несколько лет возглавлял Прибалтийскую епархию русской православной церкви*.

*

А в тот приезд Вениамин и в самом деле много где побывал. В том числе был и на Чкаловской у Маршака. Самуил Яковлевич рассказывал о нем с восторгом: образованный, умница, с юмором...

Рассказал мне Самуил Яковлевич и о том, что когда он провожал митрополита, во двор изо всех подъездов сбегались женщины, подходили к владыке и просила благословения.

В те годы у Маршаков еще служила домработница Вера, моя давняя, еще с ленинградских времен приятельница. Очень милая, скромная, достойно-спокойная, не подобострастно, а в меру любезная. Каково же мне было узнать, что с именем этой женщины связывается появление в моем доме провокаторши!

Сейчас, вот сию минуту, я вспомнил... Эта московская салонница с ридикюлем появилась у меня на Малой Посадской не в начале шестидесятых годов, как я написал выше, а точно — в 1964 году. Вероятно, весной. В июле умер Маршак. Я приехал в Москву на похороны и встретился в квартире на Чкаловской с Верой. Она была замужем, кажется, за судебным машинистом или механиком, приехала — тоже на похороны Самуила Яковлевича — из Архангельска. Помню, я вошел в столовую, где она накрывала на стол, мы поздоровались, и я сразу же спросил ее:

— Вера, скажите, с какой целью вы брали мой адрес у Александры Иосифовны? Она ужасно смутилась, покраснела, замахала руками.

— Алексей Иванович, не спрашивайте меня, даю вам слово, я ни в чем не виновата!..

Я не стал расспрашивать. Пожалел ее. А кроме того, не такое было место и не такой час.

Но позже я задумался. Ничего, конечно, удивительного нет в том, что домработницу такого крупного деятеля, как Маршак, тягали в разные места и задавали ей там разные вопросы. И обо мне могли спрашивать. Но при чем тут митрополит Крутицкий и Коломенский?

И вот именно в ту минуту, когда я об этом подумал, в голове у меня заработала кибернетическая машина и пришел ответ. Митрополит Вениамин расспрашивал тогда у Самуила Яковлевича о многом и о многих — в том числе и о Пантелееве. Упомянул, что ищет меня, хочет видеть. Конечно, все это не прошло мимо зоркого ока органов. Но ведь там могли и напутать. Очень даже просто путали. Примеров я мог бы привести множество. А в этом случае — что же удивительного? Митрополитов на свете не так много. В Москве, например, всего один: Крутицкий и Коломенский. Вот и осталась в моем «досье» или «деле» пометка, что такой-то близко знаком с Николаем, митрополитом Крутицким и Коломенским.

А весной 1964 года, в пору самого жестокого хрущевского гонения на церковь и на верующих, решил: этому «делу» дать ход, выяснить меру моей причастности к церковным делам и степень приближенности к высоким церковным сферам. Всё продумали, нашли подходящий типаж, сочинили довольно остроумную, с их точки зрения, «легенду»... Не учли одного: что имеют дело не с полным дураком, во-первых, а во-вторых, что человек этот не только «инженер человеческих душ», но и «мастер слова». На одном только слове, на одном ударе в этом слове, и засыпалась эта загримированная под московскую просвирию эмгешница.

Интересно было бы узнать, что она сделала с содержимым своего ридикюльчика! Выбросить ведь не могла, не имела права. Ведь ей следовало это содержимое представить туда. Но вряд ли и там, прокрутив магнитофонную ленту, поняли, почему я вдруг осерчал, расшумелся, даже попросил ее об выходе, когда услышал, что она говорит не Алексий, а Алéксий.

*

Но правда ли, что я не знал митрополита Николая? Да, правда, не только не знал, но, кажется, никогда и не видел его — ни в Ленинграде, ни в Москве, как не видел никогда и патриарха Алексія. Кажется, видел в сорок втором году его предшественника, тогда еще патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия. Говорю «кажется», потому что возможно и видел, да не знал, не интересовался, какой архиерей служит нынче всенощную или обедню. Я приходил в церковь молиться и, если попадал случайно на архиерейское служение, оставался и молился и на этом торжественном богослужении, но нарочно никогда на такую службу не ходил.

Никогда, ни в детстве, ни в молодости, ни в зрелые годы не интересовала меня личность церковнослужителя, его домашняя жизнь и вообще жизнь его в миру, за стенами храма. Как не интересовала его внешность, его голос, его характер... Когда мне говорили (или говорят):

— Да, конечно, без религии нельзя, но — попы...

— Что «попы»?! — отвечаю я. — При чем тут попы? У меня нет времени и желания глазеть, приглядываться, рядить и судить духовных отцов. В церковь я прихожу для молитвы...

Только холодный сердцем, только неверующий или слабо верующий человек, обратит внимание на грубость, на небрежность, на красный нос или излишне выпирающее брюшко батюшки.

А кроме того, священники, которых я более или менее хорошо знал, ни пьяницами, ни обжорами, ни сребролюбцами, ни сластолюбцами не были и вообще ничем не напоминали тех толстобрюхих и толстомордых служителей культа, которых с таким контрастным аппетитом выписывали в своих «жанрах» передвижники и примыкающие к ним мастера кисти. Может быть, один Суриков нарисовал верную, меткую, к месту поставленную фигуру попа-никонианца, но здесь, на этом прекрасном полотне, этот злой и самодовольный никонианец противостоит, как бездуховное высокодуховному, — бледнолицей боярыне, осеняющей толпу двуперстным крестом... А у передвижников выпирает убогая тенденция, заданность, желание похлеще отстегать, высмеять, опозорить, пригвоздить к позорному столбу дикость, мракобесие, суеверие.

Никогда я не понимал пафоса этих картин, этих унылых крестных ходов, пьянствующих монахов... Смотрю на эти злобные, невеселые карикатуры и хочу спросить автора:

— Во что веруешь? Чему поклоняешься? Что любишь?

И будто слышу в ответ:

— Люблю?! Не знаю, что это такое. Ненавижу и презираю. Толпу. Пачкаю. Грязню. Мараю.

Да, как я уже сказал, мне много раз приходилось видеть священников за стенами храма, я знал не только подвижников, бессребреников, высокоодухотворенных пастырей, но и «светских» иереев, кумиров буржуазных и аристократических дам... Однако в храме они все в равной мере были для меня служителями Бога, посредниками между мной и Господом. Я не мог, повторяю, всматриваться в лицо священника, интересоваться, какой у него нос и какого он роста и телосложения. Не припомню случая, когда меня что-нибудь раздражило в облике, в голосе, в манере служить священнослужителя.

Может быть, только за последние годы (и даже не годы уже, а десятилетия), с тех пор, как в русскую православную церковь пришло новое, молодое, послеоктябрьское, родившееся и выросшее в наших трудных условиях духовенство, я стал иногда ловить себя на том, что вглядываюсь, проявляю интерес к личности священника. Но это был уже интерес, так сказать, гражданского, а может быть в какой-то мере и художнического порядка. Почему же он, этот интерес, не возникал раньше? А потому, вероятно, что раньше священник всегда был отец — и по сану и по возрасту. Кроме того, в большинстве своем духовенство у нас было кастовым. Биографии священников, как правило, не были интересными. Вышел из поповичей, и отец, и дед, и прадед были попами, вот и он тоже идет по этой стезе.

Другое дело — священники нынешние. Целую однажды после всенощной благословляющую меня руку, я вдруг подумал, что ведь этой руки не было в мире в 1941 году, что человек, которого я называю «батюшка», годится мне в сыновья, а может быть и во внуки... Как же мне было не вглядеться в глаза этого молодого человека, не задуматься о том, кто он, чьих родителей сын и что привело его на пастырский путь?

Вспомнил сейчас торжественную всенощную службу в верхнем храме Никольского кафедрального собора, куда мы однажды случайно, гуляя в тех местах, зашли с женой и дочкой. Служил эту всенощную преосвященный Никодим, митрополит Ленинградский и Новгородский — в сослужении с каким-то низкорослым, очень стареньким и худеньким чернолицым епископом из какого-то экзотического азиатского или африканского православного государства. Пока владыка вел службу, я не думал о нем, стоял в стороне и молился. Когда же он в своей роскошно распростертой мантии вышел на край амвона и стал говорить приветственное слово, обращенное к безмолвно стоявшему возле него коричнево-лиловому гостю в непомерно большой и тяжелой митре на высохшей стариковской голове, и когда из уст владыки полились слова наполовину церковные, книжные, библейские, а наполовину — из сегодняшней передовой «Известий», — я вдруг поймал себя на мысли, которая никогда прежде на богослужении в голову мне не приходила. Я подумал: что привело этого сорокалетнего, чернобородого, похожего на Пугачева человека — к церкви, к монашеству и что вознесло его так высоко: до руководящего сана во второй в нашем государстве митрополии и до столь же высокой должности руководителя иностранного ведомства московской патриархии или Синода?! (Сейчас он, кажется, стал еще и Экзархом Вся Западная Европы.)

Но с чего это вдруг вспомнился мне преосвященный Никодим?

О том ли я пишу, о чем хотел написать? Да, в общем пишу о том. Обо всем, что придет в голову, если это «всё» имеет отношение ко мне, к моей вере, к моим мыслям о вере и о церкви.

*

Пишу-то, в общем, о том, но не всю правду пишу. Несколько раз уже ловил себя на этой мысли.

Очень уж все просто и безобидно.

Вот шумно и храбро я выгоняю из своей квартиры стукачку. Вот «целую руку, благословляющую меня». Вот всей семьей стоим в кафедральном соборе за всенощной.

Можно подумать, будто живем мы не у себя на родине, а где-нибудь в Париже или в Милане или в Мехико-сити. Будто никакого страха, никакого даже стеснения не испытывал я, находясь в храме. Испытывал! Спиной, затылком, чувствовал глаза согладаясь — не только в самом храме, но даже и на дальних подступах к нему. Входил из притвора в церковь и глаза уже сами собой начинают косить: направо-налево. Кто здесь от туда? Выскиваешь мужчин — не очень старых и специфического облика. О женщинах как-то не думалось — до тех пор, пока не появилась на моем горизонте эта шпионка в салопе.

Косишься, оглядываешься...

И вдруг делается стыдно.

Осеняешь себя крестом, опускаешься на колени, делаешь земной поклон. И тут уже нисходит на тебя благодать, и ты не думаешь (или почти не думаешь) о тех, кто рядом или за спиной. Ты уже молишься, ты — с Богом, и тебе всё равно, что будет: вызовут, сообщат, посадят...

Много раз замечал я, что и на меня с опаской косится и оглядывается какой-

нибудь дядька. А бывает—ты на него, он на тебя. Стоит, смотрит, слушает, а голова сама собой чуть заметно, на восьмую, на шестнадцатую оборота — поворачивается в твою сторону.

Но вот и на него нисходит... И ему становится невозможно. Не желая знать о моем присутствии, он опускается на колени, молится...

Почему-то не хочется рассказывать о тех — довольно многочисленных — случаях, когда за мной «пускали хвоста» (когда, например, в 1952 году, находясь в Москве на какой-то конференции, я вышел как-то из Общеденской церкви, сел у Кропоткинских ворот в такси, а в другую машину тут же сели два молодчика в штатском и мчались за мной в другой конец города — до районного Дома пионеров, где заседала эта конференция по детской литературе... Или когда однажды вечером у ограды Никольского собора, когда я выходил из ворот, со мной якобы «случайно столкнулся» бывший мой однокашник, школьный товарищ еще дореволюционных времен, впоследствии разоблаченный мною стукач). Я рано понял, что о моей религиозности знают, не могут не знать. Ведь сотни, если не тысячи раз я бывал на богослужении—и в Москве, и в Ленинграде, и во многих других городах Советского Союза — и даже за границей. (И там меня пытались поймать, спровоцировать. В Будапеште, где я был в делегации, вместе с Катаевым и Прилежаевой, привязалась ко мне учительница местной русской гимназии, еврейка, сразу объявившая себя православной, крещеной, верующей. Предложила поехать с ней в какое-то село на Дунае, в православную сербскую церковь. Должен сказать, что от всякой топорной работы меня коробит. И от такого рода «работы» — тоже.)

Да, очень давно и в органах и в высших сферах знали, что я человек религиозный. Как-то стояли мы с женой у пасхальной заутрени в церкви Св. Иова на Волковом кладбище. Не в церкви, конечно, а перед церковью, под открытым небом. Неподалеку от нас, у забора возникла группка людей явно начальнического вида: кто-то был в кожаном пальто, кто-то с портфелем. И, кажется, автомобиль где-то поблизости попыкивал. И вот один из этой компании, увидев меня, приглушенно и все-таки очень слышно сказал:

— Пантелеев.

Я слегка оглянулся. Да, все смотрели в мою сторону. А мы стояли с зажженными свечками, крестились и, может быть, пели «Христос воскрес из мертвых» вместе со всеми, кто пришел сюда молиться, а не глазеть и не хулиганить.

Почему же меня не трогали, никуда не приглашали, не выясняли, не «ставили вопроса»? Я часто об этом думал. Ведь следили же за мной, охотились, подстраивали встречи, подсылали провокаторов. А все дело, я думаю, в том, что я не ставил свечу на подсвечник. Молился, ходил в церковь, но слова божьего не проповедал.

Мне скажут: но разве мало было рабочих, служащих, учителей, студентов и студентов, которых изгоняли с работы и из учебных заведений, шельмовали в стенных и печатных газетах — только за то, что они посещали церковь, что дома у них висели иконы.

Были на нашей памяти и такие статьи, как «Профессор в рясе»...

Давно приготовился и я к тому, что, открыв однажды утром газету, увижу там подвальную статью с заголовком вроде: «Детский писатель с крестом на шее». Но вот мне уже под семьдесят, полвека я работаю в отечественной детской литературе, а такая статья не появилась. Вероятно, слишком рано я стал известным, слишком широко прошумела моя первая книга, чтобы могли решиться на такой шаг. Была, конечно, у них и другая возможность. Могли вызвать к секретарю писательской парторганизации или даже к секретарю горкома... Но у кого-то в верхах хватило ума понять, что я — не колхозная бабушка, не сторож, не счетовод, не уборщица — не из тех, одним словом, кого можно пытаться переубеждать, перевоспитывать путем соответственно проведенного собеседования (хотя и колхозных бабушек, и счетоводов, и сторожей — по-настоящему верующих — такими душегубительными беседами тоже далеко не всегда перевоспитаешь — из света во тьму не столкнешь).

Короче говоря, по этой (то есть религиозной) линии меня не трогали, как не трогали «по этой линии» Пастернака, Ахматову, Пришвина, Панову, академиком Павлова, Смирнова и многих других, имен которых мы даже не знаем (а там всегда знали).

По другим-то «линиям» меня стегали — и основательно. В сентябре 1941 года, за несколько дней до того, как вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо блокады, меня (вме-

сте с тысячами других ленинградцев) вызвали повесткой в городской паспортный отдел, зачеркнули в паспорте прописку, внесли туда 39-ю статью и предложили в течение двух с половиной часов явиться с вещами на Финляндский вокзал. Это был последний или предпоследний поезд, уходящий в места, которые через несколько дней стали называть Большой Землей. Я не уехал. Десять месяцев жил с волчьим паспортом, без карточек. Меня ловили, хватали, сажали, грозили расстрелом... Человек, даже имени которого я не знаю, спас меня, помог бежать. Потом меня «реабилитировали». Потом Фадсев вывез меня — в третьей стадии дистрофии — на самолете в Москву. (Да, не только грехи были на совести этого человека!.. Но об этом не здесь.)

За что я подвергся тогда репрессиям — не знаю. Думаю — за все вместе взятое, в том числе и за церковь, за приверженность религии. Перед тем как я был реабилитирован, меня вызвали в Большой дом, где шесть часов подряд допрашивали. Из вопросов, которые мне задавали, я понял, что на протяжении многих лет множество добрых людей на меня капало. Среди прочего, проявляли интерес и к этой области, к моей религии.

Уже после войны, года за два до смерти Сталина, мне удалось поймать и разоблачить одного, уже давно вертевшегося вокруг меня литератора, который, как я всегда подозревал, прилежно постукивал на меня. Поймав его на явной провокации, я открыл перед ним дверь и сказал:

— Идите! У вас, кажется, сегодня собрание. Опоздаете.

И он, зло посмотрев на меня, ответил:

— Лучше ходить на собрания, чем к обедне.

А ведь я ему никогда не говорил, что хожу к обедне. Впрочем... Припоминаю такой разговор — на улице, года за полтора до этого.

Заговорили почему-то о переписи 1937 года. Б. сказал, что, когда к нему пришла счетчица, он был навеселе и на вопрос о вероисповедании ответил: православный.

— А утром очухался, испугался, побежал в этот участок, говорю: простите, был пьян, глупость сказал... Вычеркните, пожалуйста.

И, помолчав, не глядя в мою сторону, спросил:

— А вы?

— А я? Я — не вычеркивал.

Не вычеркивал, да, но говорю об этом без всякой гордости. Чего мне стоила эта перепись. Каких нервов! Каким была стрессом. И до чего же мне стыдно вспоминать о ней!

Еще месяца за два до переписи в газетах была напечатана анкета, в соответствующей графе которой стоял вопрос: вероисповедание и объяснялось, что требуется или ответить: «неверующий», или назвать веру, к которой принадлежишь.

Надо помнить, какой это был год. Тридцать седьмой! Бушевали грозы, которые теперь называются почему-то «большими чистками». Гриша Бельх уже одиннадцать месяцев томился в лагере, в Тулебле. За тюремной решеткой находились и другие близкие мне люди: Тамара Григорьевна Габбе, Александра Иосифовна Любарская, Миша Майслер*...

Время, когда не спали ночами, прислушиваясь к шагам на лестнице, к автомобильному гудку за окном. И вот, в дополнение ко всему ждешь, что придет к тебе девочка из соседнего ЖАКТ'а, останется с тобой наедине (тайна переписи!) и после ответов: Пантелеев, Алексей. Иванович. Такого-то года. Русский. Холостой. Писатель, — нужно будет произнести:

— Православный.

Если уж честно, то не только волновался, но и трусил.

Как волновались и трусили миллионы других советских людей. Те, что веровали, но скрывали свою веру. Не ставили свечу на подсвечник.

В конце декабря 1936 года ЦК комсомола созвало очередное совещание по детской литературе. Остановились мы, ленинградские делегаты, в «Ново-Московской» гостинице, на Балчуге. Перед Новым годом конференция закрылась, все наши уехали, а я — остался. Решил пройти перепись в Москве.

Было все именно так, как я и ожидал. Пришла ко мне в номер девица со списками постояльцев и с опросным листом, и вот литератор такой-то из Ленинграда, двадцати девяти лет, холостой, русский, на вопрос о вероисповедании — громко и даже, пожалуй, с излишней развязностью ответил:

— Православный

Девушка удивилась, но не очень. По-видимому, таких ответов в ее сегодняшней практике было достаточно.

Прошло немного времени и советские люди узнали, что январская переписка объявлена вредительской. Результаты ее никогда не были обнародованы. Упомянувший о ней не обнаружит ни в БСЭ, ни в других справочных изданиях.

В чем же дело?

А дело в том, что Сталин и его сподручные не в первый и не в последний раз очень крупно просчитались. Вводя в опросный лист неконституционный пункт о вероисповедании, они рассчитывали, что переписка покажет неслыханную победу ленинско-сталинской идеологии и повсеместное падение религиозных чувств советских людей. Переписка показала совсем обратное. Цифры мне неизвестны, но, говорят, были они потрясающими. Назвать, обнародовать эти цифры было невозможно. На фальсификацию же в этом случае почему-то не пошли. Но выводы соответствующие сделали без промедления: было предпринято новое широкое наступление на антирелигиозном фронте. Тысячами закрывались по всей стране храмы (в том числе была прикрыта, якобы для ремонта, Знаменская церковь в центре Ленинграда, прихожанином которой до последних дней был академик И. П. Павлов. Ее так и называли — «павловская»). Пошли в тюрьму и ссылку новые десятки и сотни тысяч священников, пасторов, ксендзов, мулл, раввинов и активных мирян. Дорого обошлась эта переписка нашему народу. Стояла она и денег, и труда, и человеческих жизней. И нервов. Потому что во множестве советских семей появление в доме счетчика вызывало стресс. А потом таким же стрессом был случайный ночной звонок или остановившийся у подъезда автомобиль. Или — замок и сургучная печать на дверях твоей церкви, где ты еще недавно, неделю назад исповедовался и причащался...

Опять замелькали в газетах гневные статьи и язвительные фельетоны о мракобесах-родителях, отравляющих детей ядом религии, о гадинах-студентках, совмещающих изучение диамата с посещением церкви, о пьяницах, ворах, растрелятах в сутанах и рясах...

*

Но тут грянула война.

Я совершенно уверен, что в самые первые минуты этой войны, едва услышав о том, что немецкие танки переходят советские границы, наш перепуганный до полусмерти вождь вспомнил именно эту треклятую вредительскую переписку 1937 года и прежде всего параграф о вероисповедании... Ему, с его болезненной мнительностью, не могло не почудиться, что все его подданные поголовно признают Бога и отвергают ленинско-сталинское передовое учение. Как же он будет бороться с немцами, имея под своими знаменами такое множество обиженных им и чуждых ему по духу людей?! Да не сомневаюсь, что именно об этом думал хитрейший и лукавейший из деспотов, когда лихорадочно искал выход из положения, в которое он угодил.

Недаром свое первое обращение к народу по радио Сталин начал теми словами, с какими обращается обычно с амвона священник к пастве:

— Братья и сестры!..

Тогда же, в самые первые дни войны, он принял решение слегка ослабить вожжи. А потом, когда немцы в оккупированных областях стали открывать церкви, эти вожжи были распушены даже очень основательно.

Из тюрем и ссылки стали тысячами возвращаться священники, муллы, раввины, ксендзы и пасторы.

Было разрешено открыть духовные школы.

Давно было согласие на созыв Поместного собора и избрание патриарха (только восточные патриархи на престол просили именовать не по-русски — интронизацией. Иначе получалось, что в стране существуют два престола).

Была выпущена (для заграницы) роскошно изданная книга «Правда о религии в СССР» *. (Один мой московский приятель сказал, что эта «Правда» — самая лживая книга на свете.)

Начал выходить «Журнал Московской Патриархии» *.

Высшее духовенство получало теперь приглашения на официальные приемы в Кремле.

В Большом зале московской консерватории был дан концерт для представителей

православного духовенства. Не был там, но видел на газетной фотографии диковатое зрелище: тысячи зрителей, и все бородатые, все в рясах и с наперсными крестами.

Центральные газеты печатали обращения церковных руководителей к верующим, — и не только патриотического содержания, с призывом воевать до победного конца или жертвовать сбережения в фонд обороны, но, помнится, и на такие специфически-религиозные темы, как «О христианской дисциплине», о необходимости соблюдения постов и т. п.

Это было время, когда нам, верующим людям, позволено было чуть-чуть посвободнее дышать.

Щедрость и милость вождя временами переходила границы вероятного. Был, например, объявлен приказ по Советской Армии, разрешающий военнослужащим, заявившим о желании посещать церковные службы, делать это «в коллективном порядке». В 1944 году в Ленинграде, в нижнем храме Никольского Морского собора я своими глазами видел, как за всюнощной человек двадцать — тридцать солдат и офицеров стояли в строю, двумя шеренгами, и молились. По окончании службы, когда старик священник вышел с крестом в руке на амвон и молящиеся, как всегда, хлынули прикладываться, седовласый батюшка отшел в сторону крест и громко сказал:

— В первую очередь военные!

И вот — капитаны, лейтенанты, ефрейторы и рядовые — в серых непарадных фронтовых шинелях, прижимая к левой стороне груди свои полевые фуражки и ушанки, — двинулись к амвону. И каждому, когда он целовал крест, батюшка истово, потцовски, по-дедовски говорил:

— Храни тебя Господь!..

А в верхнем храме того же собора уже и после войны за субботней всюнощной всегда можно было увидеть человек 10—15 морских офицеров. Были там и старики и молодые. Стояли они не в строю, приходили поодиночке, но группировались всегда в одном и том же месте, на невысоком помосте в правом заднем углу — против распятия. Но эти (выходцы, вероятно, из кастовых всенно-морских семей) ходили к Николае Морскому, по-моему, еще и в довоенные годы. Во всяком случае, до тридцать пятого, когда я еще жил неподалеку, на Вознесенском, и часто бывал у Николы... Но ведь после тридцать пятого были и тридцать шестой и тридцать седьмой и другие...

А вообще-то хоть и своими глазами видел, а не представляю себе, сказать по правде, обстановки, когда солдат или офицер мог явиться к старшине или к командиру части и заявить о желании пойти ко всюнощной или к обедне. Что-то и приказа такого я не запомнил. Правда, в армии я служил недолго, — может быть приказ был объявлен позже. Зато хорошо запомнилось мне такое вот.

1943 год. Лето. Подмосковное Болшево. Я — курсант аэродромно-строительного батальона военно-инженерного училища. Идут политзанятия, и кто-то из ребят спрашивает:

— Товарищ политрук, скажите, пожалуйста, чем объясняется перемена отношения советской власти к религии?

— Глупости вы говорите! — сердито перебивает его бритоголовый политрук. — Никаких перемен в этой области не было и не будет. Мы с вами, товарищи, не маленькие дети и не дурачки. Мы должны понимать что к чему. Политика, товарищи, есть политика. Советской власти не жалко, если какие-нибудь, скажем, старичок и старушка повенчаются в церкви. Зато из Америки мы получим танки, самолеты, хлеб и ту же, скажем, тушонку...

Эти откровения нашего политического пастыря я записал тогда же, на политзанятиях. Не знаю, уполномочен ли он был советской властью делать такие признания или это была импровизация, его собственные догадки. Несомненно прав он был в одном — в том, что происходящее вызвано было соображениями корыстными. Конечно, покупалась тут не одна тушонка и не одни только танки и самолеты, покупались симпатии, доверие, расположение миллионов верующих людей. А касательно того, что никаких перемен в отношении религии не произошло — в этом наш политрук ошибался. Перемены были. И касались они, конечно, не только тех фантастических старичков и старушек, которым вдруг пришло в голову на склоне лет итти под венец. И начались эти перемены, это заигрыванье с церковью и с верующими, как я уже говорил, очень рано.

В 1942 году неподалеку от Елоховского собора, кажется, на Баумановской улице, я видел расклеенную на деревянном щите газету, на одной из полос которой выделя-

лась большая, «подвальная» статья: «Священник-патриот». Под заголовком была отрисована фотография старого священника. В статье говорилось о том, как этот священник (да, да, не поп, а именно священник) прятал у себя в доме партизан, за что и принял мученическую смерть от руки немцев. Если не подводит меня память (а думаю, что не подводит), газета, где все это было напечатано, называлась «Безбожник»*. А если так, то это был один из последних, если не последний номер этого официозно-хулиганского органа Союза воинствующих безбожников.

✱

<...> Года два-три назад мне приходилось довольно часто бывать в Антропшинской церкви. Антропшино — следующая станция за Павловском. Когда-то там было имение графа... не вспомню, какого. При имении — церковь, строил ее, если не ошибаюсь, Александр Брюллов. Церковь небольшая, но в два яруса, то есть с двумя храмами, нижним и верхним. Почти каждый день там — в нижнем храме — совершалось отпевание. Приезжал автобус похоронного бюро. У гроба толпились с зажженными свечами в руках иногда два-три десятка родственников и близких. Каждый раз, отслужив заупокойную обедню, молодой настоятель выходил на амвон с крестом в руке, и когда к нему подходили прикладываться верующие, он громко обращался и к тем, кто стоял у гроба и ближе к притвору:

— Православных прошу подойти приложиться ко кресту...

На моей памяти только один раз подошли и поцеловали крест два молодых человека. Другие, может быть, и подошли бы, да — стеснялись.

Увы, одно увеличение доходов церкви никак не может служить доказательством духовного подъема народа, ростом его религиозного самосознания. Это свидетельствует скорее о росте сознания национального, о том явлении, которое не очень удачно именуют теперь почему-то ностальгией.

И еще одно скрывается за этим обращением народа к церкви, к ее обрядам и заветам: протест. Да, часто неосознанный или смутно осознаваемый — и все-таки протест.

Задайте себе вопрос: кого больше в нашей стране — верующих или неверующих? Конечно, скажете вы, неверующих. К сожалению, это так. Десятилетиями трудились наши вожди и наставники, чтобы несколько поколений русских, грузинских, еврейских, армянских, украинских и других советских людей выросли безбожниками. Но взгляните на любое православное кладбище... Оговорился: давно уже в нашем отечестве кладбища не разделяются по вероисповеданиям: православное, магометанское, еврейское, лютеранское... Зайдите на любое ленинградское или московское кладбище. Каких там могила больше — с крестами или без крестов? Подавляющее большинство могил или с надмогильными крестами, или с какой-нибудь мраморной или известняковой плитой, на которой где-нибудь наверху или сбоку выбит чаще всего позолоченный или посеребренный крестик. Процентом 80—85 могила осенена крестами. На остальных — тумбочки, плиты с фотографиями, какие-нибудь обелиски из водопроводных труб. Соответствует ли это тому соотношению, о котором я сказал выше? Не следует ли поставить цифры в обратном порядке? Не ближе ли к 80 процентам количество безбожников, людей нерелигиозных и безрелигиозных?

Но почему же кресты?

А потому что неудобно, когда твой отец или мать или твой старший брат лежат под могильным холиком, в который воткнута железная палка, а к ней привязана проволокой проржавевшая жестяная дощечка с именем, отчеством и фамилией покойного... Что же мы — нехристи, не русские? То же и с татарами, и с литовцами, и с другими...

В упомянутом выше Антропшине на местном кладбище я обнаружил надмогильную мраморную плиту с двумя именами — татарина-мужа и русской жены. Справа был высечен золотой крестик, слева — полумесяц.

А на Казанском кладбище г. Пушкина неподалеку от могилы С. М. Алянского видел на одной плите золотой крест и золотую звезду Давида. Под плитой покоятся муж и жена — русский и еврейка.

Всё, о чем я рассказываю, меня никак не обольщает и все-таки — радует. Ведь ставят на могиле крест, не только отдавая дань традиции, но и потому, что боятся уподобиться животному. Очень смутно понимая это, пытаются все-таки каким-то знаком отметить, что здесь, под этим бугорком лежит не кошка и не лошадь, а тот или та, кто создан по образу и подобию Божию

Во всех этих крестах, крещениях, отпеваниях, <...> свечках, при всей их мало-духовности или даже бездуховности, я вижу все-таки проблески чего-то очень светлого и обнадеживающего, вижу если не искру, то искорку Божию, которая при благоприятных обстоятельствах разгорится в пламя истинной веры.

*

Какие же это благоприятные обстоятельства?

Прежде всего, конечно, истинная свобода религии. Подчеркиваю — и с т и н н а я.

Я очень смутно представляю себе учение Игоря Огурцова * и его единомышленников, программы их не знаю, никаких других сочинений и документов тоже никогда не читал и не видел, а только слышал как-то не очень внятное изложение их взглядов в передаче одного из радио-«голосов». Если верить этому голосу, огурцовцы ратуют за теократическое государство, за воссоздание Государственной думы, в которой не менее 50 процентов мест должно принадлежать представителям духовенства!

Огурцовцы жестоко пострадали за веру, перед их мужеством и героизмом я преклоняюсь, но вместе с тем не могу не признаться, что к их утопии я отношусь — да, вынужден употребить это слово — с у ж а с о м!..

К чему вы нас призываете, дорогой Огурцов? К насильственному насаждению веры? К деспотической теократии? К господству в нашей стране казенной, государственной церкви?

Нет, всеми силами души я протестую против этого чудовищного прожекта.

Что же мне в нем претит? Прежде всего то, что за этими планами новой христианизации Руси скрывается та же НЕСВОБОДА. А с нею никогда, в какие бы одежды она ни рядилась: в ризу ли, в рясу ли, в коричневую рубашу или в мундир с голубыми погонами,— не может быть ничего доброго!..

Чем, скажите, ваша Дума будет отличаться от нынешнего Верховного Совета? Тем только, что вместо 55% назначенных депутатов-коммунистов там будут заседать 55% назначенных депутатов-клерикалов? Ближе ли моему сердцу эта картина? Нет, полагаю руку на сердце — нисколько не ближе. При всей моей религиозности и приверженности к православию этот крестоносный огурцовский парламент будит во мне ассоциации самые недобрые. Все худшее, что когда-либо говорили и писали пером или кистью враги веры Христовой — о красноносых и толстобрюхих попах, о сластолюбивых монахах, о деревенских крестных ходах, об обязательности исповеди и причастия, о Победоносцеве, Илиодоре, катехизисе,— все это вдруг выплывает в памяти, когда подумаешь только об этом огурцовском проекте церковного государства.

Боже мой, как блекнут, сереют, оказениваются даже в этом перечне такие прекрасные слова, как исповедь, причастие, крестный ход!..

Вспомнилось сейчас то, о чем я умолчал, когда рассказывал о младенческих годах, о своей чистой детской религиозности. Я писал, как водила меня мама по окрестным храмам и как все меня тогда радовало и веселило на богослужении. Но был один случай — страшный. Мы слушали обедню в церкви Литовского замка, известной тюрьмы, впоследствии, после Февральской революции разрушенной и сожженной. И сейчас вижу — длинный корабль храма, алтарь, иконостас, свечи, лампы... Идет служба, поет хор, плывет над головами голубой ладанный дым. Посередине стоят и молятся «вольные» православные, а с двух сторон, слева и справа — высятся в два яруса большие клетки, за прутьями которых молятся люди в чем-то бесцветном, коричнево-сером, с железными цепями на руках и на ногах. И этими закованными руками они крестятся.

Нет, Огурцов, не хочу! Не хочу хоть одну минуту жить в этом Вашем чиновно-клерикальном государстве.

Уж не говорю об утопичности, несбыточности Ваших мечтаний. Кто и каким образом установит эту церковную диктатуру? Не патриарх ли Пимен и другие послушные теперешнему режиму князя церкви? И на чью поддержку может рассчитывать эта будущая теократическая революция? На истинно верующих? Но их ведь в процентном отношении очень немного. Да и не пойдет, по моему твердому убеждению, истинно верующий на такое дело. На кого же тогда? На силы, которые всегда жили, таились в массе русского народа и в нужную минуту появлялись на исторической сцене — под именем ли дружинника, союзника или черной сотни?

Избави, Боже!

*

Не часто, но бывают счастливые неожиданные открытия. Мог ли я думать, что автор «Алых парусов» и «Бегущей по волнам» — человек верующий?! Еще большей неожиданностью было прочесть в биографии Эффенди Кадиева *, имя которого в моей памяти было накрепко привязано к имени Сулеймана Стальского*, а этот, последний, к славословию Сталина и всего сопутствующего ему, — потрясением для меня было узнать, что когда смертельно больной Кадиев ложился на операцию, он взял с собой в больницу только две книги: томик Лермонтова и — Евангелие!

Вероятно, так же удивился когда-то Александр Иванович Введенский, узнав, что один из авторов «Республики Шкид», которого он принимал за комсомольца, человек религиозный (да ведь и для меня религиозность Введенского была неожиданностью).

Самые счастливые открытия это когда узнаешь о религиозности совсем молодого человека.

Знакомая семья. Покойный дед Саши — коммунист с 1918 года. Отец — тоже член партии. Мать умерла, когда мальчику было два или три года, а сестренке его четыре. Отец женился, воспитывала ребят бабушка, «комсомолка двадцатых годов». И вот эта бабушка встречает мою жену и жалуется: горе у нее. Саша, член ВЛКСМ, комсорг группы, сбился с правильного пути, стал ходить в церковь, носит на шее крест, повесил у себя над кроватью икону да еще и лампадку зажигает...

Жена моя сказала, что, по-видимому, все-таки это дело Сашиной совести. Он — не ребенок, человек уже взрослый, имеет право на собственные суждения.

— Но ведь вы же знаете, что это такое! Ведь его же за такие дела из комсомола могут погнать, из института...

Плакала, жаловалась, что всегда была дружна с мальчиком, пользовалась его полным доверием — и вот всё насмарку.

— Как чужие стали! Уж я его и так и этак. А он: «Бабушка, ты человек темный. Ты ничего не понимаешь в подобных вещах». Это я-то — темная! — заливалась слезами эта молодая старуха, всю жизнь считавшая себя передовой, сознательной, наставленной в единственно правильной вере: в безбожии.

Под какой-то большой праздник мы были с женой за всеобщей, стояли в глубине храма, в толпе подходящих к иконе и к елеопомазанию. И вдруг жена вполголоса говорит:

— Посмотри! Саша!

Я посмотрел. Да это был он. Отходит от священника, потирая средним и безымянным пальцем слегка лоснящийся лоб...

А месяц спустя, под вечер, стоим на троллейбусной остановке у Александровской лавры, и опять жена говорит:

— Посмотри!

Два молодых человека, обогнув площадь, входили в ворота Лавры. Один из них был Саша.

Среди молящихся — молодых людей немного, и все-таки значительно больше, чем было раньше, двадцать, тридцать, сорок лет назад. И в большинстве своем это люди интеллигентные (в то время как пожилые и старые молящиеся чаще всего — из «простых»). Вспомнилась давняя (шестидесятых, кажется, годов) статья в «Новом мире»... Не помню ни автора, ни названия, ни общей темы. Помню только, что речь там шла о современной Австрии и, в частности, говорилось об усилении влияния католической церкви на австрийскую молодежь. Запомнилась такая справка: к религии обращаются главным образом интеллигенты и чаще не гуманитары, а молодые физики и вообще люди, причастные к так называемым точным наукам *.

Вспомнилось и другое, читанное или слышанное. Кто-то из крупных физиков (а может быть и не физик, не помню) сказал, что современный ученый, отрицающий идею Бога, — это или не ученый, или плохой ученый, или не порядочный ученый.

Великий физик Эрвин Шрёдингер, создатель квантовой механики, в своей известной книге «Жизнь с точки зрения физики» писал, что успехи генетики утверждают нас в идее Божественного промысла и существования души.

Когда Вс. Мейерхольд, поздравляя И. П. Павлова с восьмидесятилетием, написал, что его успешные открытия в науке помогли навсегда разделаться с таким понятием, как душа, Павлов, сдержанно поблагодарив за поздравление закончил свое ответное

письмо так: «а что касается вопроса о душе, то давайте не будем спешить». Это обнародовано, факт этот приводит в своих воспоминаниях о Мейерхольде А. К. Гладков*.

Но, конечно, не только ученые, но и простые люди,— если они думающие,— тоже тянутся к Богу.

Несколько лет пишет мне прелестные, полные поэзии, ума, юмора, письма работница из Ростова-на-Дону. Отец этой женщины, по ее словам, был коммунист — из тех, кого называют «пламенными». Сейчас не поленился, нашел давнее письмо этой женщины. Вот ее подлинные слова:

«Родилась и росла я в семье коммуниста, такого, каких сейчас нет. Отец мой отказался от своего дома, от любой собственности, и жили мы (а он прямо с восторгом) примерно как на картине Петрова-Водкина. Помните эту картину? Рвался первым на кубанский саботаж, считал, что делает нужное дело по велению партии и сердца»...

После этого отца исключили из партии, он писал Сталину («которого боготворил»), был восстановлен «и очень гордился, что справедливость победила».

«Всё богатство у нас была гора журналов "Коммунист" и "Правда" на гардеробе».

А в другом письме, которого я, к сожалению, не нашел, эта сорокапятилетняя женщина пишет, что их, детей, маму и других близких такая безытная и бездуховная жизнь не устраивала. Их тянуло к традициям, к казачьим песням и преданиям, к Пасхе и Троице, к престольным праздникам... Их угнетала эта жизнь в скиту без Бога. И постепенно выяснилось, что дочь — не какого-нибудь карьериста и приспособленца, а убежденного фанатика-коммуниста, человека, героически погибшего в оккупации,— что женщина эта — человек религиозный.

Доказательства этому накапливались постепенно. Восемнадцатилетняя дочь ее венчалась в церкви — к огорчению матери — в старообрядческой, так как молодой зять ее принадлежит к «старой вере». В другом письме описывается архиерейская служба в Новочеркасске. И обо всем этом — с уважением. А ведь писала не кому-нибудь, а советскому писателю.

Никогда не видел эту женщину, эту семью, этот дом с палисадником на окраине донского Ростова, а счастлив, что они существуют, что приходят ко мне и до сих пор письма от них, письма, где можно прочесть обо всем на свете — и о трудностях на производстве, и о туристской поездке на Кавказ, и о мещанстве, об эпидемии «автомобильно-телевизионной» болезни в нашем обществе, и о нехватке в магазинах кофия (традиционного напитка донских казаков, как выяснилось), и о необыкновенном урожае яблок, и тут же — о новом батюшке в местном храме, и о престольном празднике, и о Троице, Рождестве, о том, как не хватает Закона Божия, морального воспитания в нашей школе...

Не знаю глубины веры этой женщины (равно как и она не знает глубины моей), но, повторяю, счастлив от одного сознания, что она — и подобные ей — существуют на земле нашей.

*

Да, но при всей глубине их веры всё это люди, в большей или меньшей степени, связанные, скованные, держащие свечу под сосудом или не часто извлекающие ее оттуда.

Вряд ли наш милый Саша, если он еще комсорг и если вообще не вышел из комсомола (сомневаюсь, что вышел), вряд ли он открывается кому-нибудь, кроме домашних и кроме самого близкого друга — может быть того, с кем ходил ко всенощной в Лавру.

И вряд ли моя ростовская читательница, печатающая заметки в местной газете, так уж безбоязненно переступает порог новочеркасского собора... Сколько лет по себе это знаю. Даже сейчас, в старости, когда больше чем когда-либо положено думать о душе, когда стыдно скрывать свою веру, все-таки часто иду на этот стыд — нет-нет да и оглянешься, прежде чем перекреститься или войти во храм.

Пожалуй, только один раз за шестьдесят послереволюционных лет я чувствовал себя в церкви совершенно раскованным, распрявленным, свободным, ни о чем, кроме Бога и молитвы, не думающим.

Это было в начале сентября 1941 года, когда повесткой вызвали меня в паспортное Управление милиции и предложили (как и тысячам других ленинградцев) в тече-

ние двух с половиной часов покинуть город. То есть дали мне «минус». За что и почему — не объяснили. Подробности этой истории, едва не стоившей мне жизни, опускаю. Скажу только, что милый друг мой Шварц узнав о моей беде, поехал к тогдашней руководительнице союза писателей В. Кетлинской, просил хлопотать обо мне. Она сказала:

— Если органы безопасности считают, что Пантелеев виноват, значит он и в самом деле виноват, и хлопотать за него я не буду.

И вот тут, когда я понял, что нахожусь вне закона, что я отринут и отвергнут, именно в эту минуту я и почувствовал эту необыкновенную легкость и свободу... Я еще не решил — уеду или нарушу приказ властей, но как всегда в серьезные минуты жизни, пошел в церковь — помолиться, просить Бога наставить меня: как мне быть и что делать!..

На площади перед Спасо-Преображенским собором десятки людей рыли огромный котлован — вероятно, пруд для хранения воды (на случай пожаров?). Увидел я там и несколько наших — из Союза писателей. Помню, там был, работал заступом Алексей Крайский, в том же году погибший *... И вот на виду у всех, не оглядываясь, не прячась, и не употребляя для этого ни малейших усилий, я пересекаю площадь и, осенив себя крестным знаменем, захожу в собор... Незабываемое святое чувство свободы, после этого, увы, никогда уже больше не испытанное мною.

Вот именно поэтому я и называю себя плохим христианином. Нельзя служить Богу и Мамоне. А служим.

Читаем: «Оставь всё и иди за Мной». И не оставляем. Держимся, цепляемся за это ВСЁ. Да, очень трудно, почти невозможно оставить ВСЁ. Ведь это не только квартира, одежда, вкусная пища, любимые книги, может быть даже и любимые люди, семья... Для меня, как и для многих, это еще и любимая работа...

Вот и живешь — раздвоенный, ходишь по жизни двуликим Янусом, молишься Богу и сдержанно, правда, но все-таки поклоняешься Мамоне.

Месяц назад (то есть в сентябре 1978 года) приехала за мной черная машина. Нет, не «маруся», не «черный ворон», а правительственный лимузин. Татарин-охранник, в черной шляпе с узенькими полями, посадил меня рядом с шофером, а сам, устроившись сзади (не сомневаюсь, для электронного обьска), повез меня в Смольный. Там, в Шахматном зале, член политбюро, секретарь Ленинградского обкома Г. Романов вручил мне второй орден Трудового Красного Знамени. Говорил «лестные» слова по моему адресу. И я должен был отвечать. Да, я не употреблял тех подлых, холуйских слов («партия, правительство, лично Леонид Ильич Брежнев»), какими пользовались в своих выступлениях другие награжденные (в том числе и седовласый Евгений Мравинский), и все-таки сказал, что в награждении вижу признание заслуг советской детской литературы, а в добрых словах Романова — продолжение горьковско-кировских традиций...

От предложенной мне машины «для обратного следования» я отказался и из Смольного прошел пешком — через Пески и Прудки — в Спасо-Преображенский собор. Ханжество? Юродство? Патология?

Не знаю. Могу сказать только, что влекло неудержимо.

Так было, помню, и десять лет назад, когда орден мне нацепляли в Мариинском дворце и когда простившись на площади с Натаном Альтманом, тоже в этот день получившим орден, я прошел в Никольский собор...

Стыдно признаваться в этом и тягостно употреблять это слово, но понимаю, что тут есть все-таки и некоторая доля авантюризма — в этом хождении по острию ножа. Но, разумеется, главное — не это. Главное — потребность омыться, очиститься, а также, не скрою, и возблагодарить Бога за то, что, при всей двуличности моей жизни, я ничего не делаю заведомо злого, что охраняет меня Господь от недоброго, наставляет на доброе. Не проповедуя слова Божия на площадях и стогнах, часто не называя вещи своими именами, я, по мере сил своих и по мере возможности, стараюсь, возжегши тайно светильник, внести теплый свет христианства во всё то, что выходит из-под моего пера. Там, где можно. А там, где нельзя, — там и не получается ничего или получается плохо. Сила моей дидактики, «моральной проповеди», о которых упоминал в своих статьях К. И. Чуковский, объясняется лишь тем, что она основана на моей христианской вере.

Язык, на котором я пишу свои книжки, — ззлов язык христианина.



Двадцатого июля, «под Казанскую», стоял за всенощной в Князь-Владимирском соборе. Такого множества молящихся, такой плотной толпы, когда почти нет возможности опуститься на колени, я давно не видел. И так много молодых! Уже не по пальцам сосчитать, а, пожалуй, десятки — и главным образом не девушки (хотя и девушек много), а молодые люди, юноши, как на подбор красивые, интеллигентные...

Откуда эта радость? Как и когда начался этот поворот русской молодежи к Богу? Ведь было время, долгие годы, когда увидеть в церкви молящегося, а не глазеющего, не глядящего, не богохульствующего юношу, было в редкость чрезвычайную...

Тут я не могу не вспомнить и не назвать имени Александра Исаевича Солженицына. Это он — великий гражданин России — ударил в набат, он первый, кто осмелился поднять голос не только против чудовищных жестокостей режима, но и в защиту веры. Я уже говорил, что на страницах его книги впервые в истории советской литературы появилась фигура верующего, которого автор не высмеивает, не уничтожает, а которому явно сочувствует. Я говорю о баптисте Алёшке. Это из его записной книжки автор выписал не какую-нибудь иную, а именно вот эту цитату:

«Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или как вор, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь».

Думаю, что и сам Александр Исаевич прославляет Бога за выпавшую на его долю радость — и больше всего, конечно, за то, что именно его избрал Господь — придти и разбудить почти потухающее, почти заглушенное религиозное самосознание нашего народа. Не один он, конечно, трудился на этой ниве. Тут и о. Павел Флоренский, и пресвященный Лука, и другие названные и неназванные, но их голоса доходили прежде всего и главным образом лишь до тех, кто уже был приобщен к церкви, кто мог слышать этих пастырей, внимая их проповеди с амвона. Солженицын же шумно и бесстрашно ворвался в широкий русский (и не только русский, но и в украинский, и еврейский, и грузинский, и армянский, и белорусский) мир, явился верующим и неверующим и сказал:

— Без Бога жить нельзя!

И сейчас уже пишут о нем, — и у нас, в самиздатской литературе, и еще больше за рубежом, но пишут почти исключительно как о борце за права человека, меньше, но все-таки много о его художественных произведениях и совсем неизвестны мне исследования, посвященные Солженицыну-вероискателю, Солженицыну-миссионеру и Солженицыну-борцу за очищение церкви нашей. Раню или поздно такие исследования не могут не появиться. Когда-нибудь кто-нибудь проведет опрос верующих, поинтересуется: что привело этих людей к Богу? Уверен, что немалый процент опрошенных, пришедших (или вернувшихся) к православию в 60-е—70-е годы, сошлется на А. И. Солженицына.

Уже один его маленький рассказ или очерк или «сценка с натуры» — «Светлая заутреня в Переделкине» давала столько пищи для размышлений; так ярко, живо, пластично — и такими, что называется, скуными средствами — изображаются там и комсомольские хулиганы с гитарами и с прилипшими к губам сигаретками, и их визгливые подружки, и жалко теснящиеся православные с потухающими на ветру свечками, и — крестный ход, с напряжением, с трудом продирающийся сквозь это быдло; клонящийся в сторону фонарь, сбившийся в кучу причт и за ними — ни одного православного, а только эти — с гитарами и потушенными, заплеванными сигаретами. А перед ними — за крестом и хоругвями — девушки, поющие в церковном хоре! Сверстники этих, намазанных, подвыпивших, пропахших табаком!..

Могут сказать: передвижническая картина. Передвижничество наоборот. Нет, ничего общего с передвижниками в этом полотне (написанном средствами передвижническими, без треугольников и кружочков), ничего перовского или репинского в этой сцене нет. У тех лишь глумление, поношение, издевательство, здесь — бездуховному противопоставляется духовное, светлое, святое...

Вспомнился почему-то предзакатный час в Комарове, в тамошнем Доме творчества. Поужинав, сяду в саду, читаю газету. Из столовой выходит М. Л. Слонимский, направляется к моей скамье:

— Разрешите, Алексей Иванович? У нас тут загорелся спор. Вы наверно чита-

ли «Крестный ход в Переделкине». Некоторые приписывают этот памфлет перу Солженицына. У многих имеются весьма основательные сомнения. Арбитром избрали вас.

Я сказал:

— Не понимаю, кому могло притти в голову усомниться. Да, конечно, это Солженицын. Было бы чудом, если бы в одно время в России жил еще один писатель такой же мощи, как Солженицын...

Религиозность Солженицына пугала, а временами и отталкивала от него некоторых либеральных интеллигентов того же поколения, что и Слонимский. Да и моего поколения тоже. Интеллигенцию, выросшую на традициях передвижников, на традициях Белинского и Писарева, Горького и Стасова, устраивало в «диссиденте» Солженицыне всё: — и борьба его с цензурой, и борьба за другие права человека, и антисталинизм, и антифашизм вообще, но только не борьба за свободу совести, только не вера в Бога. Может ли быть, чтобы образованный человек, живущий в век НТР офицер советской армии, член союза советских писателей, и вдруг сочувственно изображает какой-то поповский, мракобесный, вылезший из глубины веков крестный ход!

Мне жаль этих людей. Среди них нет и не может быть ни одной крупной личности. Либеральствующая российская интеллигенция, безбожная, безвольная, исторически обанкротившаяся, позволившая случиться тому, что случилось,— она, эта интеллигенция, уходит в небытие. Но к счастью, у нас есть и другая интеллигенция— всегда была. так называемая потомственная, и молодая, пополняющаяся главным образом из рядов крестьянства. Да немалая часть и этой, послереволюционной интеллигенции, особенно ее старшее поколение, выросшее на казенном материализме, атеистическое по своей природе, ничем не лучше «интеллигенции интеллигентной» — и те и другие не могут признать в Солженицыне своего духовного вождя. И все-таки...

Все-таки времена Солженицына войдут в историю русской культуры с не меньшим правом и основаниями, чем вошли в эту историю времена Пушкина, времена Герцена, времена Белинского и Некрасова.

Влияние гонимого, загнанного в Рязань, ведущего полуподпольное существование Солженицына сказывалось и сказывается по сей день часто незаметно для глаза, иногда как бы отраженным светом — и на литературе нашей и на других видах общественной жизни.

Не родился на нашей земле Солженицын, вряд ли возникла бы у меня мысль писать эти заметки. И не появились бы многие художественные произведения, статьи, памфлеты, стихи и песни, не засверкали бы и не прошумели многие имена, не будь Солженицына. Воистину Господь Бог послал его нам как учителя и наставника, словом и жизнью своею показывающего пример доброй жизни.

Скажут мне: Солженицына не было бы вовсе как писателя и борца, если бы не умер вовремя Сталин, если бы не было выступлений Хрущева на XX и XXII съездах. Ведь сам он, Солженицын, признавался где-то, что при известных обстоятельствах мог стать энкеведешником.

Да. Мог. Но не было на то соизволения Господня.

Каждый бы из нас мог... Но — молился, и спасает нас. Совершается чудо.

*

Верю ли я в чудеса? Не только верю, что с кем-то когда-то, в апостольские времена, или в средние века, или в другие давние годы, совершалось то, что на русском языке называется чудом, но и на себе самом не один раз испытал спасительную и чудотворную силу молитвы.

Я пережил первую, самую лютую зиму ленинградской блокады. Пережил, то есть остался жить, хотя вряд ли какому-нибудь другому ленинградцу выпало на долю столько сколько выпало этой зимой мне.

Я уже мельком упоминал о том, что случилось со мной в начале сентября 1941 года когда меня больного, забракованного двумя медкомиссиями райвоенкомата, срочно вызвали — через дворничиху — повесткой в паспортный отдел городской милиции на площадь Урицкого Расскажу подробнее. Из моих публиковавшихся дневников и записных книжек редактор и цензор оставили крохи...

Вот подлинные выдержки из записок сорок второго года:

...И лестницы и коридоры забиты народом. И женщины и мужчины. Больше, пожалуй, мужчин. Молодые, старые. Рабочие, интеллигенты.

Иду со своей повесткой и вижу, что такие повесточки у многих.

Стоит молодой человек с тонкими черными усиками. Тоже с повесткой.

Спрашиваю:

— Не знаете, по какому делу вызывают?

— Знаю,— говорит он излишне серьезно, даже мрачно.— Сажают на баржи вывозят в Ладожское озеро и топят.

Можно было содрогнуться, но я не содрогнулся, потому что не поверил.

И подлая мысль: даже если и так, то при чем тут я?

Попадаем в просторное помещение, чуть ли не зало. Десять — двенадцать столиков, за каждым сидит человек в милицейской форме.

На столиках карточки с буквами алфавита: А, Б, В, Г... Разыскиваю свою П, подхожу.

— Ваш паспорт.

— Пожалуйста.

Берет паспорт, уходит, через две минуты возвращается.

— Возьмите.

И протягивает обратно паспорт. В паспорт вложена какая-то бумажка, узкая ленточка. Раскрываю на этой закладке книжку паспорта и — прежде всего — вижу, что штампы моей прописки перечеркнут крест-накрест по диагонали черной тушью.

— Что это значит?

— Тут все сказано. Прочтите.

Читаю:

«Такому-то явиться с вещами сегодня такого-то сентября к 14.00 на Финляндский вокзал к милиционеру Мельникову».

Взглянул на часы: без четверти двенадцать.

— Куда я могу обратиться за разъяснением? Где могу обжаловать это нелепое предписание?

— Обжалованию не подлежит. Постановление Совета Фронта. Следующий!

Обратно иду пешком. У Дома Книги встречаю Женю Шварца. Он огорчен, расстроен, но не может, как всегда, обойтись и без шуток,— пробует поддержать меня в моем унынии.

Мама, к удивлению моему, не растерялась, даже не расплакалась. Сразу же стала одеваться.

— Поеду на вокзал к Мельникову, предупрежу его, что ты болен.

Через час-полтора возвращается.

— Ну что?

— Видел бы ты, что там творится! Там никакого Мельникова днем с огнем не разыщешь. Лезут в вагоны с узлами, чемоданами, с детьми... Каждый вагон буквально берет штурмом.

...Нет, переписывать всё не могу. Слишком уж подробно. И не всё на тему. Скажу только, что из Ленинграда я не уехал. Мама моя ездила к начальнику паспортного отдела Николаеву, и тот сказал, что, может быть, это и ошибка — моя высылка, но что ж поделаешь — лес рубят, щепки летят.

А когда мама употребила слово «обида», он сказал:

— Ах, вот как! Он обижен? Тогда, тем более, он должен уехать. Обиженные опасны. <...>

И все-таки я не уехал. И десять месяцев жил с этим волчьим паспортом.

Мог бы написать книгу «Между Гестапо и НКВД». Но теперь уж не напишу. Дай Бог, если эти страницы, а также мои дневники и заметки сохранятся и когда-нибудь увидят свет.

Несколько месяцев я жил без продуктовых карточек. Зная отношение ко мне Кетлинской, мама боялась итти за так называемой стандартной справкой. Потом пошла. И — первое чудо. В местном сидит Иван Петрович Бельшев. Он уже знает о моей беде. Не задумываясь, выписывает справку.

Через месяц-полтора сам Бельшев умер от голода.

Я жил, что называется, на волоске от тюрьмы и смерти. Каждый звонок, каждый удар двери на парадной лестнице заставляли настораживаться, а ночами будили меня.

Впрочем, это не было в новинку. За спиной у каждого из нас стоял тридцать седьмой год.

Не хватало же меня, не приходили за мной, вероятно, только потому, что и милиция и работники безопасности были охвачены паникой. Ведь это были дни, когда и в самом деле каждую минуту ждали штурма.

А как же, спросят меня, я жил без карточек? Ходил на Мальцевский рынок. Конечно, большой колхозный рынок с прилавками, весами и прочими атрибутами торговли давно уже закрылся, но рядом, в узеньком проулке на моих глазах зарождалась барахолка... Здесь полуживые люди выменивали 100 граммов пайкового хлеба на коробок спичек или продавали эстонские чулки за два-три куска сахара.

Настоящее, несомненное чудо совершилось со мной в один из первых дней, когда я забрел на эту крохотную толкучку на улице Некрасова в слабой надежде что-нибудь купить. Ничего не продавал, не выменивал, просто стоял и смотрел. И вот подходит ко мне парень в кожаной тужурке — таких я не видел, пожалуй, со времен гражданской войны. Вполголоса говорит:

— Отойдем в сторону.

Я отошел к подъезду.

— Предъявите ваш паспорт.

— Паспорта у меня с собой нет.

— Где же он?

— Дома.

— А где ваш дом?

— Здесь. Близко. На улице Восстания двадцать два.

— Хорошо. Идемте.

Шел я не то чтобы спокойно, а — твердо. И всю дорогу молился:

— Вразуми, Господи! Помоги! Огради меня от дурного! Спаси и сохрани! Научи этого человека доброму... Да будет воля Твоя!..

На углу Знаменской и Бассейной парень остановился.

— Ладно. Идите.

И пошел в сторону.

А я пошел домой.

И, став на колени, долго молился, благодарил Небо за дарованную мне жизнь...

Почему, скажите, этот в кожаном пошел в сторону? Кто, кроме Бога, мог внушить ему этот внезапный, ничем как чудесным наитием не объяснимый порыв?

Впрочем, и вся эта долгая черная зима разве не была для меня одним сплошным чудом?!!

✱

Разве не чудо совершилось в моей, казалось бы, воистину угасающей, почти погасшей жизни, когда лютой мартовской ночью машина скорой помощи по ошибке привезла меня в больницу не на Крестовский остров (как было сказано в путевке), а на остров Каменный, где и главный врач Пластинина, и сестры ее, и дочь, и племянник оказались моими читателями? Диагноз у меня был: дистрофия III (то есть третьей стадии) и парез конечностей. Не будучи никогда толстяком, я потерял в весе двадцать восемь кило. На языке блокадников и эков я был доходягой.

Мне предложили остаться у них.

— Сделаем всё, чтобы спасти вас. Единственное, чего не могу обещать, это больше пищи, чем получают другие.

Да, чужой хлеб я не ел, этого греха на моей душе нет. Но — теплая, чистая палата, чистое белье, двукратное переливание кровезамещающей жидкости... Через месяц я уже мог ходить. И в шуточных стихах, посвященных Е. В. Пластининой, я имел основания написать:

Снова сердце гикает,
Снова ножки топают,
Только зубы грешные
Что-то мало лопают...

...В больницу я почал, если не ошибаюсь, в последней декаде марта. А перед этим в жизни моей было еще несколько настоящих, не метафорических чудес.

Человек неверующий волен сказать: «Повезло», «Стечение счастливых обстоятельств». Я же всегда вспоминаю об этих событиях, как о цепи чудес, и не устаю бла-

годарить Создателя за милость Его, за быстрый и прямой отклик на мои молитвы.

Слова эти выписываются на бумаге — трудно. Изреченная мысль, как известно, теряет что-то в своей искренности, подлинности и чистоте. Но — так было, и я не могу не писать правду, не могу искать других слов для выражения этой правды, кроме тех, какие приходят в эту минуту в голову.

В конце, кажется, февраля 1942 года моя мама перебралась на какое-то время к Ляле, сестре моей, на улицу Декабристов. Я жил один. Через день Ляля меня навещала.

Вот записи из дневника 1942 года:

«Сегодня днем лежал в состоянии полной прострации. Дремал. Читал. Снова дремал.

Грохот. Оглушительный. На пол падают и разбиваются несколько хрустальных подвесков плафона.

Не пошевелился даже, не приподнялся.

Через несколько минут хлопает дверь, прибегает Михаил Арсентьевич, оправдом.

— Алексей Иванович? Живы?

— Да. Жив.

— Ну, благодарите Бога. В пяти метрах от вашей головы две бомбы упали. По двадцать пять кило каждая.

Позже вышел посмотреть. Две довольно глубоких воронки. Одна находит на другую. В двух-трех метрах от моего окна.

...Всего не запомнил, что было за два с половиной месяца.

Два или три дня провел на улице Декабристов, у мамы и Ляли.

Туда шел ничего, а обратно еле волок ноги, от ул. Декабристов до ул. Восстания тащился по меньшей мере четыре часа.

Вошел в пустую, незапертую квартиру, переступил порог своей комнаты, стал снимать пальто и — зашатался, упал, подкосились ноги. Лежу на спине, не могу пошевелить ни рукой, ни ногой... Голова при этом ясная.

Попробовал голос. Что-то крикнул. Кажется:

— Эй, помогите!

Отклика не последовало. Некому было откликнуться. Но речь, слава Богу, не парализована.

Почему-то не было ни ужаса, ни отчаяния. Даже мысли о смерти не возникали. Что же делал?

Молился. В полный голос. Прочел, вероятно, все молитвы, какие знаю. Потом часа два читал — тоже в полный голос — стихи. От Державина до Хлебникова. Потом уснул. Проснулся уже ночью. Темно было и раньше, но тогда жиденькие лучики света пробивались сквозь фанеру на окнах. А теперь стоял полный мрак.

Есть не хотелось. Хотелось пить.

Сколько пролежал — не знаю.

На следующий или на третий день решил, что надо пробовать спасаться. Мучила жажда. Губы уже не разжимались, ссохлись, с трудом произносили слова молитвы. Пополз.

Метров пять-шесть — от моей комнаты, до дверей на лестницу — полз, вероятно, несколько часов. Самое трудное было преодолеть ступеньки — из комнаты в коридорчик и из коридорчика в прихожую. Вниз, в коридорчик перевалился сравнительно легко, но взобраться НА ступеньку... не понимаю, как мне это удалось. Работал головой, спиной, шейными мускулами (тем, что осталось от них).

Буквально втащил себя. Отдохнул, пополз дальше.

К счастью, входя в квартиру, я не захлопнул дверь, она была полуоткрыта.

Кажется, как раз в ту минуту, когда я выполз на лестницу, из квартиры напротив, где до войны жили Кнорре, вышла какая-то женщина. Простая. В сером платке. Невысокая. Милая. Теперь-то она мне особенно мила. Заквохала, засуетилась, побежала к себе, вернулась с другой женщиной, и, подняв, они понесли меня в мой страшный закоптелый склеп. Уложили в постель, принесли теплого молока (да, не придумываю и не снилось мне это — я пил молоко, может быть это было сгущенное молоко, разведенное кипятком?).

Фамилия этой женщины — Симонова.

Но как же я очутился на улице Декабристов?

А было так...

«В середине марта пришла дворничиха Маша, Татарка. Вдова. Я лежал на кровати — в пальто и в валенках. Она вошла в мой темный холодный кабинет:

— Есть кто?

— Есть.

— Живой?

— Кажется еще живой. Это кто? Маша?

Месяц назад мы собирали деньги на похороны ее мужа. Думаю — еще кто-нибудь умер, семья у них большая.

— В чем дело, Маша?

— Повестку тебе принесла. Вызывают в седьмое отделение.

— Не могу, Маша. Не дойти мне до отделения.

— А мне что? Мое дело маленькое. Принесла, отдала, а ты — как хочешь.

Положила повестку в урна.

Конечно, я понял, по какому делу меня вызывают. Но почему-то несколько не взволновался.

Через какое-то время слышу быстрые и энергичные мужские шаги. Врывается — милиционер Позже узнал, кто он. Квартальный уполномоченный Титов.

— Пантелеев?

— Да, Пантелеев.

— Ты что, мать твою растак? Тебя вызывали? Повестку получил?

— Да, получил. Но идти не могу. Нет сил.

— Я тебе дам — не могу (мать, мать, мать)! если (мать, мать, мать) через полчаса не будешь в отделении — за шкурку приволоку (мать, мать, мать).

Ушел, не переставая материться и хлопая дверями.

Случилось так, что, не успев он уйти, появились Ляля и Ира Большая *. Пришли меня навестить. Принесли какую-то еду, — суп, кажется. Затопили времянку.

И тут опять ворвался этот мордастый опричник.

Свою угрозу он выполнил буквально. Нешадно ругаясь, схватил меня за воротник и поволок к дверям. Волок он меня, ташил за шиворот и по улице. На Бассейной у парикмахерской с левой ноги у меня свалился валенок.

Я сказал:

— Потерял валенок.

— Ничего, и без валенка хорош, — сволочь!

Сзади шли Ира и Ляля, они всё видели, подобрали валенок, принесли его в милицию. Валенок мне передали, но в милицию их не пустили.

Я оказался в камере»...

*

Делаю такие большие выписки из блокадного дневника, что приходится разбивать их на главы.

Напомню, что записи эти делались месяца три спустя, на Каменном острове, когда я, оправляясь от дистрофии, готовился к отлету из Ленинграда и когда все самое страшное было уже позади.

Итак — я очутился в камере.

...«Собственно это не была камера с решетками на окнах и с засовами на дверях. Довольно большая комната, разгороженная барьером. По одну сторону сидит за столиком милиционер, по другую — на полу — расположилось несколько баб. Из их разговоров я понял, что взял их на Мальцевском рынке по обвинению в спекуляции.

Садиться на пол я не стал. Я решил жаловаться на этого квартального. Потребовал, чтобы вызвали начальника отделения.

— Начальника нет, — сказал милиционер, который нас караулил.

— Ну, заместителя его.

— Хорошо, попробую.

Закрыв нас на ключ, милиционер ушел и через минуту вернулся.

— Доложил дежурному.

— Спасибо.

Я продолжал ходить по камере. Этот милиционер поглядывал на меня. Он не был

похож на «среднего» милиционера. В нем было что-то интеллигентное. И форма на нем была какая-то необмятая, совсем новенькая.

— За что вас взяли? — услышал я вдруг его голос.

— Вы ко мне?

— Да, я спрашиваю: что вы наделали, за что вас арестовали?

Я почему-то решился и рассказал ему все. Начиная с того, памятного, сентябрьского дня. Упомянул, что я — писатель.

— Вот как? А у вас что — и книги есть напечатанные?

— Да, есть.

Назвал «Республику Шкид».

Он поднялся и вышел из-за своего столика. Мне показалось, что он одновременно и обрадовался и испугался.

— Товарищ Пантелеев, да как же это так? За что же вас?!!

В это время в камере появился Титов в сопровождении милицейского офицера забываемой внешности. Румянощекий, элегантный, с холеной бородкой, какие в годы моего детства называли а ля Анри Катр. В руках этот джентльмен держал какую-то бумагу величиной с почтовую открытку.

— Это вы требовали начальника? — обратился он ко мне.

— Да, я. Вы — начальник?

— Я инспектор по надзору за работой милиции.

— Тем лучше. Заявляю вам протест на действия вот этого человека...

— Прежде чем выслушивать ваши протесты, я попрошу вас подписать вот этот протокол, — сказал Генрих Четвертый. Я проглядел написанный от руки текст. Там было сказано, что гражданин Пантелеев-Еремеев А. И. не явился по вызову в органы милиции, а при задержании его милицией оказал физическое сопротивление квартальному уполномоченному Титову и был силой доставлен в отделение.

— Что это значит? — спросил я.

— А это значит, что завтра утром вас доставят в трибунал и вы будете расстреляны. Распишитесь.

— Нет. Расписываться под этой насквозь лживой бумагой я не буду.

— Ну, что ж. Это дела не меняет. Пошли, товарищ Титов.

В камере стояла тишина. Я заметил, что даже бабы с Мальцевского рынка, которые до сих пор без умолку тараторили, притихли и с уважением смотрели на меня: по сравнению со мной они были мелкими сошками, — ведь ни одной из них расстрелом не угрожали.

— А ведь плохо ваше дело, товарищ Пантелеев, — сказал мой караульный. — Могут ведь и в самом деле кокнуть.

— А что же я могу сделать?

Он сидел, потирая лоб ладонью.

— А мы вот как поступим, — сказал он наконец. — Вызовите дежурного по отделению и заявите ему, будто у вас дома оставлена топящаяся печь.

— Ну, и что? Между прочим, у меня и в самом деле топится печка.

— Тем лучше. Короче говоря, действуйте, как я сказал.

Он сам пошел и привел дежурного.

— У арестованного есть заявление, — сказал он. Я повторил то, что он мне подкасал: мол, у меня в квартире топится печка, в квартире никого нет и может возникнуть пожар.

— Я не располагаю людьми — гонять по таким пустякам, — сказал дежурный.

— А ведь обязаны, — сказал мой милиционер.

— Обязаны, верно, — сказал дежурный.

— Давайте я схожу с арестованным.

— Далёко?

Я назвал адрес.

— Ну, идите.

— А ну, давай, пошли, — строго и даже грубо приказал мне мой конвоир.

На улице я его спросил:

— А почему вы пошли не один, а со мной?

— Потому, что существует конституция. Неприкосновенность жилища. Без вас войти в вашу квартиру никто не может.

Я сказал ему, что он не похож на милиционера.

Оказалось, что он носит милицейскую форму всего третий день. Он — бывший офицер из запасных. И бывший учитель географии. Его, как и многих других офицеров, отозвали с фронта — для пополнения кадров ленинградской милиции.

Я шел медленно. Он останавливался, ждал. На углу улиц Маяковского и Некрасова остановился уже сам и сказал:

— Идите.

— Куда?

— Куда хотите.

— Позвольте! А как же вы?..

— Ничего. Как-нибудь. Отверчусь.

Вообще-то мне следовало стать перед этим человеком на колени. Но я только крепко-крепко сжал его руку.

Человек спас мне жизнь. А я даже имени его не знаю. Не знаю, кого поминать в своих молитвах. Так и молился и молюсь до сих пор:

— Спаси и сохрани того, кто помог мне бежать...

*

Конечно, домой я тогда не пошел, а пошел на улицу Декабристов к маме и Ляле. По дороге заходил в Никольский собор.

У Ляли, как я уже писал, я провел два или три дня. На четвертый утром пошел — не знаю, не помню, почему, на улицу Восстания. И там, на пороге своей комнаты, свалился. Через пять-шесть дней попал в госпиталь на Каменном острове. А месяца три спустя уже сидел в кабинете Маршака, в Москве, на улице Чкалова, и рассказывал Самуилу Яковлевичу обо всем, что вытворяли со мной в Ленинграде. Маршак негодовал, наставлял, чтобы я возбудил уголовное дело против квартального Титова. Я мялся, говорил: подумаю, попробую, но мои христианские убеждения отвратили меня от этого поступка... Хотя нет, если говорить честно, не только убеждения христианина, не только нежелание мстить, отвечать ударом на удар остановили меня в этом случае. У меня не было и не могло быть уверенности, что мои жалобы, заявления, протесты к чему-нибудь приведут. Ведь реабилитировали меня не потому, что «восторжествовала истина», а потому, что вмешались сильные мира сего — Маршак, Фадеев и — прежде всего писатель Л. Шейнин, тогдашний следователь по особо важным делам, впоследствии сам пострадавший от меча пролетарской диктатуры...

А вообще-то спасла меня молитва.

Долго думал сейчас, как написать об этом, и вот решил сказать самыми простыми словами, не боясь, что слова эти прозвучат елейно или ханжески...

Да, спасал Господь Бог, к которому неизменно и ежедневно обращаюсь и в начале дня и в конце его, и тем более во все трудные минуты жизни.

Молился я, когда караульный милиционер ушел звать дежурного по отделению. Молился, когда лежал парализованный на пороге своей комнаты. Молился, когда арбежащая машина скорой помощи везла меня полуживого на Острова, в больницу.

А с Титовым мне еще привелось повстречаться. В январе 1944 года, в те дни, когда советские войска, совершая чудо, взрывали железное кольцо немецкой блокады, я был в командировке в Ленинграде, шел по улице Некрасова в сторону Литейного и вдруг вижу — навстречу мне едет на велосипеде (да, в январе на велосипеде) квартальный уполномоченный Титов. Он тоже меня узнал и так, помню, растерялся, даже испугался, что колесо его велосипеда заюлило, и он чуть не вывалился из седла.

Нет, я не жалею, что не возбудил против этого человека «дела». Знаю, что дурно, когда твоя судьба и судьба твоих ближних зависит от таких подонков, но знаю и другое — что на душе у меня сейчас было бы куда хуже, если бы я нарушил в тот раз заповедь: «Не судите, да не судимы будете».

Жалею я не об этом. Жалею, что не узнал, не придумал способа узнать имя и дальнейшую судьбу человека, сказавшего мне тогда:

— Идите.

Если он жив — да хранит его Бог! Если нет — упокой, Господи, душу его!.. Эти слова я дважды провозношу каждый день.

Стр. 135. Николай Макарович Олейников (1898—1937), поэт и детский писатель. Репрессирован в 1937 году и погиб. Евгений Львович Шварц (1896—1958) и Иракий Луарсабович Андроников (1908—1990). Все трое были сотрудниками Детского отдела Госиздата в Ленинграде.

Подробно о Валентине Феликсовиче Войно-Ясенецком (1877—1961) рассказано в книге М. Поповского «Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга» («Октябрь», 1990, № 2—4).

Михаил Валентинович Войно-Ясенецкий (р. 1907).

Протоиерей о. Иоанн, в миру Иван Иванович Чакой (1876—1962).

Стр. 136. Н. Олейников и Е. Шварц вместе сочинили поздравительные стихи «На имянины хирурга Грекова» («Привезли меня в больницу / С поврежденною рукой...»).

Моисей Осипович Янковский (1898—1972), театровед и либреттист.

Стр. 137. Исай Аркадьевич Рахтанов (1907—1979), детский писатель, автор повести «Чин-Чин-Чайнамен и Банни Сидней» (1931), спортивных рассказов и других произведений.

Стр. 138. Петр Петрович Крючков (1889—1938), секретарь М. Горького с середины 20-х годов. Репрессирован и расстрелян.

Стр. 140. Василий Иванович Еремеев (1909—1943), слесарь, участвовал в Великой Отечественной войне, умер в госпитале, и Александра Ивановна Германенко, урожденная Еремеева (р. 1911), брат и сестра А. И. Пантелеева.

Стр. 141. Со слова «принде»: Библия, Новый Завет. Евангелие от Луки. Гл. IV, стих 16.

Стр. 143. Блаженная Ксения Петербургская, в миру Ксения Григорьевна Петрова (между 1719—1732 — между 1794—1806), подвижница благочестия.

Стр. 146. Сергей Иванович Лобанов (1907—1955), журналист, с середины 40-х годов директор Карело-финского издательства в Петрозаводске.

Первое издание: Л. Пантелеев. Рассказы и повести. Петрозаводск, 1952.

«Литературная газета», 1954, 4 декабря.

Майю Лассила. За спичками. Повесть. Пер. в обработке М. Зоценко. Петрозаводск, 1949.

Стр. 148. Тамара Григорьевна Габбе (1903—1960), драматург, автор пьес «Город мастеров», «Оловянные кольца» и других, литературный критик, фольклорист и редактор. Друг С. Я. Маршака.

Даниил Иванович Хармс, наст. фамилия Ювачёв (1905—1942), поэт, прозаик, драматург, детский писатель. Репрессирован в 1941 году и погиб.

Вильям Блейк (1757—1827), английский поэт и художник.

София Михайловна Маршак, урожденная Мильвидская (1886—1953), жена С. Я. Маршака.

Л. Пантелеев имеет в виду следующее место в статье Б. Сарнова «И в музыку преобразили шум...», в его кн. «Рифмуется с правдой» (М., 1967, стр. 197—198): «.. одни ищут выхода в религии, другие — в философии. Маршак ищет другого. Он хочет, чтобы чувство прочности, стабильности мира, было не просто сознанием, но и мироощущением и нем человека. Тем живым и ясным мироощущением, каким естественно обладает каждый ребенок: „Года четыре был я бессмертен...“».

Иммануэль Самуилович Маршак (1917—1977), старший сын С. Я. Маршака, физик. Речь идет о стихотворении «Все те, кто дышит на земле...» (1964), действительно последнем стихотворении поэта.

Александра Иосифовна Любарская (р. 1906), детская писательница и редактор, работала в редакции детской литературы под началом С. Я. Маршака.

Стр. 149. Розалия Ивановна Вилтцин (1884—1966), домоправительница в семье С. Я. Маршака, выполняла и секретарские обязанности.

Автор цитирует неопубликованные воспоминания Лидии Корнеевны Чуковской (р. 1907), литературного критика, прозаика, мемуариста, поэта, редактора, о Т. Г. Габбе.

Стр. 150. В своих «Записках об Анне Ахматовой» Лидия Чуковская, рассказывая о хлопотах Ахматовой о репрессированном сыне, Льве Николаевиче Гумилеве, записала: «У нее роковые дни: решается Левино дело... Анна Андреевна, сидя отдельно от нас, поодаль у стола, перелистывала какой-то альбом и тяжело молчала. Иногда мне казалось, что, молча, она шевелит губами: может быть, молится? Я, неверующая, готова молиться вместе с ней» (т. 2. 1952—1962. Париж. YMCA-PRESS, 1980, стр. 112—113).

Нисон Александрович Ходза (1906—1978), детский писатель, пересказал для детей сказки народов Азии, писал рассказы о В. И. Ленине. Л. Пантелеев имеет в виду автобиографическую заметку Н. Ходзы в журнале «Детская литература» (1971, № 5, стр. 76).

Стр. 151. Николай Федорович Григорьев (1896—1986), детский писатель; Адольф Моисеевич Вейлин, псевд. — А. Крымов (1911—1970), театровед; Петр Иосифович Капица (р. 1909), писатель.

Николай Алексеевич Заболоцкий (1903—1958), поэт. Был репрессирован в 1938 году. «Ночные беседы» — так первоначально называлась 2-я глава «Торжества Земледелия», написанная 3 марта 1929 года. «В том же 1929 г. Николай Алексеевич составил рукописный сборник и тоже назвал его „Ночные беседы“». По свидетельству мамы, в этот сборник была включена и глава из «Торжества Земледелия» <...>. «Ночные беседы» (сборник) пропал после обыска и изъятия его у поэта в 1938 г.» (письмо Н. Н. Заболоцкого публикатору 21 августа 1990 года).

Александр Иванович Введенский (1904—1941), поэт, драматург, детский писатель. Репрессирован в 1941 году и вскоре погиб. Юрий Дмитриевич Стадимиров (1908—1931), поэт, прозаик, детский писатель Умер от туберкулеза. Они оба, как и Н Заболоцкий и Д. Хармс, входили в ОБЭРИУ (Объединение Реального Искусства), отсюда — обэриуты.

Дойвбер (Борис Михайлович) Левин (1904—1941), прозаик, детский писатель Погиб на фронте Обэриут.

Самуил Миронович Алянский (1891—1974), основатель и совладелец издательства «Алконост», в котором выходили книги А. Блока, Анны Ахматовой, А. Белого и других, в 1929—1932 заведовал «Издательством Писателей в Ленинграде», а последние три десятилетия своей жизни — художественный редактор Детгиза («Детской литературы»); написал книгу «Встречи с Александром Блоком» (М., 1969). О венчании Алянского Блок записывает: «С. М. Алянский звонил: он обвенчался в синагоге; в синагоге, как следует, торжественно...» (А. Блок. Собр. соч. в восьми томах. Т. 7. М. — Л., 1963, стр. 390).

Стр. 153. Иван Петрович Бельшев (1894—1942). Умер в Ленинграде, в блокаду.

Леонид Николаевич Рахманов (1908—1988), прозаик и драматург, и Татьяна Леонтьевна Петерсон (р. 1908), его жена.

Мария Вениаминовна Юдина (1899—1970), пианистка. По существующей версии, поводом к ее увольнению из консерватории послужила следующая причина. В пасхальные дни 1930 года, несмотря на строгие предупреждения, появившиеся во многих ленинградских газетах, что неявка на работу будет засчитываться за прогул, М. В. Юдина не пришла на занятия со студентами. Под этим предлогом она была уволена из консерватории. Последний концерт ее класса, с ее участием, состоялся уже после ее увольнения, 16 июня 1930 года.

Евгений Павлович Иванов (1879—1942), литератор, детский писатель, друг А. Блока. Оставил воспоминания о нем, опубликованы в Блоковском сборнике (Тарту, 1964).

Зоя Владимировна Гуковская (1907—1973), филолог. Жена Г. А. Гуковского.

Наталья Григорьевна Долинина (1928—1979), писательница и литературовед.

Стр. 154. В книгу «Лики на заре. Исторические повести» (М. — Л., 1966) входит «Сказание о Феодосии».

Первое отдельное издание — в 1953 году.

Описка.

Стр. 156. Елена (Элико) Семеновна Пантелеева, урожденная Кашия (1914—1983).

Стр. 157. Ектенѣя (греч.) означает «прилежное моление». Просительная молитва на богослужении. «Великая или мирная ектеня» включает молитву о здравии патриарха. Молитва о покойном патриархе входит в «сугубую (усиленную) ектению».

Стр. 159. Митрополит Вениамин, в миру Иван Афанасьевич Федченков (1880—1961). Экзарх Русской Православной Церкви в США, архиепископ Алеутский и Североамериканский. С августа 1947 года митрополит Рижский и Латвийский.

Стр. 163. Михаил Моисеевич Майслер (1903—1942), редактор и детский писатель, одно время редактировал «Чиж».

Стр. 164. Точное название: «Правда о религии в России». Издана в 1942 году ([М.], Моск. патриархия). Первая глава — «О свободе религиозного исповедания в России». Книга в значительной степени посвящена разрушению храмов и расстрелам во время немецкой оккупации.

Журнал издается с 1931 года.

Стр. 166. Установить, где напечатана эта статья, не удалось.

Стр. 167. Игорь Вячеславович Огурцов (р. 1937), организатор (в 1964-м) ВСХОНа (Всероссийского Социал-Христианского Союза Освобождения Народа). Был арестован в феврале 1967 года и осужден на 15 лет (7 лет тюрьмы и 8 лет лагерей) с последующим отбыванием в ссылке еще на 5 лет. Полностью отбыл срок и после освобождения уехал за границу.

Стр. 168. Эффенди Капиев (1909—1944), писатель. Переводчик Сулеймана Стальского. Сулейман Стальский (1869—1937), лезгинский поэт, слагавший в 30-е годы верноподданнические стихи.

Л. Пантелеев подразумевает строчки в статье Ильи Константиновского «Австрийские встречи. Из путевых записок» («Новый мир», 1968, № 12, стр. 174).

Стр. 169. Александр Константинович Гладков (1912—1976), драматург и мемуарист. Автор имеет в виду «Воспоминания, заметки, записи о В. Э. Мейерхольде» Александра Гладкова в сб. «Тарусские страницы» (Калуга, 1961), стр. 301.

Стр. 170. Алексей Петрович Крайский, наст. фамилия — Кузьмин (1891—1941), поэт. Умер в Ленинграде, в блокаду.

Стр. 176. Ира Большая — кузина А. И. Пантелеева Ирина Николаевна Кудрявцева (1904—1974).

ПУБЛИЦИСТИКА

Ф. А. ХАЙЕК

*

ДОРОГА К РАБСТВУ

Глава 9

СВОБОДА И МАТЕРИАЛЬНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ

Все общество будет одной конторой и одной фабрикой с равенством труда и равенством платы.

В. И. Ленин, 1917.

В стране, где единственным работодателем является государство, оппозиция означает медленную голодную смерть. Старый принцип — кто не работает, тот не ест — заменяется новым: кто не повинуется, тот не ест.

Л. Д. Троцкий, 1937.

Кроме мнимой «экономической свободы», необходимым условием подлинной свободы часто, и с большим основанием, изображаются гарантии материальной обеспеченности¹. В каком-то смысле это и верно, и важно. Независимость мышления и сила духа редко проявляются теми, кто не уверен, что пробьется собственными силами. Однако понятие гарантий материальной обеспеченности столь же расплывчато и двусмысленно, как большинство терминов в этой области; поэтому всеобщая поддержка, оказываемая требованию подобных гарантий, может оказаться чреватой опасностью для свободы. Более того, если выражение «материальная обеспеченность» понимается в чересчур абсолютном смысле, то всеобщее стремление к ней не только не увеличивает шансов на свободу, но становится для нее серьезнейшей угрозой.

Для начала полезно сопоставить два противоположных вида обеспеченности: ограниченную, которая может быть достигнута для всех и потому является не привилегией, а законным предметом устремлений; и абсолютную, гарантированную при любых обстоятельствах, которую всем в свободном обществе обеспечить невозможно и которая не должна предоставляться в качестве привилегии (за исключением нескольких особых случаев, как, например, для судей, полная и абсолютная независимость которых — дело первостепенной важности).

К первому виду относится ситуация, когда каждый человек может быть уверен, что он застрахован от тяжелых физических лишений — другими словами, когда всем гарантирован определенный минимум средств к существованию; ко второму — гарантирование определенного жизненного уровня или же положения в обществе, которое характеризует данное лицо или социальную группу по сравнению с другими. Выражаясь более кратко, речь идет о гарантированном минимальном доходе — и о гарантиях определенного уровня доходов, который считается для того или иного лица «заслуженным» или «положенным». Как мы увидим ниже, различие это в основном совпадает с различием между гарантиями обеспеченности, которые могут быть предоставлены

¹ Окончание. Начало см. «Новый мир» № 7 с. г.

¹ В заглавии и тексте данного раздела речь идет об общем понятии, обозначаемом автором с помощью английского слова «security», охватывающего широкий круг значений — например, оно может означать безопасность, обеспечение, гарантия и т. д. Если материальное обеспечение граждан по старости, болезни, потере трудоспособности берет на себя государство, то соответствующая система мероприятий в советской литературе носит название социального обеспечения и социального страхования. Соответствующие понятия также входят в круг значений английского термина «social security». (Прим. ред.)

всем членам общества помимо и в дополнение к рынку — и гарантиями, которые могут быть обеспечены лишь для некоторых граждан, и только с помощью контроля или уничтожения рыночной экономики.

В обществе, достигшем такого уровня благосостояния, как наше, гарантии первого типа вполне можно обеспечить, не ставя под угрозу свободу. При этом возникают сложные вопросы, например, о том, какой конкретный минимальный жизненный уровень следует гарантировать; особенно важен вопрос, можно ли позволить лицам, находящимся на общественном иждивении, неограниченное пользование теми же свободами, что и прочим. Опрометчивость в решении этих вопросов может привести к серьезным, даже опасным политическим последствиям, но не подлежит сомнению, что какой-то минимальный жизненный уровень (пища, жилье и одежда), достаточный для сохранения здоровья и способности трудиться, может быть гарантирован для всех. Более того, для значительной части населения Англии гарантированная обеспеченность этого типа давно стала реальностью.

Точно так же государство вполне может гарантировать частным лицам обеспечение на случай вероятных, но не поддающихся предвидению событий, связанных с опасностью для здоровья или жизни человека. Хотя каждый знает, что подобные несчастья возможны, лишь немногие в состоянии полностью застраховать себя от их последствий. Когда оказываемая помощь не уменьшает ни желания избежать опасной ситуации, ни стремления преодолеть ее последствия (как, например, болезни или несчастного случая), то есть, короче говоря, когда мы имеем дело с подлинным «страхуемым риском», — многое говорит в пользу государственного содействия организации всеобъемлющей системы социального страхования. Разумеется, между сторонниками конкуренции и ее противниками непременно возникнут разногласия по поводу деталей такой системы, и нетрудно, прикрываясь именем социального страхования, ввести меры, практически сводящие эффективность конкуренции к нулю. Но в принципе такого рода социальное страхование вполне совместимо с личной свободой. К этой же категории относится оказание государством помощи жертвам стихийных бедствий, таких, как наводнения и землетрясения. В случаях, когда общественные меры могут облегчить бедствия, которых человек не в силах ни предусмотреть, ни избежать, ни подготовиться к ним, принимать такие меры, несомненно, следует.

Наконец, в высшей степени важна проблема борьбы с последствиями периодических спадов общей экономической активности и сопровождающим депрессию ростом массовой безработицы. Это, бесспорно, одна из серьезнейших и самых насущных проблем нашего времени. Решение ее требует интенсивного использования планирования в хорошем смысле этого слова — но отнюдь не требует (или, по крайней мере, необязательно требует) того особого вида планирования, которому, по мнению его сторонников, суждено прийти на смену рынку. Некоторые экономисты надеются, что окончательное средство от безработицы лежит в сфере кредитно-денежной политики, что вполне совместимо даже с либерализмом девятнадцатого века. Правда, другие считают, что реального успеха можно ожидать только от осуществляемых в широком масштабе и в точно рассчитанный момент общественных работ. Это может привести к гораздо более серьезным ограничениям сферы действия конкуренции, и при экспериментах в этом направлении нужно быть очень осторожными, иначе вся экономика станет зависимой от объема и направленности правительственных затрат. Однако это не единственный и, на мой взгляд, не самый обещающий путь борьбы с этой серьезнейшей угрозой экономической обеспеченности граждан и их уверенности в завтрашнем дне. Во всяком случае, наиболее необходимые мероприятия, направленные на то, чтобы обезопасить людей от последствий экономического спада, вовсе не вынуждают нас использовать тот вид планирования, который представляет такую опасность для нашей свободы.

* * *

Планирование, предательски подкапывающееся под самые основы свободы, ставит своей целью обеспечение застрахованности совсем иного рода, а именно — застрахованности отдельных людей или групп от уменьшения их дохода, уменьшения, пусть даже совершенно незаслуженного, но ежечасно случающегося в конкурентном обществе; застрахованности от потерь, приносящих суровые лишения, ничем морально не оправданных, но неотделимых от свободной конкуренции. Таким образом, требование застрахованности такого рода есть не что иное как видоизмененное требование, чтобы вознаграждение было справедливым, то есть соответствовало не объективным

результатам личных усилий, а субъективным достоинством. Но такого рода застрахованность или справедливость несовместимы со свободой выбора оплачиваемого занятия.

В любой системе, при которой распределение людей по роду их занятий опирается на их собственный выбор, вознаграждение за труд непременно должно определяться пользой, приносимой ими другим членам общества, даже если польза эта не имеет никакого отношения к их субъективным усилиям или достоинствам. Часто достигаемые результаты соответствуют затраченным усилиям, но в любом обществе это происходит не всегда, в особенности когда полезность для общества какой-либо профессии или квалификации падает в связи с непредвиденными обстоятельствами. Каждому понятна трагедия профессионала, чье приобретенное долгой выучкой мастерство внезапно обесценивается каким-нибудь изобретением, приносящим несомненную и значительную пользу обществу. История последнего столетия полна примеров такого рода, затрагивающих иногда сотни тысяч людей.

Разумеется, когда у кого-то резко падает доход и все надежды идут прахом не по его вине, несмотря на упорный труд и исключительные профессиональные достоинства, это оскорбляет наше чувство справедливости. Когда пострадавшие требуют от государства вмешательства с тем, чтобы оно гарантировало их законные притязания на «положенный» им уровень дохода, они всегда найдут всеобщее сочувствие и поддержку. Широкое одобрение такого рода требований привело к тому, что правительства повсюду не только приняли меры по обеспечению тех, кто оказался в подобной ситуации, минимальными средствами к существованию, но и гарантировали, что они будут по-прежнему получать свой прежний доход — то есть полностью обезопасили их от превратностей экономической жизни.

Однако если мы хотим сохранить хоть какую-то свободу выбора занятия, невозможно гарантировать всем какой-то определенный доход. Если же обеспечить таким доходом лишь некоторых, он превращается в привилегию за счет других, чья относительная застрахованность тем самым понижается. Легко показать, что неизменный доход для всех можно гарантировать только при отмене всякой свободы в выборе оплачиваемого занятия. И хотя подобные гарантии законных прав и притязаний, распространяющиеся на всех граждан, часто считают идеалом, к которому надо стремиться, на деле происходит совсем иное. На деле постоянно предпринимаются попытки дать эти гарантии по частям, то одной, то другой группе, в результате чего неуверенность в завтрашнем дне тех, кто остался ни с чем, постоянно возрастает. Неудивительно, что вследствие этого непрерывно растет также ценность такого рода гарантий-привилегий, их требуют все настоятельнее, пока, наконец, не начинают стремиться к ним любой ценой, даже ценой свободы.

* * *

Если начать компенсировать незаслуженные убытки тем, чья полезность для общества уменьшилась в связи с обстоятельствами, которых они не могли ни предвидеть, ни контролировать, и точно так же ограничивать незаслуженные доходы тех, чья полезность возросла, то вскоре вознаграждение потеряет всякую связь с реальной пользой для общества. Оно будет определяться мнением какого-нибудь авторитетного органа относительно того, что тот или иной человек мог бы сделать, что он должен был бы предусмотреть, и хороши или дурны были его намерения. Такие решения не могут не быть в значительной мере произвольными. Применение этого принципа неизбежно приведет к тому, что люди, выполняющие одинаковую работу, будут получать различное вознаграждение. При этом разница в оплате не только перестанет служить стимулом, заставляющим людей как-то перестраиваться, приспособляясь к потребностям общества, но и лишит тех, чьи интересы это затрагивает, даже возможности судить, стоит ли какая-то конкретная перестройка связанных с нею хлопот.

Но если перетекание людей из одной профессии в другую, необходимое в любом обществе, нельзя стимулировать денежными «поощрениями» и «взысканиями» (которые все не обязательно зависят от личных достоинств), его придется осуществлять с помощью прямых приказаний. При гарантированном доходе человеку нельзя позволить ни остаться на данной работе просто потому, что он ее любит, ни самому решить, какую работу он хотел бы взамен прежней. Поскольку не он сам материально выигрывает или проигрывает, переходя на другую работу или оставаясь на прежней, то и выбор должны делать за него те, кто контролирует распределение имеющихся фондов заработной платы.

Возникающий в связи с этим вопрос о наиболее действенных стимулах обсуждается обычно так, как будто речь идет лишь о том, как заставить людей хотеть работать как можно лучше. Но в этом не вся проблема, и даже не самый важный ее аспект. Дело не только в том, что для того, чтобы люди работали с полной отдачей, нужно, чтобы им было для чего работать. Гораздо важнее другое: если мы хотим оставить за ними выбор, позволять им самим решать, чем заняться, то необходимо дать им какое-то простое и наглядное мерило относительной социальной важности и полезности различных занятий. При самом большом желании никто не сможет разумно выбрать одну из многообразных возможностей, если связанные с ними преимущества никак не соотносятся с их общественной полезностью. Чтобы человек мог решить, следует ли ему в результате каких-то внешних перемен сменить работу и среду, к которым он привык и которые полюбил, необходимо, чтобы изменявшаяся относительная полезность для общества этих занятий нашла свое отражение в вознаграждении, которое им соответствует.

В сущности, вопрос еще серьезнее, ибо в мире, каков он есть, люди могут долго отдавать работе все силы только при личной заинтересованности. Если не на всех, то на очень многих, чтобы они старались, нужно оказывать какое-то давление извне. В этом смысле вопрос о стимулах — вопрос весьма насущный, как в сфере живого труда, так и в административно-управленческой деятельности. Применение методов инженерного проектирования к целой нации — а планирование означает именно это — «связано с трудноразрешимыми проблемами дисциплины», хорошо описанными одним американским инженером с большим опытом правительственного планирования. Он ясно увидел суть проблемы и столь же ясно ее изложил: «Чтобы успешно выполнять какое-то инженерно-техническое задание, необходимо, чтобы вокруг существовала сравнительно обширная зона непланируемой экономической деятельности. Необходим резервуар, из которого можно черпать работников, необходимо, чтобы уволенный работник исчезал не только с работы, но и из платежной ведомости. При отсутствии такого резервуара дисциплину можно поддерживать только телесными наказаниями, как при рабском труде».

В сфере административной работы вопрос о санкциях за халатность стоит иначе, но не менее серьезно. Можно сказать, что если при конкурентной экономике последним средством является судебный исполнитель, то при плановой экономике — палач. Директор завода будет наделен значительными полномочиями и при плановой экономике. Но, как и в случае с рабочим, доход и положение директора в плановом обществе не зависят от успешности работы под его руководством. Поскольку ни риск, ни прибыль не являются его личным риском и его личной прибылью, все решает не его личное мнение, что следовало бы предпринять, а вопрос, делает ли он то, что ему положено делать в соответствии с некими заранее установленными правилами. Ошибка, которой он «должен был» избежать — не его личное дело, а преступление против общества, и должна рассматриваться как таковое. Пока он следует по протоптанному пути объективно установленных обязанностей, он может быть больше уверен в своих доходах, чем капиталист-предприниматель; зато в случае серьезного провала ему угрожают последствия, гораздо более опасные, чем банкротство. Он может быть уверен в завтрашнем дне до тех пор, пока удовлетворяет своих начальников, но эта уверенность куплена им ценой свободы и физической безопасности.

Итак, перед нами неразрешимый конфликт между двумя несовместимыми типами общественного устройства, которые часто называют, по наиболее характерным их проявлениям, обществом коммерческого типа и обществом военизированного типа. Термины эти, возможно, неудачны, так как подчеркивают не самые существенные стороны и мешают увидеть, что мы имеем дело с реальной альтернативой и третьего пути нет. Либо на плечи человека ложится и выбор, и риск, либо его освобождают и от того, и от другого. Действительно, армия во многих отношениях являет собой наиболее знакомый нам вариант второго типа организации, где и работу, и работников распределяет высшее начальство, и где в случае скудости имеющихся ресурсов все переводится на одинаково скудный паек. Это единственная система, при которой индивидууму можно гарантировать полную экономическую застрахованность, и при распространении ее на все общество такой застрахованности можно достичь для всех членов общества. Однако такая застрахованность неотделима от ограничений свободы и от иерархического устройства, связанного с армейским образом жизни. Это застрахованность казармы.

Конечно, организовать по этому принципу отдельные секторы свободного общества вполне возможно, и нет оснований делать этот образ жизни, с его обязательным стеснением свободы, недоступным для тех, кто его предпочитает. Более того, какой-то вид добровольной трудовой службы, организованной по военному образцу — это, вероятно, лучший путь, каким государство может обеспечить всем работу и минимальный доход. Если в прошлом такого рода предложения оказывались малопримлемыми, то причина этого — в том, что люди, согласные пожертвовать свободой ради уверенности в завтрашнем дне, всегда требуют лишить свободы также и тех, кто на это не согласен, а это уже оправдать трудно.

Однако организация военного или военизированного типа, какой мы ее знаем, дает лишь очень слабое представление о том, что будет, если распространить ее на все общество. Пока по-военному устроена лишь часть общества, несвобода тех, кто охвачен военизированной сферой, смягчается наличием свободной сферы, куда они могут переместиться, если ограничения начнут им слишком докучать. Чтобы представить себе общество, устроенное (согласно идеалу стольких социалистов) как одна громадная фабрика, надо обратить взор к древней Спарте или к современной Германии, которая, двигаясь в этом направлении в течение жизни уже двух или трех поколений теперь почти достигла цели.

* * *

В обществе, привыкшем к свободе, вряд ли многие сознательно пойдут на то, чтобы приобрести уверенность в завтрашнем дне такой ценой. И тем не менее политический курс, которым ныне повсюду следуют правительства, предоставляя привилегии, гарантирующие материальную обеспеченность, то одной, то другой социальной или профессиональной группе, быстро создает условия, при которых стремление к обеспеченности становится сильнее свободолюбия. Причина этого — в том, что с получением каждой новой группой гарантий застрахованности от превратностей экономической жизни прочие неизбежно испытывают возрастающую неуверенность в завтрашнем дне. Если кому-то гарантируется неизменная доля непрерывно меняющегося размера пирога, то, соответственно, количество, остающееся на долю остальных, будет колебаться в большей степени, чем величина целого. При этом все более обесценивается основная предлагаемая конкурентной системой гарантия, позволяющая человеку уверенно смотреть в завтрашний день: громадное многообразие возможностей.

В рамках рыночной экономики гарантировать обеспеченность отдельным группам можно только с помощью методов планирования, известных под названием рестрикций (однако именно к этим методам сводится почти все планирование, осуществляемое в настоящее время). «Контроль», то есть ограничение производства, с тем чтобы «надлежащая» прибыль обеспечивалась путем установления соответствующих цен — вот единственный способ, позволяющий в условиях рыночной экономики гарантировать производителям определенный уровень дохода. Но такая практика неизбежно влечет за собой сокращение возможностей, открытых для всех остальных. Если производитель — неважно, рабочий или предприниматель — будет застрахован от последствий деятельности аутсайдеров², предлагающих тот же товар или услугу по более низкой цене, это означает, что другие, находящиеся в худшем положении, не допускаются к относительно большому благополучию, достигнутому в контролируемых отраслях промышленности. Любое ограничение беспрепятственной свободы доступа новых компаний в данную отрасль уменьшает уверенность в завтрашнем дне всех, кто остается при этом за бортом. А по мере роста числа людей, доход которых гарантируется таким образом, падает число других возможностей, открытых для каждого, кто лишился дохода; у тех же, на ком какие-то изменения отразились неблагоприятно, соответственно уменьшаются шансы избежать пагубного понижения дохода. И если, как это все чаще случается, с улучшением условий в каждой очередной отрасли промышленности занятые в ней лица будут иметь возможность исключить остальных, чтобы сохранить за собой весь доход (будь то в виде прибылей или более высокой зарплаты), то представителям отраслей, где спрос упал, некуда будет податься; поэтому каждое изменение конъюнктуры вызывает волну безработицы. Именно вследствие господствовавшего все последние десятилетия стремления гарантировать себе обеспеченность подобными методами столь выросла безработица, а с ней — неуверенность широких слоев населения в завтрашнем дне.

² Аутсайдер — предприятие, не входящее в монополистическое объединение. (Прим. ред.)

В Англии такие рестрикции, особенно те, что затрагивают промежуточные слои общества, лишь сравнительно недавно приняли серьезные размеры, и мы еще не успели ощутить их последствия. Осознать полную безнадежность положения людей, которые в таком разделенном непроницаемыми перегородками обществе оказались лишенными доступа к занятиям, обеспечивающим гарантированное будущее, осознать всю глубину пропасти, отделяющей их от счастливых обладателей подобной работы (которые настолько защищены от конкуренции, что и не подумают потесниться и дать место другим), сумеют только те, кто это испытал. Конечно, никто не говорит о том, что счастливицы должны уступать свои места; но они должны нести на своих плечах какую-то долю общих невзгод — в виде некоторого понижения доходов, а часто даже просто отказа от дальнейшего улучшения своей ситуации. Однако это исключается мерами по сохранению их «уровня жизни», «справедливой зарплаты» и «профессионального дохода», на которые они, по их мнению, имеют право и в обеспечении которых им содействует государство. Вследствие этого резким колебаниям теперь подвержены не цены, заработки и личные доходы, а производство и занятость. Мир не знал худшей эксплуатации, чем эксплуатация неокрепших или неудачливых производителей производителями, прочно стоящими на ногах — то есть эксплуатации, ставшей возможной благодаря «регулированию» конкуренции. И немногие модные идеи причинили больше вреда, чем идея «стабилизации» тех или иных цен (или заработков), ибо такая «стабилизация», гарантируя доход одним, делает положение других все более и более непрочным.

Таким образом, чем больше мы пытаемся обеспечить прочность экономического положения людей, вмешиваясь в рыночную экономику, тем более непрочным оно становится. а главное, тем резче становится контраст между положением тех, кому эта прочность даруется в качестве привилегии, и возрастающей неуверенностью в завтрашнем дне тех, кто этой привилегии лишен. А чем большей привилегией становится прочное экономическое положение и чем большая опасность грозит тем, у кого его нет, тем выше ценится экономическая обеспеченность и застрахованность от случайностей. По мере роста числа привилегированных и усиления контраста между их положением и положением остальных возникает совершенно новая система социальных ценностей. Репутация и социальный статус начинают определяться не независимостью, а застрахованностью, завидность жениха — не уверенностью в том, что он далеко пойдет, а его правом на пенсию; непрочность же положения вызывает ужас, превращается в состояние парии, в котором обречены пребывать всю жизнь люди, не допущенные в молодости в гавань твердого оклада.

* * *

Всеобщие старания добиться экономической обеспеченности путем рестрикционных мер, допускаемых или поддерживаемых государством, с течением времени привели к постепенному перерождению общества, в котором, как и во многом другом, Германия была впереди, а другие страны за ней следовали. Этот процесс ускорился благодаря еще одному результату социалистического воспитания: сознательному принижению всякой деятельности, связанной с экономическим риском, и моральным осуждением высоких доходов, оправдывающих принимаемый риск, но являющихся уделом лишь немногих, кому улыбнулась удача. Мы не можем порицать молодых людей за то, что они предпочитают риску предпринимательства обеспеченное положение с твердой зарплатой: ведь с ранней юности оно преподносилось им как нечто высшее и более бескорыстное. Нынешняя молодежь выросла в мире, где школа и печать изображают дух коммерческого предпринимательства позорным, а получение прибылей аморальным, где нанять сотню людей на работу — это эксплуатация, а руководить тем же числом — почетно. Людям старшего возраста это, возможно, покажется преувеличением, но повседневный опыт университетского преподавателя не оставляет сомнений в том, что в результате антикапиталистической пропаганды человеческие ценности уже изменились, задолго до изменения общественных институтов, с целью удовлетворения новых требований, к невольному уничтожению тех ценностей, которые мы по-прежнему считаем высшими.

Лучше всего сдвиги в структуре общества, вызванные победой идеала обеспеченности над идеалом независимости, можно проиллюстрировать путем сопоставления английского и германского общества десяти-двадцатилетней давности. Как бы велико ни было влияние армии в Германии, неверно приписывать целиком этому влиянию то, что англичанам представляется военизированной германского общества. Исходя из

этого, нельзя объяснить глубины различий; к тому же особые черты германского общества проявлялись не только в кругах, находившихся под сильным влиянием милитаризма, но и в кругах, где это влияние было ничтожным. Дело не в том, что практически в каждый данный момент гораздо большая, чем в иных странах, часть немецкого народа была организована для целой войны, то есть была включена в военную машину, а в том, что один и тот же тип организации использовался для множества целей. Именно это и придавало немецкому обществу его особый характер. Дело в том, что в Германии было сознательно организовано сверху донизу, по военному образцу, больше сторон гражданской жизни, чем в любой другой стране, и большая часть нации считала себя не независимыми гражданами, а назначенными сверху чиновниками. Как хвастались сами немцы, Германия уже давно превратилась в *Beamtenstaat*³, в котором доход и положение в обществе устанавливаются и гарантируются властями не только на государственной службе, но почти во всех областях жизни.

Вероятно, дух свободы нельзя где бы то ни было искоренить силой, но вряд ли кто-нибудь смог бы успешно противостоять медленному ее удушению, происходившему в Германии. Там, где отличия и положение в обществе достигаются почти исключительно на государственной службе, там, где исполнение обязанностей похвальнее, чем выбор собственного пути, там, где все занятия, не дающие признанного места в официальной иерархии или твердого дохода, считаются второсортными и даже сомнительными, трудно ожидать, что многие предпочтут свободу обеспеченности. Если же альтернативой зависимому и прочному положению является положение самое шаткое, когда тебя одинаково презирают и в случае успеха и в случае неудачи, немногие устоят против искушения выбрать прочность и обеспеченность, пожертвовав свободой. А когда все зашло уже так далеко, свобода действительно превращается почти в издевательство, ибо ее можно получить, только пожертвовав большинством земных благ. В этой ситуации неудивительно, что все больше людей должны считать, что свобода без прочной экономической базы «ничего не стоит», и быть готовы ею пожертвовать ради уверенности в завтрашнем дне. Но когда профессор Гарольд Ласки использует в Англии те же самые доводы, которые побудили немецкий народ пожертвовать своей свободой, это не может не вызывать тревоги.

Безусловно, надлежащие гарантии на случай тяжелых лишений, а также меры по предотвращению обстоятельств, приводящих к тому, что люди неверно направляют свои усилия и в результате оказываются обманутыми в своих ожиданиях, должны будут стать одной из главных задач политики правительства. Но чтобы эти меры увенчались успехом и не уничтожили личной свободы, такие гарантии нужно предоставлять вне сферы рыночной экономики, силам же конкуренции необходимо дать действовать беспрепятственно. Какие-то экономические гарантии необходимы даже в целях сохранения свободы, так как большинство людей согласны на неизбежно связанный со свободой риск, только если он не слишком велик. Но хотя об этом ни в коем случае нельзя забывать, нет ничего страшнее модной сейчас среди интеллектуалов тенденции к восхвалению обеспеченности в ущерб свободе. Необходимо вновь научиться без страха признавать, что за свободу надо платить и что мы как личности должны быть готовы для сохранения свободы идти на серьезные материальные жертвы. Если мы хотим ее сохранить, необходимо снова проникнуться убеждением, на котором основано правление свободы в англо-саксонских странах и которое выразил Бенджамин Франклин в словах, применимых не только к странам, но и к отдельным людям: «Те, кто отказывается от свободы в главном ради временной безопасности, не заслуживают ни безопасности, ни свободы».

Глава 10

ПОЧЕМУ У ВЛАСТИ ОКАЗЫВАЮТСЯ ХУДШИЕ

Всякая власть развращает, но абсолютная власть развращает абсолютно.

Лорд Актон.

Рассмотрим теперь одно распространенное убеждение, в котором черпают утешение те, кто считает приход тоталитаризма неизбежным, и которое значительно ослабляет волю к борьбе многих других, кто сопротивлялся бы изо всех сил, если бы

³ Государство чиновников (нем.).

полностью осознал, в чем заключается суть тоталитаризма. Убеждение это сводится к тому, что наиболее отталкивающими своими чертами тоталитарные режимы обязаны исторической случайности: ведь их устанавливали бандиты и мерзавцы. Пусть в Германии тоталитарный строй привел к власти штрейхеров и киллингеров, леев и хайнсов, гиммлеров и гейдрихов: это, убеждают нас, свидетельствует о порочности немецкого национального характера, а вовсе не о том, что возвышение таких людей является неизбежным следствием тоталитарного строя. Разве не могут оказаться во главе такой системы (если она необходима для достижения грандиозных целей) порядочные люди, которые будут управлять в интересах всего общества?

Не надо обманывать себя: не все хорошие люди — непременно демократы, и не все они непременно захотят участвовать в управлении государством. Многие с удовольствием возложили бы эту обязанность на кого-нибудь, кого они считают более компетентным. Может быть, это неразумно, но нет ничего плохого и непорядочного в том, чтобы одобрять диктатуру хороших людей. Мы уже как будто слышим, как нам объясняют, что тоталитаризм одинаково может творить и добро, и зло, а на какие цели его направить — зависит исключительно от того, кто будет диктатором. Люди, полагающие, что бояться надо не системы, а дурных людей у ее кормила, возможно, даже соблазняются шансом предотвратить опасность, заранее позаботившись о том, чтобы у кормила оказались люди хорошие.

Разумеется, фашистский или аналогичный ему режим в Англии сильно отличался бы от немецкой и итальянской модели, и если бы переход к нему произошел ненасильственным путем, мы могли бы ожидать лучшего, чем у них, типа лидера. Если бы мне пришлось жить при фашистском режиме, я без всякого сомнения предпочел бы английский фашизм любому другому. Однако это не означает, что, исходя из наших нынешних норм, британский фашизм окажется в конечном счете резко отличающимся от своих предшественников или менее невыносимым. Есть веские основания полагать, что худшие черты существующих тоталитарных режимов — это не случайные побочные явления, а неизбежные следствия тоталитаризма, которые рано или поздно обязательно проявятся. Как демократическому государственному деятелю, занявшемуся планированием экономики, вскоре придется либо возложить на себя диктаторские полномочия, либо отказаться от своих планов, точно так же тоталитарному диктатору вскоре придется выбирать между отказом от привычных моральных устоев и неминуемым крахом. Вот почему в обществе, тяготеющем к тоталитаризму, больше шансов на успех имеют люди без моральных устоев и без совести. Тот, кто этого не понимает, еще не полностью осознал, какая пропасть отделяет тоталитаризм от либерального строя, насколько вся моральная атмосфера при коллективизме иная, чем в исконно индивидуалистической западной цивилизации.

Разумеется, проблема «моральных устоев коллективизма» уже неоднократно обсуждалась в прошлом; но нас здесь будут интересовать не его исходные моральные идеалы, а те результаты в области морали, к которым он приведет. Обычно обсуждение этических аспектов коллективизма сосредоточивается на вопросе, требуют ли введения коллективизма существующие моральные принципы, или же на том, каковы будут моральные убеждения, необходимые для того, чтобы коллективизм принес ожидаемые результаты. Мы же здесь, наоборот, задаемся вопросом о том, какие моральные принципы породит коллективистское общество и какими принципами оно будет руководствоваться. Взаимодействие нравственности с общественными институтами вполне может привести к тому, что этические нормы, порожденные коллективизмом, окажутся совершенно иными, чем нравственные идеалы, побуждающие людей требовать коллективизма. Мы склонны полагать, что, поскольку стремление к коллективизму вытекает из высоких нравственных мотивов, подобная система окажется благодатной почвой для процветания самых высших добродетелей. Однако ниоткуда не следует, что при каком бы то ни было режиме должны развиваться и совершенствоваться те качества, которые лучше всего служат провозглашаемым этим режимом целям. Какие моральные принципы будут господствовать в коллективистском или тоталитарном обществе — зависит частично от того, обладание какими качествами будет залогом успеха в этом обществе, а частично — от потребностей аппарата тоталитарной власти.

* * *

Здесь нам придется ненадолго вернуться к ситуации, предшествующей подавлению демократических институтов и установлению тоталитарного режима. На этой стадии

доминирующим фактором является всеобщее недовольство медлительностью и громоздкостью демократической процедуры, превращающейся в самоцель. Все считают, что так больше продолжаться не может; все требует от правительства быстрых и решительных действий. В этот момент наиболее привлекательным для масс оказывается политический деятель (или партия), выглядящий достаточно сильным и решительным, чтобы «довести дело до конца». Сильный лидер или партия — вовсе не означает здесь располагающий численным большинством; ведь недовольство вызывает именно бездействие парламентского большинства. Люди ищут лидера, обладающего настолько прочной поддержкой, что это внушает уверенность: да, такой наверняка сумеет осуществить все, что захочет. Тут-то и наступает черед партии нового типа, устроенного по военному образцу.

Жителей стран Центральной Европы давно приучили к политическим организациям полувоенного характера, поглощающим львиную долю личной жизни своих членов. Сделали это социалистические партии. Для того, чтобы одной из таких групп получить неограниченную власть, требовалось лишь пойти немного дальше, то есть черпать силу не в бесчисленных голосах значительных масс своих сторонников во время несчастных выборов, а в полной и безоговорочной поддержке небольшой, но прекрасно организованной группы. Шансы навязать тоталитарный режим целой нации зависят от того, сможет ли лидер окружить себя людьми, готовыми добровольно подчиниться тоталитарной дисциплине, которую они затем будут силой навязывать остальным.

Социалистические партии были очень сильны и могли бы добиться чего угодно, применив силу, но этого-то они и не хотели. Сами того не зная, они ставили перед собой задачу, которую могут осуществить только люди безжалостные и способные смести преграды общепринятой этики.

Социализм можно осуществить на практике только методами, не одобряемыми большинством социалистов: вот урок, усвоенный многими социальными реформаторами прошлого. Старым социалистическим партиям мешали их демократические идеалы, у них не было безжалостности, необходимой для выполнения взваленной ими на себя задачи. Показательно, что и в Германии, и в Италии успеху фашизма предшествовал отказ социалистических партий взять на себя ответственность за управление страной. Им не хотелось применять методы, к которым они сами указали путь. Они все еще надеялись на чудо, верили, что большинство договорится и выработает конкретный план переустройства общества; а другие между тем уже поняли, что в плановом обществе вопрос не в том, чтобы большинство о чем-то договорилось, а в том, какова самая большая группа, достаточно сплоченная для осуществления единого руководства всеми областями жизни; если же такой группы не существует — в том, как ее создать и кому это удастся.

Есть три веских причины полагать, что подобная сильная и многочисленная группа, состоящая из лиц с довольно однородными взглядами, скорее всего будет сформирована не из лучших, а из худших элементов любого общества. Если исходить из наших моральных норм, принципы отбора членов такой группы будут почти исключительно негативными. Во-первых, чем выше умственные способности и уровень образования отдельных индивидуумов, тем резче разнятся их вкусы и взгляды и тем меньше шансов, что они единодушно примут какую-то конкретную иерархию ценностей. Отсюда логически вытекает, что тот, кто ищет единства взглядов, должен спуститься в сферы, где доминируют более низкий моральный и интеллектуальный уровень, более примитивные и грубые вкусы и инстинкты. Это не значит, что у большинства людей низкий моральный уровень; это означает лишь, что крупнейшая группировка людей с очень схожими ценностями неизбежно состоит из лиц невысокого уровня. Можно сказать, что наибольшее число людей может объединить только наименьший общий знаменатель. Многочисленная группа, достаточно сильная, чтобы навязать свои взгляды на основные жизненные ценности и на все прочее всем остальным, никогда не будет состоять из людей с развитыми, резко индивидуальными вкусами: только люди, образующие «массу» в уничижительном смысле слова, наименее оригинальные и независимые, сумеют подкрепить свои идеалы численностью.

Однако потенциальный диктатор не может рассчитывать только на людей с примитивными, и обычно весьма схожими, инстинктами: их будет слишком мало для осуществления поставленной задачи. Ему придется увеличивать численность последователей, обращая в свою несложную веру все новых людей. И здесь в дело вступает второй негативный принцип отбора: ведь всего проще заручиться поддержкой людей лег

коверных и склонных к послушанию, людей без твердых убеждений, которые охотно примут готовую систему ценностей, если им достаточно часто и громко ее вдалбливать. Таким образом, ряды партии будут пополняться за счет людей с неустойчивыми, легко меняющимися взглядами и легко возбудимыми эмоциями.

Далее, искусный демагог всегда будет стремиться сплотить своих сторонников в единую и спаянную группу — и тут начинает работать третий и, быть может, важнейший негативный фактор отбора. Дело в том, что людям свойственно — и это почти закон человеческой природы — быстрее и легче сходить на негативной программе, на ненависти к врагам, на зависти к тем, кому лучше живется, чем на какой бы то ни было положительной, конструктивной задаче. Необходимым элементом любого учения, любой веры, способной прочно сплотить людей для совместных действий, является контраст между «нами» и «ими», общая борьба против чужаков. Этим всегда пользуются те, кому нужна не просто поддержка той или иной политики, а безоговорочная преданность широких масс. С их точки зрения, негативная платформа обладает тем преимуществом, что предоставляет гораздо большую свободу действий, чем любая позитивная программа. Враг — не важно, внутренний (например, еврей или кулак) или внешний — является неотъемлемой частью арсенала тоталитаристского лидера.

Тот факт, что в Германии врагом было еврейство (пока его место не заняла плутократия), является не меньшим показателем антикапиталистических настроений, чем выбор для этой цели кулачества в России. В Германии и Австрии на евреев привыкли смотреть как на представителей капитализма, ибо традиционная неприязнь широких масс населения к коммерции сделала эту отрасль более доступной для группы населения, которая практически была лишена возможности выбирать себе более respectable занятия. Перед нами все та же старая история: представителей чуждой расы допускают только к наименее уважаемым профессиям, а затем еще более презирают и ненавидят за принадлежность к ним. Немецкий антисемитизм и антикапитализм берут начало из одного источника: факт крайне важный для понимания всего случившегося в Германии, но редко осознаваемый иностранными наблюдателями.

* * *

Считать, что повсеместная тенденция коллективистской политики к превращению в националистическую вызвана исключительно необходимостью безоговорочной поддержки — значит упускать из виду другой, не менее важный фактор. Дело в том, что вообще трудно представить себе реально коллективистскую программу, не поставленную на службу ограниченной группе. Похоже, что коллективизм вряд ли может существовать иначе, чем в виде какого-нибудь сепаратизма, будь то национализм, расизм, или какой-нибудь иной «изм». По-видимому, вера в общность задач и интересов со своими собратьями (например, «братьями по классу») предполагает большее сходство во взглядах и образе мышления, чем существует между людьми просто как человеческими существами. Если невозможно лично знать остальных членов своей группы, то по крайней мере необходимо, чтобы они ничем не отличались от тех, кто тебя окружает, думали и разговаривали так же и о том же: тогда можно будет себя с ними отождествить. Коллективизм во всемирном масштабе мыслим, по-видимому, только при условии, что его поставят на службу небольшой правящей элите. А это, несомненно, приведет к трудностям не только практическим, но прежде всего — моральным, а этого-то и не хотят видеть наши социалисты. Если английскому пролетарию причитается равная доля доходов от английского капитала, а также право голоса относительно его использования, ибо капитал этот есть результат эксплуатации, то, исходя из этого же самого принципа, и то, и другое причитается всем индусам. Но какие социалисты всерьез думают о равном распределении существующих капитальных ресурсов среди народов мира? Все они рассматривают капитал как собственность страны, а не человечества, — причем даже внутри страны немногие осмелятся выступить за то, чтобы более богатые районы отдали часть «своего» капитального оборудования беднейшим районам. То, что социалисты объявляют долгом по отношению к своим согражданам в существующих государствах, они отнюдь не собираются распространять на иностранцев. С последовательно коллективистской точки зрения, требование нового предела мира, выдвигаемое «неимущими нациями», совершенно оправдано — хотя, если его столь же последовательно осуществлять на практике, те кто громче всего этого требует, пострадают почти в такой же степени, как наиболее богатые страны. Поэтому

они в своих притязаниях тщательно избегают упоминать о равноправии, и наирают на свои якобы исключительные способности в деле организации жизни других народов.

Одно из внутренних противоречий коллективизма заключается в том, что, строясь на выработанной индивидуализмом гуманистической этике, он практически осуществим только внутри относительно малой группы людей. Пока социализм остается теорией, он интернационалистичен, но как только его начинают осуществлять на практике, будь то в России или в Германии, он становится оголтело националистическим. В этом одна из причин того, что «либеральный» социализм, как его представляет себе большинство жителей западных стран — феномен чисто теоретический; практический же социализм повсюду оказывается тоталитаристским. В коллективизме нет места широкому либеральному гуманизму: он порождает лишь узкий сепаратизм.

Если общество или государство поставлено выше личности, если оно преследует собственные, внеличные или надличные цели, то членами общества могут считаться только те, кто стремится к осуществлению тех же целей. Из этого неизбежно следует, что человек уважается только как член группы, то есть постольку, поскольку он стремится к общепризнанным совместным целям и полагает все свое достоинство в том, чтобы быть прежде всего членом группы, а не просто человеком. Более того, само понятие человечества, а потому и любая форма интернационализма, являются всецело плодом индивидуалистического взгляда на человека, и им нет места в коллективистском мышлении.

Помимо того, что коллективистская общность может существовать лишь там, где существует (или может быть выработано) единство цели индивидуумов, тяготение коллективизма к замкнутости и обособленности усиливается и некоторыми дополнительными факторами. Важнейший из них сводится к тому, что стремление индивидуума отождествить себя с группой зачастую вытекает из сознания собственной неполноценности, а потому его потребности будут удовлетворены, только если членство в группе даст ему какое-то превосходство над теми, кто в нее не входит. Похоже на то, что иногда дополнительным стимулом к растворению личности в коллективе становится сама возможность в совместной борьбе против чужаков дать выход агрессивным инстинктам, которые в рамках своей группы человек вынужден сдерживать. Заголовок книги Р. Нибура «Нравственный человек и безнравственное общество» выражает глубочайшую истину — хотя мы никак не можем согласиться с выводами, которые он делает из своего исходного положения. Он абсолютно прав, когда пишет в другом месте, что «современный человек все чаще считает себя высокоморальным просто потому, что он переносит свои пороки на все большие группы». По-видимому, действуя от лица группы, люди избавляются от множества моральных ограничений, которыми они же руководствуются как индивидуумы внутри группы.

Нескрываемо враждебное отношение большинства сторонников планирования к интернационализму объясняется еще и тем, что в существующем мире всякие внешние контакты некоей целостной группы препятствуют эффективному планированию в той сфере, где такие контакты могут иметь место. Не случайно поэтому, что, как обнаружил к своему глубокому прискорбию редактор одного из наиболее полных коллективных трудов по планированию, «большинство сторонников планирования — воинствующие националисты.

Националистические и империалистические пристрастия социалистов, встречающиеся гораздо чаще, чем кажется, не всегда проявляются настолько вопиюще, как у Уэббов и некоторых других ранних фабианцев⁴, у которых, что весьма показательно, бурное восхищение планированием сочеталось с благоговением перед крупными и мощными политическими объединениями и с презрением к малым странам. Историк Эли Галеви, вспоминая, какими он впервые увидел Уэббов сорок лет назад, пишет: «...их социализм был глубоко антилиберален. Они не испытывали ненависти к торж, более того, были к ним на удивлениенисходительны, но не падали либерализма глассоновского толка. То было время англо-бурской войны, когда либералы, как и люди, из которых впоследствии сформировалась лейбористская партия, благородно встали на сторону буров против британского империализма, во имя свободы и человечности. Но Уэббы вместе со своим другом Бернардом Шоу стояли особняком. Они были настрое-

⁴ Фабианцы — члены «Фабианского общества» (названного так по имени древнеримского полководца Фабия Кунктатора, известного своей выжидательной тактикой). Организовано в Англии в 1884 году. Фабианцы проповедовали идеи социализма, но отвергали революционный путь. К ведущим фабианцам принадлежали С. и Б. Уэбб и Дж. Б. Шоу. (Прим. ред.)

ны вызывающе империалистически. Независимость малых стран была важна для либерала-индивидуалиста, но для подобных им коллективистов она не значила ничего. У меня до сих пор звучит в ушах, как Сидней Уэбб объясняет мне, что будущее за крупными странами с административной организацией, где управляют чиновники, а порядок поддерживается полицией».

В другом месте Галеви приводит слова Бернарда Шоу: «...миром, естественно, владеют большие и сильные государства, малым же лучше не вылезать из своих границ, иначе их раздавят».

Эти высказывания, никого бы не удивившие в устах немецких предшественников национал-социализма, цитируются здесь так развернуто в качестве характерного примера того почитания власти, которое так легко приводит от социализма к национализму и так глубоко влияет на этические взгляды всех коллективистов. В отношении прав малых наций Маркс и Энгельс были ничем не лучше многих других последовательных коллективистов, и их периодические высказывания о чехах и поляках весьма схожи с аналогичными высказываниями нынешних национал-социалистов⁵.

* * *

Если великим социальным философам-индивидуалистам девятнадцатого века, от лорда Актона и Якоба Бурхардта до современных социалистов, унаследовавших либеральную традицию (таких, как Бертран Расселл), власть всегда представлялась величайшим злом, то для коллективиста в строгом смысле слова она является целью в себе. Дело не в том только, что, по удачному определению Расселла, само желание построить общество по единому плану проистекает от стремления к власти. Причина лежит глубже: коллективистам для достижения своих целей требуется власть — власть одних людей над другими — невиданных прежде масштабов, и успех их зависит от того, достигнут ли они такой власти и в какой степени.

Истина эта остается истиной вопреки трагической иллюзии, определяющей действия многих социалистов: они полагают, что лишит частные лица власти, которой они обладают при индивидуалистическом строе, и передать эту власть обществу — значит уничтожить власть как таковую. Однако те, кто так думает, упускают из виду, что власть, сконцентрированная и поставленная на службу единому плану, не просто переходит из одних рук в другие, но многократно усиливается; что передача единому органу полномочий, ранее распределявшихся между множеством независимых частных лиц, порождает власть, бесконечно большую, чем когда-либо существовала в истории. Эта власть настолько беспредельна, что практически переходит в совершенно новое качество. Совершенно неверно утверждать, что власть гипотетического Центрального совета по делам планирования будет «не больше, чем власть, коллективно осуществляемая советами директоров частных компаний». Во-первых, в конкурентном обществе ни у кого нет даже сотой доли той власти, какой будет обладать социалистический Совет по делам планирования, а во-вторых, если никто не в состоянии сознательно и целенаправленно эту власть применить, то утверждать, что она принадлежит всем капиталистам вместе взятым — значит просто злоупотреблять терминами. Смешно говорить о «коллективной власти советов директоров частных компаний», если эти правления не объединяют своей власти для проведения совместных действий — что, разумеется, означало бы конец конкуренции и появление планируемой экономики. Для уменьшения размеров власти, сосредоточенной в одних руках, необходимо дробить ее или децентрализовать, и конкурентный строй — единственный, предназначенный именно для того, чтобы путем децентрализации свести власть человека над человеком к минимуму.

Как мы уже видели, разделение экономических и политических целей является главной гарантией свободы личности; поэтому именно оно подвергается нападкам коллективистов. Добавим к этому, что столь частый ныне лозунг «политическая власть вместо экономической» неизбежно означает замену власти ограниченной властью тотальной. Так называемая экономическая власть, возможно, и является орудием принуждения, но в руках частных лиц она никогда не будет ни единственной, ни полной, никогда не станет властью над всей жизнью человека. Если же ее централизовать и превратить в орудие политической власти, она порождает зависимость, едва ли отличающуюся от рабства.

⁵ См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 8, стр. 593, а также письмо Энгельса Марку от 23 мая 1851 года.

* * *

Из двух главных особенностей каждой коллективистской системы — системы коллективных целей, разделяемых всеми членами данной группы, и стремления получить максимальную власть для достижения этих целей — вырастает своего рода этика, в некоторых пунктах совпадающая с нашей, а в некоторых резко от нее отличающаяся. Непонятно, правда, можно ли ее назвать этикой: ведь она не только не позволяет индивидуальному сознанию вырабатывать собственные правила, но и не знает никаких общих правил, которые индивидууму разрешается или предписывается соблюдать во всех обстоятельствах. А это настолько отлично от известной нам этики, что в коллективистской этике трудно обнаружить какую бы то ни было основу (которая тем не менее существует).

Здесь перед нами практически то же самое основополагающее различие, которое мы уже рассматривали в связи с принципом правозаконности. Подобно формальному праву, законы индивидуалистической этики, какими бы неточными они ни были, являются всеобщими и абсолютными; они предписывают или запрещают какие-то действия независимо от того, хороша или дурна их конечная цель в каждом отдельном случае. Красть и лгать, причинять боль и предавать дурно независимо от того, приносит это в данном случае какой-либо вред или нет. Пусть даже именно в данном случае никто от этого не пострадает, пусть это делается ради высокой цели — все это сути дела не меняет: сам поступок остается дурным. Иногда мы вынуждены выбирать из нескольких зол меньшее, но от этого оно не перестает быть злом. Принцип, гласящий, что цель оправдывает средства, в индивидуалистической этике считается отрицанием всякой этики. В коллективистской этике он неизбежно становится верховным принципом: не существует буквально ничего, чего последовательный коллективист не сделает, если это нужно для «блага коллектива», ибо «благо коллектива» для него — единственный критерий того, что можно, а чего нельзя. *Raison d'état*⁶, в котором коллективистская этика нашла свою самую неприкрытую формулировку, не останавливается ни перед чем, исходя только из целесообразности, то есть необходимости того или иного действия для достижения поставленной цели. А то, к чему сводится принцип *raison d'état* в межгосударственных отношениях, применимо также и к отношениям между людьми в коллективистском государстве. Нет черты, которой гражданин такого государства не может преступить, нет поступка, которого ему не позволит совершить совесть, если это необходимо для достижения целей, поставленных перед ним обществом или непосредственным начальством.

* * *

Отсутствие абсолютных формальных правил в коллективистской этике не означает, конечно, что в коллективистском обществе не будут поощряться полезные привычки индивидуумов и наказываться вредные. Наоборот, в нем привычки и образ жизни каждого отдельного человека будут привлекать гораздо больше внимания, чем в индивидуалистическом обществе. Чтобы быть полезным членом коллективистского общества, требуются строго определенные качества, оттачиваемые постоянной тренировкой. Мы называем эти качества полезными привычками, а не моральными достоинствами потому, что индивидууму никогда не позволят поставить эти нормы выше четких приказаний начальства или целей общества. Они служат как бы для заполнения пустот, оставленных прямыми приказами и конкретными целями, но никогда не могут оправдать нарушение воли властей.

Разница между теми достоинствами, которые при коллективистском строе будут пользоваться уважением, и теми, которые исчезнут, станет ясно видна, если сравнить типично немецкие, или скорее «типично прусские», признаваемые даже врагами достоинства со свойствами, которых немцам, по общему мнению, не хватает и которыми, отчасти справедливо, гордятся англичане. Мало кто возьмется отрицать, что немцы в целом — народ трудолюбивый и дисциплинированный, добросовестный и энергичный до безжалостности, честный и тщательно выполняющий любое дело, что у немцев сильно развиты любовь к порядку, чувство долга и повиновение властям и что они часто готовы на большие личные жертвы и выказывают незаурядное мужество в случае опасности. Благодаря всему этому немцы — прекрасное орудие для выполнения любой поставленной задачи, и именно в этом духе их воспитывало как старое прусское го-

⁶ Государственная необходимость (франц.)

сударство, так и новый рейх, где целиком господствует прусский дух. Чего же, как принято думать, «типичному немцу» не хватает? Индивидуалистических достоинств: терпимости и уважения к другим людям и их взглядам, независимости мышления, силы духа и той способности отстаивать свои убеждения перед вышестоящими, которую немцы, ощущающие за собой этот недостаток, называют гражданским мужеством (Zivilcourage), бережности по отношению к слабым и немощным, а главное — здорового презрения и нелюбви к власти, порождаемых лишь долгой традицией личной свободы. Кроме того, им не хватает массы мелких, но важных достоинств, так облегчающих общение между людьми в свободном обществе: доброты и чувства юмора, уважения к частной жизни соседа и веры в его добрые намерения.

После всего сказанного никого не удивит, что эти индивидуалистические достоинства являются также выдающимися общественными достоинствами, облегчающими социальные контакты, уменьшающими необходимость контроля свыше и одновременно его затрудняющими. Достоинства эти расцветают там, где доминирующим типом общественного устройства стала индивидуалистическая система (коммерческого типа), и отсутствуют там, где господствует общество коллективистского, или военного, типа. Именно этим отличаются (или отличались) друг от друга различные области Германии — и не в меньшей степени, чем отличаются теперь взгляды, господствующие в Германии, и взгляды, характерные для западной цивилизации. Интересно, что общие моральные нормы (по крайней мере, до последнего времени) были гораздо ближе к западным, чем к тем, что господствуют ныне в гитлеровском рейхе, как раз в тех областях Германии, которые дольше всего испытывали на себе цивилизующее влияние торговли — то есть в южно-, западно- и северогерманских (ганзейских) старых торговых городах.

Однако было бы крайне несправедливо считать, что массы в тоталитарных государствах лишены нравственного запала, исходя лишь из того факта, что они оказывают безграничную поддержку системе, представляющейся им отрицанием всех моральных ценностей. С большинством из них дело, вероятно, обстоит наоборот: и национал-социализм, и коммунизм по силе положенных в их основу нравственных эмоций можно сравнить только с великими историческими религиозными движениями. Но как только мы соглашаемся, что личность представляет собой лишь средство для служения целям высшей общности, называемой обществом или нацией, то ужасающие нас черты тоталитарных режимов начинают проступать с роковой неизбежностью. С коллективистской точки зрения, нетерпимость и грубое подавление инакомыслия, полное пренебрежение к жизни и счастью отдельного человека — необходимые следствия этой главной предпосылки, и коллективист может, признавая это, одновременно заявлять, что его строй «выше» строя, при котором «эгоистическим» интересам человека дозволяется стоять на пути осуществления целей, преследуемых обществом. Немецкие философы, неустанно изображающие стремление к личному счастью как нечто изначально безнравственное, совершенно искренни, как ни трудно это понять людям, воспитанным в других традициях.

Там, где существует одна общая, всеподавляющая цель, не остается места ни для каких общих правил и этических норм. Мы сами до некоторой степени испытываем это в ходе теперешней войны. Но даже война и величайшая опасность привели в Англии лишь к очень умеренному приближению к тоталитаризму, и мы лишь в очень незначительной степени пренебрегаем всеми иными ценностями во имя главной цели. Однако там, где все общество поставлено на службу нескольким конкретным целям, неизбежно, что жестокость становится в какой-то момент долгом, что действия, возмущающие душу, — например, расстрел заложников или убийство стариков и больных, — начинают казаться простой целесообразностью, что насильственное вырывание с насиженных мест сотен тысяч людей превращается в политическую необходимость, одобряемую всеми, кроме жертв, и всерьез могут рассматриваться идеи вроде «набора женщин в армию для целей размножения». Для коллективиста всегда существует высшая цель, которой эти действия служат и которая их оправдывает, ибо никакие права и ценности индивидуума не должны служить препятствием к ее достижению.

Но если массы в тоталитарном государстве зачастую одобряют такие действия, и даже совершают их, из бескорыстной преданности идеалу, пусть для нас отвратительному, то главарей этим извинить нельзя. Чтобы участвовать в управлении тоталитарным государством, недостаточно быть готовым принять на веру благовидные оправдания неблагоприятных поступков: человек должен быть способен сам, по собственной

инициативе, преступить любую моральную норму, которую он когда-либо знал, если это необходимо для достижения поставленной цели. Поскольку цели устанавливает единолично верховный вождь, то у его орудий не может быть собственных моральных убеждений. Первое, что от них требуется — это безоговорочная преданность вождю; второе — полная беспринципность и в буквальном смысле слова способность на все. У них не должно быть собственных идей, к осуществлению которых они бы стремились, не должно быть соображений о том, что хорошо и что плохо, которые могли бы помешать намерениям вождя. Поэтому высокие посты мало чем могут привлечь людей, по-прежнему придерживающихся тех моральных убеждений, которыми руководствовались в прошлом народы Европы, мало чем могут скомпенсировать отвратительность множества конкретных задач, и удовлетворить идеалистические стремления, мало чем могут вознаградить за безусловный риск и за неизбежный отказ от радостей личной жизни и личной независимости. Единственное удовлетворяемое в данном случае желание — это желание власти как таковой, удовольствие от того, что тебе повинуются, и от сознания, что ты составляешь часть слаженного, невообразимо мощного механизма, перед которым ничто не может устоять.

Однако если людей, по нашим стандартам хороших, руководящие посты в аппарате тоталитарной власти скорее всего оттолкнут, то людям жестоким и неразборчивым в средствах представится редкая возможность. Возникнет необходимость браться за дела, которые всеми признаются сами по себе «грязными», но безусловно необходимые для некоторой «высшей цели», и эти дела должны будут выполняться столь же четко и профессионально, как любые другие. А поскольку будет существовать потребность в подобном рода «грязной работе», на которую неохотно будут соглашаться те, что еще не до конца преодолели в сознании пережитки традиционной морали, то готовность к ее выполнению откроет дорогу к продвижению и власти. В тоталитарном обществе много постов, на которых необходимо применять жестокость и запугивание, заниматься сознательным обманом и шпионажем. Ни гестапо, ни администрация концлагеря, ни министерство пропаганды, ни СА, ни СС (как и их итальянские и советские аналоги) не годятся для проявлений гуманности. А ведь именно через них проходит путь к высочайшим постам в тоталитарном государстве. Выдающийся американский экономист совершенно прав, когда, подобным же образом кратко перечислив обязанности властей в коллективистском государстве, заключает: «...им придется все это делать, хотя бы они того или не хотят, а вероятность того, что у власти окажутся люди, не любящие власть, равна вероятности назначения человека, известного своим мягкосердечием, надсмотрщиком на плантации, где трудятся рабы».

Однако этим данная тема не исчерпывается. Вопрос отбора лидеров тесно переплетается с более широким вопросом отбора в соответствии со взглядами, или скорее — с готовностью человека приспособиться к беспрестанно меняющемуся набору доктрин. А это подводит нас к одной из наиболее характерных особенностей тоталитаризма к его обращению с правдой и со всем связанным с этим понятием кругом идей и ценностей. Тема эта настолько обширна, что требует отдельной главы.

Глава 11

КОНЕЦ ПРАВДЫ

Показательно, что обобществление мысли повсюду шло *pari passu*⁷ с обобществлением средств производства.

Э. Карр,

Для того чтобы все служили единой системе целей, определенных единым социальным планом, лучше всего сделать так, чтобы все в эту систему целей поверили. Для эффективного функционирования тоталитарного строя мало заставить людей работать во имя единой цели: надо чтобы эта цель стала их собственной. Убеждения, пусть выбранные без их участия и им навязанные, должны стать их собственными убеждениями, общепризнанным верованием, в возможно большей степени побуждающим членов общества поступать так, как требуется властям. Если в тоталитарных странах угнетение обычно ощущается совсем не так остро, как представляется жителям свобод-

⁷ Равными этапами, в равной мере. (лат.).

ных стран, то именно благодаря тому, что тоталитарным правительствам в большой мере удается заставить людей думать так, как это нужно правящей верхушке.

Достигается это, конечно, пропагандой в разных видах. Методы ее уже настолько хорошо известны, что о них незачем распространяться. Необходимо лишь подчеркнуть, что ни пропаганда как таковая, ни ее приемы не являются специфическими особенностями тоталитаризма. Совершенно особый характер и влияние пропаганды в тоталитарных государствах объясняются тем, что вся пропаганда служит одной и той же цели, а каждое из ее орудий и весь аппарат организовывается так, чтобы координированным образом влиять на людей в одном направлении и в конечном счете достичь полной унификации (Gleichschaltung) всех умов. В результате воздействие пропаганды в тоталитарных государствах не только количественно, но и качественно отличается от тех последствий, к которым приводит некоординированная пропаганда, проводящаяся в различных целях независимыми и конкурирующими между собой организациями. Когда все источники информации находятся в одних руках, вопрос уже не просто в том, чтобы убедить людей поступать так или иначе: власть искусного пропагандиста так велика, что он может придать человеческому мышлению любую требуемую форму, и даже самые развитые, самые независимые в своих взглядах люди не могут целиком избежать этого влияния, если их надолго изолировать от всех других источников информации.

Благодаря тому месту, которое отводится пропаганде в тоталитарных странах, она обладает уникальной властью над умами; однако ее специфическое воздействие на нравственность обусловлено не методами, а целью и размахом. Если бы она просто внушала людям целостную систему ценностей, на достижение которых направлены усилия общества, это было бы всего лишь частное проявление уже рассмотренных нами особенностей коллективистской этики. Если бы целью ее было просто дать людям четкий и всеобъемлющий моральный кодекс, то весь вопрос был бы в том, хорош этот моральный кодекс или плох. Как мы уже видели, моральный кодекс тоталитарного общества нас вряд ли может прельстить: стремление к равенству путем экономического планирования может привести лишь к навязываемому сверху неравенству, то есть волюнтаристскому определению того места, которое должен занимать каждый отдельный человек в рамках новой иерархической структуры. При этом большинство гуманистических элементов нашей этики — например, уважение к человеческой жизни, к более слабым и к личности вообще — попросту исчезнут. Как ни отвратительно это большинству людей, и с какими бы изменениями в моральных нормах это ни было связано, такой кодекс неизбежно будет полным отрицанием всякой морали. Некоторые его особенности могут показаться суровым моралистам консервативного толка даже более привлекательными, чем слишком гибкие и снисходительные моральные нормы либерального общества.

Однако те моральные последствия тоталитарной пропаганды, которые мы сейчас рассмотрим, гораздо более серьезны и глубоки. Они разрушительны для любой моральной системы, поскольку подрывают одну из основ, на которых покоится всякая этика — чувство правды и уважение к ней. По самому характеру своей задачи тоталитарная пропаганда не может ограничиться теми ценностями, взглядами и моральными убеждениями, в которых человек и так всегда более или менее сообразуется с общепринятыми взглядами: она должна распространяться и на область фактов, где человеческим сознанием руководят иные законы. Это происходит по двум причинам. Во-первых, для того, чтобы люди приняли официальную систему ценностей, эти ценности нужно оправдать, то есть продемонстрировать их связь с ценностями уже принятыми, а для этого обычно требуется использовать утверждения о причинно-следственных связях между средствами и целью. Во-вторых, разница между целью и средствами, между поставленной задачей и методами ее достижения, на деле никогда не бывает столь четкой и определенной, как в теоретических дискуссиях, а поэтому людей надо не только убедить в правильности самих конечных целей, но и добиться, чтобы они согласились также с предлагаемой властями оценкой фактов и возможностей, положенной в основу конкретных правительственных мероприятий.

* * *

Как мы уже видели, в свободном мире единого свода этических норм (иначе говоря, всеобъемлющей системы ценностей, неявно содержащейся в экономическом плане) не существует: его приходится создавать. Это **необязательно означает, что планирую-**

щие органы, берясь за свою задачу, будут осознавать такую необходимость; а если даже и будут — то неизвестно еще, удастся ли создать такой всеобъемлющий кодекс заранее. В ходе планирования будут лишь обнаруживаться противоречия между различными потребностями, и властям придется принимать решения по мере возникновения нужды в этом. Свод ценностей, на которые опираются эти решения, не существует *in abstracto*, до того, как требуется принимать решения; он возникает постепенно, по мере их принятия. Мы уже столкнулись с тем, как невозможность отделить общую проблему ценностей от конкретных решений становится для демократических органов непреодолимым препятствием, когда дело доходит до принятия конкретного экономического плана: они не в состоянии договориться о частных деталях — и еще должны при этом прийти к соглашению относительно того, какими ценностями этот план будет определяться.

Однако планирующим органам придется не только решать каждый возникающий вопрос «по существу дела» (то есть давать фактам какую-то оценку, не опираясь при этом на твердые правила формализованной этической системы, поскольку таковой просто не существует) — но и обосновывать свои решения или, по крайней мере, как-то убеждать людей в их правильности. Пусть даже липа, принявшие решение, руководствовались при этом абсолютно ни на чем не основанным мнением, — все равно, если они хотят, чтобы общество не просто пассивно подчинилось этой мере, но активно ее поддержало, необходимо публично представить какой-то руководящий принцип, из которого они якобы исходили. Необходимость подвести рациональную базу под симпатии и антипатии, которыми, за неимением ничего лучшего, вынуждены руководствоваться планирующие органы, а также необходимость представить свои доводы в такой форме, чтобы они были приняты как можно большим числом людей, будет заставлять власти строить теории, то есть системы утверждений, устанавливающих связи между фактами, которые затем превращаются в неотъемлемую часть правящей доктрины. Этот процесс создания мифа с целью оправдания своих действий вовсе не обязательно должен осуществляться сознательно. Тоталитарный вождь может руководствоваться просто инстинктивным отвращением к сегодняшнему положению дел и желанием создать новый иерархический порядок, лучше согласующийся с его представлениями о том, кто чего заслуживает. Допустим, он не любит евреев, которые, по всей видимости, столь благополучно процветают в рамках той системы, где для него самого не нашлось достойного места, и восхищается высоким белокурым человеком, «аристократическим» персонажем романов, читанных в юности. Поэтому он с готовностью примет теории, дающие «рациональное» обоснование предрассудков, разделяемых им со своими многочисленными собратьями. Таким образом псевдонаучная теория становится составной частью официального учения, направляющего в большей или меньшей степени деятельность всех и каждого. Или, например, широко распространенная неприязнь к промышленной цивилизации и романтическая тоска по сельской жизни вместе с уверенностью (скорее всего ошибочной), что из деревенских жителей получают лучшие солдаты, ложатся в основу другого мифа — «кровь и почва» (*Blut und Boden*⁸). Миф этот выражает не просто первичные ценности, но целую систему представлений о причинно-следственных связях между фактами. Стоит этим представлениям превратиться в идеалы, направляющие жизнь всего общества, как они уже более не могут подвергаться сомнению.

Необходимость такой официальной доктрины для руководства людьми и их сплочения ясно предвидели многие теоретики тоталитаризма. Платоновская «возвышенная ложь» и сорелевские мифы служат той же цели, что расовое учение нацистов и муссолиниевская теория корпоративного государства⁹. Все они основаны на конкретных

⁸ *Blut und Boden* — типичный пример языкового манипулирования, практиковавшийся национал-социалистской пропагандой и идеологией. Слово «*Blut*» входило в состав основополагающих понятий расовой теории и воспринималось исключительно в свете соответствующих коннотаций. Точно так же и понятие «земля, почва» вызывает не только представление о пахаре или землепашце, но противопоставляет его «выродившейся» буржуазной цивилизации. Таким образом, перед нами сочетание двух важнейших для нацизма «спрачностей», носящих ярко выраженный расовый, шовинистический и «этический» характер. (*Прим. ред.*)

⁹ Сорель Жорж (1847—1902) — французский социальный философ, оказавший значительное влияние на формирование фашизма и нацизма. Сорель, долгое время придерживавшийся неомарксистских взглядов, создал учение о «социальном мифе», выражающем волю к власти группы или класса, возглавляющего социальное движение. Корпоративное государство — государство, в котором система представительных органов заменяется назначением в правящий орган представителей «корпораций», то есть профессиональных групп населения (профсоюзы, предприятия, крестьяне и т. д.). Такая структура отражает теоретическое представление (типичное и для марксизма), что общество состоит не из отдельных индивидуумов, а из социальных групп, определяющихся функциональными признаками. (*Прим. ред.*)

взглядах на факты, которые затем, расширяясь и перерабатываясь, превращаются в научные теории, оправдывающие предвзятое мнение.

* * *

Легче всего убедить людей в подлинности ценностей, которым их заставляют служить, если объяснить им, что это те самые ценности, в которые они (или во всяком случае лучшие из них) всегда верили: просто раньше эти ценности понимались неправильно. Людей вынуждают низвергнуть старых богов и начать поклоняться новым под тем предлогом, что новые боги воплощают все, что люди и прежде смутно ощущали, во что всегда инстинктивно верили. Наиболее эффективный для этой цели прием — употребление прежних слов, но с измененным смыслом. В этом, пожалуй, самая непонятная для поверхностного наблюдателя и в то же время самая характерная особенность всей интеллектуальной атмосферы тоталитарных стран: полное извращение языка, подмена смысла слов, призванных выражать идеалы нового строя.

Хуже всего в этом отношении, конечно, слову «свобода». Слово это употребляется в тоталитарных странах не реже, чем в прочих. Можно даже сказать — и пусть это послужит предостережением против любых искусителей, предлагающих «новые свободы вместо старых»¹⁰, — что там, где свобода в нашем понимании была уничтожена, это почти всегда происходило во имя какой-то новой, обещанной людям свободы. Есть и среди нас сторонники «планирования во имя свободы», сулящие нам «коллективную свободу для объединенных людей»; что это за свобода, можно догадаться из того, что ее глашатай шел необходимым заверить нас, что «приход планируемой свободы, разумеется, не означает, что все (sic!) прежние виды свободы должны быть уничтожены». Доктор Карл Маннгейм, из чьего труда взяты вышеприведенные фразы, по крайней мере предупреждает, что «концепция свободы по образцу прошлого века является препятствием для какого бы то ни было реального понимания этой проблемы». Но в его устах слово «свобода» не менее обманчиво, чем в устах тоталитаристских политиков. Предлагаемая им «коллективная свобода», как и та, которую предлагают они — это не свобода для членов общества, а неограниченная свобода плановых органов, свобода делать с обществом все, что им заблагорассудится. Здесь смешение свободы с властью доведено до крайнего предела.

В данном конкретном случае извращение смысла слова «свобода» было, разумеется, хорошо подготовлено вереницей немецких философов, и не в последнюю очередь — многими теоретиками социализма. Однако «свобода» — далеко не единственное слово, получившее прямо противоположный смысл и тем самым превратившееся в орудие тоталитарной пропаганды. Как мы уже видели, то же самое происходит со словами «справедливость» и «законность», «право» и «равенство»; этот список можно расширить за счет почти всей общепотребительной морально-этической и политической терминологии.

Если человек не испытал этого процесса на собственном опыте, то ему трудно вообразить себе размеры этого перерождения семантики слов и путаницу, к которой оно приводит, а также понять, насколько все эти семантические сдвиги делают невозможной любую рациональную дискуссию. Нужно видеть своими глазами, как становится невозможным всякое подлинное общение между двумя братьями, которые начинают говорить на двух разных языках уже вскоре после того, как один из них переходит в новую веру. Путаница эта усиливается еще и потому, что подмена смысла слов, обозначающих политические идеалы, происходит не в один прекрасный момент — это непрерывный процесс, используемая осознанно или бессознательно методика руководства человеческими массами. В ходе этого процесса весь язык постепенно оказывается выхоленным, слова превращаются в пустые, лишённые смысла скорлупки, способные обозначать в прежнее понятие, в его полную противоположность, и употребляющиеся только в силу все еще связанных с ними эмоциональных ассоциаций.

* * *

Подавляющее большинство людей нетрудно лишить независимости мышления. Но необходимо заставить замолчать и меньшинство, склонное ко всему относиться критически. Мы уже видели, почему принуждение нельзя ограничить лишь одобрением

¹⁰ Название труда американского историка Ч. Беккера.

и принятием морального кодекса, положенного в основу плана, который призван направлять всю общественную жизнь. Поскольку многие элементы этого кодекса никогда не будут сформулированы открыто, поскольку многие деления этой всеобъемлющей шкалы ценностей будут существовать в неявном виде лишь в самом плане — то сам план, во всех его мельчайших деталях (а фактически — каждое действие правительства) должен превратиться в нечто священное, не подлежащее никакой критике. Чтобы без колебаний поддерживать общие установки, люди должны быть убеждены в верности не только целей, но и избранных средств. Поэтому в официальную систему верований, приверженцами которой необходимо сделать всех, войдут и все взгляды и оценки фактов, положенные в основу плана. Открытая критика, или даже выражение сомнений, должны быть подавлены, т. к. ослабляют общественную поддержку. Как сообщают Узббы, на каждом советском предприятии «пока идет работа, всякое публичное выражение сомнения, или даже опасения, что план не будет выполнен или не принесет ожидаемых результатов, есть проявление нелояльности или даже неблагодарности, ибо может плохо повлиять на усердие остальных работников». Если же сомнения или опасение относятся не к какому-то конкретному предприятию, а ко всему социальному плану, они тем более рассматриваются как саботаж.

Итак, факты и теории должны будут стать предметом официальной доктрины в той же мере, как и взгляды на вопросы морали. Весь аппарат распространения знаний — школы и печать, радио и кино — будет применяться для распространения только тех взглядов (неважно, истинных или ложных), которые усиливают веру в правильность принятых властями решений, тогда как всякая информация, способная вызвать колебания или сомнения, будет утаиваться. Каждый раз, когда будет решаться, как поступить с какой-то конкретной информацией — опубликовать или запретить — единственным критерием станет вопрос о том, как она повлияет на лояльность населения по отношению к существующему режиму. Ситуация в тоталитарном государстве всегда и во всех областях такова, как в других странах бывает во время войны, да и то лишь в некоторых отношениях. Все, что может вызвать недовольство или сомнение в мудрости правительства, от народа скрывается. Основания для неблагоприятного сравнения с условиями жизни в других странах, сведения о иных возможных курсах действий, отличных от принятого в стране, информация, наводящая на мысль о том, что правительство не выполняет своих обещаний или не использует имеющихся возможностей улучшения условий — все это замалчивается. Следовательно, нет сферы, в которой информация систематически не контролировалась бы, в которой не навязывались бы унифицированные взгляды.

Это относится даже к областям, как будто наиболее удаленным от всяких политических интересов: в частности, ко всем, даже самым абстрактным, отраслям знания. Легко понять (и это неоднократно подтверждалось на опыте), что в дисциплинах непосредственно занимающихся человеческим обществом, а потому прямо затрагивающих политические взгляды, — например, в области истории, экономики или права, — тоталитарный строй не может допустить бескорыстного стремления к истине и единственной задачей гуманитарных наук становится подтверждение официальных взглядов. Действительно, эти дисциплины во всех тоталитарных странах превратились в фабрики официальных мифов, при помощи которых правители руководят умами и установлениями своих подданных. Неудивительно, что в этих областях никто даже не делает вида, что пребывает в поисках истины, а что публиковать и какие доктрины преподавать — решают непосредственно власти.

Однако тоталитарный контроль распространяется и на предметы, на первый взгляд политического значения не имеющие. Иногда трудно объяснить, почему одни теории подвергаются официальному осуждению, а другие поднимаются на щит; кстати, любопытно, что в своих симпатиях и антипатиях различные тоталитарные режимы довольно схожи. В частности, все они почему-то испытывают резкую неприязнь к абстрактным формам мышления — неприязнь, высказываемую и многими коллективистами среди наших ученых. Нападают ли они на теорию относительности как на «семитское подрывание основ христианской и нордической физики» или выступают против нее, так как она «противоречит диалектическому материализму и марксистскому учению», — где это дела, в общем, не меняет. Так же точно не важно, чем обосновываются нападки на некоторые положения математической статистики: тем, что они «являются частью классовой борьбы и продуктом исторической роли математики как служанки буржуазии», или же тем, что «нет гарантии, что эта отрасль науки будет слу-

жить интересам народа». По-видимому, жертвой является не только прикладная, но и чистая математика: некоторые теории о природе непрерывности относят к «буржуазным предрассудкам». По словам Уэббов, страницы журнала «За марксистско-ленинское естествознание» пестрят лозунгами типа «За партийность в математике» или «За чистоту марксистско-ленинской теории в хирургии». Положение в Германии мало чем отличается от описанного Уэббами: «Журнал национал-социалистской ассоциации математиков» полон «партийности в математике», а один из известнейших немецких физиков, лауреат Нобелевской премии Леннард, подытожил труд всей своей жизни в работе под названием «Германская физика в четырех томах»!

Осуждение любой деятельности, не имеющей практической цели, вполне в духе тоталитаризма. Чистая наука, чистое искусство одинаково ненавистны нацистам, коммунистам и нашим интеллектуалам-социалистам. Всякая деятельность должна иметь сознательную социальную направленность. Не должно существовать спонтанной, направленной деятельности, ибо она может принести непредсказуемые и не предусмотренные планом результаты. Она может создать что-то новое, «что и не снилось нашим мудрецам» из планирующих органов. Пусть читатель сам догадается, в Германии или в России шахматистов официально призвали «раз и навсегда покончить с нейтральностью шахмат» и обятали «бесповоротно осудить „шахматы для шахмат“, как и „искусство для искусства“».

При всей кажущейся невероятности этих извращений, мы не можем отбросить их как случайные побочные продукты, не имеющие никакого отношения к основам планового или тоталитарного строя. Они не случайны. Они являются прямым следствием стремления во всем исходить из «единой концепции целого», желания любой ценой утвердить взгляды, ради которых людям приходится непрерывно идти на жертвы, и представления о человеческих знаниях и убеждениях как об орудиях, которые надо поставить на службу единой цели. Как только наука начинает служить не интересам истины, а интересам класса, общества или государства, единственной целью споров и обсуждений становится защита и дальнейшее распространение направляющих общество убеждений. Как объяснил нацистский министр юстиции, каждая новая научная теория должна прежде всего поставить перед собой вопрос: «Служу ли я национал-социализму на благо всего общества?»

Само слово «истина» постепенно теряет прежний смысл. Раньше оно означало нечто, что требовалось найти, причем единственным судьей того, достаточно ли вески представленные доказательства (или авторитет того, кто провозглашает что-то истинным) являлось человеческое сознание: теперь оно означает нечто, что устанавливают органы власти, во что необходимо верить в интересах единства и что можно изменить, если того требуют общественные задачи.

Порождаемая подобной ситуацией общая интеллектуальная атмосфера, полнейший цинизм в отношении правды, потеря чувства правды и даже смысла слова «истина», исчезновение независимого исследовательского духа и веры в силу рациональных убеждений, превращение различия во взглядах в любой области знаний в политический вопрос, решаемый властями, — все это надо испытать на себе; ни одно описание не может передать масштабов происходящего. Но, может быть, всего тревожней то, что презрение к интеллектуальной свободе появляется не только с установлением тоталитарного строя: его можно встретить повсюду среди интеллектуалов, перешедших в коллективистскую веру и провозглашаемых интеллектуальными лидерами даже в странах, где еще сохраняется либеральный строй. Мало того, что люди, притязающие на право говорить от имени ученых либеральных стран, во имя социализма оправдывают даже самое худшее угнетение и открыто пропагандируют тоталитарный строй: они во всеуслышание восхваляют нетерпимость. Разве не читали мы недавно английского популяризатора науки, защищающего инквизицию, которая, по его мнению, «полезна для науки, когда служит интересам восходящего класса»? Такой взгляд на вещи практически ничем не отличается от взглядов, приведших нацистов к преследованию ученых, сожжению научных книг и систематическому покорению ума и совести покоренной нации — ее интеллигенции.

* * *

Стремление навязать людям систему верований, которая, как предполагается, должна стать для них спасительной, разумеется, не ново и присуще отнюдь не только нашему времени. Новы аргументы, которыми наши интеллектуалы пытаются его

оправдать. В нашем обществе, по их словам, нет подлинной свободы мысли, ибо мнения и вкусы масс формируются пропагандой, рекламой, примером высших классов и другими внешними факторами, неизбежно заставляющими человеческое мышление двигаться по проторенной дорожке. Отсюда делается вывод, что, поскольку вкусы и идеалы подавляющего большинства все равно определяются обстоятельствами, подвластными контролю человека, мы должны сознательно использовать эту власть, направив мысли людей в русло, представляющееся нам желательным.

Возможно, подавляющее большинство действительно нечасто способно мыслить независимо; возможно, по множеству вопросов люди действительно придерживаются общепринятых взглядов, и им одинаково уютно в любой системе верований — как в той, которую им вдалбливали с рождения, так и в новой, куда их заманили лестью и посулами. В любом обществе свобода мысли, вероятно, будет реально важна лишь для ничтожного меньшинства. Но это отнюдь не означает, что кто-то полномочен производить отбор тех, за кем эта свобода сохранится, или должен быть наделен такой властью. Это не означает, что кто-то, один человек или группа, может притязать на право определять, что люди должны думать и во что верить. Утверждение, что поскольку при каждом режиме большинство людей следует чьему-то примеру, то ничего не изменится, если одному и тому же примеру последуют все, свидетельствует о полной интеллектуальной несостоятельности и смещении элементарных понятий. Принижать ценность интеллектуальной свободы на том основании, что она никогда не предоставит всем одинаковых способностей независимо мыслить — значит совершенно не понимать, чем так ценна интеллектуальная свобода. Она в состоянии выполнять функцию *primum mobile*¹¹ интеллектуального прогресса не в том случае, когда каждый способен что-нибудь придумать или написать, а когда любую идею или вопрос можно подвергнуть обсуждению. Пока инакомыслие не подавляется, всегда найдется кто-нибудь, кто подвергнет сомнению идеи, господствующие в умах его современников и начнет на свой страх и риск обсуждать и пропагандировать новые.

Именно такое взаимодействие различных людей, обладающих различными знаниями и различными взглядами, и составляет суть интеллектуальной жизни. Развитие человеческого разума есть социальный процесс, основанный на существовании подобных различий. В том-то и состоит его суть, что мы не можем предсказать результаты этого процесса, не знаем, какие взгляды способствуют этому развитию, а какие — нет. Короче говоря, направлять этот процесс, исходя из наших сегодняшних представлений — значит ему мешать. «Планирование» или «организация» духовного развития, как, кстати, и прогресса вообще, — это противоречие в терминах. Те, кто полагает, что человеческий разум должен «сознательно» управлять процессом собственного развития, просто смешивают разум отдельного человека, который только и может чем-либо «сознательно управлять», и межличностный, коллективный процесс, обуславливающий это развитие. Пытаясь им управлять, пытаясь регулировать и контролировать этот процесс, мы лишь создаем на его пути препоны, которые рано или поздно приведут к застою мысли и деградации разума.

Трагедия коллективистской мысли в том, что, начав с признания верховной власти разума, она кончает его уничтожением, ибо неверно понимает процесс, от которого зависит развитие разума. Можно даже сказать, что перед нами парадокс всякой коллективистской доктрины с ее требованием «сознательного» контроля или «сознательного» планирования: и то, и другое неизбежно приводит к требованию верховной власти для какого-нибудь отдельного человека — тогда как в действительности только индивидуалистический подход к социальным явлениям позволяет нам признать определяющую роль надличностных сил, направляющих развитие разума. Таким образом, индивидуализм характеризуется смирением перед не зависящим от нас социальным процессом и терпимостью по отношению к чужим взглядам. Словом, он представляет собой полную противоположность той интеллектуальной гордыне, которая лежит в основе требования единого и всеобъемлющего руководства интеллектуальным развитием общества.

¹¹ Главная движущая сила, первопричина (лат.).

Глава 12

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ КОРНИ НАЦИЗМА

Все антилиберальные силы объединяются против всего либерального.

А. Меллер ван ден Брук.

Широко распространено представление о национал-социализме как о бунте против разума, как об иррациональном движении без интеллектуальной основы. Если бы это было так, нацизм был бы гораздо менее опасен; но нет ничего обманчивее такого представления. Национал-социалистское учение — венец длительной эволюции философской мысли, чье влияние было громадным не только в Германии, но и далеко за ее пределами. Как бы ни смотреть на исходные посылыки нового учения, невозможно отрицать, что его творцы были сильными мыслителями, оставившими отпечаток на всей европейской философии. Свою систему они строили с безжалостной последовательностью. Стоит человеку согласиться с ее исходными посылками, и он уже не может вырваться из когтей их логики. Это голый коллективизм, очищенный от всяких примесей индивидуалистической традиции, способной помешать его претворению в жизнь.

Немецкие мыслители были отнюдь не единственными зачинателями этого пути развития. Труды Томаса Карлейля и Хьюстона Стюарта Чемберлена, Отгуста Конта и Жоржа Сореля — такая же неотъемлемая часть этого философского направления, как и работы немцев. Эволюцию его в самой Германии хорошо показал Р. Д. Батлер в своем исследовании «Корни национал-социализма». Прослеженная им живучесть этой линии, ее периодическое возрождение в почти неизменном виде на протяжении ста пятидесяти лет выглядит зловеще; и тем не менее значение ее в Германии до 1914 года легко преувеличить. Это было лишь одно из философских направлений в стране, отличавшейся тогда, вероятно, самым большим разнообразием взглядов в мире. Да к тому же идеи эти разделялись лишь незначительным меньшинством, а у большинства немцев вызывали не меньшее презрение, чем у всех остальных.

Но в таком случае почему же эти взгляды реакционного меньшинства в конце концов завоевали поддержку подавляющего большинства немцев и практически всей немецкой молодежи? Успех их вызван не только поражением в войне и связанными с ним страданиями не только взрывом национализма, и уж отнюдь не капиталистической реакцией на надвигающийся социализм, как многим хочется думать. Наоборот, поддержка, приведшая эти идеи к власти, исходила как раз из социалистического лагеря. Им помогла не буржуазия, а, наоборот, отсутствие сильной буржуазии.

Теории, которыми руководствовались политики, находившиеся у власти в период Веймарской республики, были направлены не против социалистического в марксизме, а против сохранившихся в нем остатков либерализма в виде интернационализма и демократичности, и по мере того, как все ясней становилось, что именно эти элементы мешают претворению в жизнь социализма, левые социалисты начали все теснее сближаться с социалистами правого толка. Именно союз правых и левых антикапиталистических сил, слияние радикального социализма с консервативным, и привело к вытеснению из Германии всех либеральных сил.

Между социализмом и национализмом в Германии с самого начала существовала тесная связь. Показательно, что все крупнейшие предшественники национал-социализма — Фихте, Родбертус и Лассаль — являются в то же время общепризнанными творцами социализма. Пока немецкое рабочее движение направлялось теоретическим социализмом в его марксистской форме, авторитарные и националистические его элементы оставались на заднем плане. Но это продолжалось недолго. Начиная с 1914 года из рядов социалистов марксистского толка начали один за другим выдвигаться проповедники, обращавшие в национал-социалистскую веру не консерваторов и реакционеров, а тружеников и идеалистически настроенную молодежь. Только после этого национал-социализм стал играть первостепенную роль и быстро перерос в гитлеризм. Началом развития, породившего национал-социализм, была военная истерия 1914 года, от которой Германия из-за своего поражения никогда полностью не оправилась, и в этот период росту национал-социализма значительно способствовали бывшие социалисты.

* * *

Первым, и в некотором отношении наиболее характерным представителем этого пути развития является ныне покойный профессор Вернер Зомбарт, чья нашумевшая

книга «Händler und Helden» ("Торгаши и герои") вышла в свет в 1915 году. Зомбарт начинал как социалист марксистского толка и еще в 1909 году с гордостью писал, что посвятил большую часть жизни борьбе за распространение идей Карла Маркса. Он действительно больше любого другого сделал для пропаганды в Германии всякого рода социалистических идей и недовольства капитализмом; и если немецкая философская мысль была пропитана марксистскими элементами как никакая другая (до русской революции), то это в значительной мере — заслуга Зомбарта. Одно время он считался выдающимся представителем преследуемой социалистической интеллигенции и из-за своих радикальных взглядов не мог получить кафедры в университете. Даже после конца прошлой войны его исторические работы, оставшиеся марксистскими по подходу, хотя в области политики он давно отошел от марксизма, продолжали оказывать широкое влияние как в Германии, так и за ее пределами. Особенно это влияние чувствуется в трудах многих английских и американских сторонников планирования.

В своей книге времен войны этот старый социалист приветствует «германскую войну» как неизбежное столкновение торгашеской цивилизации Англии с героической германской культурой. Его презрение к «торгашеским» взглядам английского народа, утратившего всякие воинственные инстинкты, не имеет границ. Для него нет ничего отвратительнее всеобщего стремления к личному счастью; руководящий, как он считает, принцип английской этики — «да будет у тебя все благополучно и да продлятся твои дни на земле» — для него «самый мерзкий из принципов, порожденных торгашеским духом». Согласно «немецкой идее государственности», сформулированной Фихте, Лассалем и Родбертусом, государство основано и сформировано не отдельными лицами, не является совокупностью отдельных лиц, и цель его — не в том, чтобы служить интересам личности. Это Volksgemeinschaft¹², в котором у индивидуума нет прав, а есть только обязанности. Притязания индивидуума — всегда плод торгашеского духа. «Идеи Французской революции 1789 года» — Свобода, Равенство, Братство — идеалы торгашеские, единственная цель которых — обеспечить определенные преимущества для частных лиц.

До 1914 года всем подлинно германским идеалам героической жизни угрожала смертельная опасность со стороны непрерывно наступавших английских торгашеских идеалов, английского комфорта и английского спорта. Английский народ не только разложился сам (каждый тред-юнионист погряз в «трясине комфорта»), но и начал заражать другие народы. Только война напомнила немцам, что они нация воинов, у которых всякая деятельность, в том числе и экономическая, была всегда подчинена военным задачам. Зомбарт знает, что другие народы презирают немцев за то, что для них война священна — но сам он этим только гордится. Отношение к войне как к чему-то бесчеловечному и бессмысленному — порождение торгашеских взглядов. Есть жизнь, высшая, чем жизнь индивидуума: жизнь нации и государства, и цель индивидуума — жертвовать собой ради этой высшей жизни. Война для Зомбарта — воплощение героического отношения к жизни, а война с Англией — это война против противоположного идеала — торгашеского идеала личной свободы — и английского комфорта, худшим выражением которого он считает безопасные бритвы, которые немецкие солдаты находили в английских окопах.

* * *

Патетическая фразеология Зомбарта оказалась в то время излишне напористой даже для большинства немцев; зато другой немецкий профессор пришел к тем же, в сущности, идеям в более умеренной, более научной, а потому и более действенной форме. Профессор Иоганн Пленге был не меньшим специалистом по Марксу, чем Зомбарт. Его книга «Маркс и Гегель» знаменует собой начало современного возрождения Гегеля в среде ученых-марксистов, и начинал он, несомненно, с самых что ни на есть социалистических взглядов. Среди его многочисленных публикаций военного времени наиболее значительной является небольшая, но широко тогда обсуждавшаяся книга с характерным названием: «1789 и 1914: символические годы в истории политической мысли». Она посвящена конфликту между «идеями 1789 года» — идеалом свободы — и «идеями 1914 года» — идеалом организации общества. Для него, как и для всех социалистов, чей путь к социализму знаменуется механическим перенесением идеалов точных наук на социальные проблемы, организация — суть социализма. Он правильно под-

¹² Народное единство (нем.)

чертикает, что именно она лежала в основе социалистического движения в момент зарождения его во Франции в начале девятнадцатого века. Эту основополагающую идею социализма Маркс и марксисты предали, в силу своей фанатичной, но утопической приверженности к абстрактной идее свободы. Только теперь идее организации общества снова начинают отдавать должное за границей, как о том свидетельствуют труды Г. Уэллса (книга «Будущее в Америке» глубоко повлияла на профессора Пленге, для которого Уэллс — один из выдающихся деятелей современного социализма), но особенно в Германии, где ее лучше всего поняли и наиболее полно осуществляют. Поэтому война между Англией и Германией — в действительности конфликт между двумя антагонистическими принципами. «Экономическая мировая война» есть третья великая эпоха духовной борьбы в новейшей истории. Она не менее важна, чем Реформация и буржуазная революция. Это борьба за победу новых, порожденных передовой экономикой девятнадцатого века сил — социализма и организации общества. «Поскольку в сфере идей Германия была наиболее убежденной сторонницей всех социалистических упований, а в сфере реальности — наиболее мощной созидательницей высокоорганизованного экономического строя, двадцатый век — это мы. Чем бы ни кончилась война, мы — народ-образец. Нашим идеям предстоит определить ход жизни человечества. — Мировая история в настоящий момент являет колоссальное зрелище того, как новый великий жизненный идеал близится вместе с нами к окончательной победе, тогда как в Англии один из всемирно-исторических принципов терпит окончательный крах».

Созданная в Германии в 1914 году военная экономика — это «первое реальное воплощение социалистического общества, и дух ее — первое действенное проявление духа социализма. Военные нужды упрочили социалистическую идею в немецкой экономике, и таким образом оборона страны подарила человечеству идею 1914 г., идею немецкой организации, народной общности (Volksgemeinschaft) национального социализма... Незаметно для нас вся наша политическая жизнь, и государственная и промышленная, поднялась на более высокую ступень. Государство и экономика образуют новое единое целое... Чувство экономической ответственности, характеризующее работу должностных лиц, пронизывает все частные виды деятельности... Новое немецкое корпоративное устройство экономики (которое, как признает сам профессор Пленге, еще не завершено) — высочайшая из известных миру форм государственного устройства».

Вначале профессор Пленге еще надеялся примирить идеал свободы с идеалом организации общества, права, в основном путем полного, хотя и добровольного, подчинения личности коллективу. Однако эти остатки либеральных идей скоро исчезают из его сочинений. К 1918 году в его философской системе слияние социализма с безжалостной политикой с позиции силы стало полным. Незадолго до конца войны он следующим образом превозносит своих соотечественников в социалистическом журнале «Die Glocke»: «Давно пора признать, что социализм должен быть политической с позиции силы, ибо он должен быть организацией. Социализм должен завоевать власть: ему ни в коем случае нельзя слепо уничтожить власть. Во время войны между народами критически важным для социализма является следующий вопрос: какой народ в первую очередь призван властвовать, ибо является примером и лидером в деле организации народов?»

Он предсказывает все идеи, которыми впоследствии стали оправдывать гитлеровский «новый порядок»: «Разве именно с точки зрения социализма, который есть организация, не является безусловное право наций на самоопределение правом на индивидуалистическую экономическую анархию? Неужели мы согласны даровать индивидууму в экономике право на полное самоопределение? Последовательный социализм может давать людям право на объединение только в соответствии с реальной, исторически детерминированной расстановкой сил».

* * *

Идеи, столь ясно изложенные Пленге, были особенно популярны (а возможно, даже брали свое начало) в некоторых кругах немецких ученых и инженеров, требовавших централизованного планирования всех областей жизни, как сейчас их английские коллеги. Ведущую роль среди них играл известный химик Вильгельм Освальд, одно из высказываний которого стало знаменитым. Именно он публично заявил, что «Германия стремится организовать Европу, которой до сих пор не хватает организо-

ванности. А теперь я открою вам великий секрет Германии: мы, или, может быть, германская раса, первыми поняли важность организации. Другие страны все еще живут при индивидуализме; мы уже достигли полной организованности».

Аналогичные идеи были в ходу в кругах, близких немецкому сырьевому диктатору Вальтеру Ратену¹³. Хотя последний и содрогнулся бы, увидев, к чему привела страну его тоталитарная экономика, но тем не менее проповедовавшиеся им концепции заслуживают быть отмеченными в любой более или менее полной генеалогии нацистских идей. Его сочинения, может быть, больше всех повлияли на экономические взгляды поколения, выросшего в военной и послевоенной Германии; а некоторые из его ближайших сотрудников впоследствии образовали ядро геринговского Управления пятилетнего плана. Очень близки к идеям Пленге также идеи другого бывшего марксиста, Фридриха Науманна, чья «Центральная Европа» («Mitteleuropa») была, вероятно, самой читаемой в Германии книгой времен первой мировой войны. Но полнее всего развил и шире всего распространил эти идеи другой активный политик-социалист, представитель левого крыла социал-демократической партии в рейхстаге, Пауль Ленш. Уже в ранних своих книгах он изображал войну как «поспешное отступление английской буржуазии перед натиском социализма» и объяснял, насколько отличается социалистический идеал свободы от английского ее понимания. Но лишь в третьей, наиболее популярной его книге военного времени «Три года мировой революции», эти характерные идеи получили, не без влияния Пленге, свое полное развитие. Свои рассуждения Ленш строит на интересном и во многих отношениях точном историческом анализе бисмарковского протекционизма, приведшего в Германии к той концентрации и картелизации промышленности, которая, с его марксистской точки зрения, является высшей стадией промышленного развития. «В результате крутого поворота в политике Бисмарка после 1879 г. Германия стала играть революционную роль, иначе говоря, роль государства, представляющего в мире высший и более прогрессивный экономический строй. Появляясь это, мы поймем, что в нынешней мировой революции Германия представляет революционную сторону, а ее сильнейший противник, Англия,— контрреволюционную. Это доказывает, насколько мало конституция страны, будь она либеральной и республиканской или же монархической и автократической, влияет на вопрос о том, можно ли считать эту страну либеральной с точки зрения исторического развития. Проще говоря, наши концепции либерализма, демократии и т. д. заимствованы из английского индивидуализма, согласно которому государство со слабым правительством — государство либеральное, а всякое ограничение свободы индивидуума — проявление автократии и милитаризма».

В Германии, которой «было исторически предначертано стать образцом» этой высшей формы экономического устройства, «борьба за социализм поразительно упростилась, ибо все необходимые предпосылки социализма там уже существовали. Поэтому для всех социалистических партий было жизненно важно, чтобы Германия восторжествовала над врагом и тем самым смогла выполнить свою историческую миссию: революционизировать мир. Таким образом, война Антанты против Германии походила на попытку низших слоев буржуазии докапиталистической эпохи остановить упадок своего класса. Организация капитала,—продолжает Ленш,—стихийно начавшаяся еще перед войной и развивавшаяся уже сознательно во время войны, будет систематически продолжаться и после войны, причем не из любви к организационному искусству и не из-за признания социализма высшим принципом общественного развития. Классы, являющиеся сегодня на практике пионерами социализма, в теории являются, или во всяком случае являлись до недавнего времени, его заклятыми врагами. Социализм наступают, и фактически уже в какой-то степени наступил, ибо мы больше не можем без него жить».

Единственные, кто все еще противится этой тенденции,—либералы. «Эта категория людей, которые, сами того не осознавая, рассуждают исходя из английских мерок, включает в себя всю немецкую образованную буржуазию. Их политические представления о «свободе» и «гражданских правах», о конституционализме и парламентаризме заимствованы из индивидуалистического мировоззрения, классическим воплощением

¹³ Ратену Вальтер (1867—1922) — германский промышленник и финансист, который почти единственный еще в первые дни войны понял, что исход ее зависит от снабжения и разумного пользования сырьем. В 1914—1915 годах возглавлял специальное управление по снабжению Германии дефицитным сырьем и материалами. С 1921 года министр восстановления, в 1922 году министр иностранных дел; подписал Рапальский договор с Советской Россией. (Прим. ред.)

которого является английский либерализм и которое было усвоено представителями немецкой буржуазии в 50-е, 60-е и 70-е годы девятнадцатого века. Но эти понятия устарели и отжили свой век точно так же, как старомодный английский либерализм, подорванный нынешней войной. Теперь необходимо отделаться от этих унаследованных нами политических идеалов и способствовать развитию новой концепции государства и общества. В этой сфере социализм также должен сознательно и решительно противостоять индивидуализму. Между прочим, стоит в связи с этим отметить любопытный факт: в так называемой реакционной Германии трудящиеся классы завоевали гораздо более прочное положение и играют гораздо большую роль в управлении государством, чем в Англии и Франции».

Далее Ленш высказывает соображения, в которых опять-таки много верного: «Поскольку с помощью (всеобщего) избирательного права социал-демократы заняли все какие только можно было посты в рейхстаге, в муниципальных советах, в судах по разбору трудовых споров, в фондах пособий по болезни и т. д., то они очень глубоко проникли в государственный организм; но за это им пришлось заплатить глубоким влиянием, которое государство, в свою очередь, стало оказывать на трудящиеся классы. Благодаря пятидесятилетним неустанным трудам социалистов государство сейчас, разумеется, не то, каким было в 1867 году, когда впервые вошло в силу всеобщее избирательное право; но и социал-демократия, в свою очередь, уже не та, какой была тогда. Государство подверглось процессу социализации, а социал-демократия — процессу национализации».

* * *

Идеи Пленге и Ленша поочередно вдохновляли непосредственных творцов национал-социализма, в частности Освальда Шпенглера и А. Меллера ван ден Брука (назовем лишь два наиболее известных имени). По поводу того, можно ли считать первого из них социалистом, мнения расходятся, но то, что в своей брошюре 1920 года «Пруссачество и социализм» он просто отразил идеи, широко распространенные среди социалистов, совершенно очевидно. Достаточно привести лишь несколько образцов его аргументации. «Старый прусский дух и социалистические убеждения, сегодня ненавидящие друг друга, как могут ненавидеть только братья — это одно и то же». Представители западной цивилизации в Германии, то есть немецкие либералы, — это «невидимая английская армия, которую после битвы под Йеной Наполеон оставил на немецкой земле». В глазах Шпенглера такие люди, как Харденберг, Гумбольдт и прочие либеральные реформаторы, — «англичане». Однако этот «английский» дух будет изгнан немецкой революцией, начавшейся в 1914 году.

«Три последние нации Запада стремились к трем формам существования, отраженным в знаменитых лозунгах: Свобода, Равенство, Общность. Эти формы политически проявляются как либеральный парламентаризм, социал-демократия и авторитарный социализм... Немецкий, или, вернее, прусский, инстинкт подсказывает: власть должна принадлежать Общности... Всякому отводится свое место. Человек либо командует, либо подчиняется. Таков начиная с восемнадцатого века авторитарный социализм, в основе своей антилиберальный и антидемократический (если имеются в виду английский либерализм и французская демократия)... В Германии много возбуждающих ненависть и пользующихся дурной славой контрастов, но презрение на германской земле вызывает только либерализм.

Структура английской нации основана на различии между богатыми и бедными, структура прусской — на различии между командующими и подчиняющимися. Соответственно, смысл классовых различий в этих странах фундаментально противоположен».

Выявив основное различие между английским конкурентным строем и прусской системой «экономического администрирования» и показав (тут он сознательно следует Леншу), что, начиная с Бисмарка, целенаправленная организация экономики постепенно принимала все более и более социалистические формы, Шпенглер продолжает:

«В Пруссии существовало подлинное государство в самом высоком смысле этого слова. Строго говоря, там не было частных лиц. Каждый, кто жил внутри системы, работавшей с точностью часового механизма, был каким-то ее звеном. Поэтому ведение общественных дел не могло находиться в руках частных лиц, как предполагается при парламентаризме. Это была служба (Amt) — государственная должность, где облеченный властью политический деятель был слугой народа, слугой Общности».

«Прусская идея» требует, чтобы все превратились в государственных чиновников,

чтобы всякое жалование и заработная плата устанавливались государством. В частности, в официальную должность превращается управление любой собственностью. Государством будущего будет Beamtenstaat.

«Но вопрос, критический не только для Германии, но и для всего мира, вопрос, который должна решить Германия ради всего мира, это вопрос о том, предстоит ли в будущем торговле управлять государством или государству — торговлей. В этом вопросе пруссачество и социализм — одно... Пруссачество и социализм борются с Англией — Англией среди нас».

Отсюда был лишь шаг до заявления «святого-покровителя» национал-социализма Меллера ван ден Брука, что мировая война — это война между либерализмом и социализмом: «Мы проиграли войну с Западом. Социализм проиграл войну с либерализмом». Как и для Шпенглера, либерализм для него — заклятый враг. Меллер ван ден Брук восхищается тем, что «в сегодняшней Германии нет либералов. Есть молодые революционеры, есть молодые консерваторы. Но кому быть либералом?.. Либерализм — это жизненная философия, от которой немецкая молодежь сейчас отворачивается с отвращением, с гневом, с совершенно особым презрением и насмешкой, ибо нет ничего более чуждого, более отвратительного, более противоположного ее жизненной философии. Сегодняшняя немецкая молодежь видит в либерале своего заклятого врага».

«Третий рейх» Меллера ван ден Брука был призван дать немцам социализм, приспособленный к их национальному характеру и не запятанный западными либеральными идеями. Так и произошло.

Цитируемые авторы отнюдь не были исключениями. Еще в 1922 году беспристрастный наблюдатель писал о «странном и на первый взгляд удивительном явлении», характерном для тогдашней Германии. «Согласно этой точке зрения, битва с капиталистическим строем есть продолжение войны с Антантой оружием силы духа и экономической организации, есть путь, ведущий к практическому социализму, и возвращение народа к его лучшим и благороднейшим традициям».

Война с либерализмом во всех его проявлениях, с либерализмом, по вине которого Германия потерпела поражение, была общей идеей, сплотившей социалистов и консерваторов в единый фронт. Сначала она пользовалась наибольшей популярностью в «Движении германской молодежи», почти целиком социалистическом по вдохновлявшим его идеям; именно там завершилось слияние социализма и национализма. С конца 20-х годов до прихода Гитлера к власти главным выразителем этой традиции в интеллектуальной среде стал кружок молодых людей во главе с Фердинандом Фридом, объединившихся вокруг журнала «Die Tat». Книга Фрида «Конец капитализма», вероятно, самый показательный плод трудов этой группы «нацистов-аристократов» («Edelnazis»), как их называли в Германии; и не может не вызвать тревоги ее сходство со множеством издающихся сегодня в Англии книг, где мы можем наблюдать то же самое сближение между социалистами левого и правого толка и точно такое же презрение ко всему либеральному в старом смысле слова. «Консервативный социализм» (или, в других кругах, «религиозный социализм») — вот лозунг, под прикрытием которого множество авторов подготавливало атмосферу для успеха «национал-социализма». В Англии сейчас преобладающей тенденцией является «консервативный социализм». Разве не означает это, что война с западными державами «оружием силы духа и экономической организации» была почти выиграна еще до начала настоящей войны?

Глава 13

ТОТАЛИТАРИСТЫ СРЕДИ НАС

Притягательная сила власти, надевшей на себя личную организацию общества, столь велика, что способна превратить содружество свободных людей в тоталитарное государство.

«Таймс».

Вероятно, именно масштабы разнузданного произвола и надругательства над человеческими правами в тоталитарных государствах приводят к тому, что угроза возникновения подобного режима в Англии кажется нам абсолютно нереальной. Вместо того чтобы начать всерьез беспокоиться, мы лишь укрепимся в уверенности, что уж

от подобных ужасов мы полностью застрахованы. Когда мы обращаем взоры к нацистской Германии, разделяющая нас пропасть представляется настолько огромной, что ничто из происходящего там попросту не может иметь никакого отношения ко всему, что может случиться здесь. К тому же пропасть эта неуклонно увеличивается, что как будто опровергает всякую возможность нашего движения по тому же пути. Но не будем забывать, что пятнадцать лет назад мысль о том, что подобное может случиться в Германии, показалась бы фантастической не только девяти десятым самих немцев, но даже наиболее враждебно настроенным иностранным наблюдателям (на какую бы мудрость и принципиальность они задним числом ни претендовали).

Однако, как уже говорилось, речь идет не о нынешней Германии, а о Германии двадцати-тридцатилетней давности: именно с ней ситуация в Англии проявляет все больше сходства. Многие особенности, тогда считавшиеся «типично немецкими», теперь стали привычными здесь, и многие симптомы указывают на дальнейшее развитие в том же направлении. Мы уже приводили наиболее важный из них: растущее сходство экономических взглядов правых и левых и их единодушная оппозиция либерализму, когда-то лежавшему в основе практически всей английской политики. Такое авторитетное лицо, как Гарольд Николсон, утверждает, что в последнем консервативном правительстве среди «заднескамеечников» консервативной партии «все самые даровитые... были социалистами в душе»; а ведь многие социалисты, как и во времена фабианцев, более симпатизировали консерваторам, нежели либералам. Существует и ряд других: симптомов, тесно связанных с отмеченным выше. Усиливающийся культ государства, преклонение перед силой и могуществом, восхищение всем «величественным» и «грандиозным», восторженное стремление все «организовать» (теперь это называется планированием) и та присущая немцам «неспособность оставить хоть что-нибудь на волю простого органического развития», над которой даже такой автор, как Г. фон Трейчке¹⁴, сокрушался еще шестьдесят лет назад,— все это проявляется сейчас в Англии с не меньшей силой, чем в свое время в Германии.

Когда мы сегодня перечитываем материалы дискуссий, ведшихся в английской прессе во время прошлой войны и касавшихся различий между британскими и германскими взглядами на политические и моральные проблемы, становится разительно ясно, насколько далеко за последние двадцать лет продвинулась Англия по пути, уже пройденному Германией. Вероятно, в то время британская общественность более отчетливо воспринимала эти различия, чем теперь; но если тогда англичане гордились своими традициями, отличавшими их от всех прочих народов, то теперь они в большинстве своем как будто стыдятся политических взглядов, считавшихся в ту пору типично британскими, а иногда даже недвусмысленно их отвергают. Едва ли будет преувеличением сказать, что чем более типично английским представлялся тогда миру тот или иной автор статей по социально-политическим вопросам, тем прочнее он сегодня забыт у себя на родине. Такие люди, как лорд Морли или Генри Сиджвик, лорд Актон или А. В. Дэйси, люди, вызывающие восхищение всего мира как образцы политической мудрости либеральной Англии, для нынешнего поколения — отжившие свой век викторианцы. Может быть, ярче всего эти сдвиги сказываются в том, что в современных английских работах нет недостатка в похвалах Бисмарку; зато при упоминании Гладстона младшее поколение редко обходится без глумления над его викторианской моралью и наивной утопичностью.

Трудно в нескольких абзацах передать во всей полноте тревогу и обеспокоенность, овладевшую мной после внимательного прочтения нескольких английских работ об идеях, господствовавших в Германии времен прошлой войны,— работ, где почти каждое слово применимо ко взглядам, наиболее бросающимся в глаза в нынешней английской политической литературе. Я просто процитирую короткий отрывок из статьи лорда Кейнса 1915 года, в которой тот описывает «кошмарную картину», излагаемую в одной вполне типичной немецкой работе этого периода. По словам Кейнса, немецкий автор считает, что «даже в мирное время промышленность должна оставаться мобилизованной. Вот что он подразумевает под «милитаризацией нашей промышленности» (название рецензируемой работы). С индивидуализмом должно быть покончено полностью. Необходимо разработать систему предписаний, целью которых является не большее счастье человека (профессор Яффе не стыдится так прямо и сказать), а уси-

¹⁴ Фон Трейчке Генрих (1834—1896) — немецкий историк и публицист, официальный историограф прусского государства. Идеолог пруссачества, германской экспансии и шовинизма, сторонник объединения Германии под гегемонией Пруссии. (Прим. ред.)

ление организованного целого — государства — для посылки достижения максимальной производительности (Leistungsfähigkeit), влияние которой на благополучие индивидуума является лишь косвенным. Эта чудовищная доктрина заключена в оболочку некой идеалистической концепции. Народ станет «замкнутым единством», то есть тем, чем ему надлежит быть, по мысли Платона, — воплощением «человека в большом» (то есть в подлинном его величии). Близящийся мир принесет с собой укрепление идеи государственного руководства промышленностью. Иностранные капиталовложения, эмиграция, промышленная политика последних лет, рассматривавшая весь мир как рынок, слишком опасны. Старый промышленный уклад, сегодня находящийся при последнем издыхании, построен на прибыли; и именно новая Германия, располагающая мощью двадцатого века и презирающая прибыль, призвана покончить с капиталистической системой, пришедшей из Англии столетие назад».

Если не считать того, что, насколько я знаю, еще ни один английский автор не посмел открыто говорить с пренебрежением о счастье отдельного человека, есть ли здесь хоть одна фраза, не имеющая зеркального отражения в современных английских трудах?

Во многих странах все более привлекательными оказываются не только идеи, подготовившие тоталитаризм в Германии и за ее пределами, но и сами принципы тоталитаризма. Немногие, а может быть и никто, в Англии не примут тоталитаризма целиком, но почти нет отдельных его черт, которые нам кто-нибудь не посоветовал бы перенять. Более того, в книге Гитлера нет страницы, которую тот или иной английский автор не рекомендовал бы для подражания и использования в наших собственных целях. Это относится в первую очередь ко многим людям, ставшим смертельными врагами Гитлера лишь из-за какой-то одной особенности его режима. Никогда не следует забывать, что гитлеровский антисемитизм изгнал из страны и сделал противниками Гитлера множество людей, являющихся во всех прочих отношениях убежденными тоталитаристами немецкого образца¹⁵.

Никакое изложение не может передать сходства нынешней английской политической литературы с трудами, разрушившими в Германии веру в западную цивилизацию и породившими то состояние умов, в условиях которого нацизм смог одержать победу. Сходство это проявляется даже не столько в конкретных аргументах, сколько в подходе к вопросам, в готовности разорвать все культурные связи с прошлым и поставить все на карту ради одного эксперимента. Как и в Германии, труды, расчищающие путь тоталитаризму в Англии, в большинстве своем пишутся искренними идеалистами, и часто людьми выдающегося интеллекта. Поэтому, хотя мне и очень не хочется выделять конкретных лиц для иллюстрации взглядов, разделяемых сотнями других, я не вижу другой возможности показать, насколько далеко все зашло в Англии. В качестве примеров я буду сознательно выбирать авторов, чья искренность и бескорыстие выше подозрений. Тем самым я надеюсь показать, как быстро распространяются здесь взгляды, из которых берет свое начало тоталитаризм; но мне вряд ли удастся передать не менее важное сходство эмоциональной атмосферы. Чтобы вскрыть наглядно rozpoznываемые симптомы знакомого пути развития, необходимо было бы провести всестороннее исследование тончайших изменений в языке и способе мышления. Когда мы встречаем людей, разглагольствующих о необходимости противопоставить «мелким» идеям «грандиозные», перестать мыслить «локальными категориями» и обратиться к «глобальным», или же вообще заменить прежнее «статическое» мышление — новым, «динамическим» — лишь поначалу все это кажется чистой бессмыслицей. Постепенно мы приучаемся видеть во всех этих громких словах безошибочные признаки знакомой интеллектуальной позиции. В настоящей книге мы не имеем возможности рассмотреть ее подробно: нас интересуют здесь лишь ее проявления.

¹⁵ Когда мы рассматриваем, какой процент бывших социалистов стал нацистами, особенно важно не забывать, что истинный смысл этого соотношения станет понятным лишь в том случае, если мы будем брать за основу не общее число бывших социалистов, а лишь число тех, чьему обращению в новую веру никак не могло помешать их расовое происхождение. Более того, одной из самых удивительных особенностей политической эмиграции из Германии является малочисленность левых беженцев-«неевреев» в немецком смысле слова. Как часто приходится слышать восхваления немецкой системы, предваряемые заявлением вроде того, которое на одной недавней конференции «послужило вступлением» к перечислению «заслуживающих внимания тоталитарных методов экономической мобилизации»: «Мне сразу же хотелось бы оговориться, что г-н Гитлер — отнюдь не мой идеал... И все же...»

* * *

Мои первые примерами будут две книги даровитого ученого, пользовавшиеся в последние годы большим вниманием. В современной английской политической литературе немного найдется случаев столь явно влияния интересующих нас специфически немецких идей, как в книгах профессора Э. Х. Карра «Двадцатилетний кризис» и «Условия мира».

В первой из этих книг Карр прямо признает себя приверженцем «исторической школы реалистов», «чьей родиной является Германия и чье развитие можно проследить по великим именам Гегеля и Маркса». «Реалист», объясняет он, это человек, «который ставит моральные принципы в зависимость от политики» и «не может логически привясть за основу системы ценностей ничего, кроме фактов». Этот реализм противопоставляется (чисто по-немецки) восходящей к восемнадцатому веку «утопической» мысли, «которая была по сути своей индивидуалистична, в том смысле, что сделала конечной инстанцией человеческую совесть». Но старая этика с ее «абстрактными общими принципами» должна исчезнуть, ибо «эмпирик рассматривает каждый конкретный случай в отдельности». Иными словами, не важно ничего, кроме целесообразности. Изумленного читателя уверяют даже, что «не является моральным принципом правило *recta sunt servanda*»¹⁶. Ни то, что без абстрактных общих принципов решение конкретных дел ставится в зависимость от личного каприза, ни то, что международные договоры, если они не являются моральными обязательствами, теряют всякий смысл, профессора Карра не беспокоит.

Более того, из выводов профессора Карра следует, хотя он прямо этого и не говорит, что в прошлой войне Англия сражалась за неправое дело. Всякий, кто перечитает сегодня высказывания двадцатипятилетней давности о целях, которых стремилась достичь Англия в прошлой войне, и сравнит их с теперешними воззрениями профессора Карра, увидит, что точка зрения, считавшаяся в ту пору безусловно германской, ныне стала точкой зрения профессора Карра. Сам он, вероятно, возразит на это, что противоположные взгляды, исповедовавшиеся тогда в Англии, были ничем иным, как плодом британского лицемерия. Как мало разницы он находит между идеалами, в которые верят здесь, и идеалами, осуществляемыми в сегодняшней Германии, видно из его утверждения, что, «когда один из национал-социалистских лидеров заявляет: «все, что идет на пользу немецкому народу, хорошо: все, что идет ему во вред, плохо», он лишь облакает в слова то отождествление интересов страны с универсальным добром, которое уже было сделано в англоязычных странах президентом США Вудро Вильсоном, профессором Тойнби, лордом Сесилом и многими другими».

Книги Карра посвящены международным вопросам, поэтому их характерные тенденции ярче всего проявляются именно в этой области. Но, судя по немногим упоминаниям, общество будущего в его представлении тоже построено по вполне тоталитарному образцу. Иногда даже непонятно, случайное перед нами сходство или намеренное. Когда, например, Карр утверждает, что «мы уже не видим большого смысла в привычном для девятнадцатого века различении "общества" и "государства"», понимает ли он, что в точности излагает учение профессора Карла Шмитта, ведущего нацистского теоретика тоталитаризма, более того, что это и есть суть тоталитаризма по определению самого Шмитта, изобретшего этот термин? Понимает ли он, что взгляд, согласно которому «массовое производство мнений логически вытекает из массового производства товаров», а поэтому «все еще существующее в умах предубеждение против слова «пропаганда» аналогично предубеждению против контроля промышленности и торговли», фактически оправдывает всеобщую унификацию мысли, практикуемую нацистами?

В своей более недавней книге «Условия мира» Карр дает заведомо утвердительный ответ на тот вопрос, которым мы заключили предыдущую главу: «Победители в войне проиграли мир, а Советская Россия и Германия его выиграли, потому что первые продолжали исповедовать, а частично и применять на практике некогда действенные, но теперь ставшие разрушительными идеалы прав наций и капитализма типа *laissez-faire*, тогда как вторые, сознательно или неосознанно несущиеся вперед на гребне двадцатого века, стремились построить новый мир, состоящий из более крупных элементов, подчиненных централизованному планированию и контролю».

¹⁶ Договоры должны соблюдаться (*лат.*).

Профессор Карр полностью перенял германский боевой клич социалистической революции Востока против либерального Запада, в которой Германии отводилась роль лидера. Его идолом становится «революция, начавшаяся в годы прошлой войны, являвшаяся движущей силой каждого мало-мальски значительного политического движения последних двадцати лет... революция, направленная против господствующих идей девятнадцатого века: либеральной демократии, самоопределения наций и экономики типа *laissez-faire*».

Как вполне справедливо замечает сам Карр, «этот вызов догмам девятнадцатого века, естественно, нашел в лице Германии, никогда их не разделявшей, сильного сторонника». Со всей фаталистической верой каждого псевдоисторика со времен Гегеля и Маркса, этот путь развития изображается как нечто неизбежное: «Мы знаем, в каком направлении движется мир, и должны либо подчиниться этому движению, либо погибнуть».

Уверенность в неизбежности этой тенденции основана на привычных экономических ошибках: на предполагаемой необходимости общего роста монополий вследствие развития техники, на мнимом «потенциальном изобилии» и всех прочих модных словечках, мелькающих в трудах этого рода. Карр не экономист, и его экономические рассуждения не выдерживают серьезной критики. Но ни этот факт, ни его весьма характерная убежденность в том, что роль экономических факторов в социальной жизни быстро уменьшается, не мешают ему строить все свои предсказания исходя из экономических аргументов и выдвигать в качестве главного требования к будущему «переосмысление, главным образом с помощью экономических понятий, демократических идеалов "равенства" и "свободы"»!

Презрение Карра к идеям либеральных экономистов (которые он упорно именуется идеями девятнадцатого века, хотя ему известно, что Германия «никогда их полностью не разделяла» и уже в девятнадцатом веке реализовала на практике большинство отстаиваемых им ныне принципов) не менее глубоко, чем у любого немецкого автора, цитировавшего в предыдущей главе. Он даже подхватывает немецкий тезис, выдвинутый Фридрихом Листом, согласно которому политика свободы торговли была продиктована исключительно особыми интересами Англии в девятнадцатом столетии и служила только этим интересам. Теперь же «искусственное поддержание определенной степени автаркии¹⁷ является неперменным условием упорядоченного социального существования». «Возврат к более раздробленной мировой торговле, охватывающей без разбора все страны... путем «снятия торговых ограничений» или же возрождения отошедших в прошлое принципов *laissez-faire*» является попросту немислимым. Будущее за «крупномасштабным хозяйством» (*Grossraumwirtschaft*) немецкого типа, при этом «желаемого результата можно достичь только путем сознательной перестройки всей европейской жизни — типа той перестройки, которую предпринял Гитлер»!

После этого не приходится удивляться, когда видишь, как в весьма показательном разделе «Моральные функции войны» Карр снисходит до жалости к «тем прекраснодушным личностям (особенно в англосаксонских странах), которые, будучи пропитаны традициями девятнадцатого века, упорно продолжают считать войну бессмысленной и бесцельной», и восхваляет «ощущение смысла и цели», порождаемое войной, этим «мощнейшим орудием социальной сплоченности». Все это очень знакомо, но подобных взглядов не ожидаешь встретить в работе английского ученого.

* * *

Мы, возможно, не уделили достаточного внимания одной особенности интеллектуального развития в Германии последнего столетия, которая теперь проявляется здесь в почти аналогичной форме: движение ученых, пропагандирующих необходимость «научной» организации общества. Идеал общества, «насквозь» организованного сверху, был в Германии значительно усилен тем совершенно уникальным влиянием, которое немецкие научно-технические специалисты оказали на формирование социально-политических взглядов. Мало кто помнит, что в новейшей истории Германии политически активные профессора сыграли роль, аналогичную роли политически активных

¹⁷ Автаркия — политика хозяйственного обособления страны (или группы стран), направленная на создание замкнутой, самообеспечивающейся экономики. (Прим. ред.)

юристов во Франции¹⁸. В последние годы эти ученые-политики редко оказывались на стороне свободы; «интеллектуальная нетерпимость», столь часто бросающаяся в глаза у научных работников, раздражение, вызываемое у специалиста привычками и свойствами обыкновенного человека, презрение ко всему, что не организовано блестящими умами по научному плану, — все это стало обычным в немецкой общественной жизни на несколько поколений раньше, чем в Англии. И, наверное, нет страны, лучше иллюстрирующей воздействие, оказываемое на нацию всеобщим и полным переходом от системы «классического» образования к «реальному», чем Германия между 1840 и 1940 годами.

Готовность, с которой немецкие ученые, за немногими исключениями, пошли на службу к новым правителям — одна из тягостнейших и постыднейших страниц в истории восхождения национал-социализма. Ведь хорошо известно, что именно ученые и инженеры, столь громко притязавшие на роль лидеров в походе к новому, лучшему миру, подчинились новой тирании охотнее почти всех остальных классов общества.

Роль интеллектуалов в тоталитарном преобразовании общества была пророчески предсказана в другой стране Жюльеном Бенда в книге «Измена клерков», которая теперь, спустя пятнадцать лет, обрела новую значимость. Одно место в этой книге заслуживает особого внимания в связи с некоторыми экскурсами британских ученых в область политики. Это место, в котором говорится о «предрассудке, согласно которому наука компетентна во всех областях, включая область морали: предрассудке, появившемся, повторяю, в девятнадцатом веке. Остается выяснить, верят ли в эту концепцию те, кто поднимает ее на щит, или же они просто пытаются придать престижную видимость научности своим страстям, прекрасно зная, что они — не что иное как страсти. Заметим, что догма, согласно которой ход истории подчиняется научным законам, особенно пропагандируется сторонниками деспотизма. Это вполне естественно, ибо такая догма устраняет две вещи, наиболее им ненавистные: свободу человека и роль личности в истории».

Мы уже упоминали об одном английском сочинении такого рода, где на фоне марксизма проявляются все характернейшие свойства интеллектуала-тоталитариста, где ненависть ко всему, чем замечательна европейская цивилизация со времен Возрождения, совмещается с одобрением методов инквизиции. Мы не собираемся здесь рассматривать столь крайний случай, поэтому возьмем работу более репрезентативную и завоевавшую значительную популярность. Небольшая книга К. Х. Уоддингтона с характерным названием «Научный подход» — прекрасный пример политической литературы, активно пропагандируемой влиятельным еженедельником «Нейчур», где требование большей политической власти для ученых сочетается с пылкими дифирамбами огульному «планированию». Уоддингтон не так откровенен в своем презрении к свободе, как Карр, но от этого не легче. От большинства подобных авторов его отличает то, что он ясно видит и даже подчеркивает, что описываемые и отстаиваемые им тенденции неизбежно ведут к тоталитаризму. Однако для него это, видимо, предпочтительнее того, что он именует «теперешней свирепой цивилизацией зверинца».

Утверждая, что именно ученый обладает качествами, необходимыми для управления тоталитарным обществом, Уоддингтон исходит в первую очередь из того, что «наука может судить поведение человека с этической точки зрения». Разработка этого тезиса Уоддингтоном широко рекламировалась журналом «Нейчур». Тезис этот, разумеется, давно знаком немецким ученым-политикам и справедливо выделен Ж. Бенда. Чтобы показать, что он означает, нет нужды выходить за рамки книги Уоддингтона. Свобода, поясняет он, это «понятие, которое ученому обсуждать весьма сложно, — в частности, потому, что он не уверен, что такая вещь вообще существует». Тем не менее «наука признает» такой-то и такой-то виды свободы, но «свобода потакает своим пристрастиям и быть не таким, как все, не имеет... научной ценности». По-видимому, «эти блаудливые гуманитарные науки», для которых у Уоддингтона находится немало неслезных слов, явно вводили людей в заблуждение, уча их терпимости!

¹⁸ Сервиллизм ученых по отношению к властям предрержавшим рано проявился в Германии, где шел бок о бок с быстрым ростом государственной науки, столь восхваляемой ныне в Англии. Один из известнейших немецких ученых, физиолог Эмиль Дюбуа-Реймон, не постеснялся в речи, произнесенной им в 1870 году в качестве ректора Берлинского университета и президента Прусской Академии наук, заявить: «Мы, Берлинский университет, размещающийся напротив королевского дворца, в силу самого акта нашего основания, являемся интеллектуальным хранителем дома Гогенцоллернов».

Когда дело доходит до социально-экономических вопросов, книга о «научном подходе» оказывается какой угодно, только не научной, но этого привыкаешь ждать от такого рода трудов. Она изобилует знакомыми штампами и ни на чем не основанными обобщениями вроде «потенциального изобилия» и неизбежного движения к монополизации, хотя цитируемые в поддержку этих утверждений «крупные авторитеты» при ближайшем рассмотрении оказываются авторами брошюр сомнительной ценности, тогда как серьезные исследования по этим вопросам откровенно обходятся молчанием.

Как во всех почти работах этого типа, убеждения Уоддингтона определяются в основном его верой в якобы открытые наукой «неизбежные исторические тенденции», возводимые к «глубокой научной философии» марксизма, основные понятия которого «почти, если не полностью, идентичны понятиям, положенным в основу научного подхода к природе», и который, как подсказывает Уоддингтону его «способность к суждению», является высшей точкой всего предшествовавшего развития. Автору «трудно отрицать, что в Англии сейчас жить хуже, чем в 1913 году, и тем не менее он с нетерпением ждет прихода экономического строя, который «будет централизованным и тоталитарным в том смысле, что все аспекты экономического развития крупных районов будут сознательно планироваться как нерасчленимое целое». Что же до его поверхностно-оптимистической уверенности в сохранении свободы мысли при тоталитарном строе, то тут «научный подход» не может предложить ничего лучшего, чем убежденность в том, что «нужно иметь чрезвычайно веские основания, чтобы выносить суждения по вопросам, для понимания которых не надо быть специалистом», например, по вопросу о том, можно ли «сочетать тоталитаризм со свободой мысли».

* * *

В более подробном обзоре многообразных тоталитаристских тенденций в Англии пришлось бы уделить внимание всякого рода попыткам создать нечто вроде социализма для среднего класса, пугающе похожего, — разумеется, без ведома его создателей — на аналогичные явления в догитлеровской Германии. Если бы нас занимали политические движения как таковые, мы должны были бы рассмотреть такие новые организации, как «Вперед — марш!» («Fogward March») или движение «Общее дело» («Common Wealth»), возглавляемое сэром Ричардом Акландом, автором книги «Наша борьба» («Unser Kampf»), или же деятельность «Комитета 1941» Дж. Б. Пристли, одно время объединенного с предыдущим. Конечно, было бы неразумно пренебрегать симптоматичностью таких явлений, но их пока нельзя рассматривать как серьезную политическую силу. Помимо интеллектуального влияния, проиллюстрированного нами на двух примерах, главной движущей силой тоталитаризма являются две крупные группы: профсоюзы и объединения предпринимателей. Может быть, величайшая опасность и заключается в том, что обе эти могущественнейшие группы движутся в одном направлении.

Делают они это путем общей, и зачастую согласованной, поддержки монополизации промышленности; в этом-то и таится громадная непосредственная опасность. Пока нет оснований считать этот путь неизбежным, но если мы будем продолжать по нему идти, он несомненно приведет к тоталитаризму.

Сознательно движение это планируется в основном капиталистами-создателями монополий, поэтому именно в них — один из главных источников опасности. Их вина не меньше оттого, что дело, к которой они реально стремятся — не тоталитарный строй, а нечто вроде корпоративного общества, в котором монополизированные отрасли промышленности являются чем-то вроде полунезависимых и самоуправляемых «сословий». Но они столь же близоруки, как были их немецкие коллеги, полагая, что им не только дадут создать такую систему, но и позволят какое-то время ею управлять. Руководителям монополизированных отраслей промышленности пришлось бы непрерывно принимать решения такого масштаба, какие ни одно общество не может надолго предоставить усмотрению частных лиц. Государство, допустившее рост таких громадных конгломератов власти, не может допустить, чтобы вся эта власть оставалась в руках частных лиц. Не меньшая иллюзия — полагать, что в этих условиях предпринимателям позволят долго занимать привилегированное положение, в конкурентном обществе оправданное тем, что из многих идущих на риск лишь немногие добиваются успеха. Неудивительно, что предприниматели с удовольствием сохранили бы и высокие доходы, выпадающие на долю наиболее удачливых среди них в конкурентном обществе, и гарантированную обеспеченность государственного служащего. Пока крупный част-

ный промышленный сектор существует бок о бок с государственным, вполне вероятно, что наиболее способные промышленники будут получать высокие оклады даже на самых что ни на есть гарантированных должностях. Но если во время переходного периода надежды предпринимателей, быть может, и сбудутся, то весьма скоро они обнаружат, как обнаружили их немецкие коллеги, что они больше не хозяева, что им придется удовлетворяться тем объемом власти и тем вознаграждением, которые им соблаговолит уделить государство.

Если только эта книга не была понята совершенно неправильно, автора, надеюсь, никто не заподозрит в симпатии к капиталистам, если он подчеркнет, что было бы тем не менее ошибкой обвинять в нынешнем движении к монополизации исключительно, или даже главным образом, этот класс. Его склонность двигаться в этом направлении не нова, и сама по себе вряд ли может стать реальной движущей силой. Роковым оказалось то, что капиталистам удалось заручиться поддержкой множества других групп, и с их помощью — поддержкой государства.

В какой-то мере монополисты добились этой поддержки, либо допуская другие группы населения к паю от своих прибылей, либо, чаще даже, убеждая их, что формирование монополий — в интересах государства. Но тот сдвиг в общественном мнении, который благодаря своему влиянию на законодательство и систему отправления правосудия стал важнейшим фактором, приведшим к этому роковому результату, был целиком и полностью обусловлен левой пропагандой против конкуренции. Часто даже меры, направленные против монополистов, лишь усиливают мощь монополий. Каждый удар по прибылям монополий, будь то в интересах конкретных групп или всего государства в целом, приводит к возникновению новых групп, которым выгодно поддерживать монополии. Система, при которой крупным привилегированным группам выгодны прибыли монополий, политически гораздо опаснее (и власть монополий при ней гораздо больше), чем когда прибыли достаются лишь ограниченному числу людей. Так, в принципе должно быть ясно, что более высокие ставки заработной платы, которые в состоянии обеспечивать монополисты — такой же результат эксплуатации, как и их собственные прибыли, и точно так же сделают беднее не только всех потребителей, но и остальных наемных рабочих; и тем не менее не только те, кому это выгодно, но и население в целом в наши дни воспринимает способность предоставить более высокую зарплату как довод в пользу монополий¹⁹.

Даже допуская неизбежность монополий, нельзя согласиться с тем, что лучший способ их контролировать — это отдать в руки государства. Если бы речь шла только об одной отрасли промышленности, это, может быть, было бы и верно. Но когда приходится иметь дело со множеством разных монополизированных отраслей промышленности, многое говорит за то, чтобы оставить их в частных руках, и не объединять под началом государства. Даже если железные дороги, воздушный и автомобильный транспорт и снабжение электричеством и газом будут монополизированы, положение потребителя будет безусловно лучше, пока они остаются отдельными монополиями, не «координируемыми» единым органом управления. Частная монополия почти никогда не бывает абсолютной и крайне редко способна долго продержаться, поэтому ей нельзя пренебрегать потенциальной конкуренцией. Но государственная монополия — всегда монополия, защищаемая государством и от потенциальной конкуренции, и от действительной критики. В большинстве случаев это означает, что временной монополии дается возможность закрепиться навсегда — возможность, которая, конечно, будет использована. В условиях, где власть, которая должна сдерживать и контролировать монополии, становится заинтересованной в защите и покровительстве назначенных ею лиц; где для правительства способом исправления злоупотреблений является просто принятие на себя ответственности за него; где критика действий монополий означает критику правительства — там мало надежды на то, что монополии будут поставлены на службу обществу. Государство, которое с головой ушло в управление монополистической системой предпринимательства, будет обладать сокрушительной властью над отдельным че-

¹⁹ Может быть, еще более удивительна выказываемая многими специалистами трогательная забота о рванье — держателе акций, которому монополистическое устройство промышленности нередко гарантирует твердый доход. Когда слепая ненависть к прибылям заставляет людей считать не требующий никакой работы твердый доход социально и морально более приемлемым, чем прибыли, и соглашаться даже на то, чтобы этот доход гарантировался (например, держателям акций железных дорог) монополиями — перед нами один из самых поразительных симптомов извращения ценностей, начавшегося при жизни предыдущего поколения.

ловеком, оставаясь при этом слабым в смысле свободы выработки политического курса. Монополистическая машина отождествляется с государственной, а само государство все более отождествляется не с интересами нации в целом, а с интересами тех, кто ею руководит.

Не исключено, что в условиях реальной неизбежности образования монополий, последовательное проведение в жизнь концепции, ранее предпочитавшейся американцами — контроль сильного государства над частными монополиями — имеет больше шансов принести удовлетворительные результаты, чем государственное управление монополиями. Это как будто бы верно там, где государство проводит четкую политику регулирования цен, не оставляющую места для сверхприбылей, в распределении которых могут участвовать не только монополисты. Даже если это приведет (как иногда случалось с американскими коммунальными услугами) к тому, что обслуживание, обеспечиваемое монополизированными отраслями промышленности, станет хуже, чем могло бы быть, на это стоит пойти ради того, чтобы обуздать власть монополий. Я лично безусловно предпочел бы мириться с такого рода неэффективностью, чем терпеть монополистический контроль над своей жизнью. Кроме того, такой метод обращения с монополиями, превратив положение монополиста в самое незавидное на предпринимательском уровне, тем самым способствовал бы ограничению монополий областями, где они неизбежны, и стимулировал бы поиски конкурентных путей их замены. Попробуйте снова поставить монополиста в положение экономического «мальчика для битья» — и вы будете поражены тем, как быстро самым способным из предпринимателей вновь захочется вдохнуть живительный воздух конкуренции!

* * *

Проблема монополий не была бы столь трудной, если бы бороться приходилось только с капиталистом-монополистом. Но, как уже было сказано, монополии превратились в угрозу, какую они ныне представляют, не усилиями нескольких заинтересованных в них капиталистов, а благодаря поддержке тех, кому капиталисты стали уделять долю своих прибылей, и тех, кого им удалось убедить, что, поддерживая монополии, они помогают построению более справедливого и упорядоченного общества. Роковым поворотным пунктом современного хода развития был момент, когда великое движение, изначальной целью которого является борьба с любыми привилегиями — лейбористское движение — подпало под влияние антиконкурентных теорий и само вмешалось в борьбу за привилегии. Рост монополий в последние годы — в большой мере результат сознательного сотрудничества капиталистов с рабочими объединениями, при котором привилегированные рабочие группировки получают долю монополистических прибылей за счет общества, причем главным образом — за счет беднейших его слоев, то есть людей, занятых в менее хорошо организованных отраслях промышленности, и безработных.

Одно из печальнейших зрелищ нашей эпохи — массовое демократическое движение, выступающее за политику, которая неизбежно ведет к уничтожению демократии, и в то же время может быть выгодна лишь меньшинству среди поддерживающих эту политику масс. Однако именно поддержка левыми силами монополистических тенденций и делает эти тенденции столь непреодолимыми, а перспективы на будущее — столь мрачными. Пока лейбористское движение продолжает способствовать разрушению единственного строя, при котором каждому работнику обеспечивается хотя бы минимум независимости и свободы, надежды на будущее невелики. Лейбористские лидеры, громко заявляющие о том, что «раз и навсегда покончили с безумной конкурентной системой»²⁰, возвещают гибель свободы личности. Возможностей только две: либо общество управляется безличными силами рыночной экономики, либо волей горстки людей; поэтому те, кто стремятся не допустить первой возможности, сознательно или бессознательно способствуют осуществлению второй. Некоторые трудящиеся при новом порядке будут лучше питаться и все, несомненно, будут более одинаково одеваться; однако позволительно думать, что в конечном счете большинство английских тру-

²⁰ Профессор Г. Дж. Ласки в своем обращении к 41-й ежегодной конференции лейбористской партии (Лондон, 26 мая 1942 года). Заслуживает внимания то, что, по мнению профессора Ласки, именно «эта безумная конкурентная система означает бедность для всех стран и войну как результат этой бедности» — по меньшей мере странное прочтение истории последних ста пятидесяти лет.

дящихся не поблагодарит своих интеллектуалов-руководителей за социалистическое учение, ставящее под угрозу их личную свободу.

Для любого, кто знаком с историей основных европейских стран последнего двадцатипятилетия, изучение последней программы лейбористской партии, теперь поставившей своей целью построение «планового общества», — тяжелое испытание. Любой «попытке реставрировать традиционную Британию» противопоставляется схема, не только в общих чертах, но и в деталях, даже в выборе слов, неотличимая от социалистических мечтаний, доминировавших в спорах немецких теоретиков двадцать пять лет назад. Целиком заимствованы из немецкой идеологии не только основные требования (так, в принятой по предложению профессора Ласки резолюции содержится требование сохранения в мирное время «правительственного контроля, необходимого для мобилизации национальных ресурсов в случае войны»), но и вся характерная фразеология — например, «сбалансированная экономика», которой теперь требует для Великобритании профессор Ласки, или «общественное потребление», целям которого должно служить централизованное руководство производством. Двадцать пять лет назад наивная вера в то, что «плановое общество может оказаться гораздо более свободным, чем конкурентная система типа *laissez-faire*, которой оно идет на смену», была еще простительна. Но поистине прискорбно столкнуться с ней опять, после двадцатипятилетнего опыта и вызванного им пересмотра взглядов, — да еще в момент, когда мы сражаемся против зла, порожденного этой же самой идеологией! Тот факт, что великая партия, занявшая и в парламенте, и в общественном мнении место прогрессивных партий прошлого, примкнула к движению, которое, в свете всего прежнего хода развития, следует считать реакционным, является поворотным событием нашего времени и источником смертельной опасности для всего, что дорого сердцу либерала. В прошлом прогрессу угрожали консервативные правые силы — явление, характерное для всех времен, не вызывавшее никакой тревоги. Но если место оппозиции и в парламенте, и в общественных дискуссиях будет прочно монополизировано второй реакционной партией — тогда надеяться больше не на что.

Глава 14

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И МОРАЛЬНЫЕ ИДЕАЛЫ

Разве правильно, разве справедливо, чтобы большинство, возражающее против первейшей цели каждого правления, порабощало меньшинство, стремящееся быть свободным? Несомненно, справедливее, если уж дойдет до применения силы; меньшему числу принудить большее сохранить свободу (в чем не может быть для них зла), нежели большему, из угождения собственной подлости, обречь меньшее на оскорбительнейшую участь таких же, как они, рабов. Те, кто не жаждут ничего иного, кроме своей собственной законной свободы, имеют право добиваться ее всегда, когда это в их власти, сколько бы голосов этому ни противилось.

Джон Милтон.

Наше поколение любит тешить себя иллюзией, что экономические соображения занимают в его жизни меньше места, чем в жизни его родителей и дедов. «Конец homo economicus» обещает стать одним из господствующих мифов нашей эпохи. Однако прежде чем согласиться с этим утверждением и приветствовать наступившие перемены, следует выяснить, насколько оно соответствует истине. Действительно, если рассмотреть наиболее настойчиво выдвигаемые соображения в пользу пропагандируемой ныне необходимости перестройки общества, то окажется, что почти все они — экономического характера: как мы уже видели, «экономическое истолкование» политических идеалов прошлого — свободы, равенства и уверенности в завтрашнем дне — является одним из главных требований тех самых людей, которые возвещают конец «человека экономического» и освобождение человечества от сковывающих его пут материальной необходимости. Кроме того, не приходится также сомневаться, что в своих убеждениях и устремлениях люди сегодня больше, чем когда-либо, руководствуются экономическими соображениями: заботливо выпестованной верой в иррациональность нашей экономической системы, лживыми заверениями в «потенциальном изобилии», псевдонаучными

теориями о неизбежности монополистических тенденций, а также впечатлением, создаваемым некоторыми ставшими притчей событиями — такими, как уничтожение запасов сырья или сознательное препятствование внедрению изобретений. В подобных эксцессах принято обвинять конкурентную систему, хотя на самом деле в условиях конкуренции такого как раз не могло бы случиться: это стало возможным только с появлением монополий, причем, как правило, государственных или пользующихся покровительством государства.

Однако в другом смысле наше поколение действительно меньше прислушивается к экономическим соображениям, чем его предшественники. Оно самым решительным образом отказывается жертвовать своими потребностями и остается глухо к любым экономическим доводам; оно не терпит никакой узды для своих сиюминутных прихотей и не собирается покоряться экономической необходимости. Совсе не презрение к материальным благам или хотя бы меньшее к ним стремление, но, наоборот, отказ признавать какие бы то ни было препятствия, какой бы то ни было конфликт с другими целями, который может затормозить исполнение наших желаний — вот отличительная черта нашего поколения. «Экономофобия» — более правильное название для этой позиции, чем вавоине ложная формулировка «конец homo economicus», означающая сдвиг в ситуации, фактически никогда ранее не существовавшей, да к тому же в направлении, в котором никто не движется. Человек воспылил ненавистью и взбунтовался против тех самых безличных сил, которым раньше покорялся, хотя они часто делали тщетными все его труды.

Бунт этот — одно из проявлений более общего феномена: нежелания подчиниться любому правилу или необходимости, когда человек не видит для них рационального обоснования. Это ошутимо во многих областях жизни (особенно в области этики), и зачастую такую позицию можно только одобрить. Но существуют сферы, в которых это стремление найти всему рациональное объяснение не может быть удовлетворено полностью, а в то же время отказ подчиняться тому, чего мы не понимаем, неизбежно ведет к гибели нашей цивилизации. Вполне понятно, что, по мере того как окружающий мир все более усложняется, в нас растет сопротивление непонятным нам силам, постоянно мешающим осуществлению человеческих надежд и планов. Но именно в этих условиях у отдельного человека все меньше и меньше шансов полностью понять действие этих сил. Такая сложная цивилизация, как наша, неизбежно строится на умениях человека приспособиться к переменам, причин и характера которых он не понимает: почему он становится богаче или беднее, почему ему надо менять профессию, почему из того, что ему хочется, что-то оказывается менее доступно, а что-то более, и т. д. Все это всегда будет связано с таким множеством обстоятельств, что никакой ум не сможет их все охватить; или, хуже того, люди, затронутые переменами, будут во всем обвинять непосредственную, очевидную и устранимую причину, тогда как более сложные взаимосвязи, действительно предопределившие эти перемены, неизбежно останутся для них тайной. Даже руководитель общества, планируемого сверху донизу, захоти он кому-нибудь объяснить, почему того направляют на другую работу или почему необходимо изменить причитающееся ему вознаграждение, не сможет этого сделать, не объяснив и не оправдав всего своего плана в целом, а это, разумеется, означает, что все можно объяснить лишь небольшой горстке людей.

Именно подчинение человека безличным силам рынка сделало возможным развитие цивилизации, которое в противном случае не могло бы осуществиться, именно таким своим подчинением мы день за днем помогаем возведению гигантского здания, чьи масштабы превосходят все, что способен понять любой из нас. И пусть в прошлом люди подчинялись неведомым силам благодаря определенным убеждениям, которые теперь иногда считаются предрассудками, будь то из религиозного духа смирения или же из преувеличенного уважения к примитивным теориям ранних экономистов — это не имеет значения. Главное в том, что рационально вывести для себя необходимость покоряться силам, действия которых нам не понять, несравненно труднее, чем покоряться им из смиренного трепета, внушавшегося религией или уважением к экономическим теориям. Возможно, дело обстоит так: для того чтобы просто поддерживать нашу сложнейшую цивилизацию на нынешнем уровне, не заставляя никого делать то, чего он не понимает, каждый из нас должен был бы располагать бесконечно более мощным интеллектом, чем сейчас. Отказ покоряться внешним факторам, которых мы не можем ни понять, ни признать результатом сознательного решения мыслящего существа, является плодом не доведенного до конца, а следовательно, и ошибочного рационализма.

В подобном рационализме есть один существенный пробел: он состоит в непонимании того, что для координации многообразных индивидуальных усилий в сложном и высокоструктурированном обществе необходимо учитывать факты, которых не может охватить ни один отдельно взятый человек. Помимо того «половинчатый» рационализм упускает из виду и то, что единственной альтернативой подчинению безличным и кажущимся иррациональными силам рынка является (если мы не собираемся разрушить эту сложную общественную структуру) подчинение людям, чья власть будет столь же неконтролируемой, а потому деспотичной. В своем стремлении освободиться от опостылевших пут человек не видит, что новые, авторитарные пути, которые ему придется добровольно на себя наложить вместо прежних, будут гораздо мучительнее.

Те, кто утверждает, что мы достигли поразительных успехов в покорении сил природы, но резко отстаем в деле использования возможностей социального сотрудничества, совершенно правы. Но они ошибаются, когда, продолжая сравнение, требуют, чтобы мы научились подчинять себе социальные силы точно так же, как и природные. Этот путь ведет не только к тоталитаризму, но и к уничтожению цивилизации, к немигнуемой остановке прогресса. Люди, этого требующие, показывают, что еще не достигли, насколько нужна, даже просто для сохранения достигнутого, координация деятельности отдельных людей безличными силами.

* * *

Теперь вернемся ненадолго к самому главному: к тезису, согласно которому свобода личности несовместима с безусловным и исключительным приоритетом единой цели, которой полностью и перманентно подчинено все общество. Единственным исключением из общего правила («свободное общество не может быть подчинено единой цели») является война и другие преходящие бедствия, когда ценой подчинения суровой необходимости мы в конечном счете сохраняем свою свободу. Вот почему модные фразы о том, что надо продолжать делать в мирных целях то, что мы научились делать в целях военных, так обманчивы. Есть смысл временно пожертвовать свободой ради того, чтобы более надежно сохранить ее за собой на будущее, но это лишается смысла, если чрезвычайные обстоятельства и меры превращаются в повседневность.

Принцип, согласно которому ни одна цель в мирное время не может пользоваться абсолютным приоритетом по сравнению со всеми другими, остается справедливым даже по отношению к задаче, которая, по общему мнению, сейчас является первоочередной: к победе над безработицей. Несомненно, мы должны направить на решение этой проблемы все свои силы, но все же даже столь безотлагательная задача не может поглотить нас целиком и стать важнее всего остального — иначе говоря, если воспользоваться ходовой фразой, нельзя добиваться решения этой проблемы «любой ценой». Более того, именно в этой области обаяние туманных, но популярных словечек, таких как «полная занятость», вполне может привести к крайне близоруким мерам, а категорическое и безответственное «это должно быть сделано любой ценой» целеустремленного идеалиста — привести неизмеримый вред.

Крайне важно взяться за эту задачу, которую нам придется решать после войны, полностью осознавая все возможные последствия и ясно понимая, чего мы можем надеяться достичь. Главнейшая особенность, которая будет характеризовать положение в стране в первые послевоенные годы, будет связана с тем, что чрезвычайные военные нужды обеспечили сотням тысяч мужчин и женщин занятость в специализированных секторах производства, где они в военное время получали сравнительно высокую зарплату. Во многих случаях невозможно будет занять то же количество людей в этих областях деятельности в мирное время. Возникает насущная необходимость перевести значительные массы людей на иные виды работы, и многие из них обнаружат, что их труд оплачивается хуже, чем прежде. Даже перекалфикация, которую, безусловно, необходимо обеспечить в широких масштабах, проблемы целиком не решит. Все равно останется много людей, которые, если им платить в соответствии с ценностью их услуг для общества, должны будут в рамках любой системы смириться с относительным понижением уровня своего материального благосостояния по сравнению с другими.

Если профсоюзы начнут сопротивляться всякому понижению зарплаток рассматриваемых групп и если их сопротивление будет успешным, останется лишь две возможности: либо прибегнуть к принуждению, то есть отбирать определенных людей и в принудительном порядке переводить их на относительно хуже оплачиваемые должности, либо позволить тем, кого невозможно более оставить на высокооплачиваемых местах, где они были заняты во время войны, оставаться без работы до тех пор, пока они не со-

гласятся работать за относительно меньшую зарплату. Социалистическому обществу придется столкнуться с этой проблемой в не меньшей степени, чем любому другому, и подавляющее большинство работников и при социализме будет не более, чем сейчас, склонно к тому, чтобы пожизненно гарантировать людям, получившим высокооплачиваемую работу только ввиду военной необходимости, их теперешнюю зарплату. В этой ситуации социалистическое общество, несомненно, прибегло бы к принуждению. Для нас здесь главное другое: если мы твердо решим любой ценой не допустить безработицы, не прибегая при этом к принуждению, обстоятельства сами заставят нас пустить в ход самые отчаянные уловки, которые не решат проблемы, но зато серьезно помешают наиболее продуктивному использованию имеющихся ресурсов. Следует особо подчеркнуть, что сама по себе кредитно-денежная политика будет не в состоянии решить эту проблему — разве только ценой всеобщей и значительной инфляции, достаточной для того, чтобы поднять все остальные заработки и цены до уровня тех, которые окажется невозможным понизить. Но даже и это приведет к желаемому результату только путем скрытого, «закулисного» понижения реальной заработной платы, которого нельзя было осуществить прямо и открыто. Однако поднять все остальные доходы и заработки до уровня рассматриваемой группы — значит привести к инфляционному росту находящейся в обращении денежной массы в таких масштабах, что вызванные им беспорядки, трудности и несправедливости будут гораздо серьезнее тех, которые мы пытаемся исправить.

Эта проблема, которая особенно остро встанет после войны, будет постоянно возникать до тех пор, пока экономическая система будет вынуждена приспосабливаться к непрерывным переменам. Всегда будет возможно достичь максимальной занятости на ближайшее время, заняв всех в тех областях, где они уже работают, путем увеличения денежной массы. Это, однако, проблемы не решает. Дело не только в том, что достигнутая подобным образом максимальная занятость сможет поддерживаться лишь с помощью непрерывного инфляционного роста находящейся в обращении массы денег — который, в свою очередь, замедляет процесс перераспределения рабочей силы между различными отраслями промышленности, являющийся реакцией на изменяющуюся конъюнктуру. Действительно, в нормальных условиях, когда трудящиеся сами выбирают себе работу, этот процесс всегда будет несколько запаздывать по отношению к изменениям конъюнктуры и, таким образом, порождать некоторый «полезный» уровень безработицы. Гораздо важнее другое: политика, постоянно нацеленная на поддержание максимального уровня занятости с помощью денежно-кредитных механизмов, в конечном счете всегда приводит к противоположному результату. Именно, она ведет к понижению производительности труда и, следовательно, к постоянному возрастанию процента занятого населения, который можно держать на заданном уровне заработной платы только искусственным путем.

* * *

Нет сомнения, что после войны мудрое управление экономикой будет иметь еще большее значение, чем прежде, и что судьба цивилизации зависит в конечном счете от того, как мы решим экономические проблемы, с которыми нам придется столкнуться. Сначала мы будем бедны, очень бедны — причем задача достичь прежнего уровня жизни, а потом и превзойти его, может оказаться для Великобритании труднее, чем для многих других стран. Если мы будем действовать разумно, то, упорно работая и всерьез взявшись за перестройку и обновление управленческого аппарата и организации промышленности, безусловно сможем по истечении нескольких лет вернуться к довоенному уровню и даже превзойти его. Но это предполагает, что мы будем довольствоваться потреблением лишь в тех пределах, в каких оно не мешает задаче восстановления, что не будет никаких чрезмерных ожиданий, порождающих неудержимые требования большего, и что для нас будет важнее использовать имеющиеся ресурсы наиболее разумным образом и на цели, где они дадут наибольший вклад в благосостояние нации, чем использовать все наличные ресурсы, но бессистемно²¹. Быть может,

²¹ Здесь стоит подчеркнуть, что, как бы нам ни хотелось быстро возвратиться к свободному рынку, это не означает, что все ограничения военного времени будут устранены в один присест. Ничто не могло бы в большей степени дискредитировать систему свободного предпринимательства больше, чем острые (пусть даже кратковременные) потрясения и неустойчивость, к которым привела бы такая попытка. Вопрос в том, к какой именно системе мы будем стремиться в процессе перехода на мирные рельсы, ибо не подлежит сомнению, что экономика военного времени должна преобразовываться в какую-то более постоянную структуру путем тщательно продуманного постепенного ослабления контроля, которое может растянуться на несколько лет.

еще важнее не допустить, чтобы недальновидные попытки излечить бедность перераспределением доходов вместо их увеличения превратили широкие классы общества в заклятых врагов существующего строя. Ни в коем случае нельзя забывать, что в Англии пока что отсутствует один из решающих факторов, сделавших возможным подъем тоталитаризма в континентальной Европе, а именно — наличие только что экспропрированного крупного среднего класса, который не желает смириться с тем, что он вдруг оказался лишенным своего материального статуса.

Наши надежды избежать грозящей опасности должны в значительной мере строиться на перспективе возобновления быстрого экономического роста, который, с какой бы низкой точки ни пришлось начинать, поведет нас вперед; но главное условие такого прогресса — готовность быстро приспособиться к резко изменившемуся миру. Никакому уважению к привычному уровню жизни тех или иных групп населения нельзя позволить встать на путь этого процесса приспособления; мы должны снова научиться вкладывать все ресурсы в те области, где они будут в наибольшей мере способствовать нашему общему обогащению. Для того чтобы достичь и превзойти свой прежний уровень жизни, мы должны, как никогда ранее, использовать все наши способности к адаптации, и только если каждый из нас готов будет покориться вытекающим из этого потребностям, мы сможем пройти через трудный переходный период как свободные люди, которые сами решают, как им жить. Можно согласиться с требованием, чтобы всем и каждому любой ценой был гарантирован определенный минимум средств к существованию — но давайте тогда согласимся также, что с установлением такого единого гарантированного минимума теряют силу любые требования особых экономических гарантий (то есть привилегий) для того или иного класса или социальной группы, как теряют силу любые предлоги, под прикрытием которых те или иные группы не допускают приходящих со стороны разделить их относительное преуспевание — только для того, чтобы сохранить в неприкосновенности свое собственное материальное положение.

Фраза «к черту экономику, нужно устроить мир так, чтобы в нем не было ни богатых, ни бедных, чтобы все жили в пристойных условиях» звучит на первый взгляд вполне благородно — на деле же она просто безответственна. Учитывая, что собой представляет наш мир, где каждый убежден, что материальные условия должны быть безотлагательно улучшены именно для того или иного социального слоя или группы, наш единственный шанс построить «пристойный мир» — это продолжать повышать общий уровень благосостояния. Единственное, чего не выдержит современная демократия — это необходимости существенного понижения жизненного уровня в мирное время или даже продолжительного периода отсутствия положительных сдвигов в экономических условиях.

* * *

Даже люди, признающие, что современные политические тенденции не только таят в себе серьезную угрозу нашим экономическим перспективам, но за счет их непосредственных экономических эффектов ставят под удар иные, высшие ценности — даже они склонны обманывать себя, считая, что мы идем на материальные жертвы ради нравственных идеалов. Однако весьма сомнительно, чтобы полувекое движение к коллективизму хоть как-то повысило наши моральные нормы — скорее наоборот, сдвиг произошел в противоположном направлении. Мы привыкли гордиться своей повышенной чувствительностью к «социальному злу», своей высокоразвитой общественной сознательностью, однако совершенно непохоже, чтобы это подтверждалось на практике нашим личным поведением. В смысле негативном, в смысле возмущения несправедливостями существующего строя, наше поколение, вероятно, превосходит всех своих предшественников. Однако какое влияние это оказывает на наши позитивные нормы в области собственно этики, на личное поведение и упорство, с которым мы защищаем моральные принципы перед лицом «соображений практической целесообразности» или «настоятельной необходимости» и вообще всяческих «привходящих обстоятельств», связанных с «законами функционирования» социального механизма — это вопрос совершенно другой.

Во всех этих вопросах ныне царит такая путаница, что необходимо вернуться к основным понятиям. Нашему поколению грозит опасность забыть не только тот факт, что этика — это по необходимости феномен личного поведения, но и то, что этика вообще может существовать лишь в той сфере, где человек волен решать сам за себя и ощущает потребность добровольно жертвовать личной выгодой ради соблюдения мо-

ральных норм. Вне сферы личной ответственности нет ни добра, ни зла, ни возможности проявить свои высокие моральные качества, ни шансов доказать силу своих убеждений, жертвуя собственными желаниями ради того, что считаешь правильным. Только когда мы сами несем ответственность за свои интересы и свободны принести их в жертву по собственной воле, наше решение имеет моральную ценность. Мы не имеем права быть альтруистами за чей-то счет; точно так же нет никакой заслуги в альтруизме, если у нас нет выбора. В обществе, где людей заставляют или обязывают делать добро, им нельзя вменить это в заслугу. Как сказал Мильтон: «Если бы всякий поступок, добрый или дурной, зрелого человека был предписан, и вынужден, и выжат из него, что была бы добродетель как не пустой звук, какой хвалы заслуживало бы добродетельное поведение, какой благодарности — умеренность и воздержание?»

Свобода самим устанавливать собственное поведение в сфере, где выбор навязывается материальными обстоятельствами, ответственность за устройство своей жизни в соответствии с велениями совести — вот единственный воздух, в котором может развиваться нравственное чувство, в котором моральные ценности ежедневно воссоздаются свободным волеизъявлением индивидуума. Ответственность не перед начальством, а перед собственной совестью, сознание долга, не предписанного сверху, необходимость решать, какими ценностями пожертвовать, и способность нести последствия своего решения — вот суть этики, заслуживающей этого наименования.

В сфере личного поведения влияние коллективизма было почти целиком разрушительным, и это не только неизбежно, но и неоспоримо. Движение, обещающее в первую очередь избавление от ответственности²², не может не быть антинравственным по своему воздействию, как бы ни была возвышенны породившие его идеи. Можно ли сомневаться в том, что чувство долга, ощущение потребности лично вмешаться и восстановить справедливость там, где это в нашей власти, не усилилось, а ослабело, что готовность нести ответственность и осознание выбора как индивидуального сознательного акта заметно пострадали? Существует бесконечная разница между требованием, чтобы желательное положение было создано властями, или даже согласием этим властям подчиниться (при условии, что все сделают то же самое) — и готовностью поступить так, как ты сам считаешь правильным, жертвуя собственными желаниями, а иногда и рискуя восстановить против себя общественное мнение. Многие говорят о том, что мы стали более снисходительны к конкретным злоупотреблениям и гораздо более равнодушны к конкретным примерам несправедливости с тех пор, как стали возлагать надежды на новый общественный строй, при котором государство само все устроит «так, как надо». Может быть даже, как кто-то уже заметил, страсть к совместной деятельности — лишь предлог для того, чтобы, не испытывая угрызений совести, сообща дать волю эгоизму, который мы научились хоть немного обуздывать в качестве индивидуумов.

То, что в наши дни меньше уважается и реже проявляется в повседневной жизни — независимость, самостоятельность, готовность идти на риск, способность защищать свои убеждения против большинства и согласие добровольно сотрудничать с ближним — это, в сущности, именно те достоинства, на которых стоит индивидуалистическое общество. Коллективизму их заменить нечем; поэтому, уничтожив их, он оставил пустоту, не заполненную ничем, кроме требований повиновения и попыток заставить индивидуума поступать так, как считает нужным коллектив. Периодические выборы представителей, к которым все в большей степени сводится моральный выбор индивидуума, не являются поводом проверить его моральные убеждения; от него не требуется ни излагать свою систему ценностей, ни доказывать искренность своей позиции, чем-то жертвуя ради того, что для него важнее.

Поскольку источником, из которого коллективная политическая деятельность черпает нравственные нормы, являются выработанные индивидуумами правила поведения, было бы просто удивительно, если бы ослабление норм личного поведения сопровождалось повышением морального уровня общественной деятельности. Что произо-

²² Это обещание все более и более открыто формулируется по мере приближения социализма к тоталитаризму. В Англии оно было наиболее недвусмысленно изложено в программе новейшего, в самого тоталитаристского, из всех видов английского социализма: движения «Общее дело», возглавляемого сэром Ричардом Акландом. Главная особенность проповедуемого им нового порядка состоит в том, что общество скажет индивидууму: «Тебе больше не надо беспокоиться о том, как заработать на жизнь». Вследствие этого, разумеется, «общество в целом должно решать, исходя из своих ресурсов, давать ли человеку работу, а также кем он будет работать, когда и каким образом». Обществу придется также «завести лагеря для уклоняющихся от отведенных им обязанностей — впрочем, с весьма терпимыми условиями».

шли крупные изменения — совершенно ясно. Каждое поколение, конечно, ставит какие-то ценности выше, чем его предшественники, а какие-то ниже. Каковы же, однако, цели, ставящиеся теперь ниже, каким ценностям (предупреждают нас) придется потесниться? Какого рода ценности в картине будущего, рисуемой популярными авторами и ораторами, фигурируют меньше, чем фигурировали в мечтах и надеждах наших отцов? Это, безусловно, не материальный комфорт, не повышение уровня жизни и не гарантия определенного положения в обществе. Разве осмелится хоть один популярный автор или оратор предложить массам пожертвовать материальными перспективами ради моральных идеалов? Разве не обстоит дело как раз наоборот? Разве не учат нас считать «иллюзиями прошлого века» все нравственные ценности: свободу и независимость, правду и интеллектуальную честность, мир и демократию, а главное — уважение к человеку как к человеку, а не как к члену организации? Что теперь для нас священно и чего не осмелится затронуть ни один реформатор, каковы эти непреложные вехи, которые необходимо учитывать в любых планах на будущее? Это не свобода личности, не свобода передвижения, и вряд ли — свобода слова. Это гарантируемый для той или иной группы материальный уровень, ее «право» не допускать других обеспечивать своих собратьев тем, в чем они нуждаются. Дискриминация тех, кто не входит в определенную замкнутую группу, не говоря уж о представителях других национальностей, все более и более воспринимается как нечто само собой разумеющееся: несправедливости, навлекаемые на отдельных людей правительственными действиями, направленными на защиту интересов группы, игнорируются с равнодушием, переходящим в бессердечие; грубейшие нарушения элементарных прав личности, — например, принудительное переселение жителей каких-то регионов или даже целых народов — все чаще поддерживаются даже так называемыми либералами. Все это, безусловно, показывает, что наше нравственное чувство не обострилось, а притупилось. Когда нам, как это все чаще случается, напоминают, что нельзя сделать яичницу, не разбив яиц, то разбитыми почти всегда оказываются принципы, одно-два поколения назад рассматривавшиеся как основы цивилизованного существования. И каких только зверств не прощали с готовностью многие так называемые либералы, если они совершались державами, официально декларирующими те же принципы, которые исповедовали наши моралисты!

* * *

В настоящее время особую пищу для размышлений дает один из аспектов принесенного коллективизмом сдвига в моральных ценностях. Дело в том, что все меньше уважения вызывают, и соответственно все реже встречаются, именно те качества, которыми британский народ справедливо гордился и, по общему признанию, выделялся. Достоинствами, которыми британцы обладали в большей степени, чем прочие (за исключением нескольких малых наций, таких, как голландцы и швейцарцы), были независимость и уверенность в своих силах, личная инициатива и ответственность за то, что происходит у тебя на глазах, успешная деятельность на добровольных началах, невмешательство в дела ближнего, терпимость к странным и не похожим на иных людям, уважение к обычаям и традициям и здоровое недоверие к силе и власти. Британская стойкость, британская сила духа и британские достижения являются в огромной мере результатом поощрения действий, совершаемых без принуждения, по внутренней потребности, и сознательного культивирования соответствующих качеств личности. Однако почти все традиции и институты, в которых британский дух нашел свое самое характерное выражение и которые, в свою очередь, сформировали национальный характер и всю моральную атмосферу Англии, неуклонно уничтожаются ростом коллективизма и присущими ему тенденциями к централизации.

Иностранное происхождение иногда помогает яснее видеть, чему страна обязана особым качеством своей моральной атмосферы. И да позволено будет человеку, который, что бы ни гласил закон, навсегда останется иностранцем, сказать, что нет ничего грустнее презрения, с которым относятся ныне в Англии к самому драгоценному из того, что она дала миру. Англичане сами не знают, насколько они отличаются от других наций тем, что все, независимо от партий, в той или иной степени разделяют идеи, в своей наиболее четкой и законченной формулировке известные под названием либерализма. По сравнению с другими нациями всего лишь двадцать лет назад все англичане были либералами — как бы ни отличались их взгляды от платформы либеральной партии. Даже и сегодня, если английский консерватор или социалист (а не только либерал) отправится за границу, то, вероятно, обнаружит, что идеи и творения Карлейля

и Дизраэли, Уэббов и Г. Уэллса крайне популярны в кругах, с которыми у него мало общего — среди нацистов и других тоталитаристов — однако если он найдет интеллектуальный островок, где живы традиции Маколея и Гладстона, Джона Милля и Джона Морли, то обретет родственные души, говорящие «на одном с ним языке» — как бы далеко сам он ни отошел от идеалов, символизируемых этими именами.

Утрата веры в специфические ценности британской цивилизации нигде не проявляется ярче, чем в никчемности и неумелости британской пропаганды, и нигде не оказывается более парализующего воздействия на усилия, направленные на достижение нашей нынешней исторической цели. Первой предпосылкой успеха пропаганды, рассчитанной на «заграницу», является гордость теми характерными ценностями и отличительными чертами, которыми данная страна известна. Главная причина безрезультатности британской пропаганды — в том, что люди, ею заправляющие, либо сами утратили веру в особые ценности английской цивилизации, либо совершенно не ведают, чем эта цивилизация отличается от всех остальных. Левая интеллигенция так долго поклонялась иностранным богам, что утратила способность видеть хоть что-нибудь хорошее в характерно английских традициях и институтах. Разумеется, социалисты не могут признать, что моральные ценности, которыми они гордятся, являются порождением институтов, которые они всеми силами стремятся уничтожить. К сожалению, подобная позиция характерна не только для тех, кто открыто называют себя социалистами. Следует надеяться, что это не относится к менее речистым, но более многочисленным образованным англичанам; но если судить по идеям, высказываемым в современных политических дискуссиях и в нынешней пропаганде, англичане, не только «говорящие на языке Шекспира», но и «придерживающиеся веры и нравственности, которых придерживался Мильтона», практически вымерли.

Считать, что пропаганда, основанная на подобном подходе, может оказать желаемое действие на наших врагов, особенно на немцев — роковое заблуждение. Немцы знают Англию, может быть, и не очень хорошо, но достаточно, чтобы понимать что собой представляют традиционные британские жизненные ценности и что на протяжении жизни нескольких поколений все больше разделяло обе страны. Если мы хотим убедить их не только в своей искренности, но и в том, что располагаем реальной альтернативой пути, по которому пошли они, то не добьемся этого уступками их системе мышления. Их не обманешь второсортным воспроизведением идей их отцов, которые мы у них заимствовали — будь то государственный социализм, «Realpolitik»²³, «научное» планирование или корпоративизм. Их не убедишь, следуя за ними (и зайдя уже довольно далеко) по пути, ведущему к тоталитаризму. Если сами англичане отказываются от высшего идеала свободы и счастья индивидуума, если они молчаливо признают, что их цивилизация не заслуживает сохранения и что они могут лишь следовать по тому пути, на который немцы вступили первыми, тогда им действительно нечего предложить взамен. Для немцев все это звучит как запоздалое признание, что британцы были не правы с самого начала и что именно они, немцы, возглавляют движение к новому, лучшему миру, как бы ужасен ни был переходный период. Немцы знают, что то, что для них по-прежнему является британскими традициями, и их собственные идеалы — два диаметрально противоположных и непримиримых взгляда на жизнь. Их, может быть, и можно было бы убедить в том, что избранный ими путь неверен, но ничто никогда их не убедит, что британцы будут лучшими проводниками по германской тропе.

Меньше всего пропаганда такого типа импонирует тем немцам, на чью помощь мы можем рассчитывать в деле воссоздания Европы, ибо их ценности ближе всего к нашим. Опыт сделал их мудрее и лишил иллюзий: они поняли, что ни добрые намерения, ни эффективность организации не помогут сохранить порядочность и обеспечить «пристойное существование» в условиях режима, уничтожающего личную свободу и личную ответственность. Больше всего на свете немцы и итальянцы, понявшие этот урок, хотят защиты от государства-чудовища; им нужны не грандиозные планы, а возможность мирно и свободно строить свой небольшой мир. Если мы можем надеяться на поддержку некоторых жителей стран-противниц, то не потому, что те предпочитают

²³ «Realpolitik» — «реалистическая политика»; политика, подчеркивающая необходимость компромисса и уступок. Термин был введен в 1853 году Л. фон Рохуа в одноименной книге, где он стремился напомнить идеологам либерализма (превратившегося в 1848—1849 годах, по мнению автора, в «царство чистых принципов») о необходимости приспособить их программы к политической реальности. В современной литературе этот термин обычно употребляется с целью подчеркнуть оппортунистическую сторону какой-либо политики, отказ от основополагающих принципов во имя сиюминутной выгоды. (Прим. ред.)

ют, чтобы ими командовали англичане, а не пруссаки, а потому, что они верят, что в мире, где победят английские идеалы, ими будут меньше командовать и дадут спокойно заниматься своим делом.

Чтобы добиться успеха в идеологической войне и склонить на свою сторону честных и порядочных людей из стран-противниц, нам нужно прежде всего снова обрести веру в традиционные ценности, защищавшиеся Англией в прошлом, и моральное мужество для стойкой защиты идеалов, на которые ополчаются наши враги. Не стыдливими извинениями, не обещаниями исправиться, не попытками найти компромисс между традиционными английскими ценностями и новыми тоталитаристскими идеями завоеуем мы доверие и поддержку. В счет идут не какие-нибудь последние нововведения или усовершенствования наших социальных институтов (это капля в море по сравнению с изначальной пропастью между двумя противоположными взглядами на жизнь), а наша нестигаемая вера в традиции, сделавшие Британию страной независимых и терпимых, свободных и благородных людей.

Глава 15

ПЕРСПЕКТИВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ МАСШТАБЕ

Из всех форм контроля демократии наиболее адекватной ей и наиболее действенной оказалась федерация... Федеративное устройство сдерживает и ограничивает верховную власть путем разделения ее и предоставления правительству лишь определенных, четко установленных прав. Это единственный способ держать в узде не только большинство, но и власть народа в целом.

Лорд Актон.

Ни в одной области отказ от принципов либерализма девятнадцатого века не обошелся миру так дорого, как в той, где началось это отступление,—в сфере международных отношений. Однако до сих пор понята лишь небольшая часть этого урока. А ведь в этой области больше чем в какой бы то ни было нынешние представления об осуществимом и желательном вполне могут породить прямую противоположность тому, что обещают.

Один из уроков недавнего прошлого, доходящий до нас медленно и с трудом, заключается в том, что многие виды экономического планирования, осуществляемого разными странами независимо друг от друга в национальном масштабе, в своем совокупном воздействии неизбежно оказываются вредны даже с чисто экономической точки зрения и, кроме того, приводят к серьезным международным трениям. Теперь уже не надо доказывать, что трудно надеяться на длительный мир и стабильный международный порядок, пока каждая страна может применять любые меры, которые сочтет необходимыми во имя своей собственной выгоды, как бы вредны они ни были для остальных. Действительно, многие виды экономического планирования осуществимы только при условии исключения всех посторонних влияний; поэтому результатом такого планирования неизбежно будет нагромождение всякого рода предписаний, ограничивающих свободу перемещения людей и товаров.

Менее очевидная, но не несколько не менее реальная опасность для мира, порождаемая планированием в национальных масштабах, связана с искусственно культивируемым экономическим единством всего населения страны, а также с возникновением новых блоков с взаимоисключающими интересами. Не только необязательно, но и нежелательно, чтобы границы между странами знаменовали собой резкие различия в уровне жизни и чтобы сам факт гражданства или проживания в той или иной стране давал право на участие в дележе определенной совокупности материальных благ, разительно отличающейся от аналогичной совокупности в других странах. Если ресурсы отдельных стран рассматриваются как исключительная собственность этих стран, если международные экономические отношения перестают быть отношениями между людьми и все больше превращаются в отношения между целыми странами, играющими в этом случае роль коммерческих организаций, то они неизбежно становятся источником зависти и разногласий между целыми народами. Многие думают, что можно ослабить международные трения, если заменить стихийную конкурентную борьбу за рынки сбыта или сырья прямыми переговорами между государствами или заинтересованными организо-

ванными группами. Это роковая иллюзия, ибо она означает, что на смену конкурентной «борьбе» (которую можно так назвать лишь метафорически) придет подлинный «закон джунглей», где сильные государства будут навязывать свою волю слабым. Это означает, что соперничество между отдельными людьми, исход которого ранее определялся без применения (или угрозы применения) силы, будет перенесено на мощные, вооруженные государства, не подчиняющиеся никаким стоящим над ними законам. Попытки разрешить спорные экономические вопросы между организациями, представляющими целые государства, каждая из которых является единственным судьей собственных поступков, не подчиняется никакому верховному закону и не связана никакими соображениями, кроме непосредственных интересов своей страны, неизбежно должны заканчиваться столкновениями «с позиции силы».

Если мы не придумаем ничего лучшего, чем использовать факт нашей военной победы для поощрения подобного рода тенденций, и без того уже слишком явных еще до начала этой войны, то может оказаться, что мы разгромили гитлеровский национал-социализм только для того, чтобы мир начал кишеть множеством «национальных социализмов», отличающихся друг от друга в деталях, но одинаково тоталитаристских, националистических и постоянно пребывающих в конфликте. Тогда немцы оказались бы возмутителями спокойствия только потому (а некоторые уже и сейчас так считают), что первыми вступили на тот путь, по которому в конце концов последовали и остальные.

* * *

Люди, хотя отчасти сознающие эту опасность, обычно приходят к выводу, что экономическое планирование должно осуществляться в «международных масштабах», то есть какими-то наднациональными органами власти. Может быть, это и предотвратило бы некоторые явные трудности, связанные с планированием в национальных масштабах, но проповедники подобных кардинальных решений не понимают, что их предложения порождают еще большие трудности и опасности. Дело в том, что сложности, вызываемые целенаправленным руководством экономикой в масштабах одной страны, неизбежно еще более возрастают при попытке осуществить то же самое в международных масштабах. По мере увеличения различий между нормами и ценностями, входящими в предполагаемую иерархию, определяемую единым планом, конфликт между планированием и свободой не может не становиться все острее. Нетрудно планировать экономику семьи; сравнительно нетрудно планировать экономику небольшой общины. Но по мере укрупнения масштабов уменьшается согласие относительно иерархии целей и растет необходимость применения силы, необходимость принудительных мер. В маленькой общине по множеству вопросов у людей вырабатываются единые взгляды, будь то проблема относительной важности главных задач или иерархия ценностей, но чем шире становится круг насущных проблем, тем меньше вероятность единодушия, а по мере ослабления общности взглядов растет необходимость прибегать к силе и принуждению.

Народ любой отдельной страны легко убедить пойти на жертвы ради того, чтобы помочь «своей» металлообрабатывающей промышленности или «своему» сельскому хозяйству, или для того, чтобы не дать уровню жизни в стране упасть ниже определенной точки. Пока речь идет о помощи людям, чей жизненный уклад нам знаком, которых нам легко себе вообразить и чьи представления о социальном статусе в основном сходны с нашими, мы обычно готовы чем-то пожертвовать, чтобы, например, улучшить их условия труда или добиться более справедливого распределения доходов. Но стоит лишь попытаться представить себе трудности, возникающие в связи с экономическим планированием даже в масштабах только лишь Западной Европы, как станет ясно, что моральная основа для такого начинания полностью отсутствует. Кто возьмется утверждать, что существуют общие для всех идеалы справедливого распределения, которые могут побудить норвежского рыбака отказаться от перспектив экономического роста ради помощи своему португальскому собрату, датского рабочего — покупать велосипед по более высокой цене, чтобы помочь механику из Ковентри, или французского крестьянина — платить больше налогов, чтобы содействовать индустриализации Италии?

Большинство не хочет видеть этих трудностей главным образом потому, что все, сознательно или бессознательно, считают само собой разумеющимся, что именно они будут решать эти вопросы за остальных, а уж в своей справедливости или беспристрастности никто не сомневается. Английский народ (может быть, в большей мере, чем другие) только тогда начинает понимать, что означают такого рода планы, когда оказывает-

ся, что англичанам, возможно, предстоит быть в плановых органах в меньшинстве и что пути будущего экономического развития Великобритании будут устанавливаться небританским большинством. Сколько англичан согласно подчиниться решениям международной организации, даже самой что ни на есть демократической, если эта организация постановит, что нужно развивать в первую очередь металлообрабатывающую промышленность Испании, а уже потом — Южного Уэльса, что оптическую промышленность лучше сосредоточить в Германии, исключить Великобританию вообще, или что в Великобритании будет ввозиться только готовый бензин, а все отрасли промышленности, связанные с нефтепереработкой, разместятся в странах-производителях.

Вообразить, что экономикой обширного региона, охватывающего различные страны и народы, можно управлять демократическим путем — значит проявлять полное непонимание трудностей, порождаемых подобным планированием. Планирование в международных масштабах еще в большей степени, чем в масштабах одной страны, может означать только одно: что небольшая группа голой силой навязывает остальным тот уровень жизни и те виды занятости, которые планирующие органы считают подходящими для этих остальных. Если что-то несомненно, то это следующее: крупномасштабное централизованное хозяйство, размещающееся на обширных территориях, то есть Grossraumwirtschaft того типа, к которому стремились немцы, может быть создано и управляться только расой господ, Herrenvolk'ом, то есть избранной нацией, безжалостно навязывающей свои цели и идеи всем остальным. Неверно считать проявленную немцами жестокость и полное пренебрежение к идеалам и стремлениям малых наций просто признаком их особой порочности: на деле это неизбежное следствие поставленной ими перед собой задачи. Взяться за руководство экономикой стран с совершенно различными ценностями и идеалами — значит возложить на себя обязанности, вынуждающие прибегать к силе, и оказаться в положении, когда самые лучшие намерения не убергут от действий, представляющихся тем, кого они затрагивают, в высшей степени аморальными²⁴.

Так обстоит дело, даже если допустить, что господствующая держава проявит идеализм и бескорыстие, какие только можно себе представить. Но как мала вероятность этого, и как велики соблазны! По моему мнению, в Англии уровень порядочности и беспристрастия, особенно в международных делах, не ниже, а может быть, и выше, чем где бы то ни было. Однако уже сейчас раздаются голоса, доказывающие, что победу надо использовать для создания условий, в которых британская промышленность сможет в полную силу использовать специальное оборудование, изготовленное ею во время войны, и что восстановлением Европы нужно руководить так, чтобы оно соответствовало специфическим требованиям английской промышленности и обеспечило каждого жителя Англии работой, которую он считает для себя наиболее подходящей. В этих идеях тревожит не то, что они высказываются, а то, что их высказывают без всякой задней мысли и считают само собой разумеющимися люди, совершенно не осознающие, к каким чудовищным нарушениям всех моральных принципов приведет использование силы в этих целях²⁵.

Пожалуй, больше всего укрепляет веру в возможность единого централизованного руководства демократическим путем экономикой множества различных стран роковое заблуждение, состоящее в том, что если отдать все решения в руки «народа», то общность интересов трудящихся классов быстро победит разногласия, царящие среди правящих классов. Есть все основания полагать, что при планировании в мировом масштабе конфликт экономических интересов, ныне возникающий вокруг экономической политики любой отдельной страны, проявится еще более остро — в виде противоречий между целями странами, и его можно будет разрешить только силой. По вопросам,

²⁴ Опыт Англии (как и любой другой страны) в области колониальной политики ясно показал, что даже «мягкие» виды планирования, известные под названием промышленного развития и освоения природных ресурсов колоний, хотим мы того или нет, влекут за собой навязывание тем, кому мы пытаемся помочь, определенных идеалов и ценностей...

²⁵ Тот, кто все еще не видит подобных трудностей или искренне верит, что их вполне можно преодолеть при минимальном наличии доброй воли, пусть попытается представить себе последствия централизованного руководства экономикой во всемирном масштабе. Можно ли сомневаться в том, что это означает более или менее сознательную попытку закрепить господство белого человека и с полным основанием будет именно так рассматриваться другими расами? Пока я не встречу человека, который, будучи в здравом уме и твердой памяти, всерьез верил бы, что европейские народы добровольно согласятся на то, чтобы их уровень жизни и темпы прогресса устанавливались неким мировым парламентом, я не смогу считать подобные планы ничем иным, как полным абсурдом.

которые придется решать международным планирующим органам, интересы и взгляды трудящихся классов различных наций неизбежно столкнутся точно так же, как интересы разных классов внутри одной страны, а общая исходная база для отыскания справедливого компромисса будет еще меньше. Для рабочего из бедной страны его более преуспевающий коллега, требующий введения закона о минимальной заработной плате (предположительно в интересах низкооплачиваемых работников, а фактически — чтобы предохранить себя от конкуренции с их стороны), зачастую представляет собой просто орудие, направленное на то, чтобы лишить его последнего шанса улучшить свои жизненные условия. В силу своего рождения в определенной стране он уже находится в невыгодном положении и может приблизиться к уровню жизни своих иностранных собратьев, только работая за более низкую плату, чем они. А тот факт, например, что ему приходится обменивать продукт своего десятичасового труда на продукт пятичасового труда жителя другой страны только потому, что тот обеспечен более производительным оборудованием — для него не меньшая «эксплуатация», чем та, которой занимается капиталист.

При системе международного планирования более богатые, а потому более сильные страны, несомненно, будут вызывать у беднейших стран гораздо большую зависть и ненависть, чем при свободной рыночной экономике. К тому же эти последние будут при этом убеждены (и не важно, соответствует это убеждение истине или нет), что сумели бы гораздо быстрее улучшить свое положение, если бы только были свободны делать то, что считают нужным. Поэтому, если обязанность осуществлять «справедливое распределение материальных благ» между различными нациями будет возложена на международный орган власти, то, как с логической неизбежностью следует из социалистического учения, классовая борьба внутри страны превратится в борьбу между трудящимися классами разных стран.

В настоящее время неоднократно приходится сталкиваться с довольно сумбурными концепциями «планирования, направленного на выравнивание различных жизненных уровней». Поучительно поближе рассмотреть один из таких проектов и понять, о чем идет речь. Особенно охотно наши приверженцы планирования разрабатывают такого рода схемы для бассейна Дуная и для Юго-Восточной Европы. Несомненно, улучшить экономические условия в этом районе настоятельно необходимо не только из гуманитарных и экономических соображений, но и в интересах будущего мира в Европе; несомненно и то, что это достижимо только в иной, чем в прошлом, политической обстановке. Но это не то же самое, что подчинить всю экономику этого района единому плану, поощрять развитие тех или иных отраслей промышленности согласно заранее составленному расписанию и тем самым поставить успех местной инициативы в зависимость от одобрения центральных властей. Например, нельзя создать нечто вроде «Управления по развитию долины реки Теннесси» для бассейна Дуная, не установив тем самым на много лет вперед относительные темпы прогресса различных народов, населяющих этот регион, и не подчинив все их индивидуальные устремления и чаяния этой задаче.

Такого рода планирование неизбежно начнется с установления шкалы приоритетов для различных нужд. Для того, чтобы осуществлять «выравнивание жизненного уровня» в соответствии с неким заранее разработанным планом, прежде всего необходимо распределить требования и претензии со стороны различных групп по степени их важности, исходя из «суждения по существу дела» в каждом конкретном случае. При этом одни из них будут объявлены первоочередными, а другие — отодвинуты в более отдаленное будущее, даже если те, кто их выдвигал, будут абсолютно убеждены не только в том, что у них больше оснований и прав на первенство, но и в том, что они смогли бы сами достичь своей цели гораздо быстрее, если бы только им была предоставлена свобода действий. Не существует никаких исходных принципов, на основе которых можно было бы решить, что важнее: потребности бедного румынского крестьянина или еще более бедного албанского, словацкого чабана или его словенского собрата. Однако, если повышение уровня жизни должно проводиться в соответствии с единым планом, кто-то будет вынужден сознательно взвешивать «целесообразность» каждой такой потребности и решать, какая из них будет удовлетворена в первую очередь, а какая — нет. Но как только план принимается к исполнению, ему на службу должны быть поставлены все ресурсы данного региона. Не может быть никаких послаблений для тех, кто считает, что они могли бы обрести для достижения своих целей собственными силами; если их «заявка» попала в низшую категорию, им придется в первую очередь

работать для удовлетворения нужд тех, кому было отдано предпочтение. При таком состоянии дел *каждый* будет с полным основанием считать, что его материальное положение хуже, чем если бы был принят какой-нибудь другой план, и что всему виной решение всемогущих властей, обрекающее его на худшее существование, чем то, которого он, по его мнению, заслуживает. Пытаться осуществить такое начинание в районе, населенном малыми нациями, каждая из которых равным образом свято убеждена в своем превосходстве над остальными — значит взять на себя задачу, выполняемую только с помощью применения силы. На практике это сведется к тому, что британские власти должны будут решать, чей уровень жизни повышать быстрее: македонского крестьянина или болгарского; кто быстрее приблизится к западным стандартам: чешский шахтер или венгерский. Не нужно быть глубоким знатоком человеческой природы — достаточно лишь немного знать историю и психологию народов Центральной Европы, чтобы понять, что какие бы решения ни были приняты, многим (вероятно, большинству) они покажутся вопиюще несправедливыми и что эти народы вскоре объединятся в общей ненависти к державе, которая, пусть даже из самых бескорыстных побуждений, фактически решает их судьбу.

Безусловно, многие искренне убеждены, что если бы им доверили эту задачу, они сумели бы уладить все трудности справедливо и беспристрастно, и эти люди искренне изумились бы, обнаружив направленные в свой адрес подозрения и ненависть. Однако если благодетельствуемые будут упорствовать в неподчинении благодетелям, те же самые люди, скорее всего, первыми применят силу и станут безжалостно насиловать волю людей, в их же предполагаемых интересах. Эти опасные идеалисты не понимают одного: когда принятие моральной ответственности связано с насильственным навязыванием какому-то обществу собственной системы моральных ценностей в ущерб той, которая там уже существует, то принимающий на себя эту ответственность может оказаться в такой ситуации, когда действовать в соответствии с какими-то нравственными критериями станет попросту невозможно. Навязать странам-победительницам столь непосильное моральное бремя — это вернейший способ полностью подорвать их репутацию и морально дискредитировать.

Не подлежит сомнению, что мы должны всеми силами помогать более бедным народам в их усилиях наладить свою жизнь и повысить свой жизненный уровень. Некий международный орган сумеет сохранить справедливость и внести неоценимый вклад в экономическое процветание, если он будет просто поддерживать порядок и создавать условия, позволяющие людям самим улучшать свою жизнь. Однако в условиях, когда центральные органы власти раздают сырьевые подачки и распределяют рынки сбыта, когда любая спонтанная инициатива нуждается в «одобрении» властей и без их санкции ничего не делается — невозможно ни быть справедливым, ни предоставлять людям право самим распоряжаться своей судьбой.

* * *

После всего сказанного в предыдущих главах нет необходимости подчеркивать, что эти трудности нельзя разрешить, наделив различные международные органы власти «чисто экономическими» полномочиями. Вера в осуществимость такого варианта на практике покоится на ложном представлении о планировании как о чисто технической задаче, которую могут строго объективно решать специалисты, тогда как жизненно важные сферы останутся в руках политических властей. Любая международная экономическая организация, не подчиняющаяся высшей политической власти, легко может превратиться в самую деспотическую и безответственную власть, какую только можно себе представить. Исключительный контроль предложения какого-то товара или услуги первой необходимости (например, воздушного транспорта) — на деле широчайшая власть, какой только можно облечь любой орган. А поскольку к тому же практически все что угодно можно оправдать «технической необходимостью», чего не сможет сопоставить ни один непосвященный, — или даже гуманитарными (и, возможно, вполне искренними) соображениями о необходимости помочь какой-нибудь особенно обделенной группе — то регулировать эту власть почти невозможно. Проект объединения мировых ресурсов под началом более или менее автономных органов власти, который теперь столь часто встречается с теплым приемом в самых неожиданных кругах, то есть система всеохватывающих монополий, признаваемая правительствами всех стран, но ни одному из них не подчиняющаяся, неизбежно превратится в самую зловецкую мафию, занимающуюся организованным шантажом — даже если люди, поставленные во главе

ее, окажутся неусыпными блюстителями доверенных им конкретных интересов.

Достаточно всерьез задуматься о реальных последствиях невинных, на первый взгляд, проектов, имеющих широкое хождение в качестве основы будущего экономического порядка (таких как целенаправленный контроль и распределение главных видов сырья), как станет ясно, что это приведет к политическим трудностям и породит опасности чисто морального порядка. Человек, контролирующий поставки любого такого сырья (нефти и леса, каучука и олова) будет хозяином судьбы целых стран и отраслей промышленности. Решая, следует ли допустить, чтобы приток какого-то вида сырья на рынок увеличился (и, следовательно, чтобы цены и доходы его производителей упали), он будет тем самым решать, позволить или не позволить той или иной стране создать новую отрасль промышленности. «Заботясь» о сохранении жизненного уровня тех, кто, как он считает, предоставлены его специальному попечению, он лишает многих других, находящихся в гораздо худшем положении, единственного шанса это положение улучшить. Если все основные виды сырья будут контролироваться таким образом, то не сможет возникнуть ни одна новая отрасль промышленности, народ ни одной страны не будет иметь возможности предпринять какую-то новую инициативу без разрешения органов контроля, и ни один план развития промышленности или улучшения жизненных условий не будет застрахован от их вето. Это относится и к системе международных соглашений, направленных на раздел рынков сбыта, и в еще большей степени — к контролю капиталовложений и разработки природных ресурсов.

Любопытно, что люди, изображающие из себя самых что ни на есть закоренелых прагматиков и реалистов и не упускающие случая высмеять «утопизм» тех, кто верит в возможность стабильного международного политического порядка, считают в то же время возможным и вполне осуществимым гораздо более глубокое и безответственное вмешательство в жизнь различных народов, связанное с экономическим планированием. Они полагают, что если некоему международному правительству (которое, по их мнению, не способно даже обеспечить соблюдение всеми странами норм международного права) предоставить не выданную прежде власть, то эта, гораздо большая, власть будет использована столь альтруистическим и, вне всякого сомнения, столь справедливым образом, что все ей охотно подчинятся. Очевидно одно: может быть, страны и соблюдали бы формальные правила, о которых была достигнута договоренность — но они никогда не подчинятся руководству, необходимому для экономического планирования; они могут договориться о правилах игры, но никогда не согласятся на порядок, при котором очередность рассмотрения их нужд будет утверждаться большинством голосов. Даже если сначала, под действием иллюзий относительно смысла такого рода проектов, они и согласятся облечь международную организацию такой властью, то вскоре обнаружат, что не просто возложили на нее техническую задачу, но доверили ей власть над всей своей жизнью.

На деле, конечно, наши «реалисты» не так уж непрактичны и выступают в поддержку такого рода проектов не без задней мысли. Они рассчитывают на то, что великие державы, не подчиняющиеся никакой верховной власти, смогут использовать «международные» органы власти для навязывания своей воли малым странам, находящимся в сфере их гегемонии. В этом действительно есть «реализм»: закамуфлировав плановые организации под «международные», вероятно, легче будет добиться единственной ситуации, при которой международное планирование осуществимо, — ситуации, когда оно на практике осуществляется единовластно господствующей державой. Однако камуфляж не меняет того факта, что для всех малых стран это будет означать гораздо более полное подчинение внешней власти, которой невозможно оказать никакого реального сопротивления, чем отказ от четкой и определенной доли политического суверенитета.

Показательно, что страстные защитники централизованного экономического «нового порядка» в Европе, как и их фабианские и немецкие предшественники, совершенно игнорируют индивидуальность и права малых стран. Взгляды профессора Карра, который в этой области даже еще больше, чем во внутренней политике, является выразителем английской тенденции к тоталитаризму, уже побудили одного из его коллег задать вопрос по существу: «Если нацистский подход к малым суверенным государствам действительно станет общепринятым, то за что мы водем?» Те, кто видел, какую тревогу и беспокойство вызвали у союзных с нами малых стран недавние высказывания на этот счет в столь разных газетах, как «Таймс» и «Нью стейтсмен», знают, какое возмуще-

ние такая позиция уже сейчас вызывает у наших ближайших друзей и как легко будет разбазарить весь капитал доброй воли, накопившийся за войну, если мы последуем такого рода советам.

* * *

Те, кто с такой легкостью готов игнорировать права малых стран, разумеется, правы в одном: мы не можем надеяться ни на длительный мир, ни на стабильный международный порядок в послевоенном мире, если государства — неважно, большие или малые — вновь обретут ничем не ограниченный суверенитет в экономической сфере. Но это не значит, что нужно облечь новое сверхгосударство властью, которую мы не научились разумно использовать даже в масштабах одной страны; это не значит, что международным органам власти надо предоставить возможность указывать отдельным странам, как им использовать свои ресурсы. Это означает лишь, что нужна власть, которая может воспрепятствовать таким действиям различных стран, которые могут нанести вред другим — то есть свод правил, определяющих, что позволено делать какому-то государству, а также некий орган власти, способный обеспечить соблюдение этих правил. Власть, которой обладала бы такая организация, носила бы главным образом запретительный, а не предписывающий, характер: в первую очередь она должна иметь возможность сказать «нет» всякого рода рестрикционным мерам.

Совершенно неверно думать, как это теперь принято, что нам нужна международная экономическая власть при сохранении государствами неограниченного политического суверенитета. На деле все обстоит как раз наоборот. То, в чем мы нуждаемся и чего можем надеяться достичь — это не громадная власть в руках никому не подотчетных международных экономических организаций, но, напротив, верховная политическая власть, которая может сдерживать игру экономических интересов и в случае конфликта между ними выступать в роли третьей стороны — что возможно только в том случае, если сама она в этой игре не участвует. Существует потребность в международном политическом органе власти, который, не обладая полномочиями указывать людям, как им жить, мог бы помешать им предпринимать действия, идущие во вред другим. Полномочия такого международного органа власти — это не полномочия нового типа, взятые на себя государствами лишь сравнительно в недавнее время, но тот минимум полномочий, без которого невозможно сохранить мирные отношения между странами, то есть по сути дела полномочия ультралиберального государства типа *laissez-faire*. При этом абсолютно необходимо, чтобы полномочия этого международного органа власти строго ограничивались принципом правозаконности в международных отношениях (это даже более важно, чем соблюдение правозаконности в масштабах одной страны). Фактически необходимость в таком наднациональном органе власти возрастает по мере того, как отдельные государства все более становятся самостоятельными экономическими единицами — образно выражаясь, перестают довольствоваться контролем или надзором за событиями на экономическом слене, а начинают сами играть на ней активную роль. Действительно, в таких условиях возможные конфликты будут возникать уже не между отдельными людьми, а между государствами как таковыми.

Форма международного правления, при которой некоторые четко определенные полномочия передаются международному органу власти, тогда как во всех прочих отношениях страны по-прежнему сами распоряжаются своими внутренними делами — это, конечно, федерация. Нельзя позволить многочисленным необдуманным и часто крайне глупым требованиям, высказывавшимся в связи с идеей всемирной конфедерации в разгар пропаганды «Федеративного Союза», затмить тот факт, что федеративный принцип — единственная форма объединения народов, которая может создать стабильную систему международных отношений, не посягая при этом на законное стремление этих народов к независимости. Федерализм есть, разумеется, не что иное, как применение к международным делам демократии, этого единственного изобретенного человеком способа осуществлять перемены мирным путем. Но это демократия с четко ограниченными полномочиями. За исключением неосуществимого идеала слияния разных стран в единое централизованное государство (желательность чего далеко не очевидна), это единственный путь к превращению международного права из идеала в реальность. Не будем себя обманывать: называя в прошлом международные нормы поведения международным правом, мы всего лишь выражали желание такое право иметь. Когда мы хотим помешать людям убивать друг друга, мы не довольствуемся декларациями о нежелательности убийств, мы даем определенным органам власти полномочия для их предотвращения. Точно так же не может существовать международного права без вла-

сти, полномочной претворять его в жизнь. Препятствием к созданию таких международных органов власти в большой мере служило представление, согласно которому такие органы должны располагать всей той практически неограниченной властью, которой располагает современное государство. Но при характерном для федеративной системы разделении полномочий это вовсе не обязательно.

Такое разделение полномочий неизбежно будет ограничивать как власть конфедерации в целом, так и власть одного отдельно взятого государства. Более того, многие модные сейчас виды планирования при этом, вероятно, окажутся просто невозможными. Но это никоим образом не послужит препятствием для всякого планирования. Наоборот, одно из главных преимуществ федеративной системы состоит в том, что ее можно организовать так, чтобы затруднить вредоносное планирование, оставляя при этом зеленую улицу для желательного планирования. Федеративная система препятствует (или, по крайней мере, может быть устроена так, чтобы препятствовать) большинству видов рестрикционизма. Кроме того, она ограничивает международное планирование областями, в которых можно достичь подлинной договоренности — не только между непосредственно заинтересованными группировками, но и между всеми, кого это затрагивает. Желательным видам планирования, осуществимым в местных условиях и без необходимости прибегать к рестрикционным мерам, дается полная свобода; при этом планирование остается в руках людей и органов, наиболее пригодных для его осуществления. Можно даже надеяться, что внутри конфедерации, где перестанут существовать прежние предпосылки для непрерывного усиления мощи отдельных государств, возникнет возможность повернуть вспять шедший в прошлом процесс централизации и вернуть некоторые полномочия государства местным органам власти.

Стоит вспомнить, что мечта о том, что наша планета наконец обретет мир благодаря слиянию отдельных государств в крупные федеративные союзы, а в конечном счете, быть может, и в единую мировую федерацию, не нова: она была идеалом почти всех либеральных мыслителей девятнадцатого века. Начиная с Теннисона (чье часто цитируемое видение «воздушной битвы» сменяется видением конфедерации народов, которая последует за их последним великим сражением) и до самого конца девятнадцатого века не умирала надежда на создание федерации как на следующий громадный шаг в развитии цивилизации. Возможно, либералы девятнадцатого века не вполне ясно осознавали, насколько кардинальным и основополагающим дополнением к их принципам являлась идея конфедерации различных государств, но мало кто из них не выражал своей веры в нее как в конечную цель²⁶. Только с приходом двадцатого века, с торжеством Realpolitik, эти надежды стали вновь считаться утопическими и неосуществимыми.

* * *

Не следует стремиться восстанавливать цивилизацию в крупных масштабах. Не случайно в жизни малых народов больше красоты и душевности и не случайно гражданам крупных держав тем более счастливы и довольны, чем в большей степени данной стране удалось избежать мертвящей атмосферы централизации. И уж во всяком случае нам не удастся ни сохранить демократию, ни способствовать ее развитию, если вся власть, все важнейшие решения окажутся в руках организации, слишком громадной для того, чтобы ее мог охватить во всей полноте и понять простой, средний человек. Демократия никогда и нигде не функционировала успешно без широкого местного самоуправления, являющегося политической школой не только для будущих лидеров, но и для широких масс. Только там, где можно научиться ответственности на практике, в вопросах, знакомых большинству людей, там, где в своей деятельности человек руководствуется пониманием соседа, а не теоретическим знанием человеческих нужд — только там рядовой человек может принимать реальное участие в общественных делах, ибо они касаются мира, который ему знаком. Когда масштаб политических мероприятий становится настолько широким, что всеми необходимыми для их понимания знаниями начинает обладать почти исключительно бюрократия, творческие импульсы отдельного человека неизбежно ослабевают. По моему мнению, в этом отношении даже самым удачливым из крупных стран — например, Великобритании — есть чему поучиться у ма-

²⁶ Уже в конце девятнадцатого века Генри Сиджвик считал «не выходящим за пределы трезвых прогнозов предположение, что в будущем в западноевропейских странах может иметь место какая-то форма интеграции; а если это произойдет, представляется вероятным, что они последуют примеру Америки и новая политическая совокупность будет сформирована на базе федерального образа правления».

лых стран, таких как Голландия и Швейцария. Мы все окажемся в выигрыше, если нам удастся создать мир, в котором будет удобно жить небольшим странам.

Однако малые страны могут сохранить независимость в сфере как международных, так и внутренних дел только в рамках подлинной правовой системы, гарантирующей, во-первых, что определенные правила будут неизменно претворяться в жизнь, а во-вторых, что органы, обладающие властью следить за соблюдением этих правил, не будут иметь возможности употребить эту власть в каких бы то ни было иных целях. Хотя задача провадения в жизнь норм общего права требует, чтобы наднациональные органы располагали весьма значительной властью, тем не менее их структура и устав должны быть таковы, чтобы препятствовать превращению как национальных, так и международных органов власти в деспотические. Мы никогда не сможем предотвратить злоупотреблений властью, если не согласимся ограничить эту власть, даже если это в отдельных случаях помешает применить ее в желательных целях. С окончанием войны перед нами открывается историческая возможность: великие державы-победительницы, первыми подчинившись системе норм, которые они обладают властью претворить в жизнь, тем самым смогут обрести моральное право обязать подчиняться этим нормам и всех остальных.

Международный орган власти, эффективно ограничивающий власть государства над индивидуумом, будет одной из лучших гарантий мира. Принцип правозаконности в международных отношениях должен стать гарантией не только против тирании государства над отдельными людьми, но и против тирании нового сверхгосударства над отдельными странами. Не всемогущее сверхгосударство и не формальная, ни к чему не обязывающая ассоциация «свободных стран», но содружество стран, населенных свободными людьми, — вот что должно быть нашей целью. Мы долго оправдывали себя тем, что в международных делах невозможно вести себя так, как, по нашему мнению, было бы желательно, ибо другие не захотят играть по правилам. Приближающееся политическое урегулирование даст нам возможность доказать свою искренность и готовность пойти на те ограничения свободы действий, какие мы считаем необходимыми в общих интересах наложить на других.

При разумном использовании федеративный принцип организации может оказаться наилучшим путем решения некоторых труднейших мировых проблем. Но его применение — задача чрезвычайно сложная, и мы вряд ли добьемся успеха, если в своем стремлении к возвышенным, но неосуществимым целям попытаемся добиться от федеративной системы большего, чем она может дать. Скорее всего появится сильная тенденция превратить любую новую международную организацию во всемирную и всеобъемлющую; и какая-то организация такого рода, какая-нибудь новая Лига Наций, действительно крайне необходима. Опасность, однако, заключается в том, что если в своих попытках положиться исключительно на эту всемирную организацию мы возложим на нее все функции, которые желательно отдать в руки международных организаций, то эти функции не будут должным образом выполняться. Я всегда был убежден в том, что именно такие чрезмерные амбиции были источником слабости Лиги Наций, что ее силы были подорваны безуспешными попытками превратить эту организацию во всемирную. Быть может, не столь широкая, но в то же время более сильная Лига могла бы оказаться лучшим орудием сохранения мира. По моему мнению, эти соображения верны и сегодня: достичь во всемирном масштабе столь тесного сотрудничества, которое достижимо, скажем, между Британской империей и странами Западной Европы, а также, вероятно, Соединенными Штатами, невозможно. Сравнительно тесная ассоциация, какой является Федеративный Союз, вначале будет осуществима только в пределах части Западной Европы, хотя не исключено, что постепенно ее удастся расширить.

Правда, с образованием таких региональных федераций возможность войны между разными блоками не исчезает, и чтобы в максимальной степени снизить риск такой войны, необходимо стремиться к созданию более широкой и менее интегрированной организации. Но мне хотелось бы подчеркнуть, что потребность в такой организации не должна становиться препятствием к более тесному объединению стран, близких по своей цивилизации, мировоззрению и морально-этическим нормам. Разумеется, мы должны стремиться всеми возможными способами предотвратить будущие войны, но неверно считать, что можно одним махом создать постоянно действующую организацию, которая сделает войну в каком бы то ни было районе мира совершенно невозможной. Такая попытка не только не удастся, но помешает нам достичь успеха в более

ограниченной сфере. Как и во всем, что касается иных величайших зол, меры, которыми войну можно в будущем начисто исключить, вполне могут оказаться даже еще хуже, чем сама война. Все, чего мы можем реально надеяться достичь, это снизить риск возникновения трений, могущих привести к войне.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В задачу этой книги не входила подробная разработка программы желательного будущего общественного устройства. Если в отношении международных дел мы позволили себе немного выйти за пределы своей в первую очередь критической задачи, то только потому, что в этой области мы вскоре можем оказаться перед необходимостью разработать какую-то структуру, в рамках которой будет идти дальнейшее развитие — возможно, в течение многих лет. От того, как мы используем открывающиеся перед нами возможности, зависит очень многое. Но что бы мы ни сделали, это будет лишь началом нового процесса, долгого и трудного, в ходе которого, как все надеются, постепенно будет создаваться мир, весьма отличающийся от того, каким мы его знали на протяжении последней четверти столетия. На нынешней стадии вряд ли может пригодиться подробный план внутреннего устройства общества — да и вряд ли кто-нибудь достаточно компетентен для разработки такого плана. Сейчас важно прийти к соглашению относительно определенных принципов и освободиться от ошибочных взглядов, которыми направлялись наши действия в недавнем прошлом. Как это ни горько, но нужно признать, что уже к началу войны мы вновь достигли стадии, на которой важнее расчистить препятствия, нагроможденные на нашем пути человеческим безрассудством, и дать выход творческой энергии человека, чем разрабатывать новые принципы «руководства» и «управления» людьми — то есть создать условия, благоприятствующие прогрессу, а не «планировать» прогресс. Сейчас наша первейшая необходимость — избавиться от худшей формы современного обскурантизма: уверенности, что все, совершенное нами в недавнем прошлом, было либо разумно, либо неизбежно. Мы не поумнеем, прежде чем не поймем, что многое из нами сделанного было очень глупо.

Чтобы построить лучший мир, у нас должно хватить мужества начать все сначала — даже если это означает в какой-то степени *rescuee pour mieux sauter*²⁷. И мужество это выказывают не те, кто верит в неизбежные тенденции, не те, кто проповедует «новый порядок», являющийся продолжением тенденций последних сорока лет, не те, кто не может придумать ничего лучшего, чем имитировать то, что пытался сделать Гитлер. Наоборот, именно они, громче всех призывающие к «новому порядку», всецело находятся под властью идей, породивших и нынешнюю войну, и большинство зол, от которых мы страдаем. Молодежь права, когда не очень верит в идеи, которыми руководствуется большинство старшего поколения. Но она ошибается, считая, что это все те же либеральные идеи девятнадцатого века, которых молодое поколение, в сущности, почти не знает. Разумеется, мы не можем считать своей целью (да это и не в нашей власти) возврат к действительности девятнадцатого века; но у нас есть возможность осуществить его идеалы — а они были прекрасны. В этом отношении мы не имеем права ощущать свое превосходство перед нашими дедами; нельзя забывать, что не они, а именно мы, люди двадцатого столетия, все испортили. Если они еще не знали, что нужно для построения такого мира, к какому они стремились, то опыт, приобретенный нами с тех пор, должен был бы лучше подготовить нас для этой задачи. Если первая попытка создать мир свободных людей не удалась, нужно предпринять вторую. Руководящий принцип, согласно которому единственная подлинно прогрессивная политика — это политика, направленная на достижение свободы личности, сегодня так же верен, как и в девятнадцатом веке.

Перевела с английского Н. СТАВИСКАЯ.

²⁷ Отступить, чтобы дальше (буквально — лучше) прыгнуть (*французская поговорка*).

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

БОРИС ТАРАСОВ

*

ВЕЧНОЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

«Бесы» и современность

I

Трудно переоценить тот благотворный сдвиг, который происходит сейчас в деле воскрешения целых исторических периодов, «провалившихся» в сознании нескольких поколений. Множащиеся факты и документы рисуют сложную картину, в кровавой реальности которой наиболее верные последователи коммунистической идеи оказываются врагами народа, палачи становятся жертвами, люди уголовного склада управляют государством и вершат судьбами миллионов. Однако уровень осмысления подобных «парадоксов» намного ниже существа возникающих вопросов. Большинство истолкований, как правило, упирается в злую волю или ошибки одного человека или группы людей, в непредвиденные обстоятельства, в неверный выбор возможных исторических альтернатив, что может объяснить лишь какой-то поверхностный слой событий и уводит от разговора о главных закономерностях, о настоящих корнях и подлинной генеалогии разрушительных явлений.

В одной из недавних статей подчеркивается, что «стремление объяснить трагедию нашей истории преимущественно свойствами Сталина, а политические процессы — кровавостью вождя воспринимается уже как попытка, свалив ужасы террора на Сталина, уйти от критики и анализа породившей его системы... Почему многие духовно одаренные люди предвидели наступление кровавого террора и диктатуры еще в самом начале двадцатых? Почему, скажем, Волошина, чьи стихи этого периода недавно опубликованы, страшила «замыслы неистовых хирургов и размах заплечных мастеров», почему он предрекал в 1921-м: «Всем нам стоять на последней черте, всем нам валяться на вшивой подстилке, всем быть распластанным с пулей в затылке и со штыком в животе»? Почему В. Короленко в 1920 году страстно предостерегал, что непродуманный «схематический эксперимент» обернется «введением коммунизма в казарму», что навязывание силой новых форм жизни при подавлении свободы поставит страну «у порога таких бедствий, перед которыми померкнет все то, что мы испытываем теперь»... Как объяснить, что неизбежность террора предвидело столько светлых умов... Нашему обществу не обойтись без таких вопросов, если мы хотим двигаться, а не впасть снова в период долгой спячки...». Действительно не обойтись, ибо в противном случае дело может не ограничиться одной лишь «спячкой», а обернуться новой полосой неподвиженных катаклизмов. Поэтому важно искать на подобные вопросы реальные ответы, основательно очистить всю почву, дающую губительные всходы. И здесь надо сказать о том, что «светлые умы» и «духовно одаренные люди» из числа русских писателей и мыслителей еще гораздо раньше, в минувшем столетии и самом начале нынешнего, прозревали общий ход и конкретные результаты грядущих «схематических экспериментов». Среди них, конечно же, уникальное место по мощной силе пророческой мысли занимает Достоевский.

Иногда приходится слышать, будто пророчества писателя весьма относительны, что ему, дескать, и присниться не могли газовые камеры, концентрационные лагеря, массовые истребления людей и иные ужасы тоталитарных режимов. Да в том-то и дело, что «снились». В черновых рукописях «Подростка» есть такой план «фантастической поэмы-романа: будущее общество, коммуна, восстание в Париже, победа, 200 миллионов голов, страшные язвы, разврат, истребление искусств, библиотек, замученный ребенок. Споры, беззаконие. Смерть». В любом случае, важнее не цифры и формы (хотя и они, как видим, указывались), а сам принцип закономерного перерастания утопии в

геноцид, сокровенной метаморфозы гуманистических идей, таинственного перерождения любви к человечеству в ненависть к нему. Философская, публицистическая и художественная логика Достоевского остается до сих пор незаменимой проверкой для всяких, казалось бы, добрых идей, которые через неожиданные преобразования могут принести непредвиденное зло.

Нельзя не относиться, например, с глубоким почтением к постоянным обращениям известных алармистов, громко напоминающих о неотвратимом сползании современного мира в бездну экологических катаклизмов и ядерного апокалипсиса и настойчиво призывающих всех людей наконец-то облагоразумиться, остановиться в безудержной гонке вооружений и самоубийственным загрязнении окружающей среды, соединить усилия народов в деле упрочения незыблемого мира.

Один из таких уважаемых борцов за сохранение жизни на земле, кстати, особо почитающий автора «Бесов», несколько лет назад пронизательно подчеркивал пророческую вездесущность его «фантастического реализма»: «Литература, которая обозначается словом «Достоевский», все время впереди дожидается: вышли куда-то, пришли, а он уже здесь, Достоевский. Все время обнаруживаем, что он уже рассказал об этом...» Вовстину так. Исходя из проникновенного исследования природы человека, тайно питающей плоды его истории, писатель, подобно гениальному шахматисту, далеко просчитывал ходы развития разных идей и общественных процессов. Уж не считаете ли вы, как бы спрашивает он добрых защитников земного шара, что «новое мышление» можно по мановению волшебной палочки достать из кармана или учредить каким-либо декретом? И с чего вы вообще вообразили, задает он вопрос устами одного из своих героев, что человеку непременно надо благоразумно выгодного хотения? Ему нужно самостоятельного хотения, которое может вылиться, например, в желание сладострастно покуражиться на краю гибельной бездны или в стремление утвердить как единственно верный свой вариант спасения человечества, что непременно вызовет зависть, раздоры, соперничество за лучшее понимание и монопольное возглавление «общего дела» и ускорит в конечном итоге падение в пропасть.

Если же перенести внимание на сферу товарно-денежных отношений и свободного рынка, который сейчас видится многим панацеей от всех бед, и прежде всего прямым путем к материальному благополучию, то и здесь приходится отвечать на опережающие вопросы Достоевского, во всяком случае учитывать их. «Богатство, — отмечал он в записной книжке, — усиление личности, механическое и духовное удовлетворение, стало быть отъединение личности от целого». По наблюдению писателя, господство абстрактного денежно-торгашеского абсолюта ведет к возвышению ловких, умных (хитрых), смекалистых деловых людей, чья активность вместе с развитием материально-технического прогресса несет с собою коренные смещения в иерархии ценностей. Деньги, как известно, соблазняют героя «Подрустка» тем, что приводят «на первое место даже ничтожество». Более того, особое наслаждение доставляет ему мечтательная возможность привизить и поработить денежным могуществом высокие духовные, нравственные, интеллектуальные, героические проявления бытия: «Мне нравилось ужасно представлять себе существо, именно бесталанное и серединное, стоящее перед миром и говорящее ему с улыбкой: вы Галилеи и Коперники, Карлы Великие и Наполеоны, вы Пушкины и Шексперы, вы фельдмаршалы и гофмаршалы, а вот я — бездарность и незаконность, и все-таки выше вас, потому что вы сами этому поддачинились».

В представлении Достоевского деньги играют в обществе (помимо сложившейся регулятивно-экономической функции) и роль своеобразного великого инквизитора, отнимающего у людей свободу их воли, совести и любви, с немислимой простотой и естественностью отчуждающего их друг от друга, перевортывающего все их взаимоотношения и связи с миром с ног на голову. Не считаться с такой «перевортывающей» силой денег, полагал Достоевский, нельзя, если, конечно, не поставить себе за высшую цель — низшую, то есть, говоря его собственными словами, «жрать, да спать, да гадить, да сидеть на мягком», что «еще слишком долго будет привлекать человека на земле».

Писатель считал, что полное и скорое утоление потребностей еще сильнее приковывает человека, незаметно для него самого, к узкой сфере умножения сугубо материальных форм существования, к культивированию многосторонних насладительных ощущений и связанных с ними бессмысленных и глупых желаний, привычек и нелепейших выдумок. Все это, в свою очередь, способствует в виде обратного эффекта нескончаемому наращиванию материальных потребностей, беспрестанно насыщаемых разнородными вещами, что делает человека пленником собственных ощущений.

По Достоевскому, такой цикл не безобиден для нравственного содержания личности, поскольку утончает чувственный эгоизм человека, делает его не способным к жертвенной любви, потворствует формированию разъединяющего людей гедонистического жизнепонимания. «И не дивно, что вместо свободы впади в рабство, — говорит один из героев «Братьев Карамазовых», — а вместо служения братолюбия и человеческому единению впади, напротив, в отъединение и уединение... А потому в мире все более и более угасает мысль о служении человечеству, о братстве и целостности людей и воистину встречается мысль сия даже уже с насмешкой, ибо как отстать от привычек своих, куда пойдет сей невольник, если столь привык утолять бесчисленные потребности свои, которые сам же навывдумал? В уединении он, и какое ему дело до целого. И достигли того, что вещей накопили больше, а радости стало меньше».

Если посмотреть на еще одну важную сторону сегодняшней жизни, то и здесь снова к нам навстречу «выходит» Достоевский. Трудно переоценить те крайне важные усилия и первые шаги, которые направлены сейчас на преодоление юридического нигилизма, на закрепление гарантий прав человека, на построение правового государства. И вместе с тем нельзя не задуматься над резкими словами писателя о несвятынях святынях, под которыми он, в частности, подразумевал не всегда совпадающую с подлинной формальную справедливость юридических отношений. «В человеке, кроме гражданина, есть и лицо. Судья судит гражданина и иногда совсем не видит лица... Даже закон не предусмотрит всех тонкостей. Но отнять лицо у гражданина и оставить только гражданина нельзя: вышло бы нечто хуже коммунарского стада. Есть преступления и впечатления, которые не подлежат земному суду. Единый суд — моя совесть, то есть судящий во мне Бог...» Принципиальная отстраненность внешних юридических определений от борений совести, например, Дмитрия Карамазова наглядно показана писателем в его последнем романе.

Было бы наивно, недальновидно и вообще неверно полагать, что, исходя из вышесказанного, Достоевский был противником правовых отношений, материального благополучия или мирного сосуществования людей и занимал, говоря нынечным языком, антиперестроенные позиции. Совсем нет. Он считал все это нужным прожиточным минимумом социально-интеллектуальной жизни, который тем не менее при недостаточной духовно-нравственной основательности и высше-смысловой наполненности нельзя принимать за максимум и панацею. «Все в нынешний век на мере и на договоре, — выражает мысль автора персонаж «Идиота», — и все люди своего только права и ищут... да еще дух свободный и сердце чистое, и тело здоровое, и все дары Божии при этом хотят сохранить. Но на едином праве не сохраняют...»

По логике Достоевского, при отсутствии «даров Божиих» прогресс в области законодательства, науки, техники создает предпосылки лишь для внешне независимого существования и материального процветания людей, но не для преобразования их внутреннего мира, не просветляет духовно-психологическое ядро «свободной» личности, где коренятся властолюбие, зависть, тщеславие. Благие надежды на юридические гарантии, демократические институты, научные знания в деле нравственного благоустройства жизни людей неизбежно оказываются утопичными, ибо сталкиваются с «незапланированными» парадоксами природы человека и противоречивой глубиной его волеизъявления, с неизбывным устремлением к наращиванию имеющихся прав, собственности, власти внутри установленного законодательства.

По Достоевскому, вследствие изначальной слабости человека «закон» неизбежно и крайне необходим (особенно в историческом контексте деспотизма и беззаконий). Однако без «благодати» и настоящей свободы, то есть внутренней независимости от своекорыстия, он таит в себе возможность оборотнического колебания между формализмом и истиной во всех областях жизни, что со своей стороны подпитывает условия для перерастания равенства в неравенство, справедливости в несправедливость, мира в войну, материального процветания в духовную нищету. Без органической веры в высшую смысловую справедливость бытия, которая «есть всегда и везде единственное начало жизни, дух жизни, жизнь жизни», любые гуманистические идеи расплываются, как тесто, и теряют духовную разумность, готовы к перерождению и вымиранию (дело лишь в сроках): «Отсутствие Бога нельзя заменить любовью к человечеству, потому что человек тотчас спросит: для чего мне любить человечество?»

Думается, без ответов на подобные вопросы, связанные с наполнением «закона» «благодатью», а повседневной жизни — отблеском абсолютного смысла, невозможны плодотворные поиски спасительного пути между Сциллой кровавого тоталитаризма и

Харидбой потребительской демократической деспотии, которые, несмотря на видимую противоположность, все очевиднее представляются сегодня, в контексте духовного, нравственного, психологического, культурного, экологического, демографического кризиса, одинаково тупиковыми вариантами человеческого развития. И без сосредоточения всего духовного внимания и всех умственных сил на таких парадоксах, когда, например, крайняя демократия порождает и крайний деспотизм (закономерность, отмеченная еще Платоном), когда высшие достижения культуры уживаются с самыми низменными проявлениями фашизма и расизма (в Германии), когда народ-богоносец вдруг оказывается народом-богоборцем (в России), когда научно-технический прогресс сопровождается духовно-нравственным распадом (во всем мире), невозможно хоть сколь-нибудь результативное использование многовекового исторического опыта вообще и конкретных уроков, заключенных в романе «Бесы».

Адекватное восприятие этого произведения и всего творчества Достоевского (и не только его) затруднено среди прочих причин и тем, что советская литературная наука в целом и достоевковедение в особенности большей частью находились и находятся в плену «прогрессистской» логики, идеологических клише, предвзятых схем, десятилетиями внедрявшихся стереотипов. Вследствие произвольного усечения и тенденциозного истолкования нашей ближней и дальней истории на передний план общественного сознания искусственно выводилась линия, идущая, условно говоря, от Радищева через декабристов к революционным демократам. Мировоззрение, идеология и практика представителей этой линии, достаточно маргинальной по отношению к основному стволу русской литературы (Фонвизин, Грибоедов, Пушкин, Чаадаев, Киреевский, Гоголь, Достоевский), легли в основу той длительной интерпретации (скорее вывесишки), которой подвергались писатели с принципиально иными мировоззрением, идеологией, практикой. Пользуясь уместной здесь аналогией, можно сказать, что сложилась такая противоестественная ситуация, как если бы отец и сын Верховенские или даже капитан Лебядкин взялись бы оценивать соответственно метафизический смысл и духовное значение наставничества старца Тихона, исканий Ставрогина, юродивости Хромоножки.

И действительно, в достоевковедении можно обнаружить своих «идеалистов», «нигилистов», «артистов» и представителей иных типов характеристики «Бесов». И хотя между «честными» учеными и очевидными «мошенниками» существует вроде бы непреходимая грань, тем не менее их объединяет нечуткость и невнимание, а тем самым и сокрытие, искажение христианской сути, эстетической воли и художественной логики Достоевского.

Писателя долго учили и сейчас еще по инерции подспудно облачают в «ошибках», «предвзятостях», «противоречиях», «реакционности», «религиозности» и т. д. и т. п. Чтение таких работ, даже самых лучших из них, написанных, условно говоря, в герценовском духе, оставляет после себя неудовлетворенное чувство какой-то усеченной истинности, честной неправды, если употребить выражение самого Достоевского. Вроде бы все говорится правильно, но что-то укорачивается, что-то недоговаривается, что-то и вовсе опускается и никогда не войдет в анализ. Так, когда речь заходит о «Бесах», проводится резкое разграничение между «чистыми» западниками и «нечистыми» нигилистами, истинными социалистами и революционными карьеристами. В примечаниях к изданию «Бесов» можно прочитать: «...в годы борьбы с фашизмом для передовой критики и публицистики у нас и за рубежом стало очевидно родство идей Шигалева и Верховенского-младшего и других «бесов» Достоевского с бредовыми идеями философствующих теоретиков и политических деятелей фашистского типа. История XX века указала и на другой важный социально-психологический аспект романа — содержащуюся в нем уничтожающую критику различных вариантов мелкобуржуазных идей анархо-индивидуалистического типа».

Как бы уточняя приведенное обобщение, известный советский достоевковед считает главным открытием романа осознание «действительно смертельной для человечества опасности шигалевщины — верховенщины» и подчеркивает: «Достоевский ее и разоблачает и помогает... понять... что и гитлеризм, и полпотовщина, и сталинщина-бериевщина, и судороги «великой культурной революции» — это все разновидности все той же шигалевщины, все той же верховенщины».

И для зарубежного политического деятеля «Бесы» являются «настойной политической книгой, где дан непревзойденный художественный анализ социально-психологического механизма, управляющего действиями тех, кого называют ныне ультралевыми или ультраправыми». А видный западный кинорежиссер главную причину своего жела-

ния экранизировать произведение Достоевского объясняет тем, что оно представляет собою «первую книгу о терроризме», современное распространение которого требует тщательного изучения.

Советский писатель, с глубоким интересом занимавшийся народофильским движением, не без оснований предупреждал: «Не забудем, что Петр Верховенский исчез, чтобы снова где-нибудь вынырнуть...»

Подобная сосредоточенность на образе Петра Верховенского и связанных с ним идеях, поступках, событиях имеет свои, лежащие на поверхности исторической жизни XX века аналогические объяснения. И вместе с тем она как бы сужает объем романа, отводит внимание от других главных героев (Верховенского-отца и Ставрогина). Между тем для Достоевского по крайней мере одинаково важны все уровни сознания и действия, представленные этими тремя основными персонажами. Более того, принципиальнейшее значение имеет для него не очевидное различие между этими уровнями, а их сокровенная внутренняя связь, иерархия и соподчинение, их вырастание друг из друга.

Маститые советские достоевковеды совершают, кажется, крупную методологическую ошибку, когда вопреки творческой воле и художественному исполнению автора пытаются отделить китайской стеной «грязные руки Верховенских и Шигалевых» от «святого дела революции», объявить тенденциозностью «смешение революционеров, социалистов, действительно беззаветно преданных народу... с карьеристами, иезуитами от революции, от социализма, со слепыми фанатиками и циниками, способными на любую ложь, подлость, насилие—ради своей власти...». Вряд ли можно называть предвзятостью провинциальное открытие писателем пересекающихся областей в столь разноразличных идеях Радищева, Грановского, Белинского, Герцена, Писарева, Чернышевского, Бакунина, Нечаева, Маркса. И не противоречит ли глубинному духу всего произведения такое, например, утверждение современного литературоведа: «В сущности говоря, пружиной романного действия, тайной интригой «Бесов» и является противостояние Верховенского и Ставрогина», поскольку последний «не совершил преступления соучастия в «крови по совести», в разрушении по принципу».

Но ведь и Иван Карамазов не убивал своего отца, однако его атеистическое умяоствование и идеологические постулаты подвигли Смердякова ко вполне определенным поступкам. Так и состояние сознания Ставрогина невидимо, но неуклонно преломляется сквозь личностное своеобразие отца и сына Верховенских и других персонажей «Бесов», исследование оснований и границ единства между которыми входило в самую суть авторского замысла. Не ослеплением, а прозрением следовало бы назвать указание Достоевского на подводную часть айсберга и питательную среду, благодаря которой генеалогия нечаевщины оказывается не трагической ошибкой истории, а ее закономерным сломом.

Следует еще раз особо подчеркнуть, что «Бесы» написаны не столько о различиях, хотя они в романе принципиальны, сколько о связях и переходах, столь же принципиальных и не теряющих, к сожалению, своей актуальности. Наша повседнежность, как можно удостовериться, буквально перенаселена разномасштабными героями «Бесов», встречающимися среди «правых» и «левых», «консерваторов» и «либералов», «архаистов» и «новаторов», «аппаратчиков» и «неформалов». Так сказать, наши встречаются везде. Одни из них сразу же узнают друг друга, другие в жадных поисках правды и искреннем желании прогрессивных перемен незаметно для себя оказываются в «бесовском» водовороте. Чтение романа сегодня оставляет впечатление, будто ничего не изменилось по существу, а лишь обновилась социальные декорации и поменялись костюмы действующих лиц. Потому-то художественная воля, эстетическая логика и сама методология мышления Достоевского в этом произведении оказываются необходимейшими ориентирами в лабиринте невыясненных идеалов и сомнительных ценностей, зерен и плевел, добра и зла — настоящей проверкой духовной состоятельности ставимых ныне целей и задач.

Сейчас, когда «Бесы», так сказать, реабилитированы, очень важно остановиться в увлечении политизированными аналогиями между нечаевщиной и современным леворадикальным и праворадикальным экстремизмом и попытаться увидеть в книге за этими очевидными аналогиями «избирательное сродство», казалось бы, далеко отстоящих друг от друга жизненных явлений и их парадоксально закономерное внутреннее единство. В противном случае роман о нашем прошлом и настоящем может стать и произведением о нашем будущем.

II

Решающим побудительным толчком для создания «Бесов», как известно, послужило так называемое нечаевское дело — убийство слушателя Петровской земледельческой академии И. И. Иванова пятью членами тайного общества «Народная расправа» во главе с его руководителем С. Г. Нечаевым.

Программа нелегальной организации предусматривала подрыв государственной власти, христианской религии, социальных установлений, нравственных устоев с целью осуществления анархо-революционных преобразований в России, для чего Нечаев создал несколько пятерок, состоявших преимущественно из студентов. Достижение поставленных задач предполагало неукоснительное повиновение руководителю и использование любых, самых безнравственных и разбойничьих средств, взаимного шпионства и кровавой мести, скрепляющей ее участников. В разработанном группой Нечаева «Катехизисе революционера» выражалось требование, чтобы революционер «задавливал единой холодной страстью революционного дела» нормальные человеческие чувства, в том числе и чувство чести, ибо «наше дело — страшное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение». Воинствующим преобразователям предлагалось, чтобы «они рядом зверских поступков довели народ до неотвратимого бунта», для чего необходимо соединиться с «диким разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России». Еще одно требование заключалось в по возможности неуклонной компрометации «множества высокопоставленных скотов или личностей», дабы сотворить из них «своих рабов и их руками мутить государство». Недовольство Иванова безграничным самоуправством и изухотскими методами Нечаева и побудило последнего в соответствии с «Катехизисом...» дать указание устранить возроптавшего студента.

Обстоятельства идеологического убийства, газетные материалы и судебные протоколы, легендарные вымыслы и бытовые факты, составив фактическую основу «Бесов», как бы слились с препарированными идеями книг и статей левых радикалов Прудона, Бакунина, Ткачева, революционных демократов Белинского, Добролюбова, Чернышевского, Писарева, Герцена, Огарева, вульгарных материалистов Фогта, Бюхнера, Молешотта и претерпели трансформацию в соответствии с многоплановым художественным замыслом. Убийство студента в очередной раз воскресило в сознании писателя воспоминания молодости, когда он в кружке Петрашевского увлекался теориями утопического социализма и, по собственному признанию, внутренне был готов на аналогичный поступок: «*Нечаевым, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но нечаевцем, не ручаюсь, может, и мог бы... во дни моей юности*».

Пытаясь разобраться, почему ему в ту пору было «так трудно убедиться наконец во лжи и неправде почти всего того, что считали мы у себя дома светом и истиной», Достоевский, по его признанию, «хотел поставить вопрос и, сколько возможно яснее, в форме романа дать на него ответ: каким образом в нашем переходном и удивительном современном обществе возможны — не Нечаев, а *Нечаевы*, и каким образом может случиться, что эти *Нечаевы* набирают себе под конец нечаевцев?». Такая постановка вопроса оказывалась тем более необходимой и значимой, что многие представители либеральной и народнической интеллигенции склонны были видеть в нечаевском деле лишь досадное недоразумение, как утверждал Н. К. Михайловский, «печальное, ошибочное и преступное исключение» в революционной среде. По его мнению, автор романа сосредоточил свое внимание на «ничтожной горсти безумцев и негодяев», годной лишь для «третестепенного эпизода». Как бы возражая Михайловскому, писатель подчеркивал: «Взгляд мой состоит в том, что эти явления не случайность, не единичны... Эти явления — прямое последствие вековой оторванности всего просвещения русского от родных и самобытных начал русской жизни... А между тем главнейшие проповедники нашей национальной несамобытности с ужасом и первые отвернулись бы от нечаевского дела. Наши Белинские и Грановские не поверили бы, если б им сказали, что они прямые отцы Нечаева. Вот эту родственность и преемственность мысли, разившейся от отцов к детям, я и хотел выразить в произведении моем».

В романе, как помним, Верховенский-отец отрешивается от родного сына. Однако, по убеждению писателя, субъективное неприятие не отменяет подспудной объективной «преемственности» столь разных идейных течений. Чтобы правильно уяснить эту нетривиальную «родственность», следует еще раз обратиться к автобиографическому аспекту, весьма важному для целостного понимания произведения. Говоря о «великой мысли», которой он заболел еще в молодые годы, Достоевский вспоминал в «Днев-

нике писателя» в связи с читательской реакцией на «Бесов»: «Мы заражены были идеями тогдашнего теоретического социализма... Все эти тогдашние новые идеи нам в Петербурге ужасно нравились, казались в высшей степени святыми и нравственными и, главное, общечеловеческими, будущими законами всего без исключения человечества. Мы еще задолго до парижской революции 48 года были охвачены обаятельным влиянием этих идей. Я уже в 46 году был посвящен во всю правду этого грядущего «обновленного мира» и во всю святость будущего коммунистического общества еще Белинским. Все эти убеждения о безнравственности самых оснований (христианских) современного общества, о безнравственности религии, семейства, о безнравственности права собственности; все эти идеи об уничтожении национальностей во имя всеобщего братства людей, о презрении к отечеству, как к тормозу во всеобщем развитии, и проч. и проч. — все это были такие влияния, которых мы преодолеть не могли и которые захватывали, напротив, наши сердца и умы во имя какого-то великодушия. Во всяком случае тема казалась величавою и стоявшею далеко выше уровня тогдашних господствовавших понятий — а это-то и соблазняло. Те из нас, то есть не то что из одних петрашевцев, а вообще из всех тогда зараженных, но которые отвергли впоследствии весь этот мечтательный бред радикально, весь этот мрак и ужас, готовимый человечеству в виде обновления и воскресения его, — те из нас тогда еще не знали причин болезни своей, а потому и не могли еще с нею бороться».

Достоевский выявляет (и предупреждает об этом) существеннейший парадокс, когда величественные и великодушные, святые и нравственные «новые идеи» оборачиваются мраком и ужасом, хаосом и разрушением. Ставя диагноз столь радикального перерождения великодушных идей вплоть до своей прямой противоположности, Достоевский обнаруживает в самой глубине души каждого человека безотчетный конфликт между требованием абсолютной разумности жизнеустройства и ощущением бытийной ущербности, чувством реальной неосуществимости декларируемых утопий для любой конкретной личности. Роль унавоживающего материала для обещанной в будущем гармонии невольно заставляет человека задумываться (с разной степенью отчетливости и осознанности) над тем, что «жизнь человечества в сущности такой же миг, как и его собственная, и что на завтра же по достижении «гармонии» (если только верить, что мечта эта достижима) человечество обратится в тот же нуль, как и он, силою косных законов природы, да еще после стольких страданий, вынесенных в достижении этой мечты, — эта мысль возмущает его дух окончательно, именно из-за любви к человечеству возмущает, оскорбляет его за все человечество и — по закону отражения идей — убивает в нем даже самую любовь к человечеству».

Закон таинственного отражения великодушных идей, превращения «друга человечества» в «людоеда человечества», Достоевский рассматривал бок о бок с законом их искажения, поскольку из поля зрения искателей справедливого общественного устройства ускользали и другие сверхрассудочные особенности человеческого существования, не поддающиеся строгому логическому вычислению. Так, когда эти идеи «попадают на улицу», к ним примазываются «плуты, торгующие либерализмом, или интриганы, намеревающиеся грабить, но придающие своим намерениям «вид высшей справедливости». И в конце концов «смерды направления» доходят до убеждения, что «денежки лучше великодушия» и что «если нет ничего святого, то можно делать всякую пакость».

По убеждению Достоевского, неизбежное соскальзывание, снижение, измельчание, замутнение «великодушных идей» объясняется их «короткостью», нравственной скудостью, невниманием к глубинным проблемам человеческой природы и свободы. Потому он и предполагал, что практическое внедрение великодушных идей потребует в конечном итоге «страшного насилия», «страшного шпионства» и «беспрепятственного контроля самой деспотической власти», так как «головная» социально-экономическая система не соответствует живому процессу живой жизни и всей полноте проявлений человеческой природы. Однако и самые устрашающие средства не помогут установлению чаемого «братства», в котором проглядывается верх эгоизма, верх бесчеловечия, верх экономической бестолковщины и безурядицы, верх клеветы на природу человека, верх уничтожения всякой свободы людей. С его точки зрения, все это и обуславливает ответственность беззаветных слугителей утопического социализма за не предвиденное ими перерождение их не додуманных до конца теорий. Отрыв русского культурного слоя от «почвы» означал для писателя отказ от православия («Кто теряет свой народ и народность, тот теряет и веру отеческую и Бога») и соответственно от подлинного, не искаженного жизнеустройства, основанного на абсолютных смыслах и «длинных» идеях.

Таким образом, нигилистическое беснование осознавалось Достоевским как ключительное звено в трагической цепи российской истории, в которой возвышение над народом и атеизация дворянской интеллигенции создавали условия для развития болезненной гордыни ума, вызревания безграничной веры в непогрешимость «короткой» науки. В результате рассудочные теории взыскующих общего блага благородных людей драматически приводили к неразличению добра и зла и тотальному безумию. В «Преступлении и наказании» Раскольникову снятся «какие-то новые трихины», «духи, одаренные умом и волей», и вселившиеся в человеческие души. «Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе... В городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться,—но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и всё погибало».

Картина сна Раскольникова своей образной рельефностью и пластической впечатляемостью словно предвещает неповторимую апокалиптическую атмосферу более позднего романа, сгустившую на небольшом пространстве провинциального города перетекающие друг в друга токи одновременных идей и состояний человеческого сознания, «Эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней, — это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и все бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, за века!» — так истолковывал Достоевский устами своего героя эпиграф произведения, связывая диагноз болезни страны с надеждой на ее исцеление.

III

Замысел «Бесов» требовал такого изображения единичного события, чтобы в нем, как в микрокосме, отразились основные тенденции развития современного общества, раскрылись связи настоящего с прошлым и будущим, проявились едва уловимые переходы высокого в низкое, патетического в комическое, драматического в фарсовое. Отсюда композиционно-стилистическая вязь романа, которая причудливо совмещает органически вкрапливающиеся и врастающие друг в друга элементы памфлета и трагедии. В пересечении прекрасядушного гуманизма и духовного бессилия, возвышенных помыслов и «коротких» мыслей, искренней лжи и безотчетного сознания, наивной бестолковости и умышленной преступности нет стыков, швов, противоречий: трагедия естественно рождает памфлет, оборачивающийся новой трагедией.

Нравственный релятивизм, разрушительная беспочвенность основных задач, очевидная утопичность уравнилельных проектов нигилистов предопределили пародийно-фельетонную и карикатурно-гротесковую доминанту в их изображении.

Деспотический догматизм, политическое честолюбие, уголовное мошенничество предводителя террористической пятерки Петра Верховенского, чей хлестаковский энтузиазм постепенно осложняется зловещей демоничностью, являются, в представлении автора, следствием своеобразного развития посредственной и самолюбивой личности, лишенной в своем воспитании и образовании «высшего, основного». Достоевский как бы показывает, каким бумерангом может обернуться и оборачивается нигилистическое стремление уничтожить те самые социальные формы и установления через которые из века в век, от поколения к поколению и передавались духовные ценности, нравственные идеалы, народные традиции. Воинствующее безверие, отсутствие семейного очага и главного занятия, поверхностное образование, незнание народа и его истории — эти и подобные им духовно-психологические предпосылки сформировали у младшего Верховенского, по словам автора, «ум без почвы и связей — без нации и без необходимого дела», развращающе воздействовали на его душу. В результате Петр Верховенский оказался не в состоянии понимать, так сказать, благородные и «идеалистические» измере-

ния жизни, но хорошо освоил своим «маленьким умом» технику «реалистического» использования слабостей человеческой природы (сентиментальности, чинопочитания, боязни собственного мнения и самобытного мышления) для достижения под покровом добрых намерений разрушительных и властолюбивых целей. Люди являются для Петра Верховенского своеобразным «материалом, который надо организовать» для какого-то невидящего прогресса: «...срезав радикально сто миллионов голов и тем облегчив себя, можно вернее перескочить через канавку».

Теоретическим служением человечеству, которое оборачивается на деле его духовным и физическим уничтожением, заняты в романе и «бесенята» наподобие Лямшина и Шигалева. Последний предлагает «в виде конечного разрешения вопроса—разделение человечества на две неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать».

Методический деспотизм Шигалева, напоминающий инквизиторскую логику в «Братьях Карамазовых», Лямшин хотел бы несколько преобразовать, чтобы ускорить конечное разрешение вопроса: «А я бы вместо рая взял бы этих девять десятых человечества, если уж некуда с ними деваться, и взорвал их на воздух, а оставил бы только кучку людей образованных, которые и начали бы жить-поживать по-ученому».

В магнитном поле воздействия «главного беса» находятся не только теоретики-идеологи «ученой» и «прогрессивной» жизни. «Мутное» влияние его принципа «всеобщего разрушения для добрых окончательных целей» испытывают опасаясь отстать от моды и прослыть ретроградами «либеральствующая» губернаторша Лембке и заигрывающий с молодежью писатель-западник Кармазинов, добрый и застенчивый, но одновременно беспощадно жестокий Эркель и разбойник Федька Каторжный, юродствующий капитан Лебядкин и исполненный «светлых надежд» Виргинский. Столь не похожих друг на друга персонажей объединяет духовная рыхлость и разной степени неотчетливость в различении добра и зла и соответственно в осознании истинных целей и средств безудержного нигилиста, раскинувшего сети сплетен и интриг, поджогов и убийств, скандалов и богохульств. Подлинные же его интересы наводят Степана Трофимовича на непростые обобщающие вопросы: «...почему это все эти отчаянные социалисты и коммунисты в то же время и такие неимоверные скряги, приобретатели, собственники, и даже так, что чем больше он социалист, чем дальше пошел, тем сильнее и собственник... почему это?»

Недоумения Верховенского-старшего, отца «главного беса» и воспитателя «инфернального» Ставрогина, отражают непонимание тех законов, по которым снижаются, изменяются и перерождаются исповедуемые им самим и неопределенные в своей реальной сущности абстрактные гуманистические идеи. «Вы представить себе не можете. — патетически провозглашает он. — какая грусть и злость охватывает всю вашу душу, когда великую идею, вами давно уже и свято чтимую, подхватят неумелые и вытащат к таким же дуракам, как и сами, на улицу, и вы вдруг встречаете ее же на толкучем, неузнаваемую, в грязи, поставленную нелепо, углом, без пропорции, без гармонии, игрушкой у глухих ребят! Нет! В наше время было не так и мы не к тому стремились. Нет, нет, совсем не к тому. Я не узнаю ничего... Наше время настанет опять и опять направит на твердый путь все шатающееся теперешнее. Иначе что же будет?..»

Сам же Степан Трофимович выражает в романе собирательные черты русских либералов-западников: с одной стороны, возвышенность, благородство, что-то вообще прекрасное, а с другой — какая-то невидящность, неочерченность, половинчатость. Он блестящий лектор, но на отвлеченные от жизни исторические темы, автор поэмы «с оттенком высшего значения», ходившей, однако, лишь «между двумя любителями и у одного студента». Когда же поэму без его ведома напечатали за границей в одном из революционных сборников, он в испуге составил оправдательное письмо в Петербург, но «в таинственных изгибах своего сердца» был необыкновенно польщен проявленным «там» интересом к его творчеству. Он бескорыстен и беспомощен, как ребенок, и одновременно склонен к игривому эстетизму и невольному позерству, к претензии на «некоторую особую и, так сказать, гражданскую роль». Такая всежизненная беспредметность и нетвердость во взглядах и в чувствах соответствуют неотчетливости и неконкретности тех высоких задач, которые проповедует «учитель» представителям молодого поколения и которые слегка иронически характеризуются рассказчиком: «...много му-

зыки, испанские мотивы, мечты всечеловеческого обновления, идея вечной красоты, Сикстинская мадонна, свет с прорезами тьмы...»

Вместе с тем из ауры этого идейно-социально-эстетического смещения вырисовываются отдельные контуры. Так, преклошение перед красотой и искусством как неким высшим состоянием человека, противопоставляемым им позитивизму и утилитаризму «детей», сочетается у Степана Трофимовича с мыслями о «вреде религии», о бесполезности и комичности слова «отечество», о бесплодности русской культуры: «...я и всех русских мужичков отдам в обмен за одну Рашель». Для Верховенского-отца, как и для капитана Лебядкина, заявлявшего, что Россия представляет собою «игру природы, но не ума», родная страна также «есть слишком великое недоразумение, чтобы нам одним его разрешить, без немцев и без труда».

И здесь-то «отцы» и «дети», несмотря на очевидное взаимопонимание и разрыв между поколениями, ощущают общую зыбкую основу, не только отталкиваются, но и притягиваются друг к другу. «Ученики» онисходительно относились к «высшему либерализму» Степана Трофимовича, то есть «русской либеральной болтовне» «без всякой цели», но и с жаром аплодировали «милому» и «умному» вздору. Со своей стороны, «учитель» с подозрением внимал требованиям «новых людей» об уничтожении собственности, семьи, священства, но не мог не соблазниться их общим «прогрессивным» пафосом, благородной стойкостью их отдельных представителей. «Ясно было,— в очередной раз недоумевает Степан Трофимович,— что в этом сбросе новых людей много мошенников, но несомненно было, что много и честных, весьма даже привлекательных лиц, несмотря на некоторые все-таки удивительные оттенки. Честные были гораздо непонятнее бесчестных и грубых: но неизвестно было, кто у кого в руках».

Эта глубочайшая проблема внешнего конфликта и внутренней родственности «честности» и «мошеничества», прекраснородушного либерализма и человеконенавистнического деспотизма, формальной законности и нравственного беззакония, свободы и анархии, неосуществимой «мечты» и реального насилия была подмечена и Тютчевым, писавшим в связи с переворотом Наполеона III: «Он, конечно, *мошенник*, но подбитый утопистом, как и следует представителю революционного начала. И эта-то примесь дает ему такую огромную силу над современностью».

Таинственное воздействие «примеси», заставляющее, с одной стороны, к прекрасным лозунгам свободы, равенства и братства добавлять словечко «или смерть», а с другой—незаметно обращающее революционность в пошлость, с поразительной чуткостью ощущалось Достоевским и отражено в «Бесах» также и в карикатурной музыкальной картинке под названием «Франко-прусская война». Эта «особенная штучка на фортепьяно», сочиненная Лямшиным и демонстрирующая «растворение» революционного гимна «Марсельезы» в бульварном мотиве «Mein lieber Augustin», еще раз показывает все ту же болезненную и мучающую сознание Степана Трофимовича Верховенского закономерность. «Великие идеи» попадают на улицу, оказываются на толкучем рынке или игрушкой в руках негодяев именно в силу своей онтологической и нравственной неполноты, прекраснородушной отвлеченности от капитальных противоречий человеческой природы и истории. Бесхребетное и бесплодное марево чего-то вообще прекрасно-го, чего-то великодушного, неопределенных «высших оттенков» в конечном итоге начинает осознаваться Верховенским-отцом как честная неправда, или искренняя ложь, в атмосфере которой складывались изломанные судьбы всех его воспитанников (Ставрогин, Шатов, Даша, Лиза) и сквозь которую проглядывают корыстолюбивые слабости эгоистической натуры. «Я никогда не говорил для истины, а только для себя, — признается он в конце романа.— Главное в том, что я сам себе верю, когда лгу. Всего труднее в жизни жить и не лгать... и собственной лжи не верить...».

Однако в конце романа ироническое освещение образа Верховенского-старшего дополняется драматическими интонациями, когда он выходит в покаянное «последнее странствование» и стремится проникнуть в сокровенную суть Евангелия. В самой возможности такого «странствования» писатель видит залог подлинного возрождения своего героя, доверяет ему авторское истолкование эпиграфа романа, вкладывает в его уста мысль апостольского послания о любви как могущественной силе и «венце бытия».

Таким образом, Достоевский предполагает и такой выход из неопределенного великодушия «чистого и идеального» западничества «отцов», хотя в действительности «верховенство» оказалось на стороне «нечистого» нигилизма «детей». Кстати, сама фамилия героев несет в произведении вполне определенную смысловую нагрузку. В записной тетради автор отмечает, что отец постоянно «пикируется с сыном верховенством».

Однако подобное развитие истории, разногласия и преемственность разных поколений производны для Достоевского от более скрытого и менее поддающегося формулированию метафизического состояния безверия и расхристанности, которое в его время все более овладевало сердца и умами людей. Беснующийся нигилист, его «команда» и «болельщики» не только обретают питательную среду в недодуманных идеях и незаконченных теориях, но и находят себе поддержку и оправдание в глубинах драматического сознания так называемых лишних, праздных, страдающих от отсутствия подлинного дела людей. Некое предельное, заостренное и полемическое выражение онегинско-печоринского типа личности, ее как бы персонифицированное резюме и являет собою образ Николая Ставрогина, по-настоящему «верхovenствующего» в «Бесах» и признающегося в одной из черновых записей к роману: «... и всех виноватее, и всех хуже мы, баре, оторванные от почвы, и потому мы, мы прежде всех переродиться должны, мы главная гниль, на нас главное проклятие и из нас все произошло». Образ Ставрогина как бы сгущает и итожит ту ситуацию современного мира, в которой, если воспользоваться известными словами Ницше, Бог умер. Сам он так формулирует свою коренную проблему: «Чтобы сделать соус из зайца, надо зайца, чтоб уверовать в бога, надо Бога». По словам Достоевского, Ставрогин предпринимает «страдальческие судорожные усилия, чтоб обновиться и вновь начать верить. Рядом с нигилистами это явление серьезное. Клянусь, что оно существует в действительности. Это человек, не верующий вере наших верующих и требующий веры полной, совершенной, иначе...».

Ставрогин прекрасно понимает, что «без полноты веры» и соответственно абсолютного осмысления человеческое существование приобретает комический оттенок и теряет подлинную разумность. Но не через жизненную причастность пытается он добыть веру в духовную традицию, а «иначе», своим умом, рассудочным путем. И «самодвижущийся нож разума» (И. Киреевский) уводит его еще дальше от желанной цели, до самой основы рассекает душу и истребляет саму возможность органической и ненасильственной веры. В результате Ставрогин оказался словно распятым (сама его фамилия происходит от греческого слова *σταυρος* — крест) между безмерной жаждой Абсолюта и столь же безмерной невозможностью его достижения. Отсюда его «вековечная, священная тоска» и байроническая пресыщенность, предельная расколотость сердца и ума, как бы симметричное, равновеликое тяготение к добру и злу, безысходная борьба «подвига» и «ужасных страстей», что и предопределило «поэзные», трагедийные измерения произведения.

Эта «ненасытная жажда контраста» привычка к «противочувствиям» превращают духовные искания одаренной и бесстрашно волевой личности в череду вольных и невольных злодейств, в «насмешливую» и «угловую» жизнь. «Пробы» и «срывы» Ставрогина — и на этом автор снова ставит особый акцент — испытывают опять-таки давление рассудочного «ножа», носят скорее экспериментальный, нежели стихийный характер, ни аргументами за, ни доказательствами против не убеждают его в существовании Бога, а потому не вовлекают сердце в органическую область совести, покаяния и любви. Напротив, подобные эксперименты окончательно выхолощивают человеческие чувства, опустошают душу, делают Ставрогина похожим на «восковую фигуру» с «мертвелою маской» вместо лица.

Крайняя раздвоенность и предельное равнодушие («ни холоден, ни горяч») захватывают и идейные увлечения главного героя, который поровну «распределяет» парадоксально сочетающиеся в нем устремления и метания, с одинаковой убежденностью и почти одновременно проповедует взаимоисключающие учения — православие Шатову и атеизм Кириллоу. И тот и другой сполна претерпевают в своей судьбе неизгладимое влияние расколотого сознания «учителя».

Однако не только теоретики-мономаны, съедаемые собственной идеей, признают «верхovenство» Ставрогина. Пальму первенства отдает ему и «главный бес». Подобно тому как Смердяков в «Братьях Карамазовых» возводил совершенное им отцеубийство к положению Ивана Карамазова (если Бога нет, все позволено), так и Петр Верховенский осознавал себя «обезьяной» и «секретарем» богоборца Ставрогина, который успел принять участие и в сочинении устава революционной организации. «Вы предводитель, вы солнце,— уверяет его младший Верховенский,— а я ваш червяк... без вас я нуль. Без вас я муха, идея в стаканке, Колумб без Америки». Хлестаковствующий террорист не без оснований метит Ставрогина на роль несущего знамя «начальника», Ивана-царевича, Стеньки Разина в планируемых на будущее террористических действиях, находя в нем необыкновенную способность к преступлению. Демоническое обаяние Ставрогина

на испытывают и многие второстепенные лица, особенно женщины, чья судьба ломается от его прикосновения.

Вместе с тем писатель был убежден, что сила черного солнца не беспредельна и зиждется в конечном счете на человеческой слабости. Юродивая Хромоножка, чья пронизательность основывается на опыте многовековой народной мудрости, называет Ставрогина самозванцем, Гришкой Отрепьевым, купчишкой, а влюбленная Лиза Тушина видит в нем ущербность «безрукого и безногого».

«Великость» и «загадочность», титанизм и поиски горнего осложняются у главного героя «прозаическими» элементами, и в драматическую ткань его образа вплетаются пародийные нити. «Изящный Ноздрев» — так обозначается один из его ликов в авторском черновике. Тем не менее личностная выстраданность, философская значимость, историческая весомость обусловили «поэзную» доминанту этого образа. Писатель признавался, что взял его не только из окружающей действительности, но из собственного сердца, поскольку его вера прошла через горнило жесточайших сомнений и отрицаний.

В отличие от своего создателя Ставрогин приходит к безысходному финалу, символический смысл которого достаточно емко выразил Вяч. Иванов: «Изменник перед Христом, он не верен и Сатане... Он изменяет революции, изменяет и России (символы: переход в чужеземное подданство и, в особенности, отречение от своей жены, Хромоножки). Всем и всему изменяет он и вешается как Иуда, не добравшись до своей демонической берлоги в угрюмом горном ущелье».

Глубинное развитие образа Ставрогина Достоевский как бы проиллюстрирует через несколько лет по завершении романа рассуждениями «логического самоубийцы» в «Дневнике писателя». Вывод, вытекавший из них, заключался в том, что без веры в бессмертие души и вечную жизнь бытие личности, нации, всего человечества становится неестественным, немислмым, невыносимым: «...только с верой в свое бессмертие человек постигает всю разумную цель свою на земле. Без убеждения же в своем бессмертии связи человека с землей порываются, становятся тоньше, гнилее, а потеря высшего смысла жизни (ощущаемая хотя бы лишь в виде самой бессознательной тоски) несомненно ведет за собою самоубийство».

Причудливое переплетение драматических, лирических, иронических, пародийных нитей, ткущих облик главных героев романа, отражается и в его общей атмосфере непредсказуемого скрещения основных сюжетных узлов и побочных эпизодов, религиозно-философских диалогов и уголовных преступлений, любовных историй и политических скандалов. «Вихрь сошедшихся обстоятельств» несет с собою мутную стихию «всеобщего сбивчивого цинизма», раздражения и озлобленности, слухов и интриг, убийств и самоубийств, шантажа и насилия, кошунства и беснования, разврата и распада. «Точно с корней соскочили, точно пол из-под ног у всех выскользнул», — отмечает рассказчик. А Петр Верховенский оглашает заговорщикам свои расчеты: «Слушайте, я их всех сосчитал: учитель, смеющийся с детьми над их Богом и над их колыбелью, уже наш. Адвокат, защищающий образованного убийцу тем, что он развитее своих жертв и, чтобы денег добыть, не мог не убить, уже наш. Школьники, убивающие мужика, чтоб испытать ощущение, наши. Присяжные, оправдывающие преступников, сплошь, наши. Прокурор, трепещущий в суде, что он недостаточно либерален, наш, наш. Администраторы, литераторы, о, наших много, ужасно много, и сами того не знают!»

Разряд «наших» готов пополниться и «дрянейшими людишками», которые, по наблюдению рассказчика, получают вдруг перевес в «смутное время колебания и перехода» неизвестно куда и громко критикуют «все священное». К такому им относятся «хохотуны заезжие путешественники, поэты с направлением из столицы, поэты взамен направления и таланта в поддевках и смазных сапогах, майоры и полковники, смеющиеся над бессмысленностью своего звания и за лишний рубль готовые тотчас же снять свою шпагу и улізнуть в писаря на железную дорогу; генералы, перебежавшие в адвокаты; развитые посредники, развивающиеся купчики, бесчисленные семинаристы, женщины, изображающие собой женский вопрос...»

Вместе с тем Достоевский показывает, что «пожар в умах» пленяет вслед за «дрянейшими людишками» не только всякую «свалочь», «флибустьеров» и «буфетных личностей». Во времена потрясений и перемен, сомнений и отрицаний, скептицизма и шатости в основополагающих убеждениях и идеалах в чудовищные общественные злодеяния вовлекаются и простодушные, чистые сердцем люди. «Вот в том-то и ужас, что у нас можно сделать самый пакостный и мерзкий поступок, не будучи вовсе иногда мерзавцем... В возможности считать себя, и даже иногда почти в самом деле быть, не-

мерзавцем, делая явную и бесспорную мерзость, — вот в чем наша современная беда!»

Писатель считал, что причины поступков современного человека с его раздвоенной и нервной природой бесконечно сложнее и разнообразнее, нежели их рационалистические и утилитарные объяснения. Даже в душе самого смиренного и семейного титулярного советника, констатирует рассказчик в «Бесах», таятся разрушительные инстинкты, о которых можно судить по особенной веселости, испытываемой при виде огня на пожаре. «Вообще в каждом несчастье ближнего, — отмечает он в другом месте, — есть всегда нечто веселящее посторонний глаз — и даже кто бы вы ни были». Автор представляет в романе многообразные типы придавленного до желчи благородного самолюбия, заносчивой гордости, полураспущенных юношей, «людей из бумажки», «лакеев мысли», возвышенных циников, безропотных исполнителей, бессильных путаников, «дряхлых проповедников мертвечины и тухлятины» — типы, в основе поведения которых нет бытийного фундамента и высшей руководящей идеи, а господствуют изменяющиеся обстоятельства и иррациональные случайности. К примеру, «маленький фанатик» Эркель был «такой «дурачок», у которого только главного толку не было в голове, царя в голове; но маленького, подчиненного толку у него было довольно, даже до хитрости».

В племени «корчащихся» от отсутствия вечных святынь и непоколебимых ценностей оказываются развитые дворяне и провинциальные обыватели, прогрессисты и консерваторы, правительственные администраторы и военные чины. Перед такой общностью социальные и идейные разграничения отступают на задний план и не мешают немислимым, казалось бы, сочетаниям и альянсам. Так, губернаторша Лембке входила в число «тех именно консерваторов, которые не прочь связаться с нигилистами, чтоб произвести бурду».

Однако во всей этой «бурде» хаотического бесовского кружения потерявших нитку людей есть для автора своя закономерность, отразившаяся в поведении «кусающегося» подпоручика, который выбросил из квартиры иконы, разложил в виде трех налоев сочинения Фогта, Бюхнера и Молешотта и зажигал перед каждым из них церковные свечи. По всему произведению разлита атмосфера снижения духовного и возвышения материального, подмены веры в Бога верой в «позитивные» законы науки. «Необходимо лишь необходимое — вот девиз земного шара отседе», — провозглашает Петр Верховенский. В ответ на бессвязные мысли Шатова о рождении нового человека в мир как о таинстве жизни Виргинская возражает: «Просто дальнейшее развитие организма, и ничего тут нет, никакой тайны...»

Разоблачением таинственного значения и высшего смысла жизни в романе заняты многие «бесы» и «бесенята». Так, Лямшин запускает мышь в оклады икон и с помощью семинариста подсовывает продавщице Евангелия соблазнительные фотографии, студентки считают, что «предрасудок о Боге произошел от грома и молнии», а кашитан Лебядкин распространяет прокламации с воззванием запирать церкви и «уничтожать Бога». Призывы «расстрелять Бога» и «предать навеки мщенью церкви, браки и семейство» находят свой отклик и в военной среде. Посетив пехотный полк, Петр Верховенский с удовлетворением отмечает: «Об атеизме говорили и уж, разумеется, Бога раскассировали. Рады, визжат. Кстати, Шатов уверяет, что если в России бунт начинать, то чтобы непременно начать с атеизма. Может, и правда».

«Новые идеи» же, призванные заменить «расстрелянного» Бога и христианские духовные ценности, покоятся на принципах пользы, естествознания, борьбы за существование, «равенства, зависти и... пищеварения». К «положительным наукам» апеллируют в произведении почти все нигилисты, находя в них аргументацию для своих бесчинств, в том числе и для убийства Шатова.

Сама жертва, осмысляя в романе позитивистские постулаты и методы, приходит к нелестному для проявляющегося в них «разума» выводу: «Никогда разум не в силах был определить зло и добро, или даже отделить зло от добра, хотя приблизительно; напротив, всегда позорно и жалко смешивал; наука же давала разрешения кулачные. В способности этим отличалась полунаука, самый страшный бич человечества, хуже мора, голода и войны, не известный до нынешнего столетия. Полунаука — это деспот, каких еще не приходило до сих пор никогда. Деспот, имеющий своих жрецов и рабов, деспот, пред которым все преклонилось с любовью и с суеверием, до сих пор немислимым, пред которым трепещет даже сама наука и постыдно потакает ему».

Для Достоевского не было никакого парадокса в том, что «польза», «наука», «прогресс» чреваты «распадом», «безумием», «апокалипсисом», запечатленным в сне

Раскольников и разлитым в художественной атмосфере «Бесов». Он был глубоко убежден, что, «раз отвергнув Христа, ум человеческий может до удивительных результатов» и что, начав возводить свою «вавилонскую башню» без всякой религии, человек кончит антропофагией. Эта истина была для Достоевского абсолютно бесспорной, как и мысль, что без совершенных личностей не может быть и совершенного общества, что для братства необходимы братья и что с «недоделанными» людьми не осуществятся никакие «великодушные идеи». На сто верст кругом, удручается рассказчик в романе, не было никого, похожего хотя с виду на будущего члена «всемирно-общечеловеческой социальной республики и гармонии». А Верховенский-отец в очередном недоумении спрашивает сына: «...да неужто ты себя такого, как есть, людям взамен Христа предложить желаешь?»

Вопрос Степана Трофимовича автор рассматривал как основную проблему, от решения которой зависит будущее России и всего человечества и которая по-своему ставится в эпилоге. Серия больших и малых катастроф в последней части произведения завершается холодно-рассудочным самоубийством Ставрогина, как бы свертывающим художественную перспективу романа в безнадежный апокалиптический круг. Однако образ «большой дороги», на которую выходит старший Верховенский, покидая обезумевший провинциальный город и плененный «бесами» мир, словно обещает исцеление от тяжелой болезни грядущим поколениям, если они вернуться из «отцовских» тупиков воинствующего атеизма, самодовольных теорий, мечтательных утопий, недодуманных подражаний, насильственных перемен на главный дедовский путь подлинного единения людей. «Весь закон бытия человеческого, — утверждает перед самой смертью Степан Трофимович, отставивший в сторону «либеральную болтовню», — лишь в том, чтобы человек всегда мог преклониться пред безмерно великим. Если лишить людей безмерно великого, то не станут они жить, и умрут в отчаянии. Безмерное и бесконечное так же необходимо человеку, как и та малая планета, на которой он обитает». А один из второстепенных персонажей, играющих огромную роль в поэтике «Бесов» и преломляющих их стержневую проблематику, замечает: «Если Бога нет, то какой же я после того капитан?»

По убеждению писателя, смысл истинного просвещения, выраженный в самом корне этого понятия, есть «свет духовный, озаряющий душу, просвещающий сердце, направляющий ум, подсказывающий ему дорогу жизни». Только высшее, самое высшее, не уставал он повторять, отрывает человека от природного эгоцентризма и делает его способным действительно стать братом другому. Идеал, великое, высшее — эти слова и понятия наиболее близки мирозерцанию Достоевского. Только они, не раз подчеркивал он, определяют человеческое в человеке и по-настоящему объединяют людей. Потому-то писателя так тревожило время, полное, по его словам, самых невыясненных идеалов и самых неразрешимых желаний. Еще более его беспокоило пренебрежительное отношение некоторой части современников к этим понятиям как к «вздору» и «стишкам». «Об идеалах бредят только одни фантазеры, — представлял он мнение подобных людей, — а с грязнотой-то и лучше».

Но именно в потере вековых идеалов, великих мыслей, в отсутствии высшего сознания, высшего развития, высшего смысла, высших целей жизни, в исчезновении «высших типов» вокруг Достоевский видел корни и главную причину духовных болезней своего века. «Почему же мы дрянь?» — спрашивал он и отвечал: «Великого нет ничего». И не образованием, не внешней культурностью и светским лоском, не научно-техническими достижениями, а лишь возбуждением высших интересов можно перестроить глубинный строй эгоистического мышления. «Да тем-то и сильна великая нравственная мысль, тем-то и единит она людей в крепчайший союз, что измеряется она не немедленной пользой, а стремится их будущее к целям вековым, к радости абсолютной».

В представлении писателя, выбор пути всего человечества связан с духовным благоустройством, увеличением света и любви в душе отдельной личности. Ведь линия, разделяющая добро и зло, проходит, по его словам, «не за морем где-нибудь», «не в вещах», «не вне тебя», а через все человеческие сердца, через каждое сердце. Творческий опыт «Бесов» учит везде и во всем искать нравственный центр, шкалу ценностей, которые руководят помыслами и действиями людей, определять, на какие, темные или светлые, стороны человеческой души опираются разные явления жизни. Говоря о своем произведении и драматических исканиях современной молодежи, Достоевский подчеркивал: «Жертвовать собою и всем для правды — вот национальная черта поколения. Благослови его Бог и пошли ему понимание правды. Ибо весь вопрос в том и состоит, что считать за правду. Для того и написан роман».

ОТВЕТНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

В настоящем номере мы публикуем некоторые из читательских откликов на статьи, печатавшиеся в литературно-критическом отделе нашего журнала в 1988 и 1989 годах. Мы хотели бы присвокупить сюда и год 1990-й, дав, таким образом, место хотя бы выборочно публичному обсуждению трехгодичного содержания рубрики, однако по не зависящим от нас обстоятельствам (уже первые номера «Нового мира» за нынешний год прочитаны далеко не всеми желающими; понятно, что и «обратная связь» по их поводу еще не могла возникнуть).

Наш журнал скупо печатает читательскую почту, хотя, надо думать, она никак не менее обширна, чем у других периодических изданий сходного типа; причина такой сдержанности — крайняя уплотненность редакционного портфеля, высвобождение места для публицистических, историко-философских, мемуарных и прочих крупномасштабных циклов, обещанных «Новым миром» своим читателям. Однако нам не хотелось бы совсем оставлять без внимания те весты из читательской среды, которые, по существу, представляют собой любопытные самостоятельные вариации на темы, заданные нашими авторами, и свидетельствуют об ответственной работе мысли.

Мы приятно удивлены тем, что по качеству, а порой и по количеству откликов впереди идут статьи культурно-философского или литературно-теоретического содержания, мобилирующие, как видно, читателей на ответное теоретизирование, побуждающие их выстраивать аргументы, развивать собственную систему взглядов, не ограничиваясь «сигнальными» реакциями, голословным приятием или отвержением тезисов того или иного автора. Например, доктор философских наук М. С. Каган (Ленинград), глубоко, по его словам, взволнованный чтением статьи Ю. Шрейдера «Сознание и его имитации» (1989, № 11), в пространном ответе критикует ее за отход от ортодоксального марксизма и проповедь идей нравственного совершенствования личности; преподаватель Курского политехнического института О. А. Березовская, включаясь в дискуссию об искусстве авангарда (1989, № 12), предлагает рассматривать последнее как естественный плод внутритухудожественного развития, а не как отражение религиозных или иных мирозерцательных установок; немало идейно накаленных реплик вызвала републикация эссе Анатолия Яковсона «О романтической идеологии» (1989, № 4). Мы выбрали для печати четыре письма, показавшиеся нам наиболее обдуманними и характерными по представленным в них точкам зрения (разумеется, не всегда и не во всем разделяемых редакцией).

О ПОЭТЕ И ПОЛИТИЗИРОВАННОМ СОЗНАНИИ

ЛЕВ ТИМОФЕЕВ,
«Феномен Вознесенского»
(«Новый мир», 1989, № 2).

В последних строках статьи Лев Тимофеев определяет свой предмет так: «...исследование мотива творческой (а значит, и духовной) несвободы в поэзии Андрея Вознесенского». «...и, следовательно, в нашей с вами жизни», — добавляет он, имея в виду, что Вознесенский — выразитель настроений значительной части отечественной интеллигенции. Что ж, рассуждения автора весьма интересны, но остается ощущение, что критик (это наименование условно, так как Лев Тимофеев прежде всего известный правозащитник, писатель и публицист), — что критик и поэт говорят на разных языках. А может быть, Вознесенский и Тимофеев — представители двух разных течений в нашей интеллигенции? Тем интереснее разобраться, чем различаются эти языки.

Итак, творческая (а значит, и духовная) «несвобода» поэта Андрея Вознесенского. Два примера. Стихотворение «Грех». Критик заранее настроен на разговор о грехах «всеобщих для нашего общества» или хотя бы «всеобщих для нашей интеллигенции» и

даже, может быть, о несовпадении «закона нравственного и закона государственного» в сфере активной общественной деятельности. Но — увы! — поэт говорит о душевном отупении, об осквернении колодца, о попрании искусства, о грехе перед женщиной («Когда в твоей женщине пленной зарезан будущий смех...»). А критик, отвергнув одно за другим все предложенные поэтом решения темы греха как неудовлетворительные, констатирует, что разговор не состоялся. «Так, помолчали минуто...»

Стихотворение «Есть русская интеллигенция...». Все повторяется снова. Критик удивлен: сначала Вознесенский утверждает, что интеллигенция — «совесть страны и честь», а потом почему-то говорит о Рихтере, Аверинцеве и земских врачах, то есть о людях в высшей степени достойных, но которых, по мнению Тимофеева, назвать совестью страны все-таки нельзя, потому что они непричастны «к самым большим проблемам (к самым большим!)» общества, как причастны к ним Александр Солженицын и Андрей Сахаров. А ученого Н. А. Козырева, который явился «в мир стереть второй закон термодинамики и с ним тепловую смерть», Вознесенский даже называет пророком, что и вовсе критику странно. Действительно, «какие его пророчества о судьбе... страны, о путях нашего общественного движения, — какие его пророчества об этом мы знаем?».

Картина удручающая. Но в обвинительном заключении находится место и для сочувственной ноты: «...если человек задается вопросами об исторической роли и судьбах русской интеллигенции или вопросами похожими, а отвечает на них таким вот невнятным образом, «как же ему не ощущать своей вины, если он хоть немного чуток и совестлив! Как же не ощущать ему творческой несвободы!».

При чтении статьи постепенно становится ясно, что в мировоззрении критика определяют его отношение к стихам Вознесенского два постулата. Первый: мерилом нравственности человека является его отношение к самым большим вопросам общественной жизни. И второй: источник свободы и нравственности — «глубокое духовное прозрение».

Вроде бы все так. Но, может быть, представима иная система нравственных и духовных ориентиров и, соответственно, иная концепция гражданственности? Может быть, Лев Тимофеев, не различая знакомых очертаний, видит лишь хаос и несвободу там, где есть своя стройность, последовательность?

Вот строки из стихотворения «Молитва»:

Когда отчетливо и грубо
стрекозы посреди полей
стоят, как черные шурупы
стеклянных, замерших дверей,

такое растворится лето,
что только вымолвишь: «Прости,
за что мне это, человеку!
С ума бы не сойти!»

Давайте представим себе, много ли останется от нашей жизни, если исключить из нее непосредственный душевный контакт с миром. Не для него ли, не для этого ли контакта все остальное: искусство, религия, созидание, любовь? Политика? Но тогда мы должны признать ценность того, что долго считалось вещью второстепенной, — человеческих чувств. Чувства — центра вселенной Вознесенского, поэтому —

Когда? При царстве чьем?
Не ерунда важна,
а важно, что пришел.
Что ты в глазах влажна.

Мысль Вознесенского о ценности человеческих чувств — мысль гражданская. Почему? Потому что она создает силовые линии, способные повернуть любой политический компас. Вот формула поэта: « $2=1 > 3\ 000\ 000\ 000!$ » — любовь двоих выше абстрактных интересов человечества. В наивности и гиперболичности этого математического изречения — самоирония, но оно заставляет задуматься: а продуктивно ли вообще в качестве субъекта интересов рассматривать большие массы людей? Как правило, самый «человечный» этаж сознания общественного деятеля — права личности. Но не висит ли он над землей и не теряет ли тепло, если не дополнен представлением о ценности чувств? Вознесенский берет под защиту странные, нарушающие привычные стереотипы чувства и поступки — лишь бы они были человечны (стихи «Жил художник в нужде и гордыне...», «Выпусти птицу!» — так называется и один из сборников). Не является ли

на живых, любимых,
ломкие которые.

А у всего остального одна задача — помочь этому существу найти себя, то есть найти тот язык, на котором «Бог гласит его устами».

Павел Чеботарев,
математик.

Москва.

В ЧЕМ ЖЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ

ЛЕВ ТИМОФЕЕВ,
«Феномен Вознесенского»
(«Новый мир», 1989, № 2).

Уважаемый Лев Тимофеев, Ваша статья о «феномене Вознесенского» чрезвычайно захватила меня. Я далек от литературных споров, но меня много лет занимает то, что условно можно назвать вслед за Вами «феноменом Вознесенского». Я считаю его феноменом нашей сегодняшней культуры в целом. И вижу я этот феномен несколько иначе, о чем хочу Вам написать. Я не согласен с Вами по сути.

Вы пишете: «...не вступает ли в противоречие понятие о прекрасном в сознании поэта с чувством прекрасного в его душе?» При этом Вы полагаете, что в душе поэта имеет место чувство истинно прекрасного, понятие же о прекрасном ему навязано несовершенным общественным сознанием. Отсюда и драма несвободы.

Я убежден в прямо противоположном. Но это потребует длительного объяснения. Если угодно, прочтите.

Итак, «феномен В.». Он для меня очевиден и он ярко характеризует одну из сторон нашей сегодняшней культуры в целом. Этот феномен я назвал бы *contradictio in adjecto*, то есть нелепость, нечто, содержащее противоречие в самом себе, или средство, которым цель не достигается, а уничтожается. Таковы, на мой взгляд, по своему свойству требования поэта стремиться к свободе творчества и к нравственности, столь настойчиво выражаемые в его стихах. В этих требованиях форма противоречит содержанию. По содержанию он требует нравственности, а формой — отрицает ее.

Поясню. Любая критика исходит из определенного представления об идеале, и отсюда, опираясь на это представление, — о степени приближения критикуемого явления к идеалу. В чем состоит «идеальность» поэзии Пушкина? В совершенстве формы и благородстве содержания. Слитность, нераздельность этих качеств производит впечатление полной свободы выражения, поэтической свободы. Вершина — «Евгений Онегин». Незыблемость 14-строчной строфы, напоминающая стройностью классический архитектурный ордер. Предельная ясность изложения. Возвышенность, музыкальность слога. Чудные, гармоничные рифмы. Классический ордер, его равновесие нарушается лишь в письмах героев друг другу. Нарушается поэтом сознательно, ибо писались письма в глубочайшем смятении духа, и это смятение, это ощущение гнетущей несвободы от неутоленной любви и проявляется в хаосе строк, в трудно обуздываемых мыслях.

Да, гармония нарушается. Но она жива, она по-прежнему остается идеалом в этой поэзии. Идеал — гармония, то есть полное слияние частных устремлений со всеобщим законом, с необходимостью. Даже ценой той жертвы, которую приносит Татьяна, восстанавливается если не частная, то все же мировая (высшая) гармония, по мысли Пушкина. То есть нравственная гармония торжествует, а это и есть истинная свобода в ее противопоставлении той несвободе, которую принесла бы героям незаконная, по их представлениям, любовь. Из столкновений хаотических страстных писем героев друг другу как итог рождается монолог Татьяны, вновь исполненный классической строгости, где нравственность, и свобода, а следовательно, в конце концов, гармония красоты, торжествуют. Красота здесь становится синонимом свободы.

Как написал бы Толстой, это — воскресение. Воскресение есть обретение гармонии духа, слитности духа с миром, примирение со всеобщим законом, то есть истинная свобода.

Поэзия Вознесенского по форме есть отрицание поэзии Пушкина. Здесь прежде всего намеренно утрачено равновесие. Речь прерывиста и затруднена, смыслы затемнены, размыты. Вместо возвышенного слога сленг, блатной городской жаргон или жаргон узкой учено-литературной богемы. Вместо благородной сдержанности — крик.

Грустная ирония состоит в том, что то же уже было с романтиками. Но тогда, в начале XIX века, романтики являли образцы действительно внушительной духовной мощи. Это были индивиды-колоссы. В нашей же ситуации с контркультурой то, что индивиды имеют противопоставить обществу, это лишь их ненависть к нему.

Для маленького человека законы жизни общественной, в особенности законы нравственные, непривлекательны тем, что они, эти законы, обладают роковой силой: их нарушитель гибнет. Гибнет в духовном, нравственном смысле, хотя может процветать физически. И вот эта гибель, эта неумолимость нравственных законов нам не по душе. Слияние с законом, подчинение необходимости, отказ от себя, жертвенность уже не видятся как освобождение, переход в бессмертие, в обновление и воскресение, они представляются гибелью окончательной, абсолютной, после которой пустота, ничто. Атеизм сыграл свою жуткую роль, он отравил души страхом.

И общество как олицетворение традиционных нравственных законов, утративших уважение и вызывающих бессознательный страх, такое общество становится врагом индивида, чувствующего себя придавленным обезличенной силой. И общественная гармония, за которую надо платить отказом от своей индивидуальности, становится гармонией ненавистной. И самоутверждение индивида возможно лишь путем отрицания, осмеяния этой гармонии, включения ее в балаганное действие как объекта непрерывных пародий, «щелчков по носу», «великолепных кощунств» и других остроумных геростратовых выходов.

Вот вкратце мой взгляд на сущность формы поэзии Вознесенского. Но «феномен В.» лежит в несколько ином плане. Он, как уже говорилось, *contradictio in adjecto*, он в противоречии содержания его поэзии форме его поэзии.

Однако здесь определить противоречие только тем, что содержание поэзии Вознесенского возвышенно, а форма — низменна (хотя это, безусловно, именно так), явно недостаточно. Ситуация сложней.

Дело в том, что в искусстве имеется несколько вариантов сочетания возвышенного содержания и низменной формы, каждый из которых дает своеобразный, отличный от других сочетаний эффект. Самый распространенный эффект — это эффект комического. Суть его заключается в том, что герой, взявшийся за осуществление очень масштабных намерений, в действительности абсолютно несостоятелен, и это очевидно для всех, кроме него. И еще — условие, чтобы герой вышел сухим из этой воды.

Но есть и другой, не менее распространенный эффект — пошлость. Он возникает тогда, когда намерения героя тоже грозны и величественны, сам же он ничтожен, но, к несчастью, ему помогают в осуществлении его большей частью честолюбивых замыслов многочисленные поклонники, принимающие его всерьез. Герой должен иметь известный успех. И тогда беспристрастный наблюдатель уже не смеется этому явлению, а испытывает досаду и отвращение. Поясню.

Мсье Журдэн (мещанин во дворянстве) изо всех сил жаждет выглядеть и быть дворянином, но его домашним и всем нам очевидно, что он беспомощный мещанин. Смех да и только.

Хлестаков, сообразив, что его приняли за важное лицо, внутренне перерождается, становится этим важным лицом и отчаянно врет, почти веря в то, о чем врет, и только мы знаем, что это вранье, что перед нами беспардонный враль. И смешны и он и городские чины, принявшие его всерьез.

А вот пошлости в искусстве повезло меньше. Герои Гоголя все же более комичны, чем пошлы, потому что безобидны. А к нашему случаю ближе Фома Опискин из «Села Степанчиково» Достоевского. Это нравственный наставник, уверовавший в свою миссию и тем терроризирующий раблепных окружающих. Не комична, а пошла его уверенность в собственной непогрешимости, ибо непогрешимым его считают сами его жертвы.

Сходство «феномена В.» с этим случаем заключается в том, что наш поэт вначале творил лишь тонкую, остроумную и изящную «контрпоэзию», где в виде лубка сообщал хорошие, правильные, хотя и плоские мысли и здесь же иронизировал по их поводу, давая понять, что сам-то он гораздо умнее того, что пишет.

Но с ростом популярности растет и ответственность. Поэт чувствует необходимость говорить о важном, а что важнее всего в обществе в период разложения и упадка? Конечно, нравственность, духовность, скромность, жертвенность.

И вот поэзия, формы которой отрицают серьезность, берется за серьезную повесть этих идеалов. Поэзия, идеалом которой являются пародия и протекс, пытается

в пародийной форме отрицать ту пародию и тот гротеск, которые заняли место подлинности в нашей жизни.

Это *contradictio in adjecto* наиболее наглядно видно в «Плаче по двум нерожденным поэмам». Здесь поэт сокрушается над неспособностью своей и других быть подлинными. И одновременно вышучивает это свое сокрушение. Использован мощный комедийный прием: уморительные похороны того, что у поэта вообще не родилось. По этому печальному, но нелепому случаю (все-таки же гибель, а нерождение) должны в скорбном ритуальном молчании подняться «Сервантес, Борис Леонидович Бrame, Данте»... Можно сказать — смешно. Не столь смешно, когда аналогичные обвинения — укоры другим людям в таких «мертворождениях» — нарастают в силе, но комедийный прием остается. Когда же в конце героям подлинности поется «вечная слава», то такая неожиданная серьезность в комедийном контексте уже противоестественна. Комедия перестала быть смешной, она уже отдает пошлостью.

В поэме «Авось» разыгрывается скоморошье действо, изящная картонная буффонада, и поэт здесь не в чем упрекнуть, если бы не лирические отступления, цель которых — одновременно и умилисть и щелкнуть по носу. Например, окончание, «Молитва Богоматери — Резанову»: в связи с тем, что на пути к соединению влюбленных стояли религиозные запреты, устами Богоматери христианский догмат о непорочном зачатии объявляется бесчеловечным. Пресвятая Дева якобы совершила грех, не испытав счастья плотской любви. Но этим щелчком дело не оканчивается. Поэт вполне серьезно переводит непорочное зачатие в порок, а плотское — в святость.

Прежняя вековечная высшая добродетель — целомудрие — осознается как грех, господствовавший во все века христианства, и, соответственно, истинной добродетелью становится зачатие «порочное». Без тени усмешки. Хотя комедия продолжается. Вот, если изволите, новый, очень современный, гуманный догмат. Так высокое моральное поучение вырастает из скоморошье оперы и несет в себе заданный ею уровень. Скомороший уровень. Но лишенный озорного смеха и потому надутый и фальшивый.

Эти варианты неожиданного присвоения моральной ценности тому, что обычно мы относим к непристойному или, во всяком случае, не оглашаемому публично, в поэзии Вознесенского многочисленны. Достаточно вспомнить объявление унитаз символа очищения. Если бы все это происходило на уровне озорных выходов, конфуза бы не было. Сколько поется подобных частушек! Но поэт уверовал в свою морализаторскую миссию и несет подобные откровения читателю с важностью и серьезностью под все те же пристукивания и приплясывания. И вот эта душевная направленность на поэтизацию непристойности (классические «а на фига?»), на включение непристойности в сферу серьезного искусства, в сферу идеального и проявляет себя в творчестве Вознесенского как разящая дисгармония уже не комического плана и как не осознаваемая им самим фальшь, то есть искренняя убежденность в своем моральном праве на духовное наставничество при явной несостоятельности в этом.

Именно здесь я подхожу к тому, что считаю причиной жалоб Вознесенского на несвободу в творчестве. Если, по-Вашему, причина несвободы — несовместимость чувства прекрасного в душе поэта с ложным понятием о прекрасном, навязанным ему обществом, то я убежден в обратном: поэт ощущает, догадывается, что прекрасное в поэзии — это то, что некогда было высказано Поэтом в «Поэте и толпе» Пушкина, и в этом противостоянии Поэта и толпы наш поэт оказался вместе с черню. Он не настолько темен, чтобы не понимать, что «мрамор сей ведь Бог!..», что в этом «кумидре Бельведерском» заключена высшая гармония и свобода, но душой наш поэт принадлежит черни, душа его враждебна этой божественной гармонии, она произвольно ищет способа оскорбить чувство гармонии в аристократах духа. Но — и в этом вся драма — одновременно сама она рвется в эти аристократы духа, и с большими амбициями, чем мсье Журдэн.

Поэт находится в невыносимой ситуации, ибо грубо ерничает, осмеивает, бессознательно ненавидит именно то, к чему стремится какой-то другой, тайной частью своей души, чувствующей истинно прекрасное, точнее — его утрату.

И вот со страниц поэзии Вознесенского предстает некто, взявший на себя моральные обязанности духовного наставничества («Поэт в России — больше, чем поэт») и являющий нам в этом деле глубоко смущающую неподлинность при субъективной искренности и несомненной одаренности. Комедийная ситуация? Но почему-то не смешно. Думаю, потому, что эта поэтическая неискренность и неподлинность уже перестали восприниматься как неискренность и неподлинность. Есть в них что-то, что со-

ответствует сегодняшнему уровню запросов поклонников такой поэзии и другого равного по уровню искусства (скажем так — рафинированного масс-медиа). Эти духовные запросы вполне удовлетворяются приплясывающей философией, убежденной в своей значительности. Она, эта приплясывающая философия, однажды была выражена шлягером в ритме чарльстона:

Да!..эт!..ся!.. жизни только раз, только раз,
и ты прожить ее суме-э-зей...

(Николай Островский переложен на танец без пародийного умысла. Авторы убеждены, что так лучше, доходчивей. Эстрада сегодня вышла на первое место по серьезности и массивности нравочений.)

Конечно, после уничтожения религиозной веры как опоры вековечной морали, после крушения цементирувавшей общество идеологии как опоры новой морали и образования громадной ниши в духовной структуре нации в нее бросились многочисленные парвеню от духовного наставничества. Масс-медиа дает широчайшие возможности быстро стать заметным. Но стать заметным, восстанавливая вечные ценности, все же труднее, чем стать скандально заметным, нанося удары и тычки едва держащейся на ногах традиционной нравственности...

Поэты, художники, музыканты оставили свои «лиры вдохновенные» и перешли в стан черни. Они берут из арсенала Поэта его «звуки сладкие» и «молитвы», низводят до своего уровня, доукомплектовывают назиданием и затем преподносят аплодирующей публике с надутно-глубокомысленным видом. Призрак всероссийского Хлестакова царит над страной, с глубокой серьезностью уездных простаков внимающей его самозабвенным речам. И среди этих соловьев, быть может, самый невинный и искренний — Вознесенский.

Феномен Вознесенского, то есть двойственность его поэзии, выразившаяся, с одной стороны, в тоске по подлинности, свободе, серьезности и, с другой, в невозможности отказать от иронии и выщучивания этой серьезности и свободы, имеет глубокие идеологические корни.

Предтечей Вознесенского и певцом новой идеологии был Маяковский. Его поэзия есть отрицание классической русской поэзии в рамках этой поэзии. Только на ее фоне, отталкиваясь от нее как необходимого антипода, поэзия Маяковского производит то впечатление, которое ей присуще и к которому, очевидно, стремился Маяковский, вульгаризируя, политизируя, иронизируя, приземляя и даже прямые строчки ломая лесенкой. Только в идеологической полемике с Поэтом Пушкина мог быть виден во весь рост новый жрец, откровенно вышедший вместе с чернью на шумные улицы мести сор с арого мира.

Выметались не просто старые искусства и поэзия. В силу того, что господствующая идеология была прямым продолжением материалистической философии двух прошлых веков, она тоже (я вместе с Вами повторю Пушкина) «была направлена против господствующей религии, вечного источника поэзии у всех народов, а любимым орудием ее была ирония холодная и осторожная и насмешка бешеная и площадная». И приверженность ей также вызвала у Маяковского в конце жизни ощущение вины и чувство несвободы, выразившееся в заявлении, что он «себя смирял, становясь на горло собственной песне». Маяковский убежденно умертвлял свое глубинное поэтическое id (фрейдовское ОНО): «...умри, мой стих, умри, как рядовой, как безымянные на штурмах мерли наши!»

Вознесенский лишен этой смертельной серьезности. Он ее стыдится, и в этом сущность его феномена. Он желает беззаветной гибели ради идеала, но он тут же отстраненно иронизирует над этим идеалом. Он не в силах слиться с ним, ибо в нем нет веры, присущей подвижникам типа Маяковского. В этом смысл его тяжелого ощущения несвободы, и поэтому его демонстративные поклонения идеалу без веры в него выглядят так смущающе неподлинно, вызывая ощущение пошлости. (Достаточно вспомнить, для чего он так часто употребляет наиболее серьезное некогда слово «мечень»).

И еще об одном парадоксе поэзии Вознесенского, свидетельствующем о его принадлежности сразу как к контркультуре, так и к господствующей идеологии.

Гнев поэта против цивилизации с ее осквернением земли и дегуманизацией отношений выражается поэзией, язык которой сам осуществляет эту дегуманизацию. Он омертвляет то, что описывает. Вспомним, как в поэзии народной, в поэзии Есенина неживое одушевляется:

Головой разможась о плетень,
Облилась кровью ягод рябина.

Или:

...бежит по степям,
В туманах озерных кроясь,
Железной ноздрей храпя,
На лапах чугунных поезд...

Мир лишен схематизма, он близкий, живой, свой.

Вознесенский:

По лицу пронсятся очи,
Как буксующий мотоцикл.

(Это о Петре I.)

...вспыхнет мордочка лисички,
точно вечное перо!

...олени,
как троллейбусы,
снимают ток
с небес.

Это вроде бы невянные, остроумные сравнения. Но в то же время это именно тот взгляд, то зрение, которым поэт видит мир. Он видит его как мертвый материал для своих конструкций. И если изъять из стихов поэта темы и назидания и оставить исключительно стиль, изобразительные средства, то есть поэзию в очищенном, сублимированном виде, то мы получим то, что работает на дегуманизацию культуры.

Думаю, что пример с омертвлением мира есть мой главный аргумент в споре с Вами. Это видение мира приходит к художнику произвольно. он с ним рождается, это его душа, его ОНО. И этот душевный склад совпадает с нашей «покорительской» идеологией и лежащим в ее основе культом насилия. Этот же культ, увы, всегда исповедовала и чернь. Поэтому «чувство прекрасного» в душе нашего поэта столь же неистинно, как и общественное сознание, основанное на разрушительной идеологии. Они проистекают из одного источника — культа насилия, превращения мира в схему, мертвую конструкцию, подчиняющуюся забавному манипулированию.

А вот «понятие о прекрасном» в его сознании рождено сомнениями в истинности общественного сознания. Но эти сомнения присущи лишь его рассудку. Конформистский рассудок заставляет поэта кричать о том, о чем модно кричать (о разрушении жизни), но его «чувство» прекрасного делает из этой жизни мертвый геометрический слепок.

Подводя итог, можно сказать, что «феномен Вознесенского» есть поэтическое выражение массового сознания на той стадии утраты обществом нравственного чувства, когда происходит бурное вытеснение веры неверием, подлинности фальшью, любви насилием, живого механическим, достоинства пошлостью, то есть добра злом, при этом злу уже достаточно лишь словесного наряда, чтобы быть принятым за добро.

Но что же выясняется при пристальном разглядывании этой толпы ряженных, поющих нам о любви и добре? То, что это есть сегодняшние представители и пропагандисты все той же официальной, некогда всемогущей «покорительской» идеологии. И хотя почти все ее постулаты сегодня утратили свою привлекательность, они по-прежнему господствуют. если не на трибунах и кафедрах, то на эстрадах и разного рода экранах. Это одни и те же постулаты, в них одно и то же отношение к миру как к объекту. Если в фундаменте идеологии — насилие, а сверху — словесное наукообразное прикрытие из «гуманистического тумана», то у эстрадных наставников инстинктивный настрой — агрессивность а сверху — словесное заверение в благонамеренности, служащее пропуском в «искусство».

Идеология лишь переменяла место своего духовного обиталища — из душ подвижников 30-х годов она переселилась в души парвеню и нуворишей 80-х. Она лишилась нравственной поддержки людей, сохранивших душевное здоровье, и потому превратилась в идеологию хищного потребления, то есть в самопародию. Но опять-таки почему-то никому не смешно. Почему?

Мо кет быть, потому что именно сейчас она наконец по-настоящему овладела «массами»?

7 -

Эдуард Стеценко,
архитектор.

ЕЩЕ О «МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ»

Е. ЛЕБЕДЕВ,
«Кое-что об ошибках сердца.
Эстрадная песня как
социальный симптом»
(«Новый мир», 1988, № 10).

— Согласен,— сказал я холодно.— И все-таки нельзя ставить на одну ступень Моцарта и новейший фокстрот. И не одно и то же — играть людям божественную и вечную музыку и дешевые однодневки.

Заметив волнение в моем голосе, Пабло тотчас же состроил самую милую физиономию, ласково погладил меня по плечу и придал своему голосу невероятную мягкость.

— Ах, дорогой, насчет ступеней вы, наверно, целиком правы. Я решительно ничего не имею против того, чтобы вы ставили и Моцарта, и Гайдна, и «Валенсию» на какие вам угодно ступени! Мне это совершенно безразлично, определять ступени — не мое дело, меня об этом не спрашивают. Моцарта, возможно, будут играть и через 100 лет, а «Валенсию» не будут — это, я думаю, мы можем спокойно предоставить Господу Богу, он справедлив и ведает сроками, которые суждено прожить нам всем, а также каждому вальсу и каждому фокстроту, он наверняка поступит правильно.

Г. Гессе, «Степной волк».

Спор о «массовой культуре» так же не нов, как и она сама. Роман Г. Гессе написан в 1927 году, и герой его, рафинированный и усталый интеллигент, «учится» той самой «массовой культуре», которую заслуженно и справедливо критикует Е. Лебедев. Но мог бы и в XIX, и в XVII веке, и даже раньше размышлять на эту же тему — об искусстве «высоком» и «низком». И значит, действительно имеет смысл, вместо того чтобы «сколь угодно основательно и логически остроумно доказывать публике несостоятельность ее идолов» (Е. Лебедев), все-таки попытаться выяснить, почему же не ослабевает приверженность к «низшим» пластам культуры, причем не только в нашей стране и не только в наши дни.

Мне показалось, что Е. Лебедев больше клеймит и бичует, чем размышляет и задумывается. Иные из его характеристик очень точны и остры, но и вообще против культуры ширпотреба не счесть остроумных выпадов. Например, В. Туровский в статье, напечатанной в «Правде», пишет об «этих бесконечных графинях Изаурах и рабынях де Монсоро», саркастически переставляя «титуды» героини. Но от насмешек подобные фильмы не перестают отнимать у многомиллионной аудитории десятки вечерних часов драгоценного досуга. А главное, границу между истинным и ложным эстетическим переживанием, разделительную черту часто бывает очень трудно провести. Об этом, между прочим, хорошо говорит в том же «Степном волке» Г. Гессе, писатель, которого уж никак нельзя упрекнуть в снисходительности к вульгарному, к культуре ширпотреба: «Дышавшие любовью слова Марии, ее страстно загоравшийся взгляд пробили в моей эстетике широкие бреши. Оставалось, конечно, прекрасное, то немного непревзойденно прекрасное, что не подлежало, по-моему, никаким сомнениям и спорам, прежде всего Моцарт, но где тут была граница? Разве все мы, знатоки и критики, не обожали в юности произведения искусства и художников, которые сегодня кажутся нам сомнительными и неприятными? Разве не так обстояло у нас дело с Листом, с Вагнером, а у многих даже с Бетховеном? Разве ребячески пылакая растроганность Марии американским сонгом не была таким же чистым, прекрасным, не подлежащим никаким сомнениям сопереживанием искусства, как взволнованность какого-нибудь доцента «Тристаном» или восторг дирижера при исполнении Девятой симфонии?» И разве, с другой стороны, мало эстетов, для которых пристрастие к произведениям, скажем, Бетховена, Гюго или Р. Роллана — проявление неразвитого вкуса в той же мере, в какой для Лебедева — любовь к «Мишке», «Миллиону алых роз», «А нам все равно» и прочим отпетым однодневкам?

По моему убеждению, при сопоставлении «высокой» и «низкой» культуры нужно брать срез не только последних десятилетий в жизни нашей страны (хотя, конечно, и эта отдельная задача допустима и правомерна), но также опыт других стран и других эпох. В истории искусства и культуры мы можем встретить немало случаев сочетания высочайшей поэзии с формами самыми массовыми, доступными всем без исключения.

Представим себе, чего требовал и к чему был приучен зритель почти всех европейских театров конца XVI — начала XVII века. Он привык видеть на сцене Эдипов с пустыми глазами, окровавленные останки царевича Ипполита, оклеветанного его мачехой Федрой, растерзанных детей Медеи, чаши с кровью убитых, привык к истошным крикам, сопровождающим сцены насилия, к бесчисленным скелетам, призракам, черепам, гробам, в которые заживо ложились герои. Разнообразию сумасшествий и безумств не было предела. Один из самых известных французских актеров первой четверти XVII века так вошел в роль царя, сошедшего от горя с ума, что его хватил апоплексический удар, он лишился дара речи и вынужден был навсегда оставить свою профессию.

Все это было рассчитано на зрителя массового, непритязательного, для которого не составляло большой разницы смотреть на подлинное, совершающееся на городских площадях казни или на терзания и пытки, которым, к примеру, подвергали грешников суеящиеся на подмостках черти. Драматурги и актеры прежде всего старались воздействовать на нервы публики, не очень-то беспокоясь об эстетичности средств; главное — произвести эффект, ошеломить. И публике нравились бесхитростные, повторяющиеся от пьесы к пьесе приемы, нравились пышность и зрелищность. Эта пестрота и густота красок была для нее так же естественна, как и привычка в случае недовольства представлением врваться на сцену и крушить все подряд. Театр долгое время считался местом непотребным, приличной женщине вообще было предосудительно там появляться.

Таков театр первой четверти XVII века во Франции. Таким он был и в Англии в елизаветинское время, как раз тогда, когда начал творить великий Шекспир. Во Франции два-три десятилетия спустя подобные эстетические привычки уже вызывают реакцию классицистов, резко повернувших руль на 180 градусов. В Англии же эта низовая, демократическая стихия вынесла на авансцену гения, произведения которого живут в веках.

Здесь не место вдаваться в академические детали, был ли Шекспир по своему характеру и темпераменту в струе нравов и требований современной ему публики. Некоторые исследователи полагают, что его художественное мироощущение приближалось к принципам классицистов, но писал он, все-таки подчиняясь вкусам лондонской черни. Однако существенно то, что все драгоценные для нас создания Шекспира были преподнесены публике той эпохи, так сказать, в расцветившей фантичной обертке. Известны слова Пушкина, раздумывавшего во время работы над «Борисом Годуновым» о важности для Шекспира «судьбы народной»: «Вот почему Шекспир велик, несмотря на неравенство, небрежность, уродливость отделки».

Но эта «небрежность», «уродливость», «варварство» и все прочие характеристики, на которые особенно щедр по отношению к Шекспиру рационалистский XVIII век, фактически были и характеристиками современной драматургии массовой культуры, от которой он не отшатнулся высокомерно, а смог поднять ее до себя, хотя сами ее потребители, может быть, и не очень сознавали, что здесь им открывается нечто большее, чем примелькавшиеся уже в театре безумцы, призраки убиенных, ведьмы, ослепленные своими сыновьями старики и прочее и прочее.

Аналогична ситуация с «вечным» Дон Кихотом, которого Сервантес замыслил в избитых и знакомых всем формах рыцарского романа, и со многими произведениями Достоевского, использовавшего тривиальную и расхожую модель приключенческого, детективного чтения.

Ближе к нашему времени тоже нет недостатка в примерах. Справедливо замечено известным пародистом А. Ивановым: «Чем, скажем, уникален такой представитель массовой культуры, как Чаплин? Тем, что его искусство ВЕРТИКАЛЬНО. Одних приводит в восторг только тот момент, когда физиономию Чарли залепают тортом. А у других сердца сжимаются от боли и сочувствия к маленькому, беззащитному человеку в джунглях большого города, такому трогательному и смешному в своей трагедии. А ведь те и другие видят ОДНО И ТО ЖЕ! Такое, конечно, не всем дано... На то и гений!» («Юность», 1988, № 3).

Можно умножить иллюстрации. Известно, какой огромной популярностью пользуется роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Но одних захватывает в нем только линия пародийная, буффонная, они восторгаются протягивающим в трамвае гризетик котом Бегемотом и его позолоченными усами, исчезновением Варенухи, проделками святы Волагда. Другие воспринимают прежде всего сторону гротескно-разобла-

читательную, социально-сатирическую, восхищаясь сценами вроде той, когда втянутые помимо воли в «художественную самодеятельность» совслужащие не могут никак окончить песню «Славное море, священный Байкал», и власти вынуждены, не прерывая «добровольного» концерта, препроводить их прямехонько в сумасшедший дом. Третьи упиваются любовно-психологическим сюжетом, историей трогательной любви Мастера и его избранницы. Наконец, четвертые устремляются к постижению универсальных законов добра и зла, совести и ответственности. Эти уже не зададут вопроса: «А к чему тут Понтий Пилат и вся эта история с Иешуа Га-Ноцри?» Для них кульминация произведения — конец романа, когда действие переносится в вечность, в космос и становится понятно, что времени нет, оно не движется, оно остановлено (поэтому и «рукописи не горят»), что история с Понтием Пилатом и Иешуа Га-Ноцри и жизнь Мастера и его современников существуют одновременно, что все в мире одновременно и единопричастно, что, произнося роковое слово или совершая роковой жест, мы вызываем потрясение в том самом времени, которое уже нельзя назвать ни прошлым, ни будущим, а которое его только застывшее, остановившееся настоящее. Но для многих читателей невозможно пробиться к этому четвертому уровню, к «вечным вопросам», «вечным ценностям» иначе чем пройдя через первые три. Невозможно предусмотреть все варианты подъяема «высокой», «вечной» культуры на гребне культуры массовой. Песенная поэзия В. Высоцкого была полна аллюзий на современность и неоспоримо популярна в «толпе» современников («Высоцкого все любят», — сказал один милиционер из заблокировавших Таганскую площадь во время похорон поэта в ответ на вопрос, любит ли он его). Каждый нерв Высоцкого вибрировал на движениях окружающей его жизни. И вместе с тем ныне уже ясно, что вибрации эти не замрут за два-три десятилетия, продолжая еще долго волновать и трогать самых разных по воспитанию, образованию и жизненному опыту людей.

Бывают случаи менее бесспорные. Но даже, к примеру, предпринятое Аллой Пугачевой переложение на музыку нескольких стихотворений Мандельштама не следует, на мой взгляд, считать столь уж безотрадным явлением. И так ли худо, что некоторые молодые люди (как узнал я однажды) впервые услышали из ее же песен о человеке по имени Казанова? Ну а если бы какому-нибудь образцовому представителю «масскалчер» захотелось взяться за роман, скажем, из жизни маркиза де Сада (сюжет, позволяющий совместить архиголливудскую развлекательность с глубокими загадками духа), то и эту инициативу можно было бы, пожалуй, приветствовать. Все-таки здесь намечается некая альтернатива характерной «высоколобой» позиции, для меня совершенно неприемлемой: дескать, «им» лучше вообще не знать ни о Мандельштаме, ни о Казанове, ни о де Саде — для «них» это слишком сложно, и толку от такого «приобщения к культуре» все равно не будет.

Вот еще пример из намеченного выше ряда. Как бы ни относиться к повальному увлечению молодежи рок-музыкой, нельзя не признать, что Борису Гребенщикову с его знаменитым «Аквариумом» удалось охватить этой «массовой» формой серьезное содержание. При этом рок-бард сознательно апеллирует к каким-то давним культурным источникам, к временам, когда поэт и музыкант совмещались в одном лице: «Десять веков назад это не разделялось, и я не вижу причин разделять это теперь».

В заключение замечу, что, по моему убеждению, свобода от культуры ширпотреба — в отсутствии специфически эмоционального к ней отношения, восторженного, как и негодующего. Последнее ведь тоже предполагает какую-то зависимость...

Валерий Большаков.

АНТИКАТАРСИС

МИХАИЛ ЭПШТЕЙН,

«Искусство авангарда
и религиозное сознание».
(«Новый мир», 1989, № 12).

У известного эстонского писателя Энна Ветемаа есть одна оригинальная стилизация — «Полевой определитель эстонских русалок», — где описаны виды русалок, якобы обитающих в водоемах Эстонии. Такой фантастический справочник, снабженный списком источников, комментариями, — полная имитация научного издания. Список, впрочем, подлинный. Автор основательно поработал с немецкими и эстонскими средневековыми хрониками, покопался во всяческой мистике и мракобесии. Такая библиографи-

ческая точность понадобилась ему для того, чтобы как можно более изысканно систематизировать и посмешней расподробнить все свои недоумения, комплексы и обиды, касающиеся женского пола, не оставив ни одной не отмеченной и не отмщенной. И вот появилось произведение, уходящее корнями в вечность вопроса, а заодно дающее ряд ценных сведений о вкусах и нравах современной эпохи позднего мужевластия.

Есть нечто сходное между этим сочинением и замыслом Михаила Эпштейна в статье, посвященной искусству поставангарда. Тут, на мой взгляд, тоже литературная мистификация. И то и другое — свободная, вполне «авангардная» проза, использующая жанровую оболочку научного исследования. Спорить со взглядом Эпштейна на эсцентрические разновидности искусства — все равно что садиться играть в карты с чертом. Уж больно умен. К тому же здесь он на своем поле. Как и Вегемаа, он вступает в уговор с нами, читателями, на им же предложенных условиях, заражает и раздражает нас интеллектуально и эмоционально, но сам вид взаимодействия — игра — предполагает присутствие некоей шуточной — и даже совсем не шуточной — насмешки в глубокомысленных по видимости рассуждениях. Чем и затрудняется, немедленно поддается под упрек в дидактизме любая полемика с ним, предпринятая в ином, «серьезном» ключе.

Эта завидная и кажущаяся нетабуированной свобода высказывания объясняется несвязанностью сознания автора никаким тайнообразующим регламентом. В то же время такая свобода взгляда, соблазнительная и несмиренная, множеством незримых тенет огораживает такое пространство мысли, в котором Богу и Духу тесно.

Своеобразие современного состояния советского интеллигента в том, что былой морализм он заменил откровенным нравственным релятивизмом, не отказываясь при этом заигрывать если не с властью, то с церковью и вообще с «божественным», остальные же «взгляды» вынес за пределы сего мира, туда, где в «астралах» скитаются отключившиеся йоги и прочие, но где, конечно, нет места Царству Божию.

Вот и Эпштейн в своем блистательном эссе выстроил систему, позволяющую объявить всех литературных правонарушителей тайными (даже от самих себя) носителями высокой религиозной идеи. С первых же слов, которыми он казуистически прокомментировал богоотрицающее высказывание абсурдиста Марселя Дюшана как религиозное (в параллель можно вспомнить А. Каюю: «Божество экзистенциалистов питается абсурдом»), ясно, что перед нами самодостаточное игровое построение со своей логикой, мистикой и этикой. Столь же ясно, что для человека со строго религиозным самоощущением невозможна самая попытка игры с Богом. Современное сознание, перенасыщенное поверхностными сведениями о восточных культах, аномальных явлениях и спиритических сеансах, о парапсихологии и экстрасенсах, о «карнавализации» и смеховых моментах дзэн-буддизма, тем не менее чрезвычайно невежественно во всем, что касается христианства. Переноса на здешнюю почву многие «нездешние» сведения, наш современник усваивает таким образом все формы духовного релятивизма, устраняясь не только от поисков «единоспасающей истины», но и просто от здоровых, природно свойственных человеку реакций. Вот почему для сегодняшних оценок недостаточно испытания вкусом: вкус, «нюх», у курильщика, наркомана, у человека пресыщенного и извращенного основательно испорчен. В лучшем случае капризное и изощренное богоотступничество или богоискательство, ряженное шутством, можно рассматривать как болезненную реакцию на долгое отлучение нашего общества от Бога. Как отвращение, испытываемое нервнобольным подростком — с подавленным в нем инстинктом веры — к супружескому благополучию Гертруды и Клавдия. Ибо что представляют собой так называемые застойные времена как не молчаливый преступный союз «сливок» старшего поколения со своими отравителями? Это, повторяю, в лучшем случае. В худшем же — перед нами предельное неприятие какой бы то ни было религиозной мысли, практики и этики широким потоком «освобожденного» от прежних условностей искусства.

И все же вопреки мнению Михаила Эпштейна — о том, что именно уродливое сегодня противостоит своим многозначительным «юродством» обесцененной этике и эстетике предшествовавшей эпохи, — многие утопленные в застое и возвращенные ныне читателю и зрителю образцы творчества не только трагедийны, то есть в высшей степени серьезны, но и высокодуховны, светоносны.

С другой стороны, как в жизни истинный дар и крест у божества встречается не часто, поражая нас силой провидения либо подвигом страдания, так и в этом, эсцентрическом и нудном одновременно, «передовом» посттворчестве возможны доподлинные юродивые, больные нашей государственной историей, но есть и просто пересмешники,

и даже дельцы жуликоватые. Да что о дельцах! Пусть бы только о самых одаренных — и умом и талантом. Коль скоро речь об их вере, то в кого? Во что?

Где этот монастырь — сказать пора —
Где пермские леса сплетаются с Тюрингским лесом,
Где молятся Франциску, Серафиму,
Где служат вместе ламы, будды, бесы...

Да простит мне преподобный отец Серафим Саровский эту невозможную цитату из стихов Елены Шварц¹ — одно из множества подобных изречений в рукописях и публикациях тех, кого имеет в виду Мих. Эпштейн! Не стану комментировать приведенный отрывок, могу только засвидетельствовать об ужасе, какой испытывает верующая душа, сталкиваясь с таким вот эпатирующим неразличением мистических «сторон света». Но в одном Эпштейн прав. Есть известное единство в описанном им направлении — оно выражается как раз в смешении уровней и повторной дискредитации всего того, что прежде было дискредитируемо и преследуемо законами и идеологией нашего государства. Это как бы новый род сектантства, еще одна «либеральная жандармерия» после забытой уже атаки революционного нигилизма.

Если хотите, в поставагарде всего прямее выразился отказ от благодати. Оказывается, ничего не стоит слить воедино понятия порчи и святости, смешать детское божеское нищее незнание со старческим и зачастую развращенным всезнайством. Что такое карнавальная смех?—вывернутость системы ради утверждения ее ценностей: приклеить комичный нос, посмеяться проявлениям жизни, здесь остается жизнь как принцип. Смех поставагардного искусства — отрицание божественного миропорядка: разбить нос, перебить позвоночник — смерть как принцип. И если это не в полном смысле смерть физическая (актер поднимается и идет пить кофе), так ведь и речь не о том. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне» (Матф., 10, 28). Черт святок смешон, забавен, жизнен (мужик ряженный) и потому — не страшен. Потому и не черт, а так, пряник с перцем. Садистически-эротический сатанинский кошмар — это уже не пряники с перцем. Смех отрицает смерть. Но наша-то отчужденность, хаотичность, холод или чрезмерная жара, вообще чрезмерность, оглушительность, отрицающая «дух мирен», свет и целостность, истину и жизнь, — это ведь смех оскверняющий, далеко не святочный, ложь и тьма.

Есть действительно вещи, ускользающие от ригористических оценок. Например, бунт Розанова. Он, грешник, любил человеческое, теплое. Жаждал примирения в человеке языческого с божеским. А что любит современный «уродливый», какую красоту—мысли? тела? или просто акта? Может быть, он актер? Михаил Эпштейн утверждает: не актер, а мист, участник мистерии. Не оргии ли? В том-то и дух сектантства: средства узаконенные кажутся недостаточно сильными. Теперь ведь никто не заплачет над сусальными ангелочками, над тремя библейскими отроками, горящими и не сгорающими в печи...

В одном из писем Розанов говорит как об «исторической тайне» о том, что эпоха декадентства наступила «по закону прямого перелома», после «позитивизма (и реализма)». Это верно и для Запада, хоть именно о России он замечает: «Вообще перешло в многообразие и тусклость — по нашему русскому обычаю...»². А применительно к нынешнему дню — уже не только в тусклость (о чем, в частности, упоминает и Эпштейн), но, пожалуй, и мертвенность.

Дело в том, что современному авангарду ничто не грозит. И потому он умирает. По видимости он проявляет себя как борьба, как вызов. На самом деле он часто — капитуляция. Вы обещаете второе пришествие? — но у нас нет сил ни сопротивляться, ни ждать. Истерика форм. Если соблазном модернизма был особый «вкус»³, то поставагард болен умом, не допускающим внушений свыше.

Заметим: модернизм 20-х годов был активным. (Хотя и тогда уже, несмотря на вспышки «массового энтузиазма», перешедшие затем в камлания толп у нас и в предвоенной Германии, дело шло к Концу.) Но то был закат, теперь — ночь. Ведь вот что странно: изощренная система доказательств, какую находим в главе «Искусство второй заповеди» из труда Эпштейна, выстраивается лишь для того, чтобы убедить нас,

¹ Елена Шварц. Стороны света. Л. 1989, стр. 48.

² В. В. Розанов, «Письма 1917—1919 годов» («Литературная учеба», 1990, книга первая, стр. 79).

³ Владимир Вейдле, «Пастернак и модернизм» (там же, стр. 159).

что творческий, или разрушительный, инстинкт в человеке есть пассивное отражение в нас мира или так называемой (в стиле застойного советского литературоведения) действительности. Этим отрицается свобода воли и какая бы то ни было ответственность за деяния.

А между тем главным деянием антиискусства должен стать подрыв того «постулата» творчества, который правильной было бы назвать мечтой: «Красота спасет мир». «Разве не вернее предположить, — пишет Эпштейн, — что именно реальность, пышущая здоровьем, чувственно округлая, полнотелая, скорее могла бы послужить демоническому искушению человечества, совратить его на земные пути и уклонить от небесных? Консервативное сознание, совпавшее в каких-то точках с религиозной традицией, не желает расстаться с той любимой реальностью, внутри которой с большим или меньшим удобством расположились организационные и идеологические структуры традиционных вероисповеданий. Они срослись с тем миром, для осуждения и разрушения которого явились на свет...»

Что говорить, бывает же и атеист правоверней правоверных. Только это очень напоминает философию небезызвестной Анны Николаевны Шмидт, мистической корреспондентки Владимира Соловьева, которая с женской непосредственностью высказала мысль о необходимости разрушить сей мир как нехристианский, за что вскоре и взялась революция в России. Ныне мы признаем случившееся катастрофой, но, видимо, не теряем надежды разрушить «дебелую» реальность как-нибудь еще раз, хоть бы и с помощью Откровения св. Иоанна Богослова, — ну не соблазн ли это? И что конкретно имеется в виду под разрушением мира в его «полнотелости»? Неужто истребление женщин рубенсовского типа? Или прародители наши Адам и Ева, изгнанные из рая и лишенные одежды Света, должны были, по мнению Михаила Эпштейна, предстать друг перед другом в виде двух скелетов, чтобы не дать художникам Ренессанса ни малейшего повода любоваться образом и подобием Божиим, заключенным в человеке и телесно?

Все-таки расставим все по своим местам. Во-первых, природа не «отменяется» Богом, а только занимает подобающее ей место. Во-вторых, уж не говоря о Возрождении с его нежной человечностью, античность тоже ступень к Идеалу. Образ античного мира близок в своих сиюющих чертах к образу рая. И предчувствует его, и провидит, и свидетельствует о нем — наготой персонажей... Вы обращали внимание на то, какие лица у нераскрашенных греческих статуй? Им — тепло. Их легкая склоненность перед созерцающими их очами мира говорит скорее о целомудрии, чем о смятении стыда. Им — не страшно. Они уже благовествуют о том, что гармония божественную имеет природу. Но что сказать о нас, переживающих новое язычество после христианства, — убивающих «по Корану», юродствующих по порнофильмам, возводящих безобразия в принцип?

В-третьих. Безразственна красота без Бога. У язычника древнего были божества лесные, водяные и домашние. В этом смысле эстетика предков выше и одухотворенней современной. Теперь русалок химией поубивали, домовых — семейными скандалами. «Пан умер». Обессилели тихие демоны, которым тоже пришлось проходить путь познания добра и зла вместе с историческим человечеством. Уже никто не может перевести дерево через дорогу, как бы ни мечтала об этом Елена Шварц. Ни одно дерево нашей бессильной доброте и малoverной молитве не подчинится. Не подчиняются художнику его собственные образы. Все это несомненно связано с разрушением образа Божия в человеке и в искусстве, с разрушением фигуративных образов живого мира и оскудением его номинативного ряда, с умиранием слов.

Впрочем, то, о чем я здесь говорю, самоочевидно и не требует доказательств. Эпштейн опять-таки прав: доказательства — везде, во всем, даже в завалах шлака. Каждый из нас — изобретатель велосипедов, и мною также пережита мысль о Боге не в связи с красотой природы, а именно при созерцании отходов человеческого быта. Эти отходы как-то явственно свидетельствуют об оторванности человека от остального мира, о его свободе делать зло и не стыдиться, не прятать в землю повсюду за ним бредущий хаос. Мусор, летящий по рыночной площади после базарного дня, — знак невключенности человека в природный круговорот. И он необязательно говорит о том (как у художника Кабакова — пример из Эпштейна), что весь человек — персть земная. Напротив — здесь напоминание, что сам собой человек не может вернуться даже в эту персть. И авангард сам бывает очень похож на отходы литературной творческой деятельности. В этом смысле авангард дегенеративен. Он упраздняет регенерацию, утверждая торжество смерти вещей и самого человека как сущей вещи.

Со своей стороны мне хочется противопоставить громоздкой теории суперискусства и суперверы живое переживание этого «религиозного» направления в культуре в одном из просмотровых залов, где проходила демонстрация так называемого параллельного кино. Дело в том, что кино, как гигантский иконический образ мира, включающий в себя все искусства, предоставляет огромные возможности «соревнования» с Творцом. И если всю символику в этой модели подчинить торжествующей «самости», получается тяжелое орудие против Бога и человечества.

Поскольку ниже речь пойдет о кино, подвергшемся всем тем же влияниям, что и занимающая М. Эпштейна поэзия, определим его состояние по отклику зарубежной критики в связи с программой наших фильмов на одном из недавних международных фестивалей. Советское кино последних лет признано самым мрачным и самым безжалостным в мире. Говоря словами искусствоведа Л. К. Козлова, выступившего на «круглом столе» в редакции «Киноведческих записок» (июль 1989), «мы клеймили позором «серые» и «розовые» фильмы времен застоя, предавали их анафеме — неужели ради того, чтобы возник феномен «черного» (или даже грязного) фильма эпохи перестройки?.. Мне могут возразить с позиций «безжалостной правды»: общество в кризисе, с людьми происходит что-то страшное, чего же ты хочешь от кинематографа? Могу ответить: хотел бы духовного противостояния» (разрядка моя.—О. Н.).

Из выступления там же И. Шиловой: «Строго говоря, у нас вообще не было благополучных эпох. Однако у нас были художники, которые умели в любой неразберихе, в любом кошмаре удерживать в своем сознании образ мироздания, Богом или природой им данный. Поэтому сегодня нужно не только искать причину ситуации, в которую мы попали, а констатировать, что происходит некое уничтожение самой фигуры художника... Сегодня у нас, я могу сказать, нет ни одного художника, который оказался бы творцом своего целостного мира, а не ретранслятором актуализированных времен идей».

А в словах Д. Дондурей содержится следующее обобщение: «...в последние годы происходят какие-то важные мутации в самой культуре. А они, уверен, обусловлены не только и не столько перестройкой, то есть новым социальным заказом. Здесь речь должна, видимо, идти об игре с эстетикой кича, об откровенном цитировании на грани плагиата, о попытках найти кинематографический аналог соц-арта и т. д. Конечно, все это можно назвать «постмодернизмом». Назвать — не объяснить. Я же думаю, что это вызревание нового стиля, выросшего на перегниев социалистического искусства. Грубо говоря, мы находимся на стадии переваривания постмодернизма в наших славных условиях, на нашей непостижимой национальной — культурно-исторической — почве».

Здесь я хотела бы выделить, во-первых, требование «духовного противостояния». Во-вторых, «уничтожение самой фигуры художника». И в-третьих, то, что речь идет о «мутациях», то есть об органическом повреждении художественного сознания, связанном, как кажется, прежде всего с утратой каких бы то ни было нравственных ориентиров. И, добавлю, с невозможностью сразу принять этику жертвы, учение любви, после того креста марксизма, ленинизма и сталинизма, от которого исподволь освободила (!) наше общество еще эпоха застоя. Тут-то мы и получили в руки прямо-таки новую игрушку: ни во что не верить, никого не любить и ничего не бояться. Да ведь это заповеди недавних узников всех лагерей и застенков! Вернее, это уже перенос лагерных заповедей на внешнюю жизнь, которая должна бы именоваться волей, но все имеет какую-то решетчатую структуру.

Однако не буду преувеличивать особенностей нашей недавней истории как причины кризиса искусства, носящего все же общемировой характер.

Еще в 1950 году Георгий Федотов писал по поводу modern art: «...если человечество сейчас более чем когда-либо разделилось на палачей и жертв, то передовое искусство скорее с палачами, чем с жертвами... Если это искусство жертв (Кафка), то впадших в прострацию отчаянья. Ни там, ни здесь невозможно ожидать очищения страстей. Впрочем, и сострадание покинуло нас, оставив один ужас».

Это рассуждение вспомнилось мне, когда, как от тяжелой болезни, оправлялась я от впечатления, оставленного двумя лентами на «элитарном» фестивале в Риге. Очевидно, это были не самые эффектные «бомбы» в рижском «Арсенале», но и они оставили едва ли не «один ужас» в душе рядового зрителя, каковым являюсь и я. Между тем если у этого акта творчества оказалось так много покровителей, согласных оплатить его путешествие к нашим берегам, к жадному до новых впечатлений массовому потребителю и сотворцу самого массового из искусств, значит, мое пребывание в фести-

вальном зале нельзя назвать случайностью, и уже это заставляет меня анализировать увиденное.

Итак, «Гипотеза похищения картины»⁴, где все персонажи жестами своими очерчивают круг, настойчиво реализуя метафору «круга порочного».

Из бессвязного по первому впечатлению комментария «коллекционера» мы узнаем постепенно, что Бог оставил человека и жизнь под крышей этого искусства без Бога стала кукольной. Стало быть, и порок перестал быть драмой человека, а сделался атрибутом художественной структуры, такой механической пружинкой, с помощью которой завязывается конфликт — или, верней сказать, «скандал».

Как же это происходит в фильме? Дело в том, что действие в этой необычной ленте передоверено камере и рассказчику. Камера, переходя от плана к плану, запечатлевает лишь остановленные мгновения, как в детской игре в «замри». Зато рассказчик переходит из кадра в кадр, непринужденно двигается «внутри», в самом пространстве искусства, истории и фантазии, среди тех самых сцен, которые мы только что видели изображенными на холсте, теперь «оживших», но не утративших при этом своей зачарованной неподвижности. Комментируя демонстрируемые положения, а также события, совершающиеся за кадром, он расхаживает по этим заколдованным королевствам в заурадном костюме, настолько современном, насколько и не модном. Это именно наряд человека, еще не затронутого тотальным отречением новейшего времени от всей культуры вкупе с ее ближайшими бытовыми формами в виде «цивильного» костюма. Иначе он был бы одет в какой-нибудь блейзер, майку, шорты, джинсы, раздувающиеся и плоные одеяния голубого и розового цвета, ибо империя новой поп-культуры отказалась от своего возраста, памяти и обязательств и оделась во что-то, напоминающее детские ползунки и комбинезоны. Это мода инфантильного поколения, вслед за которым остается только один шаг к блаженному идиотизму младенчества. Рассказчик же находится еще в «возрасте» взаимодействия времен.

Нам показывают дом художника, его картины (вернее, сначала картины, затем дом, ибо картины находятся и вне дома и вне холста). Собственно, это «живые» картины в полном смысле осуществленной метафоры — в настоящем (или бутафорском) саду, заполненном клубами сырого тумана, как это бывает во сне или, скажем, у Коро, одним словом, в художественном пространстве, намеренно размытом (туман заменяет краски, которые живописец наносил бы на холст). В нем замерли фигуры живых людей в костюмах мифологических героев, тщательно драпированные, подобранные по типажам.

Итак, движется камера — от картины к картине, от персонажа к персонажу, а рассказчик знакомит нас с обстоятельствами «кражи», с версией исчезновения последнего сюжета. Мы задерживаемся у пустой рамы. Что должно было находиться в ее мертвой пустоте? Кто «украл»? И зачем? Что-то здесь должно быть украдено у человечества во имя самой жгучей современности. Мало-помалу рассказчик посвящает нас в интимные тайны творчества, одновременно оказывающиеся семейными тайнами. Украдено, изъято целомудрие, на котором настаивает культура с тех пор, как была преодолена в целом эпоха язычества.

Вспомним, однако, что даже у диких племен существовали многие табу и с незапамятных времен — закон, запрещающий инцест. А существует ли хотя бы что-нибудь запрещенное в современном кинематографе? Чем вообще удерживают зрителя на такой вот искусствоведческой лекции докторá от режиссуры? Да вот же: обнаженная натура, словно бы одетая гармонией классических форм. Нет, это слишком целомудренно по нынешним временам. Всю сцену необходимо осквернить, снизить до бульварщины. Вот старик на ложе любви и сразу две Данаи, протягивающие к нему руки как к золотому дождю. Вот еще одна темная по смыслу, обморочная сцена с «тетей и племянницей», чьи болезненно-белые тела должны же задержать внимание «среднего» зрителя...

Но сказать вам на ухо? — все эти картины не подлинники. Не обольщайтесь красотой павильонной. Искусство, превращаясь в новейшее время в систему систем, утрачивает черты высокой сложности, многозначной, многоуровневой целокупности. Здесь-то мы и выходим на след «кражи».

Автор фильма — художник. Но и похититель — несомненно он же. Украденная картина — наш целостный душевный мир. Кто-то пытается путем искусной имитации и компилирования украсть у целостных культур их вечный секрет, тайну творения. Но в результате получается искусство поверх искусства — культура наукообразная, «куль-

⁴ Режиссер Рауль Руис (Чили).

турологическая», оперирующая фрагментами, каждый из которых — часть посторонней структуры.

В иррациональном пространстве фильма — от мифа до мещанского фарса («скандала») — нет места чуду. И зритель не может поверить в эту искусственно созданную «тайну».

Рыба гниет с головы. Сначала усложненностью стремятся заменить целостность, потом искусственно сложное приобретает тенденцию к упрощению, и все кончается торжеством инстинкта. Такая последовательность прослеживалась в показанных один за другим фильмах этого фестиваля. По крайней мере когда свет зажегся и снова погас, мы увидели такой же вылепленный из живой пластики, из эротосоциологии, политики и сексопатологии набор позиций, как и в первом фильме. С той разницей, что человек в ленте под названием «Маммамам» (какая-то экспериментальная молодежная студия Колумбии) не имеет начал, что он изъят из рамок культуры; что с него содраны всякие покровы, что у него нет не только Бога, но даже матери и отца — один лишь наставник, репетитор, шеф, отдающий приказы. Надо воздать должное уменью и энергии, с которой артисты исполняют это изнурительное «простое, как мычанье», призванное не столько разрушить норму, сколько не дать возникнуть даже тени идеала.

Язык фильма — современный балет, мимика, игра с пространством, натура — тело и сцены на открытом воздухе, на фоне стихий, живописный план, напоминающий полотна Дейнеки; и все это понадобилось для показа (всерьез или пародийно) живых кукол, заведенных на все обороты, на все инстинкты в порядке их деградации. Ощущается заданность положений. Так, море, живая декорация, призвано словно бы возвращать своими космическими ритмами уже ставшего механическим человека обратно в лоно магушки природы с якобы заложенной в ней моралью. Фильм этот можно принять за политический памфлет, заодно с пропагандой сексуальной свободы (если его первая часть отдана игре двоих друг с другом, то во второй — посреди «коллектива», одетого во френчеобразные куртки, безраздельно властвует Лидер). Но настоящей кульминацией здесь, без сомнения, является долгий и яростный гомосексуальный акт — как апофеоз революции тела.

Так что же: «учитесь у природы» или «выражайте себя вопреки природе» — демоническое, отрицающее незримый, но внятный человеку внутренний закон? Неужто прежние века со всеми их гениями и пророками лишь подготовили почву для все более стерильного «мастерства» во взаимоотношении полов и для подчинения человеческого стада «лидеру», этому миму без души, с одною лишь волей? Какой гигантский скачок в никуда: от древнего фольклорно-сакрального театра, через голову, нет, через сердце Рене Клера, через двадцатилетие экзистенциализма — к «народным» студиям свободного мира. Рассуждать об этом фильме для меня настолько же мучительно, как, соблюдая вежливость, говорить с убийцей и растлителем. Единственным желанием моим было уйти из зала, когда не уйти казалось невозможно. Но я досмотрела этот «гроб поваленный» и разверстый до конца, для того чтобы убедиться, что чуда не произойдет и в финале волею режиссера не придет какое-нибудь возмездие, какой-нибудь бутафорский Командор с огнеметом. И действительно: ангел не вострубил. Все вышли из зала красные и умудренные постмодернистским уроком.

Какие там идеи, идеалы! Разве можно назвать осмысленной речью эту партитуру затрудненного дыхания и звериные ноты мышечных усилий труда и соития. Нет сомнения в том, что какие-нибудь сохранившиеся еще в дикой сельве племена неизмеримо выше в своем развитии, чем это цивилизованное порно.

И вот — в условиях доступной нам демократии — я протестую! Пусть скажут, что я ретроград. Но я вижу здесь одну лишь сознательную злую волю извлечь из-под спуда все темные инстинкты и узаконить их как социально приемлемые. Нормальный человек, живущий в зараженной атмосфере, где он и так постоянно подвергается опасности морального и физического уничтожения, не может не ощущать великой опасности таких шоу. И не понимать различия между очистительной силой самоотдачи в высоком ли искусстве, в честном ли балагане — и смертельным ядом антикатарсиса в механических подобию того и другого.

Ольга Николаева,
поэт, слушательница
Высших литературных курсов

НА РАЗВАЛИНАХ КУЛЬТУРЫ

Слово «перестройка», стыдливо прикрывающее начавшиеся попытки высвобождения из духовного рабства, предполагает, что у нас было нечто построено. Тупик в области экономики каждый ощущает на себе, но ощутить гибель культуры могут только те, в ком уцелела определенная духовная чувствительность. Иначе можно продолжать верить в то, что у нас если не лучшие в мире, то сопоставимые с мировым уровнем литература, музыкальная жизнь, театр, наука, философия и т. п. В действительности хребет культуры сломан; сохранились отдельные очаги, отдельные творческие коллективы и люди. Перестройка обнажила наши «запасники», существующие вопреки социальному подавлению культуры — за счет внутренней и внешней эмиграции. Благодаря «тамиздату» и «самиздату» сберегались и обогащались источники культуры, ее животворные силы. Тем не менее подлинная культура как социальный механизм не могла функционировать в условиях духовной и физической несвободы. Социальный механизм культуры подразумевает наличие не только творцов, но и потребности в творчестве. Если общество перестает нуждаться в полноценном развитии культуры, то подлинная культура перестает существовать как некоторое национальное целое, как то, что можно в прямом смысле называть культурой. Лагерная самодеятельность — это не культура, но лишь инструментальное использование сохранившихся элементов культуры для воздействия на душевное состояние обитателей лагеря. При этом никакого значения не имеет тот факт, что в этой самодеятельности участвуют подлинные артисты. Ни МХАТ, ни музыка Шостаковича не определяли лица советской культуры. Это были лишь допущенные для использования в идеологических целях и строго локализованные (вспомним, сколько идеологические Дряни ставилось на основной сцене МХАТа и сколько гонений претерпел Шостакович!) очаги подлинного искусства. Культура, ставшая служанкой идеологии, не может жить и развиваться как культура, помогающая оставаться каждому человеку — существом, неспособным примириться с собственным рабством.

Сегодня, когда мы пытаемся превратить бывший Гулаг в более или менее цивилизованное общество, утрата культуры резко дает себя знать дефицитом духовно свободных людей. Свободу недостаточно объявить сверху — реализовать ее могут только стремящиеся к ней люди, без которых неосуществимо духовное и материальное устройство общества.

Однако разгром культуры не первопричина наших бедствий, а следствие победы идеологии, противопоставившей социальные проблемы религиозным. Торжество это привело к тупику в социально-экономической сфере, деградации культуры и в конечном счете к уничтожению человеческого в человеке. Началось все это гораздо раньше 1917 года. Варлаам Шаламов писал: «Русские писатели-гуманисты второй половины XIX века несут на душе великий грех человеческой крови, пролитой под их знаменем в XX веке. Все террористы были толстовцы и вегетарианцы, все фанатики — ученики русских гуманистов»¹. Культура породила идеологию как орудие своего самоуничтожения.

Отказ от Бога есть отказ от свободы личности, то есть отчуждение личности в пользу идеологии, цементирующей структуру тоталитарной власти. Поэтому любая тоталитарная структура прежде всего антирелигиозна — она стремится оторвать человека от Бога. В нашей стране укрепление партократии было бы немислимо без разрушения всех религий — не только монотеистических, как христианство, иудаизм и ислам, но и буддизма.

Уничтожение евреев в гитлеровском государстве было в основе не расовой, а антииудейской акцией (юридическое определение еврея основывалось не на расовых признаках, а на исповедании иудаизма родителями родителей). Не имея возможности безболезненно уничтожить христианские исповедания, национал-социалисты пытались сначала выкорчевать ветхозаветные корни христианства — саму идею освобождения от рабства путем завета с Богом. (Христос своей жертвой искупил человечество не только от власти государственных и племенных структур над душами и волей людей, но и от господства смерти.) Антихристианские настроения Гитлера достаточно хорошо известны, церковь при национал-социализме подвергалась массовым репрессиям, но основной удар был нанесен по ветхозаветной традиции, чтобы разрушить саму потребность свободы и низвести христианство до уровня бытовой обрядности. При всех сложностях иудео-христианских и христианско-мусульманских отношений христианская ре-

¹ «Вопросы литературы», 1989, № 5, стр. 243.

лигия никогда не дискредитировала основы монотеистических вероучений, не рассматривала их как язычество. Это очень важно помнить при решении сегодняшних конфликтных ситуаций между религиями. Любая дискредитация ислама или иудаизма ударяет и по христианству. Долг христиан сопротивляться идеологическому язычеству, но уважать другие пути к единому Богу, породившие свои культурные традиции.

Говоря о религиозном фундаменте подлинной культуры, я никак не собираюсь отлучать от нее неверующих, вложивших свою немалую долю в развитие и поддержание культурного генофонда. Однако сам европейский атеизм как явление культуры есть эманация иудео-христианского религиозного пафоса поиска и отрицания Бога Старого и Нового завета. Вне этого религиозного фундамента немислимы Белинский и Чернышевский, Маркс и Плеханов, Франс и Ницше. Сегодня пошатнулись не только стены здания культуры, но существенно размылся ее фундамент. Вот почему я не верю в попытки возрождения культуры без новой евангелизации общества и вообще восстановления монотеистической религиозности. Те агностики, которые способны сейчас дать культуре и обществу нечто ценное, это люди, еще сохранившие старое культурное наследие, уходящее корнями в религию. Но эти корни слишком слабы, чтобы без их укрепления что-то могло вырасти на нашей почве.

Лишенная религиозных оснований культура превращается в инструмент формирования псевдосознания, в антикультуру. Подлинная культура может развиваться только в условиях духовной свободы. Идеология нуждается не в творцах, а в исполнителях, которыми можно манипулировать по произволу идеологических руководителей, узурпировавших право выступать от имени общества, опираясь на самую темную его часть, легко подверженную действию социальной демагогии. Отсюда знаменитый лозунг «писатели — инженеры человеческих душ» и примат технологической культуры над гуманитарной. Отсюда и планомерное вытеснение традиционной русской интеллигенции так называемой советской интеллигенцией, воспитываемой в рамках искусственно создаваемого антикультуры.

Аппарат революционного и идеологического подавления культуры рекрутировался из люмпенов, лишенных культурной традиции, а также из атеистической интеллигенции. В частности, приток евреев в ряды революционеров и партийных функционеров в 20-е и 30-е годы шел за счет деклассированной и утратившей традиционные религиозные связи части еврейского населения. (О том, что религиозные евреи в революцию не шли, очень четко написал В. В. Шульгин.) Разгром русского крестьянства и насильственный отрыв от религии городских масс создал новый слой обескультуренных люмпенов, из которых в дальнейшем формировались правящие структуры. Разгром культуры создал условия для формирования специфического типа людей, лишенных нравственных ориентиров и ощущения культурных ценностей, а потому легко идеологизировавшихся. Отсюда истоки дальнейшей деградации науки, культуры и экономики. Яркой иллюстрацией этого служит последний съезд КПСС, значительную часть депутатов которого больше заботили проблемы борьбы со спекуляцией, чем экономического и культурного обновления, а сохранение утопических идеалов казалось им важнее спасения жизни и духовного здоровья людей. Говорить о том, что советский строй гарантирует большую социальную защиту, чем это достигнуто в развитых капиталистических странах, могут только люди, полностью одуроченные идеологией и принимающие пустые лозунги за действительность.

Выход из тупика может быть только один: перестать считать себя великой державой, в том числе и в культурном отношении. Эта мысль отчетливо выражена в яркой статье В. Н. Тростникова о национальном покаянии России в акте царубийства («Вече», 1990, № 37). Страна, топчущая самое лучшее, что возникает в ее культурном слое, не может быть культурной, несмотря на обилие лауреатов всяческих премий и даже на наличие гастролирующих за границей музыкантов или отдельных ученых, котирующихся в мировом научном сообществе. Для выхода из тупика нужен дух личной свободы. Обнадеживает появление новых имен и проявившийся интерес к старому культурному наследию. Но культура не может развиваться в рамках социальных структур, определяющих направление ее развития и возможности ее реализации. Деятели культуры не могут быть ни в какой мере зависимы от руководства так называемых творческих союзов и других органов, осуществляющих государственное регулирование в сфере культуры. Творческому работнику, как и крестьянину, руководящие указания противопоказаны. И тем и другим нужно пространство свободы действий. Впрочем, это относится ко всем сферам общества, ибо мы утратили не только культуру в узком смысле слова, но и культуру земледелия, культуру производства и т. п.

Духовное возрождение России возможно лишь на религиозной основе и может начаться только с покаяния. Это не очень просто психологически, ибо все мы чувствуем себя пострадавшими, и русский народ не в меньшей степени, чем другие. Но каждый из нас несет свою вину. В лучшем случае это вина молчания. Можно только позавидовать Солженицину, Сахарову и им подобным, кто нашел в себе мужество открыто не соглашаться с тем, что творилось. Это люди, которыми мы обязаны гордиться. Благодаря им мы получили сегодняшний исторический шанс. Но не стоит пытаться разделить с ними их заслуги, даже если мы тоже что-то понимали и что-то пытались сделать.

Самое опасное — это придумать новую идеологию или пытаться сделать нечто приемлемое из старой. Отдать себя идеологии значит отказаться от личного сознания в пользу готовых идеологических схем и погасить дух в себе. Настоящая религиозность диаметрально противоположна идеологичности. Религия требует от человека непрерывного трезвения, а идеология опьяняет. Религия требует свободы для личной встречи с Богом, который не совпадает со всем тем, что можно о Нем сказать, а идеология —

полного подчинения «сверхценной» идее, от имени которой выступают идеологи. Религия учит любви, а идеология — ненависти к инакомыслящим. Только от имени идеологии разрешается судить целые классы и народы.

Сегодня религия вошла в моду, христиане в России вышли из катакомб. Это открывает возможности приобщения к вере многих, приходу в церковь детей. Но это же открывает путь для легкой внешней религиозности, когда не происходит евангелизация повседневной жизни. Опасность эта тем больше из-за того, что церковь слишком долго была отделена от народа (но отнюдь не от государства) и не имеет опыта христианизации жизни. Тем не менее только в христианизации всей жизни, включая семью, работу и культуру, залог духовного возрождения России. Замечу только, что христианизация таинственным путем («Дух дышит, где хочет») осуществляется не только через различные христианские вероисповедания, но и через религии, не исповедующие Христа. Для духовного возрождения России очень важно найти практические пути духовного взаимодействия христианства с исламом и иудаизмом. Речь не идет о компромиссе или попытках объединения разных вероисповеданий (даже собственно христианских). Речь идет об экуменизме как общей ответственности за устройство страны.

Сегодня набирают силу различные попытки духовного возрождения на чисто национальной основе. Лично мне импонирует идея просвещенного патриотизма, провозглашаемая платформой христианских демократов. Конечно, трудно провести четкую границу между патриотизмом и национализмом. Ключевой момент здесь состоит в альтернативе: религия или идеология. Просвещенный патриотизм ориентируется на религиозные критерии, душной национализм превращается в самодостаточную идеологию, приспособляемую к самым темным инстинктам. Некоторые претензии отдельных лидеров развивающегося в России национального движения могут показаться странными. Например, позитивное отношение к Сталину, присущее как будто некоторым из них. Или идея взять на себя функции Господа Бога судить народы. Однако возникновение такого идейного течения вполне закономерно. Это естественная реакция идеологизованного общества на возникающий идеологический вакуум путем попытки возвести в ранг идеологии еще не скомпрометированную и даже прежде гонимую идею национальной консолидации. Чтобы на этом построить идеологическую структуру, нужно объявить национальную идею сверхценностью, ради которой допустимо практически все. Эта идея должна быть неминуемо поставлена выше религии. Православие в этом случае оказывается ценностью лишь как национальное культурное достояние. Вместо покаяния начинают искать виновных в национальном унижении. Сверхценной идее нужны удобные союзники, так что можно использовать культ Сталина, армии или КТБ. Можно даже социализм считать национальным достоянием. Логика здесь вполне несложная.

Сказанное отнюдь не порочит саму идею национального возрождения (я лично думаю, что нация в наибольшей степени определяется общностью культуры и судьбы). Только религиозный фундамент может защитить эту идею от превращения в идеологические схемы. Сама идея духовного возрождения не может быть собственностью той или иной политической группировки — она должна быть основой консолидации всех духовных и политических течений, предлагающих свои пути возрождения нашей страны. Но, думается, стоит осознать, что на основе идеологических схем реального устройства жизни осуществить нельзя, а можно лишь спроектировать очередную утопию.

Духовное возрождение — это прежде всего возвращение к истокам религиозного сознания.

Ю. ШРЕЙДЕР.

КОРОТКО О КНИГАХ:

*

I. АЙЗЕК БАШЕВИС ЗИНГЕР. Шоша. Роман. Перевод Нины Брумберг. «Урал», 1990, № 7, 8.

ИСААК БАШЕВИС ЗИНГЕР. Рассказы разных лет. Перевод с идиш Льва Беринского. «Иностранная литература», 1989, № 4.

АЙЗЕК БАШЕВИС ЗИНГЕР. Мертвый скрипач. Рассказ. Перевод с английского А. Бурштейна и Л. Ваксмана. «Урал», 1989, № 12.

ИСААК БАШЕВИС-ЗИНГЕР. Маленькие сапожники. Перевод Владимира Азейнштадта. «Родник», 1989, № 11.

Несмотря на то, что Зингер является лауреатом Нобелевской премии (1978), мы еще не договорились даже, как его зовут: то ли Айзек, то ли Исаак. Впрочем, в этой двойственности есть своя правда. Имя его Isaac, прочтение же зависит от того, каким писателем его считать — американским или еврейским. Зингер родился в Польше в 1904 году и в 1935 году эмигрировал в США, где живет и поныне. Рижский журнал «Родник» специально отмечает, что американские критики видят в Зингере классика современной американской литературы, но не указывает, с какого языка сделан перевод публикуемого рассказа. Журнал «Урал» указывает, что роман «Шоша» (1978) и рассказ «Мертвый скрипач» переведены с английского. Можно подумать, что Зингер пишет по-английски; между тем после присуждения ему Нобелевской премии интервьюеры удивлялись: «Более сорока лет вы пишете — и это в Соединенных Штатах! — на языке идиш и к тому же о мире, которого сегодня больше нет». Словом, Зингер — прозаик не столько американский, сколько еврейский.

Не менее важно договориться о системе координат, в которой живет проза Зингера. «Урал» поместил перевод его рассказа внутрь «Текста», это такой авангардный журнал в журнале, а переводчики рассказа прокомментировали свою работу так: «Более всего нас интересует реальность мифа». Между тем Зингер ни в каком смысле не авангардист, и хотя слово «миф» произнесено не случайно, созданное им весьма далеко как от джойсовского мифологизма, так и от экзистенциалистского — у Сартра или Камю. Зингер, если воспользоваться нашими привычными определениями, писатель-почвенник, причем, естественно, не американский (как, скажем, Фолкнер). Он еврейский религиозный почвенник, и почва его — хасидизм (течение в иудаизме), вера, быт, мироощущение, фольклор польских евреев-хасидов; это и есть тот уничтоженный нацистами «мир, которого сегодня больше нет», хотя хасиды в современном мире есть. Наш читатель о нем, как и об иудаизме вообще, знает мало, а читать Зингера без ясного представления о хасидизме — все равно что читать русских классиков без понятия о Православии. В этом смысле «грамотно» представлен писатель только в «Иностран-

ной литературе»: Лев Беринский снабдил свои переводы не только необходимым послесловием, но и глоссарием, разъясняющим непонятные большинству читателей термины.

Наиболее крупной публикацией Зингера в нашей стране является роман «Шоша», который можно читать и как любовный роман и как роман воспитания; написанный от лица молодого писателя из хасидской среды, он производит впечатление автобиографической книги (редакция «Урала», к сожалению, не подтверждает и не опровергает эту догадку). И все-таки «Шоша», один из многих романов Зингера, не производит такого сильного впечатления, как малая проза, которая принесла ему мировую славу. Рассказы его зачастую полны всяческой чертовщины, но она является не только плодом писательского воображения («Я верю, что мы окружены невидимыми силами, не познаваемыми нами»); источник зингеровской фантастики — народное сознание, хасидский мистицизм. В «Мертвом скрипаче» мы читаем о диббуках — душах мертвецов, вселившихся в девушку и разговаривающих ее устами с жителями городка. А «Тишевицкая сказка» написана от имени беса, конечно, еврейского («Что я еврей — и говорить не приходится. А кто же еще, гоф, что ли?»), к тому же последнего, пережившего оккупацию Польши («Нет больше бесов... Нас тоже всех уничтожили»); бес нашел на чердаке несколько книжек на идиш, читает, печалится и радуется над ними.

Надо сказать, что Зингер не идеализирует ни своих персонажей (я говорю уже о людях, не о нечистой силе), ни хасидскую среду вообще; в этом отношении он вполне свободен, нисколько себя от этой среды не отделяя, это его родное. Я, человек другой почвы и веры, думаю, что стоит сделать усилие, чтобы войти в мир этого большого писателя. Не стоят такого усилия только безверие и беспочвенность, в какие бы оригинальные формы они ни отливались. Но это к Зингеру уже не относится.

II. ВОСПОМИНАНИЯ КРЕСТЬЯН-ТОЛСТОВЦЕВ. 1910—1930-е годы. Составитель А. Б. Рогинский. М. «Книга». 1989. 479 стр.

Толстого читали, кажется, все. Его религиозно-философские работы (в подлиннике, не в пересказе) знают меньше. С историей толстовского движения знакомы совсем немногие, да она еще и не написана. Толстовство было осуждено Русской Православной Церковью (хотя пресловутое «отлучение» всего лишь констатировало добровольное отпадение Толстого от Православия); толстовство притеснялось и царским и советским правительствами (хотя, как признают мемуаристы-толстовцы, до революции прижимали несравнимо мягче); оно было отвергнуто как русским революционным движением (помните — «помещик, юродствующий во Христе»), так и русской религиозной фило-

софией (см., например, работу И. Ильина о сопротивлении злу насилем); толстовцев искореняли и во время «великого перелома» и в 30-е годы, расстреливали в гражданскую войну за отказ брать в руки оружие и окончательно достреливали в Отечественную — на этом кончилось толстовство как организованное движение.

Как пишет в предисловии к сборнику М. И. Горбунов-Посадов, интереснейшей ветвью толстовства в первые послереволюционные десятилетия было движение толстовцев-земледельцев: «...интеллигенты и крестьяне, рабочие и бывшие солдаты начали осуществлять на деле заветную мечту... о свободном, ненасильственном земледельческом труде как идеале человеческого общежития». Об этом и рассказывает сборник. В него вошли воспоминания В. В. Янова, Д. Е. Моргачева, Я. Д. и И. Я. Драгуновских, М. И. Горбунова-Посадова, рассказ Б. В. Мазурина о коммуне «Жизнь и труд» (его в сокращенном виде печатал «Новый мир» — 1988, № 9) и Е. Ф. Шершеневой о Новоиерусалимской коммуне имени Л. Н. Толстого, а также переписка толстовцев, уставы коммуны, обращения к правительству и другие интересные документы (кстати, пора издать и у нас в стране книгу М. А. Поповского «Русские мужики рассказывают. Последователи Л. Н. Толстого в Советском Союзе. 1918—1977». Лондон. 1983).

За каждой страницей сборника встают живые люди, целостные народные характеры, вызывающие уважение и симпатию; бросается в глаза (особенно у В. В. Янова) нерушимое душевное спокойствие и перед лицом репрессий, верность своему выбору, нравственному идеалу: жить не по лжи (если воспользоваться знакомой формулой). Самое примечательное в книге — тон, язык, которые не смог бы подделать самый искусный профессиональный сочинитель.

Впрочем, некоторые эпизоды вызывают сложные чувства. Д. Е. Моргачев вспоминает, что в 20-е годы (когда, добавлю от себя, по Церкви уже прошел вал кровавых репрессий) один председатель райсполкома предложил ему сказать на собрании «что-нибудь о церкви»; он согласился и начал так: «Священники-попы в церквях проповедуют с амвонов, обманывают народ, затуманивая истину. Недалеко то время, когда с амвонов народ будет слушать доклады ученых...» Короче, говорил искренне, но то самое и теми же словами, как говорил бы казенный лектор-атеист, из уст же верующего толстовца всё это звучало убедительнее — председатель был не глуп...

Когда читаешь эту книгу о крахе мечты о безгрешной внегосударственной жизни, особенно ясно понимаешь, что толстовство как движение может возродиться, но общество и на толстовстве возродиться не может. На первый взгляд отвечая курсу на «приоритет общечеловеческих ценностей», последовательное толстовство не примирилось бы ни с собственностью, к которой мы наконец-то возвращаемся (ни с государством, без которого мир (как известно, лежащий во зле) устоять не может (ведь сейчас одновременно проклинают государство за его преступления и к нему же взывают о защите от насилия не государственного), ни с Церковью, неотделимой от народной судьбы.

Судьбу эту, историю народа надо знать и понимать во всей трагической сложности и полноте, чему и служит рецензируемая книга.

Андрей Василевский.

✱

ГОЛОС. Общественно-политический и художественно-публицистический сборник. Иркутск. Восточно-Сибирское книжное издательство. 1990. 144 стр.

В Иркутске вышел в свет сборник «Голос». И что же тут удивительного? Мало ли что нынче выходит и нового и «хорошо забытого старого»: вот и Солженицын вышел в Томске, и Набоков в Воронеже. Бог даст, доживем до Фрейда в Чите и до Ницше в Магадане.

Но не о притоке новой информации в российскую провинцию речь, не о подключении-приобщении. Речь о ней самой, о провинции, о ее судьбе, создании (воссоздании?) ее культурного контекста, культурной среды. И вот в этом-то плане иркутский «Голос» примечателен и, может быть, является некоей вехой.

«Региональная культура? Культура провинции? А почему бы и нет?.. — писал в «Новом мире» (1989, № 8) М. Петров из Твери, тут же тревожно вопрошая: — Что же случилось? Почему так сузилась география нашей отечественной культуры? Или все таланты немедленно переезжают в Москву, или перестала российской земля рождать собственных Платоновых, Чижевских, Циолковских, Мальцевых, Кондратьевых?.. Кажется, наконец-то мы поняли всю гибельность дальнейшей централизации народного хозяйства, осознали ее экономический, нравственный, политический вред... Не пришла ли пора сделать еще один шаг и наконец понять не меньшую, а, может быть, даже большую гибельность, которую несет нашему обществу централизация культуры? Оглядываясь в прошлое, с горечью думаешь о том, что сегодня даже представить невозможно, что где-нибудь в провинциальном Пскове или Новгороде архитекторы и местные власти отстаивают собственный градостроительный стиль, а в Иркутске или Красноярске миллионным тиражом издается журнал, который рассказывает о духовных, нравственных проблемах жителей Сибири».

До миллионных тиражей, положим, далеко, но сибирский «Голос» звучит как бы в ответ словам писателя-тверяка, негромко, быть может, но обнадеживающе. Дело в том, что тема провинциальной культуры, «феномена провинциальности», — сквозная тема сборника (составители Ю. Багаев, Г. Сапронов).

Пожалуй, даже не так — на тон выше: речь идет о миссии провинции. Один из авторов «Голоса», историк М. Я. Гелфтер, высказывает кажущуюся парадоксальной мысль: «В России провинция и сейчас, и в прошлом — резервуар человеческого сопротивления унификации... Сибирь. Самая пространственность ее, помноженная на непредуказанные движения человеческого ума, содержит какой-то важный ресурс нашего общего завтра... С

этой точки зрения я бы рискнул сказать: нынешняя провинция — это наше общее завтра».

М. Я. Гефтера волнует вопрос: что же такое Сибирь в России и что такое Россия в Сибири? «Россия стала Россией, когда она вобрала в себя Сибирь, когда она распространилась на Сибирь. Существует такая роковая неясность по отношению к России: была империей, стала в конечном счете сверхдержавой, а теперь — что? Может, ответ где-то таится в глубинах Сибири. Во всяком случае, говорить о России вне Сибири невозможно...»

Стало быть, миссия Сибири двойная: это и ее миссия как провинции вообще, и ее парность России, ее роль некоей «комнаты» (как в «Сталкере» А. Тарковского), тающей в себе ответы на российские же сфинксовы загадки...

Впрочем, идея Сибири рассматривается историком и в контексте актуальной сегодня «русской темы». «Остаться Сибирью или стать ею? Остаться, охраняя себя в том виде, который мнится как единственная «чисто русская» Сибирь, ревнительница всего «чисто русского». Или стать ею... стать заново (или впервые?) нужной не только сибирякам сибирской цивилизации... странное, горячее, какое-то неистовое до невменяемости русофильство части Сибири мне представляется спазмом попытки отстоять без развития... Она (Сибирь.— В. К.) не может себя просто отстоять... Суть, смысл наследия, духовный ген Сибири именно в том, чтобы на свой лад двигаться, заново очерчивая собою русскую европейскую Россию и даже очерчивая этим всем и Европу. Может, и дальше — кто его знает».

Размышления М. Я. Гефтера задают тон и уровень «Голосу»: по-своему откликаются на них другие материалы сборника. И тут интереснее всего провинциальная своеобразность взгляда.

Думаю, читателю стоит запомнить это имя: Михаил Рожанский. Выражение «провинциальный политолог» для нашего уха звучит, что ни говори, как-то... ироничеки — а, собственно, почему? Разве тот же Стэнфорд не американская провинция, в сущности? Хотя сам М. Рожанский иронии не чуждается: «Обществовед провинциальный бывает безудержным историческим оптимистом не только по профессиональной обязанности, но по убеждению. Обществовед провинциальный бывает, напротив, циничным карьеристом и интриганом. Однако ни из высоких побуждений, ни из эгоистического расчета провинциальный обществовед не вознамерится хоть немного повлиять на историю»...

Тем не менее его «Провинциальные речи» отличаются своеобразием и зрелостью мысли; перед нами вроде бы хроника иркутских событий 1989 года, рассказ о первом всплеске общественных страстей во глубине сибирских руд, но события эти вложены в контекст общественной ситуации в целом, из них извлечены уроки.

«...общественное движение вносит свой незаменимый вклад в создание на месте распадающейся пирамиды — такой полити-

ческой системы, которая стала бы органичной именно для нашей страны... Найти опору в различных социальных слоях, найти собственную меру конфронтации и компромисса, союза с властью — властью местной и властями центральными, а для этого — найти собственное дело, определить собственное поприще в решении проблем города, края, страны».

В статье Виктора Дятлова «А если бы мы "победили"?» самое интересное знаете что? — интонация. В самом деле: ну что нового может рассказать нам «неспециалист, обычный провинциальный историк» о войне в Афганистане? Какие такие «тайны афганской войны»? Да у него и информации-то особой нет. Но есть нечто другое — интонация личной боли и причастности, нравственного переживания. Его мучит вопрос: зачем и почему мы оказались в Афганистане, зачем пришли туда с оружием в руках? «Самое страшное — если мы попытаемся «забыть» Афганистан, «подвести черту», вывести афганскую тему из сферы национальной саморефлексии». Статью иркутского историка стоит прочесть, даже «все» зная об Афгане. Она поможет осознать простую вещь: решения принимались наверху, в столице, а самый болезненный и длительный след афганская война оставила в российской глубинке, в народе российском...

Есть в «Голосе» и рассказ о предыдущей попытке осознать и воплотить идею провинциальной культуры, «миссию провинции», миссию Сибири в России, — напоминание о «предшественнике». Я имею в виду воспоминания Юрия Самсонова «Как перекрыли "Ангара"». «Иркутская стенка» — так называли группу молодых писателей, каким-то чудом одновременно прошедших в литературу в конце 60-х, живших и работавших в Иркутске: А. Вампилов и В. Распутин, Г. Машкин и Ю. Скоп, Д. Сергеев и В. Шугаев. Сплатилась «стенка» вокруг альманаха «Ангара», редактором которого летом 1967 года стал Ю. Самсонов. Именно в «Ангаре» были напечатаны впервые «Деньги для Марии» Распутина, проза Д. Сергеева, Г. Николаева, сатирическая «Сказка о Тройке» Стругацких. Вот эта последняя публикация и переполнила чашу терпения власть предержащих. В феврале 1969 года бюро Иркутского обкома КПСС приняло постановление «об идейно-политических ошибках, допущенных в альманахе "Ангара"». Крамольные номера альманаха были переведены в спецхран, редактор Ю. Самсонов от работы освобожден, а издание, вокруг которого начали было группироваться силы провинциальной культуры, полуудушено (полностью не удалось, прорвались все-таки Вампилов и некоторые другие; но раздробить, расколоть «стенку» сумели-таки...).

Хочется верить, что подобного затаптывания ростков провинциальной культуры уже не будет. А значит, все зависит теперь от самих провинциалов. Нам эту задачу осуществлять — стать Сибирью.

Иркутск.

В. Камышев.

Редакция рукописи не рецензирует и объемом меньше 2 печатных листов не возвращает.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор С. П. Зальгин

Редакционная коллегия:

В. П. Астафьев, А. Г. Битов, В. М. Борисов (зам. главного редактора),
А. В. Василевский (ответственный секретарь), **Ф. К. Видрашку** (зам.
главного редактора), **Д. А. Гранин, И. Я. Зиедонис, В. А. Костров**
(зам. главного редактора), **Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, Б. И. Олей-
ник, И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, М. В. Тимофеева, Е. А. Храмов,**
М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев, В. А. Ярошенко

Технический редактор **А. Гинзбург**

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 18.10.90 г. Подписано к печати 14.05.91 г.
Формат бумаги 70×108^{1/16}. Бумага кн-журн. Высокая печать. Объем 17 п. л.
(23,8 усл.печ. л. 24,0 усл.кр-отт.) 27,02 уч.-изд. л.

Тираж 896.000 экз. (2-й завод 250.001—500.000 экз.). Зак. 01420081. Цена 2 р. 10 к.

При участии издательства «Известия Советов народных депутатов СССР»
103798, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии
«Известий Советов народных депутатов СССР», 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.
Отпечатано в типографии № 2 ордена Ленина комбината печати издательства
«Радянська Україна» Киев, Анри Барбюса, 51/2.

**Во втором полугодии 1991 года
и в 1992 году
«Новый мир» предполагает опубликовать:**

- ВИКТОР АСТАФЬЕВ.** Прокляты и убиты (роман);
ПЕТР БАЛАКШИН. Финал в Китае (фрагменты книги);
ЛЕОНИД БЕЖИН. Калоши счастья (записки случайного философа);
АНДРЕЙ БИТОВ. Япония как она есть (повесть);
АНДРЕЙ ВОЛОС. Кудыч (повесть);
М. ВОСЛЕНСКИЙ. Феодалный социализм (место номенклатуры в истории);
ВОСПОМИНАНИЯ О ЧЕРНОБЫЛЕ;
АФАНАСИЙ ГЕРАСИМОВ. Повесть о Дубчесских скитах;
А. ГЛАГОЛЕВ. За други своя (воспоминания);
В. ДОМОГАЦКИЙ. Кладовка (попытка консервации);
И. А. ИЛЬИН. Из философского наследия;
АНАТОЛИЙ КИМ. Кентавр (роман); Рассказы;
М. КУРАЕВ. Зеркало Монтачки (повесть);
ВЛАДИМИР МАКАНИН. Рассказы;
ВЛАДИМИР МАКСИМОВ. И Аз воздам (роман);
ФРАНСУА МОРИАК. Во что я верю (эссе, перевод с французского);
П. И. НОВГОРОДЦЕВ. Из философского наследия;
МАРИНА ПАЛЕЙ. Рассказы;
Л. ПЕТРУШЕВСКАЯ. Время ночь (повесть); Рассказы;
АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ. Счастливая Москва (роман);
Н. САРРОТ. Дар слова (повесть, перевод с французского);
ФЕЛИКС СВЕТОВ. Отверзи ми двери (роман);
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Бодался телёнок с дубом (новые главы «очерков литературной жизни»); Сквозь чад; Апрель Семнадцатого (заключительный «узел» исторической эпопеи «Красное колесо»);
АЛЕКСАНДР СОПРОВСКИЙ. Из философского и поэтического наследия;
А. С. СУВОРИН. Дневник (фрагменты);
И. Т. ТВАРДОВСКИЙ. Страницы пережитого;
Н. ТОЛСТОЙ. Жертвы Ялты (главы из книги);
ДАНИИЛ ХАРМС. Дневники;
Ю. ШРЕЙДЕР. Синдром освобождения (эссе);
 а также другие произведения.
 Следите за нашими анонсами.

В 1992 году в журнале появится новый цикл «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ XX ВЕКА: ИСКУССТВО, ЛИТЕРАТУРА, ГУМАНИТАРНАЯ МЫСЛЬ»; будут продолжены публикации под рубрикой «РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР».